НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

СОЧИНЕНИЯ

Николай Клюев

Сочинения

том I

Nikolai Klyuev

Works

Volume I

NIKOLAI KLYUEV

WORKS

Edited
by Gleb STRUVE and Boris FILIPOFF

VOLUME ONE

Introductory Essays
by Boris Filipoff and Gordon MacVay

A. Neimanis
Buchvertrieb und Verlag
1969

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

СОЧИНЕНИЯ

Под общей редакцией
Г. П. СТРУВЕ и Б. А. ФИЛИППОВА

ТОМ ПЕРВЫЙ

Вступительные статьи Бориса Филиппова
и Гордона Мак Вэя

A. Neimanis
Buchvertrieb und Verlag
1969

Подготовка текстов, комментарии, свод
вариантов и разночтений — Б. А. Филиппов
Рисунок переплета и обложки — Николай Сафонов
Технические редакторы — В. А. Гирс и А. С. Беляев

Printed in Germany



Николай Клюевъ.

БОРИС ФИЛИППОВ

Николай Клюев

Материалы для биографии

Не железом, а красотой купится русская радость.
...на память о нашей встрече на омытой кровью русской земле, с надеждой на радость всемирную.

Николай Клюев

1928

(Посвящение «Дорогому Панаит Истрати...» на обороте титульного листа подаренного ему автором экземпляра «Избы и Поля»)

О нем много писали, он поразил многих и многих самим обликом своим. «Певец темный, с пронзительной силой увета — Микула был кряжист, широкоплеч, с огромной притаенною силой. Он входил тихонько, благолепно, сапоги мягки с подборами, армяк в сборку, косоворотка с серебряной старой пуговицей. Лик широкоскул, скорбно сладок. А глаз не досмотришься — в кустистых бровях глаза с быстрым боковым óглядом. В скобку волосы, масленисты, как у Гоголя, счесаны на-бок. Присмотревшись кажется, что̀ намеренно счесаны, чтобы прикрыть непомерно мудрый лоб. Нагнулся, чтобы достать что-то из-за голенища. Лоб сверкнул таким белым простором, под отпавшими при наклоне космами, что подумалось: ой, достанет он сейчас из-за голенища не иначе, как толстенький маленький томик Иммануила Канта, каким хвастал один доктор философии...» Так писала о нем Ольга Форш.[1] А Георгий Иванов в пресловутых «Петербургских зимах», путая даже имя поэта, называя его «Николаем Васильевичем», повествует: «...приехав в Петербург, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка-травести.

— Ну, Николай Васильевич, как устроились в Петербурге?

— Слава тебе, Господи, не оставляет Заступница нас грешных. Сыскал клетушку-комнатушку, много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской, за углом, живу...

Я как-то зашел к Клюеву. Клетушка оказалась номером Отель де Франс, с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстуке, и читал Гейне в подлиннике.

— Маракую малость по-басурманскому, — заметил он мой удивленный взгляд. — Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей...

— Да что ж это я, — взволновался он, — дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то — он подмигнул — если не торопишься,

может, пополудничаем вместе. Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут.

Я не торопился. — Ну, вот и ладно, ну, вот, и чудесно — сейчас обряжусь...

— Зачем же вам переодеваться?

— Что ты, что ты — разве можно? Собаки засмеют. Обожди минутку — я духом.

Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке: — Ну, вот — так-то лучше!

— Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят.

— В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общую, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно...».[2]

Таких воспоминаний, в которых часто при этом на ложку правды приходится если не бочка, то лохань лжи и преувеличений (как, например, у только что цитированного Георгия Иванова), можно было бы привести немало. Большинство обратило внимание только на личину поэта — и за личиной не заметило лица его. А ведь было что-то недюжинное в этом хитроватом кряжистом олонецком мужике, сказывавшем напевно на «о» — и сказывавшем в разговоре и в переписке не без вычур. Было что-то, пленившее в свое время Александра Блока — и Льва Троцкого, Брюсова — и Мережковских, Гумилева — и Ольгу Форш, Городецкого — и Алексеева-Аскольдова, Вячеслава Иванова — и Андрея Белого, таких все разных, совсем друг с другом не схожих. «*Клюев* — большое событие в моей осенней жизни», — записывает в дневнике 1911 года Блок.[3] «Эта зима принесла любителям поэзии неожиданный и драгоценный подарок. Я говорю о книге почти не печатавшегося до сих пор Н. Клюева. В ней мы встречаемся с уже совершенно окрепшим поэтом, продолжателем традиции пушкинского периода... Пафос поэзии Клюева редкий, исключительный — это пафос нашедшего»... «До сих пор ни критика, ни публика не знают, как относиться к Николаю Клюеву. Чтó он — экзотическая птица, странный гротеск, только крестьянин, по удивительной случайности пишущий безукоризненные стихи, или провозвестник новой силы, народной культуры? По выходе его первой

книги 'Сосен перезвон' я говорил второе. 'Братские песни' укрепляют меня в моем мнении»...[4] Так писал о Клюеве Николай Гумилев. «Солнценосцем», «народным поэтом», услышавшим в наши дни впервые «Мир на земле и в человецех благоволение», как во время оно евангельские пастухи услышали эту ангельскую весть, — именует Клюева Андрей Белый.[5] «Клюев пришел от величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоятся в эллинской важности и простоте. Клюев народен, потому что в нем уживается ямбический дух Баратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя», — свидетельствует Осип Мандельштам.[6] «Клюев... овладевал каждым из нас в свое время», — вспоминал в 1926 году Сергей Городецкий.[7] И, чтобы не испестрять статью именами, именами и еще раз именами, возвратимся опять-таки к Блоку, о взаимоотношениях которого с Клюевым будет дальше сказано немало. 27 ноября 1911 г. Блок записывает в дневнике о том, *как* он дал подпись на воззвании в защиту М. Бейлиса и еврейского народа от наветов черносотенцев и правительства: «*Дважды* приходил студент, собирающий подписи на воззвании о ритуальных убийствах (составленном Короленкой). Я подписал. После этого — скребет на душе, тяжелое. Да, Клюев бы подписал, и я подписал — вот последнее».[8] Для такого поэта *совести*, как Блок, Клюев — в качестве морального мерила в том или ином решении — разве же это не показательно? И разве напоминает здесь Клюев эдакого ряженого «мужичка-травести», о котором повествует Георгий Иванов — и с его легкой руки — Вл. Ходасевич: «...Вот именно в этих клетушках-комнатушках французских ресторанов и вырабатывался тогда городецко-клюевский style russe, не то православие, не то хлыстовство, не то революция, не то черносотенство. ... Но Клюев, хоть и 'мараковал по-басурманскому', был все же человек деревенский. Он, разумеется, знал, что таких мужичков, каким рядил его Городецкий, в действительности не бывает, но барину не перечил: пущай забавляется. А сам между тем, не то чтобы вовсе тишком да молчком, а эдак полусловцами да песенками, поддакивая и подмигивая и вправо и влево, и черносотенцу Городецкому, и эсерам, и членам религиозно-философского общества, и хлыстовским каким-то юношам, — выжидал. Чего?»[9]

Это было время великих ожиданий. Это было время поисков путей и целей. Это было время великой пестроты и нарождающихся сызнова поисков своего национального, исконного, корневого.

—«Откуля, доброхот?» — С Владимира-Залесска...
«Сгорим, о братия, телес не посрамим!»...
Махорочная гарь, из ситца занавеска
И оспа полуслов: «валета скозырим!»

Сквозь сито исчерненного заводской гарью дождя, сквозь кровь и гам революции, сквозь пошлятину засиженного мухами привычно-тусклого мировосприятия прорывается глубинная лепота, красота словообраза, мыслеформы, и д е и. Идеи в смысле платоновском, а не обывательски-интеллигентском. Идеи, облеченной в такую яркую, чеканную, своеобычную и воистину н а р о д н у ю форму, что диву даешься, как мог уместить поэт все это узорочье мысли и образов, слова и мелоса в скупые строки своих стихов и поэм. И удивляешься той поистине титанической работе поэта, что смог от беспомощных, подражающих сквернейшим образчикам средне-интеллигентской поэзии стихов подняться на такие кряжи. И все это великолепие, вся эта глубина усмотрены в — на первый взгляд — самой разобыденнейшей жизни, самом сером быту северной мужицкой избы, даже в «городских предбольничных березах», хотя и «заболевших корью и гангреной», но все еще трепетно-прекрасных...

Ангел простых человеческих дел
В избу мою жаворонком влетел,
Заулыбалися печь и скамья,
Булькнула звонко гусыня-бадья...
...Ангел простых человеческих дел
Бабке за прялкою венчик надел,
Миром помазал дверей косяки...

И дело не в том, что словарь, образы, даже в н е ш н и е, поверхностно видимые идеи — мужичьи, староверские, хлыстовские. Если бы это было *только* так, то Клюев был бы лишь модернизированным и более даровитым вторым изда-

нием Кольцова. Нет, за резными ставнями и матицами устойчивого быта кондовой избы, за сиринами и китоврасами стихотворных титл таится общечеловеческое и поддонное — та истина, для коей «несть еллин, ни иудей»: правда поисков Абсолютного Единства и Всецелой Полноты и лепоты жизни — Плиромы, жизни вечной, жизни в Боге, преодолевшей смертную истому мигов. Отшелушится и умрет плакатный Клюев «Песни Солнценосца» и взвизгов революционного хмеля, забудется виршеплет вымученных од колхозу и партии, написанных «страха ради коммунейска» (и поэтому и написанных-то по-детски неумело). И пребудет с нами перезвон сосен и избяные псалмы Матери-Субботе, причеты «Погорельщины» — не только теперь всероссийской, а пожалуй, и всесветной, — и каноны ласковой Христовой Марфе-Заботнице...

«Яко сень преходит человек и яко листвие падают дни человечи», — писал в петровские времена творец «Поморских ответов» Андрей Денисов. Сделаем же попытку, на основании разноречивых воспоминаний, обрывков автобиографических высказываний и ставших нам полностью или частично известных писем поэта, набросать бледный очерк своеобычной личности и незаурядной судьбы большого песнотворца Николая Клюева.

«Мы же речем: потеряли новолюбцы существо Божие испадением от Истиннаго Господа, Святаго и Животворящаго Духа. По Дионисию: коли уж истинны испали, тут и сущаго отверглись. Бог же от Существа Своего испасти не может, а еже не быти, несть того в нем: присносущен Истинный Бог Наш...»[10]

Старый список жития Аввакумова, в тяжелом кожаном переплете, с киноварными зачалами, с замусоленными от чтения многих поколений краями листов. В углу вековой избы — образа старых дониконовских письмен: Спас-Ярое-Око грозит неслуху, путедарная Мати Одигитрия на путь наставляет юношу. Быт устоялый, крепкодухий и душный, — даром что дед был одно время поводчиком медведя и сказителем старин и стихов духовных, «водил он медведей по ярмаркам, на сопели играл, а косматый умник под сопель шином* хо-

* Шин — род деревенской кадрили. См. словарь Даля.

дил. Подручным деду был Федор Журавль — мужик, почитай, сажень ростом: тот в барабан бил и журавля представлял. Ярманки в Белозерске, в Кирилловой стороне, до двухсот целковых деду за год приносили».[11] Жил дед более, чем зажиточно, ходить по праздникам любил нарядно и изузоренно, дочерей своих, поэтовых теток, за хороших, крепких мужиков повыдавал. Вышел в те поры указ: медведей-плясунов представить в уездные управы «на предмет изничтожения». Но застрелил дед медведя сам, своей рукою — чужому не дал, — а плакал горючими слезьми, как в глаза доверчивые зверю глядел.[12] «Долго еще висела шкура кормильца на стене в дедовой повалуше, пока время не стерло ее в прах».[13]

Отец — николаевский солдат,[14] книгочий, умник, большой умелец — золотые руки. Хозяин дотошный, добрый. Есенин подчеркивал всегда, что они-де с Клюевым происходят «не из рядового крестьянства, чего так хотелось бы некоторым ... критикам, а из верхнего, умудренного книжностью слоя. Дед и отец Клюева... были начетчиками».[15] Люди умудренные и не безденежные, верные древлему благочестию и дедовой дубовой укладке. И у самого Николая Алексеевича не раз в стихах это домостроительство и скопидомство: не в смысле скупердяйства, а в изначальном понимании: с к о - п и - д о м :

В пестрой укладке повойник и бусы
Свадьбою грезят: «годов пятьдесят
Бог насчитал, как жених черноусый
Выменял нас — молодухе в наряд»...

Померла молодуха, почитай, бабушкой или прабабкой, а ее добро-приданое достанется внуке и правнуке: укладка — святохозяйственная память семьи. И так во всем: и в хозяйственном инвентаре, и со скотом, и с самой избой. А надо всем — хозяйский глаз рачительного мужичьего Бога. И чтобы лучше и сподручней Отцу и Царю Небесному уследить за земным мужичьим добром — над каждой отраслью избяного быта, над каждым предметом — свои покровители святые: Никола, Илья-громовник, Авдотья Подмочи-Порог, Власий да Савватий — скотьи заступники и хранители, Борис-

Глеб, что посылают хлеб, пчелиный врачеватель и заботник Медост (Модест), Дева-Пятенка Параскева...

Дядя по матери, слыхать, был самосожженец. Мать, одаренная женщина, плачея-вопленница и сказительница, тоже книгочея, первая научившая поэта грамоте, родом из Прионежья (отец — со Свити-реки, ныне в Вологодском крае). Числилась мать православной, но, видимо, склонялась к хлыстовству.[16]

Глубоко-поэтическая христовщина, в просторечии — хлыстовщина, мистическое российско-крестьянское претворение гностицизма и позднейшего иллюминатства — «духовного христианства», — вот та среда, в которой вырастает будущий поэт, родившийся в 1887 году на реке Андоме, в глухой лесной деревушке неподалеку от древнего города Вытегры. 500 верст до железной дороги, почти нетронутый древненовгородский быт, соседский с корелой и лопью, такой же лесной и кряжистой: «кореляк, што светляк: где буерак, там его барак», — добродушно шутейничают олонецкие русские мужики, привыкшие смолоду к иноязычным соседям. Интернациональный маскарадный кортеж в стихах позднего Клюева истоки свои коренит в северных лесах и озерах, населенных всяческим людом: русскими и корелой, весью (веспами) и лопью, финнами-тавастами и даже в каком-то числе и скандинавами: шведами и норвежцами.

«До соловецкого страстного сиденья восходит древо мое, до палеостровских самосожженцев, до выговских неколебимых столпов красы народной», — рассказывает поэт.[17] Впечатления детства: плачи-причиты матери-вопленницы:

Воску ярова свещи да догораются,
Херувимскии стихи да допеваются;
Спаси Господи попов отцов духовныих,
Спаси Господи служителей церковныих,
Што Божии оны церкви отмыкали
И Господни оны книги-то читали;
Порастроньтесь-ко народ да люди добрыи,
Мне — придвинуться к колоде белодубовой,
Мне — припасть было к родитель своей матушке...[18]

Заонежье, Вытегра, Каргопольщина — это край былевых сказителей, плачей-вопленниц, олонецких певунов и сказочников — край богатый и искусными строителями и резчиками по дереву (Кижи, к слову сказать), и мастерами слова русского. И Клюев учится и по письменам лесного древесного искусства, по памятникам исконной русской резьбы, русского деревянного зодчества, по русским иконам-поэмам северных письмен, — и «в избе по огненным письмам Аввакума-Протопопа, по Роману Сладкопевцу».[19] А в «огненных письмах» Аввакумовых: «Дние наши не радости, но плача суть. Вспомяни, — егда ты родилася, не взыграла, но заплакала, от утробы исшед матерни. И всякой младенец тако творит, прознаменуя плачевное сие житие: яко дние плача суть, а не праздника»...[20] Ибо дни наши — дни сораспятия нашего с Исусом Христом, ибо опять распинают Спаса Нашего — теперь никониане: «...Моисей великий, он, иже море разделивый, иже фараона потопивый, духом прорицая будущая, 'узрите живот ваш, висящ пред очима вашима', тогда рече. И се день исполнися Господу Славы, на кресте висящу. Тогда плотски — ныне духовне, тогда Анна и Каияфа — ныне с товарищи Никон. Ужаснися, небо и земле основание потряси, яко иже в начале Сотворивый — посреде вселенныя на кресте плотию стражет, — иже морю положивый предел песок — гвоздьми пригвождается, иже Адама создавый — от рабов осуждается, от рабов неблагодарных, от рабов неверных, от рабов законопреступных...»[21] Суров старый огнепальный протопоп, а вот голуби-христы ласковы — всякая душа человеча может, путем духовного возрастания, приобщиться к Божественному началу, обóжится вконец: и верховное духовное свершение — становление Христом — для мужчин, и Богоматерью — для женщин. И тут тоже по Божию велению, по нашему молению. И тут — не без влияния на умы народа огненных словес Аввакумовых о новом распятии Исуса — и о нашем сораспятии с ним. А раз — наше сораспятие, то и о нашем же тутошнем и теперешнем воскресении во плоти можно полагать — и верить в него. Вот и сказывают хлысты о сошествии нового — их собственного — Христа, первого их Христа — Суслова — на землю, о его троекратном распятии и двукратном воскресении, распятии на стене у Спасских ворот Кремля москов-

ского при царе Алексее Михайловиче. И псальмы распевают о том:

Первое сошествие Бога было в Риме и Иерусалиме.
И сияла вера много лет,
И стала вера отпадать,
И отпадала триста лет.
И из тех людей были люди умные,
И съединясь между собой тесно,
Послали людей на святое место.
И пришли те люди,
Подымать стали руки на небо,
Сзывать Бога с неба на землю:
«Господи, Господи, явися нам, Господи,
В кресте или в образе,
Было бы чему молиться нам и верити».
И бысть им глас из-за облака:
«Послушайте, верные мои!
Сойду Я к вам Бог с неба на землю;
Изберу Я плоть пречистую и облекусь в нее;
Буду Я по плоти человек, а по духу Бог;
Приму Я распятый крест,
В рученьки и ноженьки — гвоздильницы железныя;
Пролью Я слезы горючия,
Проточу кровь пречистую.
Станите ли ко Мне в темницу приходить
И узы с Меня снимать,
Десятую денежку подавать?»[22]

Любопытно и некое гностико-демоническое, люциферианское начало в этом христовском о б о́ ж е н и и: Христос, вернее, х р и с т ы, ниспосылаются народам по их молению и прошению в виде п а д ш е й з в е з д ы. Так, в «Книге жизни» (автобиографии) одного из последних знаменитых христов, крестьянина города Боброва Воронежской губернии Василия Семеновича Лубкова (конец XIX века), «Сына Вольного Эфира», говорится: «Первое зачало книги жизни Христа Бога... Слушай Народ говорит вам Христос устами своими и храни всякое слово книги сей оно годится тебе, оно меч твой ни змей ни дух поднебесный не победит тебя. Если на

век сохранишь в сердце и душе своей слово мое. Да так говорит сам искупитель народу своему мое появление на земле ничего не изменило, природа как была так осталась ей, но вы в духе должны уразуметь все, чем я буду повествовать вам, мое пришествие на землю было подобно падшей звезде, которой имя было полын горький...»[23]

И враждебны, но и крайне близки, порождены христами-хлыстами, другие народные мистики — скопцы: голубино-ласковы, особенно внешнюю телесную «лепость» (пол свой) утрачивая: скопчество ускоряет-де путь к совершенству: все станут христами да богоматерями. Недаром поэт напишет впоследствии:

О, скопчество — венец, золотоглавый град,
Где ангелы пятой мнут плоти виноград...

И прощаясь с естеством своим, поют христы-скопцы нетленной красы плачи-причети, со всей мирской лепотой прощаясь: «...Прости небо, прости земля, прости солнце, прости луна, простите озера, реки и горы, простите все стихии земные»... Утрачивая плотскую лепость-красу, прилепляясь душой, девственной и кроткой, к самому Царю Небесному, житие свое уподобляют скопцы (и христы-хлысты) спасшимся на корабле среди моря бурного житейского.[24] Отсюда и название общин христовщины (и скопческих) — ковчег, корабль. Отсюда и духовные стихи о корабле и плавании его по бурливым водным пустыням страстей земных:

По синему морю корабль восплывает,
С дорогим корабль товаром, цены ему нету:
Терпит горя корабль много, середи здесь моря
Пристанища ему нету, везде его гонят,
Налетали злые духи, на них черны враны;
Стал кораблик восшататься, верный колебаться,
На Исусову надежду стал он колебаться...[25]

Чтит клюевская семья и «батюшку», читает «страды» его и послания — послания самого основоположника русского скопчества — безграмотного мужика и прозорливца, мученика и праведника Кондратия Селиванова: «И я ходил на ко-

локольню. И во все колокола звонил, и всех детушек манил, и в трубу трубил: 'Подите, мои детушки, ко мне на корабль, и я буду всем рад'»...[26] Читают о «страдах» батюшки Селиванова, как к Павлу императору его приводили, как в застенках терзали, как бегал он от солдат, от пастырей ложных, — и плачут, читаючи. «О, любезные детушки, как можно старайтесь и назад не озирайтесь; а хотя на коленках, да ползите, и у Бога помощи себе день и ночь просите. Ибо в прежние времена до тридцати лет Богу служили, а благодатию себя основали, да пред последним концом от Бога отставали»...[27] Бежал батюшка Кондратий, прятался голодный по десяти суток во ржи, «отчего очень утомившись — лег и заснул; а когда проснулся, то увидел, что возле... лежит волк и на (него) глядит. Но сказал ему (волку): 'Поди в свое место'. И он послушался и пошел».[28]

А маленький Клюев глядит при этом чтении на шкуру медвежью, того Михайла Потапыча, что дед его водил по городам, — и мнится ему: и дед так зверям повелевал... А в стихирах скопческих поют и про второе пришествие батюшки-христа Селиванова — на Страшный Суд над человеки:

...Тогда суд будет и решение.
Сядешь ты, батюшка,
На златой престол,
Возьмешь книгу — свое Евангелие,
И засудишь, свет, судом страшным,
И затрубишь трубою небесною,
Со великою своею славою.
Придут верные твои детушки
К тебе — свету — со исправою,
А уж грешные все останутся...[29]

И если для староверов, по завету Аввакумову, дни наши — не радование, а «плача суть», то и скопцы, и — в особицу — хлысты учат, что и радения их — радование: «'Можно радоваться', 'в Кругу Божием радость', 'Бог не запрещает радоваться'», — рассказывал судебному следователю и медицинскому эксперту глава Корабля Василий Дирютин: «'Накатывание' Св. Духа — это все равно, что Сошествие Св. Духа. Мы поем 'Христос Воскресе', потому что *'Христос всегда умирает и воскресает в человеке'*».[30] И в семье Клюева ста-

роверческая суровость и хлыстовское радование все время борятся друг с другом. Несомненно отразилась на поэте и явная эротическая одержимость хлыстов. Хорошо известно, что радения заканчиваются чаще всего повальным общением братьев и сестер Корабля, не взирая даже на самые тесные кровные отношения. А в одной «братской песне»: «песенке, как Сын Божий сеит свое семя Божественное в верныя человеки» (XVIII век) — хлысты поют:

На сырой земле да по полю, по чистому полю,
По широкому раздолью,
Тут гуляет Государь наш надежда,
Государь Свет Сын Божий на ручушках носит чашу золотую,
А и в той было чаше Божие семя,
Был крупитчатой сахар.
Государь Свет рассевает по всей подселенной свое Божие семя,
Да Сам Сударь глаголет:
Разродися мое семя в моих верных человеках,
Разродися Божие дело в моих верных избранных,
Уродися мой белой сахар белою ярою пшеницой,
Рости моя пшеница от земли и до неба,
И от престола Господня до Бога Саваофа,
До Сына Божия света,
До Свята Духа блаженна...[31]

Ходит Никола уже две зимы в сельскую школу, да не больно душа лежит к ней. Смолоду наделен он песенным даром, но борется с искушением: прелéсть. С материнского полуразрешения, отроком еще, идет в монастырь Соловецкий. Только формально, для виду, православные, родители Клюева, староверы с уклоном в хлыстовство, все-таки чтут Соловки: ведь сколько лет оборонялись монахи соловецкие от полчища царева, посланного никонианами — оружием и огнем истребить старую веру в монастыре... «И прииде ми помысл взыскати пути спасения и идох к Всемилостивому Спасу во святую обитель Соловецкую, ко преподобным отцам нашим Зосиму и Савватию», — вспоминаются и слова старца Епифания.[32]

Не просто монах Николай: мало ему послуха монастырского — двадцатифунтовые вериги носит, кается, молится. Но мятежный дух и песенный дар гонят его с островов Со-

ловецких. Очевидно, — это явствует и из стихов его, — увлекается он и Божьими людьми — бегунами. «Не в щепоти состоит дело, — учат последователи Евфимия, основоположника страннической (бегунской) секты. — Печать Антихриста, сияющая на слугах антихристовых, не значит щепоть или крыж, но — житие, согласное с мыслью Антихриста, — но подчинение ему, как Христу»...[33] Вот и пришли последние времена, да и не вчера, а уж давно они наступили на Белой Руси: «От лета 7220 (1712), егда первым императором счинися опись народная, тогда он нача повсюду искать беглых... оных бегствующих мира хватати, — ...его ради и подвиг спасаемым оттоле претерпевый до конца спасется»...[34] Самосожженческие костры — пламенники веры народной; горючая слеза покаяния и бездонная глубь молитвы: авось минет Русь и народ Чаша Гнева праведного Господня... Никониане так не молятся: их мир в плену держит. Недаром в народе убеждены, что только древлее благочестие — подлинное христианство: «При входе в крестьянские избы, я был часто встречаем словами: 'мы не христиане'. На вопрос: 'что же вы, нехристи?' отвечали: — 'как же, мы во Христа веруем, но мы по Церкви, люди мирские, суетные... Христиане те, что по старой вере; они молятся не по-нашему; а нам некогда'...»[35] Так свидетельствует в первой половине прошлого века один обследователь раскола. Но и посейчас дело обстоит почти что так же. И странники-бегуны (кстати, близко связанные с христовщиной), и хлысты, и староверы отрицают начисто Православную Церковь в ее теперешнем состоянии: «Христианские архиереи, вместо престола Христова, установили престол сатаны, на котором присутствует Антихрист..., т. е. гордый дух, противник Божий», — так преувеличенно мрачно рисует православие «Зерцало для духовного внутреннего человека — старообрядческая рукопись первой половины прошлого века (или более ранняя).[36] А в послании седьмом «Самого Господа Иисуса Христа» — хлыста-крестьянина Потапкина (самый конец прошлого века) — проклинается и царство-государство, подменное ныне, не русское, не христово, но антихристово: «Осмелился на себя принять имя и слова, что я — царь, да еще и белай, да еще и царь, сказал, Божий, да и царь всей Рассеи. Ах ты, дух твой змеиный, ты ж во всем змеином предании

предстоишь, ты ж проклят от Содержителя Творца Бога Живаго, и меня, сына Его, и Духа Святаго. А ты пишешься, что я — царь Божий, у тебя ж не одного слова Божьяго нет, но не то что у тебя, но и у во всех твоих...»[37] Поэтому бегуны, а почасту и хлысты, всячески избегают исполнения государственных повинностей, особенно же — уклоняются от воинской службы, как от служения воинству антихристову. Но, если не обращать внимания на еретические секты и преувеличения старообрядческих начетчиков, в староверстве было много и правоты, и поэзии, и крепости. Да и в самом православии начинали — к концу прошлого века уже — все больше и больше звучать голоса в пользу правоты ревнителей древлего благочестия. И раньше даже: уже П. И. Мельников (А. Печерский) в своей «Записке о русском расколе», 1857, свидетельствовал, что исправление Никоном богослужебных книг было поспешным, часто малограмотным, и было вызвано только тщеславием Никона, желавшего блеснуть знанием греческого языка и грамматики.[38] В XX веке некоторые профессора Московской и Петербургской духовных академий открыто заговорили о том, что в давней церковной распре правда была на стороне противников Никона. Этому пересмотру позиций способствовало и все возрастающее увлечение древней русской иконой, древним русским зодчеством, старинной народной резьбой, старым литьем. А вот свидетельство одного из крупнейших деятелей православной церкви и российского государства, — разговор его с В. В. Розановым, записанный последним в статье «Поездка к хлыстам» (1904-1905): «Да, они (старообрядцы и раскольники, БФ) правы... Там филологически и исторически, — не спорю... Но в них живет сатана и их надо распять. Я сам наблюдал старообрядца, входившего в алтарь в ихней моленной: шел, понуря очи, с таким благочестивым, постным лицом, точно в нем душа кончается. Он меня не видел, а я стоял так, что мне было видно его, когда он скрылся от глаз народа за алтарную стену. Тут он вдруг щелкнул пальцами и подпрыгнул. Масленица после поста. Пост они держат на виду у нас, православных, а в душе у них масленица. Масленица оттого, что Никон был, конечно, невежда, а филологически и всячески по истории — они правы: и вот они и стоят перед нами с истинно каинскою жаж-

дою убить, задушить. ...И за это их проклятое чувство я хотел бы их сжечь».[39]

Крайний эгоцентризм и гордыня свойственны расколу. Жажда свободы, творческой и общественно-политической — вплоть до анархизма. И, вместе с тем, необычайная сплоченность старообрядческих общин, кораблей хлыстов и скопцов, потаенных сборищ бегунов. И большая хозяйственная сметка, крепкая солидарность, добротное хозяйствование, хороший зажиток. Раскольники и хлысты — богатые мужики, мещане, купцы-мильонщики, крупные промышленники.

Эгоцентризм — и соборность, ласковость — и суровость, крепость веры — и повышенный эротизм, доходящий до вакхического экстаза, песнотворство и иконное искусство — и отвержение всего внешнего и мирского; наконец, православие — и хлыстовство с некой склонностью к демонизму; русский исконный и крепкого настою национализм — и склонность к всемирному общению и братству народов — вот тот пестрый, противоречивый мир идей и бытовых навыков и обыков, образов и догм, сексуальных устремлений (и уклонений) и аскетизма, — мир, в котором вырос и воспитался юный Клюев.

И в старообрядческих скитах, и у «скрытников» побывал он. Но душа все рвалась к песне, дух влекся к голубиной чистоте христовства. Слава юного песнотворца далече бежит по городам и весям, — и пятнадцатилетний Никола избирается «Давидом Христова корабля», — присяжным слагателем духовных песен:

Как у нас ли, други, ныне радость;
Отошли от нас болезни, смерть и старость.
Стали плотью мы заката зарянее,
Поднебесных облак-туч вольнее.
Разделяют с нами брашна серафимы,
Осеняют нас крылами легче дыма,
Сотворяют с нами знамение-чудо,
Возлагают наши душеньки на блюдо...

Многие из «братских песен» Клюева — прямо перекликаются с хлыстовскими песнопениями:

Песнь похода (Клюев)

Иисуса крест кровавый —
Наше знамя, меч и щит,
Зверь из бездны семиглавый
Перед ним не устоит.

Братья-воины, дерзайте
Встречу вражеским полкам!
Пеплом кос не посыпайте,
Жены, матери, по нам. ...

...Сокрушившего все беды
Воспоет небесный хор, —
Херувимы, Серафимы...
И, как с другом дорогим,
Жизни Царь Дориносимый
Вечерять воссядет с ним. —
Винограда вкусит гроздий,
Для сыновних видим глаз...
Чем смертельней терн и гвозди,
Тем победы ближе час...

...Гробовой избегнув клети,
Сопричастники живым,
Мы убийц своих приветим
Целованием святым...

«Мир вам, странники-собратья,
И в блаженстве равный пай,

Муки нашего распятья
Вам открыли светлый рай».
И враги, дрожа, тоскуя,
К нам на груди припадут, —
Аллилуйя, аллилуйя —
Камни гор возопиют...[40]

Хлыстовская песнь

Уж вы, воины Христовы,
Поднимайте знамя Божие,
Надевайте вы оружие,
Меч, стрелы — все, что нужное,
Мечи ваши — слово Божие,
Стрелы будут мысли чистые,
Премудростью упояшетесь,
А любовию укротитесь.
Вы примите образ кротости,
Не ищите земной почести,
Побеждайте врага гордости,
Оставляйте все надменности,
Вы за темный мир молитеся
И любить их научитеся,
Лейте слезы о них чистые,
Оне — сироты несчастные;
Вызволяйте их с неволюшки,
Открывайте свет свободушки;
Слава нашему учителю,
Незабвенному спасителю;
Он исполнил Божью волюшку,
Пришел в нашую сторонушку,
Пролил кровь свою невинную,
Открыл жизнь для нас свободную.
Друг со другом мы примирилися
И ко Господу приблизилися;
Воспоем мы песню новую,
Песню новую духовную,
Слава царю непорочному,
Святому духу преблаженному.
Аминь.[41]

Обращает внимание энергия и стремительность клюевской «Братской песни». Это и понятно: годы ее написания — годы революционного подъема — около 1905 года. Раскольники вообще были бродильным, революционным элементом в России: они принимали самое деятельное участие и в движении Разина, и в Пугачевщине. П. И. Мельников (А. Печерский), классифицируя толки раскольников в 1857 году «по степени вредности для государства», пишет: «Ко второму разряду принадлежат раскольники, признающие, что русское правительство со времен царя Алексия Михайловича стало богоборным, и полагающие будто антихрист царствует в России видимо, олицетворяясь в верховной власти, и что правительство, составляющее сонмище слуг антихриста, правя народом, влечет его в сети диавола. Сюда относятся... Сопелковское согласие или бегуны».[42] Мы видели, как писал о русском царе хлыстовский христос Потапкин. А Клюев, как раз в эти же годы, соприкасается и с деятелями революционного движения. Оставаясь Давидом хлыстовского корабля и доверенным лицом бегунов, он примыкает, по глухим сведениям, к революционным кружкам. «За свои религиозные и отчасти политические убеждения ему пришлось дважды поплатиться тюрьмой. Имя Клюева весьма популярно среди 'взыскующих Града', особенно на севере. За несколько десятков верст приезжали к нему в деревню, чтобы списать 'Скрытный стих' или 'Беседный наигрыш'; какие-нибудь самарские хлысты целыми сотнями выписывали себе стихи Клюева», — рассказывает П. Сакулин.[43] «Встретились на 'Батыевой тропе' и солдатчина, и тюрьма (кажется, дважды), — пишет уже в последние годы Вл. Орлов. — В январе 1906 г. Клюев был арестован в Вытегре. При обыске у него нашли 'Капитал' Маркса и собственные крамольные сочинения. Были установлены связь его с местными политическими кружками, участие в нелегальных сходках. После пятимесячной отсидки в Вытегре Клюева перевели в петрозаводскую тюрьму. Известно, что в его судьбе приняли участие члены Петрозаводского комитета РСДРП».[44] В эти же годы Клюев долго проживает среди хлыстов Рязанской губернии. Об этом он позже упомянет в письме Сергею Есенину. Около 1906-1907 года Клюев был послан хлыстами заведывать их «явочной» конспиративной квартирой в Баку. Есть основание предполагать, что

«бегуны», хлысты и «голуби»-скопцы имели постоянные и деятельные сношения с Ираном и Индией. Хорошо знавший Клюева Иванов-Разумник пишет, что эта бакинская хлыстовская «конспиративная квартира» служила «явочным местом для посетителей из секты 'бегунов', державших постоянную 'эстафетную связь' между хлыстами олонецких и архангельских северных лесов и разными мистическими сектами...Индии... Все это похоже на сказку — и в то же время это доподлинная быль, о которой Клюев рассказывал интереснейшие вещи (далеко не всем). ...Он пробыл в Баку несколько лет...»[45] Есть глухие указания на то, что сам Клюев если и не бывал в Иране, то сталкивался в Баку, а, может и Туркестане с мусульманами-суффиями и с индусами- огнепоклонниками. Эти годы Клюев не сидел на одном месте: то в Баку, то у хлыстов Рязанской губернии, то у себя в олонецких городах и весях... Все эти годы Клюев чрезвычайно много читал, много и настойчиво учился. И, очевидно, много писал стихов.

Первые опубликованные Клюевым стихи, насколько нам удалось установить, появились в печати в 1904 году, когда поэту было всего 17 лет. Они были напечатаны во втором издании захудалого петербургского альманаха «Новые Поэты», изданного Н. Ивановым в 1904 году тиражом в 1.000 экз. В 1905 году, в сборничках, издаваемых «Народным Кружком» поэтов-самоучек, сборничках в 16 страничек каждый («Волны», «Прибой»), выпускаемых во взбудораженной революцией Москве, также печатаются стихи Клюева. Наконец, в 1907 году стихи Клюева попадают в журнал «Трудовой Путь», правда, даже этот третьесортный журнал вначале опубликовал стихи поэта не под его именем, а под прозрачным псевдонимом «Крестьянин Николай Олонецкий». Все эти ранние стихи чрезвычайно еще примитивны, в них с трудом угадывается будущий большой поэт. Это — годы ученья, годы овладевания техникой письма. И уже в следующем — 1908 — году два стихотворения Клюева публикует такой изысканный журнал, как московское «Золотое Руно»...

В 1907 году начинается переписка Клюева с Блоком. В 1907 году, повидимому, в первых числах октября, Клюев прислал Блоку письмо, начинающееся словами:

«Я, крестьянин Николай Клюев, обращаюсь к Вам с

просьбой — прочесть мои стихотворения, и если они годны для печати, поместить их в какой-нибудь журнал»...[46]
И дальше Клюев пишет:
«Мы, я и мои товарищи, читаем Ваши стихи... Нам они очень нравятся. Прямо-таки удивление. Читая, чувствуешь, как душа становится вольной, как океан, как волны, как звезды, как пенный след крылатых кораблей. И жаждется чуда прекрасного, как свобода, и грозного, как Страшный Суд... Я человек малоученый — так понимаю Вас, — и рад и счастлив возможности передать Вам свое чувствование».[47]
Речь идет тут о сборнике Блока «Нечаянная Радость», и Клюев свою первую книгу — «Сосен перезвон» так и посвятил — Александру Блоку — Нечаянной Радости. «За мое отсутствие получили... очень трогательное письмо от крестьянина Олонецкой губернии», — пишет Блок матери 9 октября 1907 года.[48]
К письму были приложены два стихотворения: «Горниста смолк рожок... Угрюмые солдаты» и «Вот и лето прошло; пуст заброшенный сад».[49] Эти стихи, неразысканные нами, были помещены Блоком в одном из журналов,[50] Блок ответил Клюеву, и так завязалась достаточно оживленная многолетняя переписка, продолжавшаяся до 1915 или 1916 года.[51] Ответные письма Блока, к сожалению, не сохранились[52] — они и не могли сохраниться, так как все рукописи, вся переписка Клюева погибла в следственных делах ГПУ-НКВД... Блок, несомненно, способствовал опубликованию стихов Клюева в журналах, не только в «Трудовом Пути», но и в «Золотом Руне».[53]

В эти годы Блок особенно сильно, трагически переживал тот разрыв между интеллигенцией и народом, культурой и Богом, религией и историей, стихией и творческой свободой, который всегда составлял пафос и муку большой русской литературы. Уже задолго до революции 1905 года лучшие творческие умы русской интеллигенции начали все больше и больше отшатываться от шаблонного материалистического и социалистического мировосприятия, насквозь догматического, консервативного и тиранического. Революция 1905 года ускорила этот процесс, процесс «крушения многообещавшего общественного движения, руководимого интеллигентским сознанием» (С. Л. Франк.)[54] «Русская революция

(1905 г., БФ) была интеллигентской, — вторит Франку С. Н. Булгаков. — Духовное руководство в ней принадлежало интеллигенции, с ее мировоззрением, навыками, вкусами, социальными замашками».[55] «Поистине, историк не сделал бы ошибки, если бы стал изучать жизнь русского общества по двум раздельным линиям — быта и мысли, ибо между ними не было ничего общего», — подтверждает ту же мысль об отрыве «мозга страны» от ее плоти М. О. Гершензон.[56] И у самого Блока: «...печалуются о народе; ходят в народ, исполняются надеждами и отчаиваются; наконец, погибают, идут на казнь и на голодную смерть за народное дело. Может быть, наконец, *поняли даже душу народную*; но как поняли? Не значит ли понять *всё* и полюбить *всё* — даже враждебное, даже то, что требует отречения от самого дорогого для себя, — не значит ли это *ничего* не понять и *ничего* не полюбить? ...Среди десятка миллионов царствуют как будто сон и тишина. Но и над станом Дмитрия Донского стояла тишина... Над русским станом полыхала далекая и зловещая зарница. Есть между двумя станами — между народом и интеллигенцией — некая черта, на которой сходятся и сговариваются те и другие. Такой соединительной черты не было между русскими и татарами, между двумя станами, явно враждебными; но как тонка эта нынешняя черта — между станами, враждебными тайно!»..[57]

И вечный бой! Покой нам только снится
  Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
  И мнет ковыль...

«Идейной формой русской интеллигенции является ее *отщепенство*, ее отчужденность от государства и враждебность ему» (П. Б. Струве.)[58]

Мы, сам друг, над степью в полночь стали:
Не вернуться, не взглянуть назад...

«Не раз уже сотрясала землю подземная лихорадка, и не раз уже мы праздновали свою немощь перед мором, трусом, гладом и мятежом. Какая же страшная мстительность дол-

жна была за столетия накопиться в нас? Человеческая культура становится все более железной, все более машиной; все более походит на гигантскую лабораторию, в которой готовится месть стихии: растет наука, чтобы поработить землю; растет искусство — крылатая мечта — таинственный аэроплан, чтобы улететь от земли; растет промышленность, чтобы люди могли расстаться с землею. Всякий деятель культуры — демон, проклинающий землю, измышляющий крылья, чтобы улететь от нее. Сердце сторонника прогресса дышит черною местью на землю, на стихию, все еще не покрытую достаточно черствой корой; местью за все ее трудные времена и бесконечные пространства, за ржавую, тягостную цепь причин и следствий, за несправедливую жизнь, за несправедливую смерть. Люди культуры, сторонники прогресса, отборные интеллигенты — с пеной у рта строят машины, двигают вперед науку, в тайной злобе, стараясь забыть и не слушать гул стихий земных и подземных, пробуждающийся то там, то здесь», — пишет Блок в статье «Стихия и культура», прибавляя, что «есть другие люди, для которых земля не сказка, но чудесная быль, которые знают стихию и сами вышли из нее, — 'стихийные люди'».[59] Конечно, этим людям не понесешь в качестве лучшего дара, лучшего нажитка мировой культуры обанкротившийся уже в те годы социализм. Не только «стихийным людям земли» — крестьянам. Уже и подлинные революционеры-пролетарии поняли, что социализм, по крайней мере в его марксистском обличьи, не идеология пролетариата, а идеология, направленная *против* пролетариата. В 1905 году была переиздана в Женеве книга бывшего марксиста, русско-польского революционера Махайского-Вольского «Умственный рабочий», в которой автор, исходя из марксистских же принципов, доказал, что марксизм, марксистский социализм, в частности, в учении о квалифицированном труде, как «потенцированном», умноженном труде абстрактном (подмененном затем у Маркса понятием труда «необученного»), стремится не к уничтожению эксплуатации, а к гегемонии интеллигенции: «Он нападает лишь на одну из форм... неволи, на господство класса *капиталистов...*» Интеллигенции же обеспечивается, по существу, не только привилегированное положение, неизмеримо лучшее материальное вознаграждение труда, но и этому

«имущему меньшинству и только его потомству — владение всеми богатствами и трудом веков, всем наследием человечества, всею культурой и цивилизацией».[60] В те годы Ленин отказывал пролетариату даже в праве на создание собственными силами своей идеологии: пролетарскую, социалистическую идеологию могла принести пролетариату только интеллигенция: «...социал-демократического сознания у рабочих и *не могло быть*. Оно могло быть принесено только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское, т. е. убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. п. Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией. ...И в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции.»[61] Следовательно, и над «гегемоном» современного революционного движения — пролетариатом — должна стоять нянька или гувернантка — марксистская интеллигенция. Что уж тут говорить о крестьянстве... Нет, конечно, не материализм-атеизм-марксизм, как новую непререкаемую религию, можно считать мостиком, соединяющим интеллигенцию и народ. И не эстетские побрякушки, не религиозно-философские разглагольствования: «все это становится модным, уже модным — доступным для приват-доцентских жен и для благотворительных дам. А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, людей вешают, а в стране — реакция, а в России — жить трудно, холодно, мерзко...»[62] Зачем же это «идиотское мелькание слов», когда «мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в *сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа*. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на легком, кружевном аэроплане, высоко над землею; а под нами — громыхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы».[63] Так писал в те годы Блок. И в его

страхе перед машиной, перед индустриальным прогрессом, перед грядущим взрывом социальной стихии не было реакционного руссоизма. В те годы началось увлечение многих лучших представителей русской литературы «Философией Общего Дела» Н. Ф. Федорова. Не отвлеченная философская мысль, как бы возвышенна она ни была, не эстетствующая литература, как бы она ни была утонченна. «К вечной заботе художника о форме и содержании присоединяется новая забота *о долге*, о должном и не должном в искусстве. Вопрос этот — пробный камень для художника современности», — пишет Блок, мучительно сомневаясь в самой «*необходимости и полезности художественных произведений*».[64] «Ответит *Россия... если соблаговолит* ответить, — замечает Блок.—Ведь за 'сермяжным горем' — торжественными неурожаями и соболезнующей интеллигенцией скрывается еще лукавая улыбка, говорящая: 'мы — крестьяне, а вы — господа, мы у себя в деревне, а вы у себя в городе!'»[65] И в философии нужно теперь не уродливое мельтешение слов, а, по словам С. Н. Булгакова: «Загадку жизни разрешает не тот, кто с высоты 'отрешенного' идеализма холодно озирает нашу жизнь, где высокое перемешано с низким и добро со злом, и не тот, кто в этой борьбе забывает о материальных началах, во имя которых эта борьба ведется и без которых жизнь превратилась бы в бессмысленную игру стихий и страстей, а тот, кто в мысли и в жизни осуществляет начала *действенного идеализма*, кто, по слову Вл. Соловьева,

Цепь золотую сомкнет, и небо с землей сочетает».[66]

Н. Ф. Федоров это сочетание «неба с землей» проектировал даже чисто технически, особенно еще и потому, что наша Россия — страна сельскохозяйственная по-преимуществу: «Сельское хозяйство, чтобы достигнуть обеспечения урожая, не может ограничиться пределами земли, ибо условия, от которых зависит урожай или вообще растительная и животная жизнь на земле, не заключается только в ней самой. Весь метеорический процесс, от коего непосредственно зависит урожай или неурожай, весь теллуро-солярный процесс должен войти в область сельского хозяйства».[67] В нынешнем положении человеческого «небратства» человек, создавший технику, человек, творец прогресса, не является господином техники, но рабом ее, не свободным творцом прогресса, но

винтиком в его механизме. Ибо он основывается, прогресс теперешний, на отъединении возгордившейся самости от братьев своих, а, следовательно, приводит неизбежно к крови, к борьбе — классовой и сословной, национальной и мировой. Нужно дать человечеству огромную и для всех одинаково важную задачу — Общее Дело: дело борьбы со смертью и преодоления ее — и дело воскрешения отцов и братьев наших. «Жить нужно не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со всеми и для всех».[68] И задача борьбы со смертью — вовсе не утопична: ведь сейчас все силы изобретательского гения человеческого направлены на орудия истребления преимущественно, а если их направить на преодоление смерти, то сколь великих результатов можно при этом добиться! Федоров подходит к своим проблемам не как метафизик, а как технолог, врач, агроном, метеоролог. Не метафизирует, а проектирует. Чистый религиозный материализм! И в основе всего — земля, как всеобщая мать, но и как небесное тело. И вот, поэтому-то, при отрыве от матери земли, так мучителен разлад человеческий — внутренний и внешний: «разлад внутренний кроется в разладе внешнем, в отделении ученого и интеллигентного классов от народа. Знание, лишенное чувства, будет знанием причин лишь вообще, а не исследованием причин неродственности; ум, отделенный от воли, будет знанием зла без стремления искоренить его и знанием добра без желания его водворить; т. е. будет лишь признанием неродственности, а не проектом восстановления родства».[69] Воскрешение отцов наших — воссоздание первородного единства исторического процесса, нарушенного первородным грехом горделивого самоотъединения. Восстановление органической и гармоничной жизни — как человеческой, так и природной, нарушенной урбанистической демонической и смертоносной цивилизацией: «Город есть совокупность небратских состояний».[70]

Что же касается обожения земли, то эта идея, и через Достоевского, и через учение о Софии-Премудрости Божией Владимира Соловьева — издавна была близка автору «Стихов о Прекрасной Даме». И вот — Россия-София-Народ-Мать Сыра Земля —— все это сливается в одно целое с Общим Делом Федорова, с исконно-русским славянофильствующим народ-

ничеством — и образуют тот фон, который должен был стать наиболее благоприятствующим для появления большого и умного поэта из народа — Николая Клюева. Близкий друго-враг, соратник и противник Блока, Андрей Белый, вспоминал впоследствии: «Следующая стадия: — соединение философии Федорова (воскресения индивидуального) с углубленной проблемой народничества, воскресения народного Коллектива, как хора, оркестра...» — так понимал он задачи подлинного символизма.[71] Клюев был необходим — Клюев явился:

«Вот что пишет мне один молодой крестьянин дальней северной губернии, начинающий поэт, — пишет в своей статье «Литературные итоги 1907 года» Блок, — привожу выдержки из его письма, так как считаю его документом большой важности. Начинается все письмо с комплиментов и приятностей насчет 'райских образов' моих стихов. Но дальше уже идет другое:

«Простите мою дерзость, — пишет автор письма, — но мне кажется, что если бы у нашего брата было время для рождения образов, то они не уступали бы вашим. Так много вмещает грудь строительных начал, так ярко чувствуется великое окрыление!.. И хочется встать высоко над Миром, выплакать тяготенье тьмы огненно-звездными слезами и, подъяв кропило очищения, окропить кровавую землю...

Вы — господа, чуждаетесь нас, но знайте, что много нас, неутоленных сердцем, и что темны мы только, если на нас смотреть с высоты, когда все, что внизу, кажется однородной массой, но крошка искренности, и из массы выступают ясные очертания сынов человеческих. Их души, подобные яспису и сардису, их ребра, готовые для прободения. ...Наш брат вовсе не дичится 'вас', а попросту завидует, а если и терпит вблизи себя, то только до тех пор, покуда видит от 'вас' какой-либо прибыток.

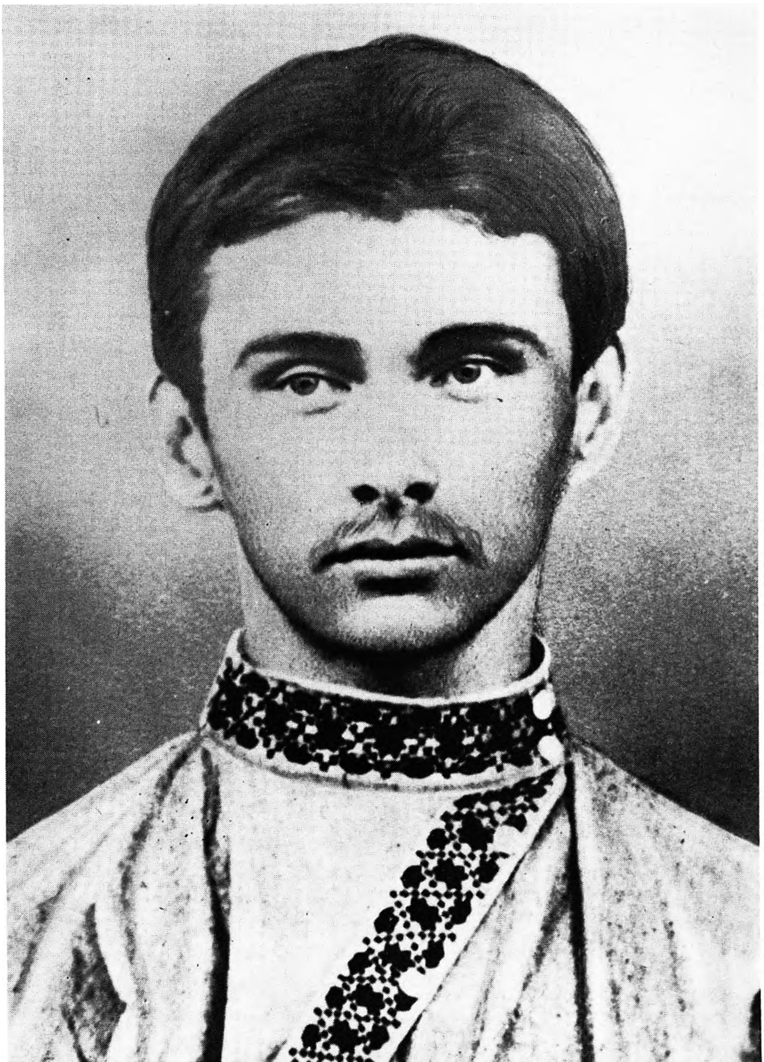
О, как неистово страдание от 'вашего' присутствия, какое бесконечно-окаянное горе сознавать, что без 'вас' пока не обойдешься! Это-то сознание и есть то 'горе-гореваньице' — тоска злючая-клевучая, кручинушка злая, беспросветная, про которую писали Никитин, Суриков, Некрасов, отчасти Пушкин и др. Сознание, что без 'вас' пока не обойдешься, — есть единственная причина нашего духовного с 'вами' несближения, и редко, редко встречаются случаи

холопской верности нянь или денщиков, уже достаточно развращенных господской передней. Все древние и новые примеры крестьянского бегства в скиты, в леса-пу́стыни, есть показатель упорного желания отделаться от духовной зависимости, скрыться от дворянского вездесущия. Сознание, что 'вы' везде, что 'вы' 'можете', а мы 'должны', вот необоримая стена несближения с нашей стороны. Какие же причины с 'вашей'? Кроме глубокого презрения и чисто телесной брезгливости — никаких. У прозревших из 'вас' есть оправдание, что нельзя зараз переделаться, как пишете вы, и это ложь, особенно в ваших устах, — так мне хочется верить. Я чувствую, что вы, зная великие примеры мученичества и славы, великие произведения человеческого духа, обманываетесь в себе... Так, как говорите вы, может говорить только тот, кто не подвел итог своему миросозерцанию.

Но из ваших слов можно заключить, что миллионы лет человеческой борьбы и страдания прошли бесследно для тех, кто 'имеет на спине несколько дворянских поколений'».[72]

(«Письмо написано в ответ на мои очень отвлеченные оправдания в духе 'кающегося дворянина'», — поясняет в подстрочном примечании Блок). В письме к матери, 27 ноября 1907 г., Блок пишет: «Забавно смотреть на крошечную кучку русской интеллигенции, которая в течение *десятка* лет сменила кучу миросозерцаний и разделилась на 50 враждебных лагерей, и на многомиллионный народ, который *с XV века* несет одну и ту же однообразную и упорную думу о Боге (в сектантстве). Письмо Клюева окончательно открыло глаза. Итак, мы правильно сжигаем жизнь, ибо ничего от нас не сохранит 'играющий случай', разве ту большую красоту, которая теперь может брезжить перед нами в похмелье, которым поражено *все* русское общество, умное и глупое».[73]

Переписка не ослабевала. В записных книжках Блока то и дело мелькает имя Клюева: 21 сентября 1908: «Письма Клюева...»; 28 сентября 1908: «Народное, письма Клюева...»; конец ноября 1908: «Письмо Клюева о моих стихах».[74] Письмо это сильно взволновало Блока, и он сообщает о нем матери в двух письмах: «Всего важнее для *меня* — то, что Клюев написал мне длинное письмо о 'Земле в снегу', где упрекает меня в интеллигентской порнографии (не за всю книгу, конечно, но, например, за 'Вольные мысли'). И я поверил ему



Николай Клюев (Из собрания Г. Мак Вэя) (1904-1906 гг.?)

в том, что *даже я*, ненавистник порнографии, подпал под ее влияние, будучи интеллигентом. Может быть, это и хорошо даже, но еще лучше, что указывает мне на это именно Клюев. Другому бы я не поверил так, как ему. Письмо его *вообще* опять настолько важно, что я, кажется, опубликую его».[75] Через два-три дня Блок опять возвращается к этому же письму Клюева: «Клюев мне совсем не только про последнюю 'Вольную мысль' пишет, а про *все* (я прочту тебе его письмо, когда приеду...) и еще про многое. И не то, что о 'порнографии' именно, а о более сложном чем-то, что я, в конце концов, в себе еще люблю. Не то что я считаю это ценным, а просто это какая-то часть меня самого. Веря ему, я верю и себе. *Следовательно* (говоря очень обобщенно и не только на основании Клюева, но и многих других моих мыслей): между 'интеллигенцией' и 'народом' есть 'недоступная черта'. Для *нас*, вероятно, самое ценное в них враждебно, то же — для них. Это — та же пропасть, что между культурой и природой, что ли. Чем ближе человек к народу (Менделеев, Горький, Толстой), тем яростней он ненавидит интеллигенцию. На эту тему приблизительно я и пишу сегодня реферат для религиозно-философского собрания 11 ноября, во вторник».[76] В письме без даты Клюев писал о «Вольных мыслях»:

« Отдел 'Вольные мысли' — мысли барина-дачника, гуляющего, поющего, стреляющего за девчонками 'для разнообразия' и вообще 'отдыхающего' на лоне природы. Никому это не нужно, кроме Чулкова, коему посвящены эти 'Мысли'. ...

Люди, считающие себя лучшими в царствии, светом родной земли, духовно не выше публики, выведенной в 'Царе Голоде' в картине 'Суд над голодными', дела рук их ни на волос не устраняют лжи жизни — безобразия отношений человеческих, а прекрасному даже вредят...». Разбирая сборники «Нечаянная Радость» и «Земля в снегу», Клюев обвиняет Блока в присущих интеллигенции аморализме и индивидуализме:

«Многие стихи из Вашей книги похабны по существу, хотя наружно и прекрасны. ...Смело кричу Вам: не наполняйте чашу Духа своего трупным ядом самоуслаждения собственным я — я!»

О «Земле в снегу»:

«Верю, что будет весна, найдет душа свет солнца правды, обретет великое 'настоящее', а пока надтреснутый колокол пусть звенит и поет и вместе с вьюгой лесными тропами и оврагами, на огни родных изб, несется звон его — вспыхивает, как ивановский червячек в сумерках человеческих душ, отчего длиннее и кручиннее становится запевочка, крепче думушка сухотная неотпадная, голее горюшко голое, ярче и больнее ненависть зеленоглазая, изначальная ярость земли-матери, придавленной снегами до часа и дня урочного».[77])

Около 11 сентября 1908 года Блок получил от Клюева письмо, в которое было вложено другое письмо — литератору и редактору журнала В. С. Миролюбову, — с просьбой — Блоку — переслать это письмо Миролюбову в Париж. В письме Миролюбову были ответы на вопросы, знают ли крестьяне «его местности», «что такое республика, как они относятся к царской власти, к нынешнему царю, и какое настроение среди них».[78] Письмо так заинтересовало Блока, что он переписал его и включил большие выдержки из него в свою статью «Стихия и культура» (1908), и писал о нем своим друзьям Е. П. Иванову (13 сентября 1908) и Георгию Чулкову (18 сентября 1908): «Если бы ты знал, какое письмо было на днях от Клюева (олонецкий крестьянин, за которого меня ругал Розанов[79]). Про приезде прочту тебе. Это — документ огромной важности (о современной России — народной, конечно), который еще и еще утверждает меня в моих заветных думах и надеждах».[80] И Чулкову: «Очень много и хорошо думаю. Получил поразительную корреспонденцию из Олонецкой губерни от Клюева. Хочу прочесть Вам».[81]

«Только два-три искренних, освященных кровью слова революционеров неведомыми, неуследимыми путями доходят до сердца народного, находят готовую почву и глубоко пускают корни, так, например: 'земля Божья', 'вся земля есть достояние всего народа' — великое, неисповедимое слово... 'все будет, да не скоро', — скажет любой мужик из нашей местности. Но это простое 'все' — с бесконечным, как небо смыслом. Это значит, что не будет 'греха', что золотой рычаг вселенной повернет к солнцу правды, тело не будет уничтожено бременем вечного труда.

Наша губерния, как я сказал, находится в особых усло-

виях. Земли у нас много, лесов — тоже достаточно. Аграрно, если можно так выразиться, мы довольны...

Наружно вид нашей губернии крайне мирный, пьяный по праздникам и голодный по будням. Пьянство растет не по дням, а по часам, пьют мужики, нередко бабы и подростки. Казенки процветают, яко храмы, а хлеба своего в большинстве хватает немного дольше Покрова... Вообше мы живем как под тучей — вот-вот грянет гром и свет осияет трущобы земли»...[82]

И Блок, приводя эти места из письма Клюева в своей «Стихии и культуре», говорит о двух стихиях, подымающихся из поддонных глубин народа русского: о раскольниках и сектантах, с одной стороны, и разбойной вольнице, с другой. Обе он характеризует песнями, взятыми из того же письма Клюева: сектанты поют:

Ты любовь, ты любовь,
Ты любовь святая,
От начала ты гонима,
Кровью политая.

Вольница же распевает иные песни:

У нас ножики литые,
Гири кованые,
Мы ребята холостые,
Практикованные...
Пусть нас жарят и калят,
Размазуриков-ребят —
Мы начальству не уважим,
Лучше сядем в каземат...
Ах, ты, книжка-складенец,
В каторгу дорожка,
Пострадает молодец
За тебя немножко...

Комментируя это письмо, Блок заключает: «В дни приближения грозы сливаются обе эти песни: ясно до ужаса, что те, кто поет про 'литые ножики', и те, кто поет про 'святую любовь', — *не продадут друг друга,* потому что — стихия

с ними, они — дети одной грозы; потому что — земля одна, 'земля Божья', 'земля — достояние всего народа'. Распалилась месть Культуры, которая вздыбилась 'стальной щетиною' штыков и машин. Это — только знак того, что распалилась и другая месть — месть стихийная и земная. Между двух костров распалившейся мести, между двух станов мы и живем. Оттого и страшно: каков огонь, который рвется наружу из-под 'очерепевшей лавы'? Такой ли, как тот, который опустошил Калабрию, или это — очистительный огонь? Так или иначе — мы переживаем страшный кризис».[83]

В конце 1908 года и в 1909 году Блок особенно интересовался староверами и сектантами и неоднократно посещал их собрания. Так, М. М. Пришвин вспоминал об этом в 1918 году: «Мы одно время с Блоком когда-то подходили к хлыстам, я — как любопытный, он — как скучающий. Хлысты говорили: 'Наш чан кипит, бросьтесь в наш чан, умрете и воскреснете вождем'. Блок спрашивал: 'А моя личность?'».[84] В ночь 16-17 февраля 1909 года Блок записывает: «Поехать можно в Царицын на Волге — к Ионе Брихничеву. В Олонецкую губернию — к Клюеву. С Пришвиным поваландаться? К сектантам — в Россию».[85]

Эти годы — годы большого увлечения раскольниками и сектантами, в частности, хлыстами. Андрей Белый пишет о них роман «Серебряный голубь» (1909), пишут о них Л. Д. Семенов и А. М. Добролюбов, сами ушедшие в сектантство (второй даже секту свою собственную основал...), расстриженный священник-поэт и публицист-революционер Иона Брихничев, которому вскоре предстоит стать издателем журнальчиков «народной религии» «Новая Земля» и «Новое Вино», главной силой которых станет Клюев... Пишут о староверах и сектантах даже социал-демократы большевики, Бонч-Бруевич, например...

Весь или почти весь 1909 год Клюев, повидимому, живет у себя в деревне. 21 октября 1909 года Блок отмечает в записной книжке: «Надо написать еще... Клюеву...»[86] Затем, по всей вероятности, опять — странствования по Руси, а, может быть, и по Востоку... И — еще не перебродившие окончательно устремления к православию — и христовщине, революционному социализму — и восточной мистике, непротивленчеству злу — и анархическому буйству.

В 1911 году Клюев появляется и в Москве, и в Петербурге. Вид его поражает многих. «В эту нашу первую человеческую — магия 'Крестовых сестер' — Таврическую квартиру... забредет 'по пророчеству', 'ведомый рукой Всевышнего' Н. А. Клюев с показным игральным крестом на груди — 'претворенная скотина', имя, данное им А. И. Чапыгину, завистливой пробковой замухри: завистливой: 'почему говорят не о нем, чем он хуже Замятина?' Клюев, преувеличенно окая по-олонецки, 'величал' меня Николай Константинович. Я догадался: 'Рерих' — и сразу понял и оценил его большую мужицкую сметку, игру в небесные пути. Раздирая по-птичьему рот, он божественно вздыхал. Повторяет: 'так вы не Рерих?'»[87] Так вспоминал, по обычаю своему сильно шаржируя, Алексей Ремизов. Сергей Есенин, также весьма пристрастный свидетель, рассказывал впоследствии Мариенгофу, как нужно играть «последнего поэта деревни»: «Вот и Клюев... так. Он маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел на кухню: 'Не надо ли чего покрасить?'... И давай кухарке стихи читать. А уж известно: кухарка у поэта. Сейчас к барину: 'Так-де и так'. Явился барин. Зовет в комнаты — Клюев не идет: 'Где уж нам в горницу: и креслица-то барину перепачкаю и пол вощеный наслежу'. Барин предлагает садиться. Клюев мнется: 'Уж мы постоим'. Так, стоя перед барином на кухне, стихи и читал»...[88] Какая-то доля правды во всех этих рассказах есть, но как связать их с характером клюевской переписки с Блоком — и с рассказом Блока о первом посещении поэта Клюевым. Вот запись в дневнике поэта — 17 октября 1911: «*Клюев* — большое событие в моей осенней жизни. Особаченный Мережковскими, изнуренный приставаньем Санжарь,[89] пьяными наглыми московскими мордами 'народа'..., спутанный, — я жду мужика, мастеровщину, П. Карпова[90] — темномордое. Входит — без лица, без голоса — не то старик, не то средних лет (а ему — 23?). Сначала тяжело, нудно, я сбит с толку, говорю лишнее, часами трещит мой голос, устаю, он строго испытует или молчит. ...Входит Кузьмин-Караваев[91] — полусумасшедший, ...говорит еще дико. Их перебрасыванье словами с Клюевым ('господин, ищущий власти', — а *не имущий власть* — 'царь всегда на языке, готов'). Только в следующий раз Клюев один, часы нудно, я измучен, — и

вдруг бесконечный отдых, его нежность, его 'благословение', рассказы о том, что меня поют в Олонецкой губернии, и как (понимаю я) из 'Нечаянной Радости' те, благословляющие меня, сами не принимают ничего полусказанного, ничего грешного. Я-то не имел права (веры) сказать, что сказал (в 'Нечаянной Радости'), а они позволили мне: говори. И так ясно и просто в первый раз в жизни — что такое жизнь Л. Д. Семенова и даже — А. М. Добролюбова. Первый — Рязанская губ., 15 верст от имения родных, в семье, крестьянские работы, никто не спросит ни о чем и не дразнит (хлысты, но он — не). 'Есть люди', которые должны избрать этот 'древний путь', — 'иначе не могут'. Но это — не лучшее, деньги, житье — ничего, лучше оставаться в мире, больше 'влияния' (если станешь в мире 'таким'). 'И одежду вашу люблю, и голос ваш люблю'. — Тут многое не записано, запамятовано, я был все-таки рассеян, но хоть кое-что. Уходя: 'Когда вспомните обо мне (не внешне), — значит, я о вас думаю'»...[92]

И через день, запись 19 октября: «Злиться я не имею права, потому что слышал кое-что от Клюева, потому что обеспечен деньгами и могу не льстить и потому, что сам нисколько не лучше тех, о ком пишу».[93]

В конце 1911 года появляется в Москве (с датой на титульном листе — 1912) первая книга стихов поэта «Сосен перезвон»: «напечатана радением купца Знаменского», как рассказывает в своей автобиографической заметке Клюев. Книга имела в литературных кругах, да, отчасти, и у широкой публики большой успех, так что уже в 1913 году потребовалось второе ее издание. Книгу предваряет предисловие Валерия Брюсова, из рук вон плохо понявшего поэта: для московского мэтра он — «самородок», плохо отесанный, но занятный поэт из деревни: «Поэзия Н. Клюева похожа на... дикий, свободный лес, незнающий никаких 'планов', никаких 'правил'. Стихи Клюева вырастали так же 'как попало', как вырастают деревья в бору». Впрочем, и через четыре года маститый П. Сакулин в «Народном златоцвете» писал, что Клюев — от сохи, живет постоянно в деревне, занимается в основном хлебопашеством...[94] Но и книга-то «Сосен перезвон» была, как уже сказано выше, посвящена не Брюсову, а «Александру Блоку — 'Нечаянной Радости'»... 5 декабря 1911 года

Блок отмечает в дневнике: «Письмо и книга Клюева»,[95] а на следующий день, 6 декабря: «Я над Клюевским письмом. *Знаю все, что надо делать:* отдать деньги, покаяться, раздарить смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу. Стишок дописал — 'В черных сучьях дерев'».[96] Это стихотворение, датированное 6 декабря 1911, — «Унижение»:

В черных сучьях дерев обнаженных
Желтый зимний закат за окном.
(К эшафоту на казнь осужденных
Поведут на закате таком). ... —

может быть, оно перекликается, в какой-то мере, не по тону, а по некоторым «затактам», с клюевским, из «Сосен перезвона»:

Я надену черную рубаху,
И вослед за тусклым фонарем
По камням двора пройду на плаху
С молчаливо ласковым лицом. ...

Во всяком случае, в блоковском стихотворении, дописанном в день дневниковой записи о Клюеве, есть какое-то внутреннее отталкивание от клюевского... И — опять на другой день 7 декабря: «Переписка письма Клюева. Письма Городецкому и Анне Городецкой. И посылка им послания Клюева...»[97] 9 декабря: «Послание Клюева все эти дни — поет в душе. Нет, рано еще уходить из этого прекрасного и страшного мира».[98] 14 декабря: «Ни с кем ничего не договорить, устал, сплю плохо, дилетантски живу, забываю и письмо Клюева; шампанское, устрицы, вдохновения, скуки; не жалуюсь, но и не доволен».[99] А 17 декабря — некое «покаяние»: «Писал Клюеву: 'Моя жизнь во многом темна и запутана, но я не падаю духом'. Женщины (как-то 'вообще')».[100]

Трудно сказать, не почувствовал ли Блок в этом своем «духовном романе» с Клюевым, что со стороны последнего явно проскальзывают далеко не платонические нотки (напомним хотя бы «и одежду вашу люблю, и голос ваш люблю» — и весь конец записи Блока о словах Клюева при их

втором свидании; обратите также внимание на тон писем Клюева к мужчинам, писем, приведенных в следующей за этой статье Гордона Мак-Вэя), — но только в последующих записях уже чувствуется и известное отталкивание от Клюева. И его едва ли можно объяснить только возмущением «учительным» тоном последнего. Можно думать, что в том, как он, Клюев, «обручает раба Божия Александра рабе Божией России»,[101] как называл его «сладчайшим братом Александром»,[102] инстинктивно почувствовал Блок не только сектантско-олонецкую стилистику, а и нечто совсем иное. Тем более, что «обручения» эти и словеса о том, что Блока распевают в Олонецкой губернии, то и дело чередовались с обличениями и чуть ли не анафематствованиями:

«Одной ногой Вы стоите в Париже, другой же на 'диком бреге Иртыша...' Вы бежали к портному примеривать смокинг, в то же время посылая воздушный поцелуй и картузу и косоворотке».[103]

Но понимания полного этих элементов в отношении Клюева к нему у Блока, очевидно, не было, появились только какие-то смутные отталкивания, как от чего-то темного, давящего, да притом навязчиво-учительного. 23 декабря 1911 года Блок записывает: «Я пробыл у Мережковских от 4 до 8, видел и Зинаиду Николаевну, и Мережковского, и Философова. ...Я читал письмо Клюева, все его бранили на чем свет стоит, тут был приплетен и П. Карпов. Будто — христианство 'ночное', 'реакционное', 'соблазнительное'»...[104] И запись того же дня: *«Итак — сегодня: полное разногласие* в чувствах России, востока, Клюева, святости. ...» Разногласия — с Мережковскими и их кругом. Но — в какой-то мере — и с Клюевым. Недаром сразу же вслед за своими записями этого дня Блок переписывает в свой дневник «из письма М. П. Ивановой к маме (20 декабря):... пожалуйста не думайте, что я испугалась слов эшафот и т. п. и потому отношусь отрицательно к письму Клюева. Когда я начала читать, то мне очень понравилась красота образов и сравнений, но так от начала и до конца и была только *одна красота.* Из-за этой красоты и до сути не доберешься. Чужая душа — потемки,... но по письму могу сказать только, что поэт совсем закрыл человека. Видно, что он любит А-ра А., но

очень уж много берет на себя,*) предъявляя такие обвинения, угрозы, чуть ли не заклинания. Куда он зовет? Отдать все и идти за ним,**) и что же делать? Служить России? Но это ведь даже не Россия, а его *дикий бор* только, неужели истина только там?.. Перезвон красивых фраз, и А. А. принял это очень к сердцу только потому, что, вероятно, сам переживал разные сомнения, и вот в этой-то борьбе с самим собой гораздо больше Бога, чем в горделивой уверенности в своей правоте Клюева. Он был обижен смехом иронии и недоверия А. А. над дорогими ему вещами; но мне кажется, это был смех, чтобы заглушить в себе горечь и недовольство самим собой. Я думаю и надеюсь, что Бог, Который носит определенное название нашего Спасителя и Который даровал талант А. А., поможет ему в конце концов найти самому истинный путь к спасению себя и *других*, потому что А. А. понимает не одну только красоту, но и страдание.***) Удивляюсь, что Клюев, только написав А. А. разные обвинения и не зная даже, как их примет А. А., через несколько строчек уже дарует ему прощение; нет, не нравится мне это. ...У Клюева очень много гордости и самоуверенности, я этого не люблю...»[105] Запись в дневнике на следующий день (24 декабря 1911): «Сомневаюсь о Мережковских, Клюеве, обо всем. Устал — уже, как рано, сколько еще зимы впереди. Надо бы не пить больше».[106]

Выход книги «Сосен перезвон» сделал Клюева желанным гостем повсюду. А. Д. Скалдин рассказывает: «Мережковские и другие, стоявшие у кормила Религиозно-философского Общества, переживали тогда моду на 'людей от земли', из 'народной толщи'; тяготение к таким людям было и у Александра Александровича. К числу этих людей у Мережковских относили Пимена Карпова, Сергея Есенина, Николая Клюева и меня. Первые трое и в литературе и в жизни так и заявили, что они 'землю знают'».[107] Это свидетельство

---

*) Мое. *(Примечание А. А. Блока).*

**) NB. Это и я понял — *так* честно понять. *Примечание А. А. Блока).*

***) Так. Мережковские говорят тоже, что Клюев не понимает меня. «Разве вы любите одну красоту!» — воскликнул Мережковский. *(Примечание А. А. Блока).*

относится не только к 1915 году — году появления в Петербурге Есенина, — но и к более раннему периоду, так как Клюев появился у Мережковских много раньше... Умная и с зорким глазом профессиональной художницы Ольга Форш, в документальном повествовании «Сумасшедший Корабль», где Гаэтан — Блок, «Межпланетный Гастролер» — Андрей Белый, а Микула — Клюев, рассказывает, несколько сдвигая годы и сжимая сроки, что Клюев «стихи свои читал, как никто. Особенно врезался один раз, еще в веке прошлом (т. е. довоенном и дореволюционном, БФ). С подкрадкой, подползом, и вдруг всей мужицкой мощью, как конь кобылицу, покрыл все религиозно-философское собрание, сорвал с мест, завертел вертуном.

Я видел звука лик и музыку постиг,
Даря уста цветку, без ваших ржавых книг...

А изысканный президиум, чтобы иметь право презирать его дурманный вихрь, сам утратив давно язычески жаркую силу веры, как за последнее дерево над бездной, хватался за догматы. Без бабьей теплоты, одним интеллектом, бескровно тянулись на носочках, чтобы не опачкаться об разнузданную плоть земли, делали дыбки, как годовалые, перед своим собственным кружковым укрытым в комнате богом. Ему ставили тонюсенькую, источенную неестественным восковым червем свечечку. Минуя старую крепкую церковь, причащались и мазались миром у некоего пиджачника, от чего тетка пиджачника была в ужасе и восклицала зараз по-французски и с галлицизмом по-русски:

— Бог мой, да лучше мне помереть, как последний атеист, чем быть миропомазанной через нашего Кокó — être ointée par Coco!

И вот, помнится, 'они' председательствовали. А Микула, почитаемый ими за авангард антихристов, пробрался незванно-негаданно, да как грянет с кафедры на президиум и на всю залу:

Беседная изба — подобие вселенной.
В ней шолом — небеса, полати — млечный путь,
Где кормчему уму, душе многоплачевной
Под веретенный клир усердно отдохнуть.

Он топотал, ржал в великолепном вдохновении. Он взвихрил в зале хлыстовские вихри, вовлекая всех в действо 'беседной избы'. Он вызывал и восхищение, и почти физическую тошноту. Хотелось, защищаясь, распахнуть форточку и сказать для трезвости таблицу умножения.

Космос, не просветленный Логосом, предтеча Антихриста...»[108]

Эту темную поддонную тягость духа, думаю, вместе со смутно угадываемой густой тяготой хлыстовской эротической одержимости и гомосексуализма, — почуял Блок — и почуял больше, чем сами достаточно замутненные Мережковские. Через восемь лет, во «внутренней рецензии» на стихи Дмитрия Семеновского, Блок писал: «В родовом, русском — Семеновский роднится иногда с Клюевым,... черпая из одной с ним стихии; это как раз то, что мне чуждо в обоих, что приходится признать, с чем нельзя не считаться, но с чем, по-моему, жить невозможно: тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь. ...В этом мире нет места для страсти — она скоро превращается в чувственность...»[109] Но и ранее, конечно, Блок уже чувствовал это так же отчетливо и рвался к беседе о Клюеве с людьми совсем иной складки и иных настроений: «Руманов...,[110] записывает Блок 11 января 1912 г., — интереснейший и таинственнейший человек, с которым жаль расставаться; какой-то *особый* (еще непонятно, почему) интерес и острота разговора с ним на многие и многие темы (Клюев, какие-то еще мужички,... Сытин — все вместе)...»[111] Но общение с Клюевым не прекращается и дальше, о чем свидетельствуют записи последующих лет: 7 сентября 1912: «Вечером — Клюев, мама, Женя.[112] Клюев ночует».[113] 8 сентября: «Утро с Клюевым».[114] 25 февраля 1913: «Телефоны Клюева и Жени».[115] 4 марта 1913: «С утра стал разбирать записные книжки — прошлое дохнуло хмелем. ... Потом Клюев, *очень хороший*, рассказывал, как живет».[116]

Но прежней духовной близости уже нет. Блок отчетливо сознает, что его творческий и жизненный путь — и творческий и жизненный путь Клюева — пути разные, не могущие слиться воедино. В 1912 году Клюев — основная идейная и творческая сила в журналах расстриженного за склонность к старообрядчеству и сектантству, а также к народническому

социализму священника Ионы Брихничева — «Новая Земля» и «Новое Вино». В «Новой Земле» Клюев печатает много своих стихотворений, та же «Новая Земля» печатает брошюрки стихов Клюева «Братские песни» («Песни голгофских христиан»), 1912 (16 стр.), и «Лесные были», 1912 (тоже 16 стр). В 1912 же году выходит «книга вторая» стихов Клюева «Братские песни», со вступительной статьей В. Свенцицкого, в издании того же журнальчика «Новая Земля», но уже в весьма расширенном объеме (XIV + 64 стр.). В начале следующего 1913 года, в издательстве К. Ф. Некрасова, в той же Москве, выходит «третья книга» Клюева — «Лесные были», уже в более полном виде (78 стр.). Клюев — желанный гость не только в таких журналах, как «Нива», «Новая Жизнь», «Современник», «Современный Мир», но и в реформированной П. Б. Струве и Брюсовым «Русской Мысли», в народнических «Заветах» Иванова-Разумника и в изысканных «Аполлоне» и «Гиперборее». Его печатают в альманахах, включают его стихи в антологии — популярность его растет не по дням, а по часам. Мы уже видели, как встретили первую книгу Клюева, в частности, Гумилев. В предисловии к «Братским песням» В. Свенцицкий, литератор и активный сотрудник «Новой Земли», писал: «В области человеческого духа бывают явления, которые почти невозможно подвести под обычные общепринятые понятия. Творчество Николая Клюева принадлежит именно к числу таких явлений. Назвать его: 'художником', 'поэтом', 'писателем', 'певцом' — значит сказать правду и неправду. Правду — потому что он 'художник', и 'поэт', и 'писатель', и 'певец'. — Неправду — потому, что он по своему содержанию бесконечно *больше* всех этих понятий. ... 'Песни' Николая Клюева — *это пророческий гимн Голгофе...* В них раскрывается вся полнота нового 'голгофского' религиозного сознания, не только мученичество, не только смерть — но победа, и *воскресение.* ...Здесь уже не только литература, не только 'стихи' — здесь новое религиозное *откровение...*»[117] В таком же приподнятом декламационном стиле написано все предисловие... И вот издатель, Иона Брихничев, в письме от 12 августа 1912 года, просил Блока прислать для первого номера журнала «Новое Вино», издаваемого взамен запрещенной цензурой «Новой Земли», отзыв (рецензию или

критическую заметку) о «Братских песнях» Клюева, которым и он придавал «огромное религиозное значение», и высказаться по поводу программы нового журнала.[118] Блок отвечал 26 августа: «Я не враг Вам, но и не Ваш. Весь мир наш разделен на клетки толстыми переборками: сидя в одной ,не знаешь, что делается в соседней. Голоса доносятся смутно. Иногда по звуку голоса кажется, что сосед — близкий друг; проверить это не всегда можешь. Пробираться сквозь толщу переборки невозможно. Делаешь, сидя в своей клетке, одинокое дело: иногда узнаешь, что это дело где-то, вне поля моего зрения, принесло плод. Точно так же узнаешь дело соседа, чей голос казался родным, принесло плод. Все эти узнавания отрывочны, недостаточны, скудны. Все это говорю я совсем не с отчаянием; хочу показать только, почему мне кажется невозможным делать *общее* дело с Вами, с кем бы то ни было! Не говорю даже и 'навсегда', — но теперь так. Правда в том для меня..., что чем лучше я буду делать свое одинокое дело, тем больший принесет оно плод. ...Это не значит, что в России, например, нет такого *четвертого* сердца, которое бы слышало биение трех сердец (скажем, клюевского, Вашего и моего) как одно биение. Ваша вера так велика, что из подобных фактов (а они существуют, я не сомневаюсь в этом) Вы можете делать немедленные заключения, строить на них. — Для меня же это только разрозненные факты, и я всегда могу думать *меньше:* Вы, Клюев, я, кто-нибудь четвертый с Волги, из Архангельска, с Волыни — все равно, — все разделены, все говорят на разных языках, хотя, может быть, иногда понимают друг друга. Все живут по-своему. Может быть, я говорю так потому, что соединение и связь мыслю такими несказанными и громадными, какие редко воплощаются в мире. Но ведь все великое редко воплощается в мире. ...Во всяком случае, говорю это Вам не с тоской. Говорю к тому, чтобы показать, почему, любя Клюева, не нахожу ни пафоса, ни слова, которые передали бы третьему (читателю 'Нового Вина') нечто от этой моей любви, притом передали бы так, чтобы делали единым и его, и Клюева, и меня. Все остаемся разными. Теперь я, насколько умел, показал Вам 'тенденцию' своей души. Все более укрепляясь в этих мыслях, я все более стремлюсь к укреплению формы художественной, ибо для меня (для

моего 'я') она — единственная защита. Вы же (т. е. вся 'Новая Земля'), по-моему, пренебрегаете формой, как бы надеясь, что души людей, принявших Ваше содержание, сами станут формами, его хранящими. Я и об этом не сужу, — не знаю, может или не может быть так. Говорю это опять-таки для того, чтобы показать, как различны наши приемы. Так же различны, как далеки друг от друга в *настоящее* время искусство и люди. Делаю вывод: на художническом пути, как мне и до сих пор думается, могу я сделать больше всего. Голоса проповедника у меня нет. Потому я один. Так же не с гордостью, как и не с отчаянием говорю это, поверьте мне».[119]

Пути разделились. Оставались по-прежнему литературные отношения, но Блок окончательно осознал, что его отношение к жизни и поэзии, Богу и России, народу и творчеству — никак не могут даже сблизиться с теми путями, нередко извилистыми и путанными, но в основном своем направлении целенаправленными на «Аввакумову» дорогу, какими шел, ощупью и спотыкаясь, но упорно шел Клюев.

Годы философских и религиозных исканий — и блужданий, литературных поисков и театральных находок, годы расцвета русского балета и русской театральной живописи, годы кризиса символизма и первых выступлений русского футуризма — будетлян «Гилеи» — эти годы были и годами неославянофильских настроений, интереса к исконно-русской старине, умиленного радования вновь открываемым красотам русского прошлого. В 1907 году впервые звучит на сцене Мариинского театра лучшее создание русского оперного искусства — «Сказание о Невидимом Граде Китеже и Деве Февронии» Римского-Корсакова, на весь мир гремит голос Шаляпина, великого пропагандиста гениальных народных музыкальных драм Мусоргского — «Бориса Годунова» и «Хованщины». Молодой Стравинский — в Париже и дома — омузыкаливает русские «Прибаутки», русскую волшебную сказку — в «Жар-Птице» и — вместе с Александром Бенуа — гофманизирует русский балаган и русский простонародный лубок в «Петрушке». Рерих, не только художник, но и литератор, пишет и маслом и словом половецкие степи и св. Прокопия, корабли неведомые молитвой напутствующего, старого Нередицкого Спаса и варяго-словенскую старь. П. Му-

ратов, Евгений Трубецкой, искусствоведы, поэты, художники, богословы пишут восторженные гимны русской древней иконописи, архитектуре старорусских храмов. Алексей Ремизов пишет свои затейные «Посолонь» и «Колобок — вещь темную». Появляются и подлинные крестьянские поэты, не доморощенные Белоусовы да Дрожжины, а поэты, читая которых уже не нужно было делать скидку на их мужицкое происхождение. В 1910 году выходит первая книжка стихов курского крестьянина Пимена Карпова, в 1911 — тверского крестьянина Сергея Клычкова. Будущий коммунист, чуть ли не рюрикович родом, Сергей Городецкий культивирует в те годы поверхностно-блестящий, оперно-балетный «русский стиль» с Ярилами, Ладами да Барыбами, собирает вокруг себя деревенских поэтов.

«Клюев поехал ...в Петербург и успел там прогреметь, — вспоминает В. Ф. Ходасевич, — Городецкий о нем звонил во все колокола».[120] Сам Городецкий писал в 1926 году: «К тому времени он (Клюев. БФ) уже был известен в наших кругах. Деревенская идеалистика дала в нем, благодаря его таланту, самый махровый сгусток. Даже трезвый Брюсов был увлечен им».[121] Появляется Клюев и на башне у Вячеслава Иванова, и на собраниях петербургского религиозно-философского общества (колоритную картинку одного из выступлений Клюева в этом обществе, нарисованную Ольгой Форш, я привел несколько раньше). Забыто давно то время, когда В. В. Розанов называл цитированное Блоком письмо Клюева «смешным письмом бывшего дворового человека».[122] Теперь Клюев — повсюду и всегда — желанный гость. «Клюев, попавший на это собрание случайно, — пишет А. М. Ремизов, — он всегда попадал 'случайно', куда ему нужно было, представлял 'святого человека'. Он одинаково мог представлять и не 'святого', появляясь в смокинге с подводкой глаз в 'Бродячей Собаке'. А в этот вечер 'святой' человек предстоял на пиру у 'мытарей и грешников': скорбно потупив глаза, правой рукой касаясь своего старинного серебряного наперсного креста — крест поверх синей поддевки — умильно и проникновенно, побеждая свою голосовую сушь, 'вопрошал', подобно Кирику, мужа премудра и своязычна: П. Е. Щеголев переходил на персидский — таков уж обычай в конце юбилейных да и не юбилейных вечеров. 'А скажите, Павел Елисеевич, — окая вопрошал Клюев, — Евреинов Николай Николаевич из евреев бу-

дут?' Щеголев потупился, как бы раздумывая, и протомив Клюева — Клюев уж начал было: 'и фамилия такая'... — разразился неудержимым смехом...»[123] Это — о собрании у П. Е. Щеголева — в память вологодской ссылки хозяина, Ремизова и других. Рассказ по-ремизовски стилизованный и, конечно, переиначенный, но характерный. Клюев повсюду, где собирается столичная интеллигенция, и он всюду — свой и чужой. Огромная начитанность Клюева поражает Иону Брихничева: «Клюев своим необычайным духовным развитием обязан своей пытливости и книгам».[124] Но не только простоватого И. П. Брихничева поражает ум и начитанность Клюева. Его философской осведомленности поражался покойный С. А. Алексеев-Аскольдов. Его, как мы видели, чтил необычайно Свенцицкий. Акмеисты делали на него ставку. Много лет спустя гениальный Никос Казанцакис, в письме 26 июня 1928 года, называл Клюева «великим мистическим поэтом, христианином».[125] Мы видели, как расценивали Клюева Блок и Гумилев, Городецкий и Ольга Форш, Андрей Белый и Мандельштам — такие совсем несхожие друг с другом. Заметили Клюева и наиболее приметливые из большевиков: «Звезда» отозвалась на появление книг «народного поэта», литературной беседой Ю. Каменева, посвященной специально Клюеву.[126]

Вторая книга стихов — «Братские песни» — книга значительно более своеобычная и более совершенная по форме, нежели первая книга поэта. Некоторые стихотворения ее, как уже сказано мимоходом раньше, заставляют пристально вчитаться и в забытую, но подспудно живущую поэзию русского раскола и сектантства. Недаром многие из «радельных» и «братских песен» написаны не п о э т о м — Клюевым, а Д а в и д о м хлыстовского Корабли — братом Николаем. И как много общего в «радельных» песнях поэта — и в духовных песнопениях хлыстов и скопцов:

Царство ты, Царство, духовное Царство!
Во тебе во Царстве — благодать великая:
Праведные люди в тебе пребывают.
Они в тебе живут и не унывают,
На Святого Духа крепко уповают ...
...В том ли во Царстве — сады превеликие;
Во тех ли во садах — древа плодовитые. ...

...Растите ж вы, древушки, и не засыхайте,
Белыми цветочками всегда расцветайте;
Вы цветы цветите до Царства Небесного,
Будьте вы, древушки, первые во саде;
Будьте во главе во Царстве Небесном,
Будьте вы любимы Отцу и Сыну,
Отцу и Сыну и Святому Духу![127]

Обожествление земли, как Богородицы; «христовщина» — корабль, вся община верных — крины райские, древа Сада-Царства Отчего. Именно в то время так сильно звучит эта идея — идея Земли-Богородицы, идея нетленной Души Мира — Софии Премудрости Божией, как и идея Града Невидимого. «София есть Великий Корень целокупной твари, ...которым тварь уходит во внутри-Троичную жизнь и через который она получает себе Жизнь Вечную от Единого Источника Жизни; София есть первозданное естество твари, творческая Любовь Божия... ...Идеальная личность мира. Образующий разум в отношении к твари, она — образуемое содержание Бога-Разума, 'психическое содержание' Его, вечно творимое Отцом через Сына и завершаемое в Духе Святом: Бог мыслит *вещами*...»[128] Так писал о. Павел Флоренский (когда-то, около 1905 г., близкий к кругу о. Ионы Брихничева, Вл. Эрна и Свенцицкого, с которыми он и основал «Союз христианской борьбы»,[129] — следовательно, близкий и Клюеву...). В «Философии хозяйства» С. Н. Булгаков «душу мира» прямо именует «Софией»[130] — и притом, вслед за Достоевским, сопрягает «Софию» с Матерью Сырой Землей. «А по-моему, — говорит в «Бесах» Мария Тимофеевна Лебядкина, — Бог и природа есть все одно... ...А тем временем и шепни мне... одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: 'Богородица что есть, как мнишь?' — 'Великая Мать, отвечаю, упование рода человеческого'. — 'Так, говорит, Богородица — Великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть...»[131] Старый князь в «Китеже» Римского-Корсакова-Бельского (1905) призывает китежан молиться Матери сырой земле — Богородице. Представление о земле, как Богородице — давнее убеждение Руси. Земля — священна. «Клянется, з е м л ю е с т», — обычное выражение на севере.[132] «С пишущим эти строки шел этапом

на Ухту, в лагерь НКВД, в 1936 г. судья-коммунист из глухого городишка Севера, осужденный за то, что заставлял и обвиняемых, и свидетелей *есть* землю в знак их правоты: у лжесвидетеля мать-сыра земля в нутре ядом обернется...»[133]

«Богородица наша землица!» — взывает Клюев в «Красной песне» 1917 года. И весь мир, вся вселенная для него — огромный организм, который оплодотворяется, осмысливается, одухотворяется и заселяется человечеством. Иногда его стихи — воспринятые непосредственно — плотяны до нестерпимости. Но за ними — огромный пафос религиозного антропо-теургического материализма Н. Ф. Федорова, которого, по свидетельству покойного С. А. Алексеева-Аскольдова, Клюев знал превосходно: «не только посетить, но и населить все миры вселенной»,[134] — этот пафос жизни, вечной и радостной, торжествующей над смертью, — во многих стихах поэта.

Ты взойди, взойди, Невечерний свет,
С земнородными положи завет! ...
...Не желтели бы травы тучные,
Ветры веяли б сладкозвучные,
От земных сторон смерть бежала бы,
Твари дышущей смолкли б жалобы...

(Братские песни)

...Избежав могильной клети,
Сопричастники живым,
Мы убийц своих приветим
Целованием святым...

(Песнь похода)

И Единое око насытится зреньем
Брачных ласк и зачатий от ядер миров...
...Роженица-земля, охладив ложесна,
Улыбнется Супругу крестильной зарей...

(Долина Единорога)

Примеры — в особенности из дальнейших книг Клюева — могут быть умножены неограниченно... Даже мессианство деревни, спасающей страдающий язвой «небратства» город-

ской мир, — находит свое утверждение в федоровской «Философии Общего Дела».

Земля — и вольная волюшка. Это не заигрывание с эсерами «на всякий случай!» — как ворчит Ходасевич в «Некрополе»· «Паспорт, прикрепленность к месту он (раскол, БФ) ненавидит. Он и теперь требует полной личной свободы, — свидетельствует В. Кельсиев.[135] А скопцы и христы (хлысты) духовной песней призывают Духа Святого и молят именно о полной свободе:

Возопием, братие,
  Мы устами духа:
Услыши нас, Господи,
  Не затвори слуха!
Сотворивый разумом
  Весь мир, всю природу,
Даруй нам, рабам Твоим,
  Вечную свободу.
Да внемлем словам Твоим
  Разумным слухом,
И летим к Тебе, Боже,
  Свободным духом...[136]

Неслучаен был пристальный интерес символистов — не только Блока и Белого — к староверам, к хлыстам и скопцам. Уже значительно позднее один из наиболее мудрых столпов русского символизма — Вячеслав Иванов — писал о религиозном экстазе и мистической одержимости: «К исконным формам религиозного опыта принадлежит состояние близкой к безумию восхищенности и охваченности Богом — душевное событие, которое на время расщепляет внутренний мир личности на две эксцентрические сферы. Прежняя воля смолкает, преодоленная и низвергнутая как бы извне проникающей в человека чужой волей. Прежнее 'я' сменяется более могущественным 'я', которое едва ли уже можно назвать человеческим; восхищенный, возвращаясь из своего оглушения к самосознанию, воспринимает его носителя, как проникшее в него божество, и говорит ему 'Ты'. Если дистанция между Богом и человеком остается и после этого грозового соприкосновения неумаленной, то их взаимоотношение становится после этого качественно чем-то иным, чем-то, что

древние италики называли словом 'religio'*) — чем-то более содержательным и интимным, чем робкая оглядка и благоразумная предусмотрительность, чем правовая или магическая связанность, награда или принуждение, исходящее от богов. Привступает новый элемент, как зародышевый зачаток того, к чему позднейшая созерцательность стремится под именем 'unio mystica'. Отныне богословской рефлексии дана возможность истолковывать слово 'religio' в более духовном смысле, выводя его из слова 'religare' (соединять)».[137]

У Клюева его хлыстовство, православная мистика, исконные народные представления и выучка у символистов (а, может статься, и у немецких мистиков, например, у Якова Беме) — сливаются с Общим Делом Федорова и образуют небывалое, даже не органическое, а просто физиологическое единство. Но хлыстовская подоснова сильна, и в чем-то перекликается, в частности, с приведенным выше отрывком из Вячеслава Великолепного. Как уже сказано выше, «Христовщина» — корабль верных: Христом становится всякий — Христос — не только историческая личность, но и *явление Богочеловека*, не только Иисус Назорей, первый воскресший во плоти в Истории, но и предел духовного возрастания человеческого духа, духа свято- и боготворческого. Так и Богородица — не только историческая Дева Мария: это предел духовного возрастания Женского, Земного начала — начала порождающего, вынашивающего· Отсюда — «хлыстовские» (просторечие: надо — «христовские») Богородицы... Какие-то таинственные нити связывают эти представления хлыстов (а отчасти и народно-православные предания) с гностиками и Востоком. «Христовщина» — предельное возрастание снизу — и дар, ниспосылаемый свыше, в помощь подымающимся по лествице духовного творческого подвига-возрастания. «Богородица-землица» — предельное возрастание снизу и дар свыше. У Клюева, как и у русских мистических сект, до физиологической осязательности даны и *женское* (никогда не девье, всегда — материнское) начало *Бого* — и *духовоплощения*, и *мужское* начало *зарождения*; два нераздельных и неслиянных начала *оплодотворения* и *плодовынашивания* — *порождения*. Наиболее яркий и плотяно-осязательный символ соития этих начал — *материнство* и *нива*. Наиболее высокая

---

*) Буквально — связанность, связь.

цель — *воскрешение*, полное, во плоти, преодоление *смерти*.[138] И в глуби всего исторического — и лично-единичного, и всеобще-всебытийственного — процесса — — *свобода*, ибо в чем бы был тогда подвиг духовного возрастания, подвиг *вбогаврастания* (становление «Христом») — если он не основан на *свободном* решении *свободного* человека? Отсюда и гимны хлыстов — и Клюева — свободе.

В 1913 году, как указывалось уже выше, вышла третья книга стихов Клюева — «Лесные были». Наиболее совершенная из его первых книг, она была встречена либеральной, народнической и — особенно — марксистской критикой с открытой враждебностью. «Этого смешения безвкусной выдумки, нарочитой подделки под народность и нагромождения этнографических деталей в третьей книге 'Лесных былей' гораздо больше, чем подлинной поэзии, которой дышет 'Сосен перезвон'», — пишет ныне заслуженно забытый, а некогда небезызвестный критик Чешихин-Ветринский.[139] Зато группа журнала «Заветы» — будущие левые эсеры и «скифы», — в особенности же Иванов-Разумник, — делают Клюева своим знаменосцем. Зато рождавшийся тогда и становившийся в горделивую позу Адама-первоназывателя вещей и явлений акмеизм-адамизм приветствует поэзию олонецкого Давида, как свою ближайщую союзницу. В программной статье С. Городецкого, как всегда блесткой и пустозвонной, но выражающей мнение всей тогдашней группы акмеистов, много говорится о крушении символизма: «Искупителем символизма явился бы Николай Клюев, но он не символист. Клюев хранит в себе народное отношение к слову, как к незыблемой твердыне, как к Алмазу Непорочному. Ему и в голову не могло бы прийти, что 'слова — хамелеоны'; поставить в песню слово незначущее, шаткое да валкое, ему показалось бы преступлением; сплести слова между собою не очень тесно, да с причудами, не с такой прочностью и простотой, как бревна сруба, для него невозможно· Вздох облегчения пронесся от его книг. Вяло отнесся к нему символизм. Радостно приветствовал его акмеизм».[140] Городецкий, конечно, неправ: мы видели, что первую книгу Клюева ввел в мир Брюсов, мы видели, как отнесся к Клюеву Блок. Правда, к 1913 году отношение Блока к Клюеву стало уже двойственным: «Говорил (Блок, осенью 1913 года, БФ), — рассказывает В. Гиппиус, — об одном недавно выступившем поэте, и

читал места из его писем. 'Ведь вот иногда в нем что-то словно ангельское, а иногда это просто хитрый мужичонка'».[141] Но и в дальнейшем Блок весьма интересовался Клюевым, переписывался с ним, высоко его ценил.*) Ценил Клюева и Максимилиан Волошин. Но акмеисты действительно вцепились в те годы в Клюева. В 1912-1913 гг. они были чрезвычайно озабочены привлечением в их ряды народных поэтов. Велик был их интерес и к подлинному фольклору. Орган акмеистов — журнал «Гиперборей» — обещал уделять на своих страницах место «безымянной народной поэзии и современной деревенской песне». В то время, как акмеисты отказывались от литературного общения с Федором Сологубом[142] и символистами, в «Гиперборее» и в анонсах издательства «Цех Поэтов» то и дело мелькают имена Павла Радимова и, особенно, Клюева. Так, в пятом номере «Гиперборея» (февраль 1913) анонсируется книга Клюева «Плясея», никогда не вышедшая, но вошедшая — под названием «Песни из Заонежья» — в соответствующие разделы «Мирских дум», 1916, и «Песнослова», 1919. «Акмеисты буквально взяли на щит Клюева», — злится позднейший советский исследователь «поэзии русского империализма» А. Волков.[143] И позднее акмеисты и поэты «Цеха» высоко ставили Клюева, хотя и многие из них не слишком хорошо понимали лучшее и своеобычное в его поэзии· Так, акмеист второго призыва, Георгий Адамович, писал в своих «Литературных беседах»: «Это очень большой талант, один из самых больших в современ-

---

*) Вот несколько записей последующих лет в записных книжках Блока: *1915*. 21 октября: Н. А. Клюев — в 4 часа с Есениным (до 9-ти). Хорошо. 25 октября: Вечер «Краса» (Клюев, Есенин, Городецкий, Ремизов) — в Тенишевском училище. *1918*. 10 мая: ...стихи Клюева... 11 мая: ...Стихи Клюева от Р. В. Иванова (— Разумника, БФ)... 11 августа: После ухода Клюева заходил Женя Иванов... 12 августа: Утром пришел Р. В. Иванов, с которым мы вместе были в «Земле» и устроили Клюева. 19 сентября: Р. В. Иванов. Разговор о делах и о книге «Против цивилизации», о Клюеве и его отношениях с «Землей» (издательством, в котором выходили книги Блока, Б. Ф.). 4 октября: телефон от Клюева (мямлит о своих стихах). 14 октября: Встреча с Клюевым. *1920*. 24 октября: Вечер Клюева в Вольфиле, на который я не пошел. (Александр Блок. Записные книжки 1901-1920. ГИХЛ, 1965, стр. 269, 271, 406, 420, 428, 430, 431, 505).

ной русской поэзии. Но какой фальшью отдает этот талант и как эта фальшь его обесценивает! Сквозь условный мужицкий стиль, который Клюев ревниво и не без труда сохраняет, пробивается иногда чистейшее поэтическое вдохновение, но доходит до слушателя замутненным».[144]

Во всех первых книгах Клюева, наряду с чрезвычайно своеобычными и совершенными стихами, немало строф и целых стихотворений, являющихся либо общими местами поэзии тех лет, либо прямыми реминисценциями из Блока. Так, строки в стихотворении Клюева:

О, изреки: какие боли,
Ярмо какое изнести,
Чтоб в тайники твоих раздолий
Открылись торные пути?
(сборн. «*Сосен перезвон*»)

сразу же заставляет вспомнить блоковское:

В тайник души проникла плесень,
Но надо плакать, петь, идти,
Чтоб в рай моих заморских песен
Открылись торные пути.

Есть прямые влияния и более давних песнотворцев. Так, даже не блещущий находчивостью В. Львов-Рогачевский опознал кольцовский строй в клюевских стихах «Безответным рабом», «На отлете» и «Завещание».[145]

Первые книги Клюева сразу же раскупаются, и в том же 1913 году выходит уже второе издание «Сосен перезвона», теперь в издательстве К. Ф. Некрасова. Если в первых книгах и есть элемент ученичества, то и «ученичество» Клюева — крепкое, хорошо и ладно сделанное. И часто, после первых слабых строф, подражательных и «проходных», не задевающих нашего сознания, поэт дает неожиданно, в самом конце стихотворения, свой образ, свои, только ему присущие слова и интонации, — и все стихотворение, даже слабое его начало, озаряется светом его прекрасного финала.

Неразработанность биографии Клюева вынуждает нас прибегать к обильным цитатам из воспоминаний его современников. Цитатам зачастую противоречивым, и в своих противоречиях — наиболее ценным: ведь живой к живому подходит всегда по-разному... Недаром в нормальной судебной практике подозрительно относятся к мало различающимся

в деталях показаниям двух свидетелей об одном и том же происшествии: подразумевают сговор или рассказ не непосредственного свидетеля, а рассказывающего с чужих слов· Отсюда же и наше стремление не пересказывать показания современников, а, по возможности, заставлять их говорить своим голосом, своими словами: так из пестроты — почти лоскутной — воспоминаний, критических отзывов, пристрастных, но живых оценок — легче воссоздать близкий к подлинному облик поэта и человека — облик Клюева.

Все эти годы Клюев не сидит на месте. То Вытегра, то родная вытегорская деревня, то Поволжье, то северные скиты, то Рязанская губерния,[146] то Москва и Петербург. С собратьями — крестьянскими поэтами Пименом Карповым (тоже хлыстом — «звезднокормчим», к слову сказать), Павлом Радимовым, Сергеем Клычковым — отношения к Клюева натянутые: слишком он им не ровня, слишком не по росту большому русскому поэту Клюеву сам этот ограничительный ярлык: крестьянский поэт... Так, Клычков, например, люто и до бешенства ярого завидовал Клюеву. Ходасевич рассказывает, не называя Клычкова по имени, но очень портретно его описав, что «Х. изнывал от зависти: не давали ему покоя лавры другого мужика, Николая Клюева».[147] Не лучше были отношения и с Павлом Радимовым.

Говоря о непоседливости Клюева, Блок замечает в своем дневнике: «Старообрядчество связано с текучими сектами (и хлыстовством). Отсюда — о творчестве... ...Ненависть к православию..»[148] Это и не мысли Блока: здесь много просто записи слов Есенина. Но это и неверно — в приложении к Клюеву. Клюев — не просто старовер — и не просто хлыст. Вечно мечущийся от православных Соловков или Ферапонтова монастыря к староверам, от староверов — к хлыстам или бегунам, от скрытников и бегунов — к революционным кружкам, и от них — опять к православию, — — Клюев одержим и чрезмерной плотяностью, крайней сексуальностью, притом экзальтированным мужеложеством. Великий книгочий и начетчик старообрядского характера, он поражал профессиональных философов и литераторов тончайшим пониманием и огромными знаниями литературы и философии — но писал с орфографическими ошибками и, читая на нескольких иностранных языках, писал французские слова русскими литерами. Обуянный немалой гордыней, знавший хо-

рошо себе цену, писал письма издателям, редакторам и крупным и мелким литераторам в елейном псевдомужицком стиле, с простонародными словесными завитушками и концовками. Правда, как мы увидим дальше, в материальном отношении жилось Клюеву тяжко, и он явно обыгрывал свою «народность» в целях хотя какого-нибудь облегчения своего положения.

Крайний эгоцентризм — и большая сплоченность общин, свободолюбие, доходящее до анархизма — и склонность к деспотизму, особенно в личных отношениях и отношениях семейных, аскетизм — и половая свобода, доходящая до свального греха (особенно у хлыстов), наконец, свободомыслие — и дотошное следование каждой букве писаний своих учителей и пророков, каждому самомалейшему древлему обряду — все это, как уже неоднократно здесь говорилось, свойственно старообрядчеству и хлыстовству.

Весьма эгоцентричен и противоречив и облик Клюева и характер его творчества, Бесконечное приравнение мира как целого к своим органам, «физиологизация» космоса (причем это приравнение — приравнение т о л ь к о к его, Клюева, физиологии и анатомии, и только его самого), представление космоса в качестве внутренней работы органов Бога и — — Клюева, — это резко бросается в глаза уже в раннем творчестве поэта. Одним влиянием «христовства» хлыстов или концепций Федорова этого не объяснишь. В начале 20-х гг. Лев Троцкий, упрощенно, но не без остроумия, заметил: «И все это (узорочье клюевского словообраза, БФ) блестит и играет на солнце, а если поразмыслить, то и солнце его же, клюевское, ибо на свете заправски существует лишь он, Клюев, его талант, земля под его ногами и солнце над головой».[149] Этот-то резко выраженный эгоцентризм и толкает Клюева то к православию, то к анархизму, то к аскетизму, то к богохульству. Но все время поэт на привязи: даже богохульствуя, не может он оторваться от религиозных корней жизни. Это особенно важно помнить, читая некоторые вещи поэта — и справедливо возмущаясь ими.

И — трагическое противоречие: как уже говорилось выше, для Клюева основа всего и вся, душа мира — Великое Женское Начало — четвертая Ипостась Божия — София, Мать-сыра земля, Христородица. Правда, не Д е в а, не Ж е н а, а М а т ь. Но — женское начало. Осеменяющее,

оплодотворяющее м у ж с к о е начало — Д у х. Дух должен влечься к Д у ш е, началу женскому, а лично Клюева влекло (и влекло по-мужски, вопреки «бабьему», подмеченному в его облике Ольгой Форш) к мужчинам. Об этом можно было бы и не говорить, если бы не отразилось это так сильно в его творчестве... Было такое же и у Леонардо, и у Микельанджело, и у Платона, и, очевидно, у Шекспира. Но никто из них не обожествлял так именно ж е н с к о е, м а т е р и н с к о е начало. И это, и биографически, и творчески, давало глубокую, незарастающую трещину в душе Клюева: г р е х.

Но материнское было всегда свято для поэта и для человека-Клюева. Он боготворил и свою мать. И незаживающей долго-долго раной была для него смерть его матери — 19 ноября 1913 года. Стихи, посвященные памяти матери. — а их немало, в том числе замечательные «Избяные песни», — одни из лучших в творчестве Клюева.

«Что такое история? — вопрошает в «Философии Общего Дела» Н. Ф. Федоров: — Чтобы не внести произвола в определение истории, ...нужно сказать, что история есть всегда *воскрешение*, а не *суд*, так как предмет истории *не живущие*, а *умершие*, и чтобы судить, нужно прежде воскреснуть, — хотя бы и не в прямом смысле, — нужно воскресить их, умерших, то есть понесших уже высшую степень наказания, смертную казнь. Но для мыслящих — история есть лишь словесное воскрешение, воскрешение в смысле метафоры; для одаренных воображением история есть воскрешение художественное, для тех же, которые сильнее чувствуют, чем мыслят, история будет поминовением, плачем, или представлением, принимаемым за действительность, то есть самообольщением».[150] И Федоров призывает *к общему делу* всего человечества — духовному подвигу и цели истории: воскрешению всех прежде почивших отцов и братьев наших. И Клюев стремится воскресить свою мать не только *художественно*, если и не может воскресить всецело и телесно, то ясно представляет это материнское и всеобщее воскресение:

Покинула гроб долгожданная мама,
В улыбке — предвечность, напевы в перстах...
Треух у тунгуза, у бура — панама,

Но брезжит одно в просветленных зрачках:
Повыковать плуг — сошники Гималаи,
Чтоб чрево земное до ада вспахать,
Леха за Олонцем, оглобли в Китае,
То свет неприступный — бессмертья печать.

Началась война. Будущий коммунист, Городецкий, встретил ее восторженно-патриотически. Писал о «Сретении Царя», причем почти все слова стихотворения из почтительности и благоговения начинал с большой буквы... По свидетельству Вадима Шершеневича[151] и Ходасевича, и Клюев «ориентировался направо», и его (и Есенина) Городецкий «возил в Царское Село, в царскую семью, туда, где такой же мужичок, Григорий Распутин, норовил пустить красного петуха сверху. От клюевщины несло распутинщинкой».[152] Что-то верное в этом есть. Ведь недаром на своей четвертой книге стихов — «Мирские думы», вышедшей в 1916 году, даря ее Блоку (в том же 1916 году), Клюев надписал:

«...Головой лягать — мух гонять. Миром думать — смерть попрать. Из бесед со старцем Григорием Распутиным».[153] Значит, были эти встречи, были и задушевные беседы с Распутиным. Да и в позднейших стихах-признаниях Клюева:

Это я зловещей совою
Влетел в Романовский дом,
Чтоб связать возмездье с судьбою
Неразрывным красным узлом,
Чтоб метлою пурги сибирской
Замести истории след...

(*Четвертый Рим*, 1922).

И раньше еще: «Меня Распутиным назвали», — начинает он стихи 1918 года. Имя Распутина и «миллионов чарых Гришек» — нередкий гость в клюевских стихах. Не забудем и то, что Распутин был в какой-то мере близок и к хлыстовству... Тут, конечно, дело не в «правизне» Клюева: просто, для коренного мужика, да еще старовера была как-то близка идея «мужицкого царя»: чтобы не было между царем и народом никакого средостения — ни сановников, ни чиновников, ни бар, ни бояр, ни судейских, ни лакейских... А Распутин —

царский советник из мужиков, да еще тасовавший, как колоду карт, министров и высших сановников, казалось, в какой-то мере отвечал этому исконному мужичьему идеалу. А что не был он тем, кем его расписывает либеральная и социалистическая печать, что был он при том отнюдь не примитивен, был умен, — этот факт нельзя отфилософствовать. Об этом свидетельствует отчасти и приведенный выше его афоризм. Интересные воспоминания о Распутине опубликовал известный драматический артист и режиссер Борис Глаголин, человек взглядов весьма далеких от консервативных, скорее — весьма левых: «В моей памяти Распутин продолжает жить как мудрый сибиряк и делегат от своего 'христьянства', обиженного судом, именовавшимся 'скорым и милостивым' в царские времена. Он представляется мне символически, как голос древней Руси, заговорившей своей глубиной, где наш поэт предполагал лишь 'вековую тишину'. Оттуда, где по деревням, в полях и лесах русские люди ближе к Богу и к самим себе, Григорий Ефимович Распутин чудом добрался до царя, чтобы образумить его наказом летописи о том, что Земля Русская правится Божьей милостью, Пресвятыя Богородицы милосердием, всех Святых молитвами, родителей благословением и, последя всех, Государями, но не судьями и воеводы... 'Эти стародавние слова звучали из уст Распутина его собственными, когда он сетовал, как плохо понимают его 'образованные'. Под ними он разумел и чиновников, и богатеев, и придворную клику, всех заодно. 'И чево они знают такое, штоб воеводить над христианским народом?' — недоумевал он...»[154] Так это или не так — неважно. Важно то, что вместе с Распутиным вырвалась из под спуда поддонная Русь. Русь отнюдь не «народническая» и не «славянофильская», а всклоченная, непринаряженная, в смазных сапогах и с тяжким запахом пота и овчины. И мерещилась тогда таким, как Клюев, что-то вроде староверской революции и наступающего тысячелетнего мужицкого царства...

Писал в те годы патриотические стихи и Клюев. Ими полна его книга 1916 года — «Мирские думы». Но патриотические стихи писали тогда и Сологуб, и ...Маяковский. Тщетно было бы замалчивать сейчас подобные стихи «лучшего поэта советской эпохи»: они даны даже в приложении к первому тому тринадцатитомного собрания сочинений поэта. Писал их и Есенин, хотя он и говорил потом И. Н. Роза-

нову, как «ему (Есенину, БФ) всегда не по душе был воинственный патриотизм Клюева, что это ничем не лучше нашей господствующей церкви, благословляющей убийства».[155] Все это, впрочем, писано уже во второй половине двадцатых годов, рассказано — в начале двадцатых, когда Есенин гримировался под «первого на Руси дезертира». А в годы войны писал патриотические стихи, бывал в царской семье, где читал стихи и пел народные песни... Свидетельства современников редко бывают бескорыстными...

В годы войны и началась дружба Клюева с Есениным. «Городецкий свел меня с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова, — рассказывает в одной из своих автобиографий Есенин. — С Клюевым у нас завязалась, при всей нашей внутренней распре, большая дружба, которая продолжается и посейчас, несмотря на то, что мы шесть лет друг друга не видели».[156] Что Есенин «не слыхал ни слова» о Клюеве до знакомства личного с ним, опровергается его же, Есенина, перепиской. Так, незадолго до встречи с Клюевым, Есенин писал ему: «Дорогой Николай Алексеевич. Читал я Ваши стихи, много говорил о Вас с Городецким и не могу не писать Вам. Тем более тогда, когда у нас есть с Вами много общего. Я тоже крестьянин и пишу так же, как Вы, но только на своем рязанском языке. Стихи у меня в Питере прошли успешно. ...Я хотел бы с Вами побеседовать о многом, но ведь 'через быстру реченьку, через темненький лесок не доходит голосок'. Если Вы прочитаете мои стихи, черканите мне о них. ...В 'Красе' я тоже буду...»[157] Письмо это датировано редакторами Собрания сочинений Есенина: Петроград, 24 апреля 1915. Клюев сразу же откликнулся на это письмо:

«Милый братик, почитаю за любовь узнать тебя и поговорить с тобой.·. Если что имеешь сказать мне, то пиши немедля... Особенно мне необходимо узнать слова и сопоставления Городецкого, не убавляя, не прибавляя их. Чтобы быть наготове и гордо держать сердце свое перед опасным для таких, как мы с тобой, соблазном. Мне много почувствовалось в твоих словах, продолжи их, милый, и прими меня в сердце свое».[158]

Еще до личной встречи с Есениным, Клюев «забрасывает его ответными письмами», как пишет Е. Наумов.[159] Письма Клюева в С. Константиново — С. Есенину — датированы 2 мая, 9 июля и 6 сентября 1915 г.

«Я смертельно желаю повидаться с тобой — дорогим и любимым, и если ты ради сего имеешь возможность приехать, то приезжай немедля, не отвечая на это письмо...»[160]

Клюев стремится оберечь Есенина от влияния петербургских литературных кругов:

«Голубь мой белый... ... Ведь ты знаешь, что мы с тобой козлы в литературном огороде и только по милости нас терпят в нем и что в этом огороде есть немало ядовитых колючих кактусов, избегать которых нам с тобой необходимо для здравия как духовного, так и телесного... Мне очень приятно, что мои стихи волнуют тебя, — конечно, приятно потому, что ты оттулева, где махотка, шелковы купыри и *(неразборчиво)* колки. У вас ведь в Рязани — пироги с глазами, их ядять, а они глядять. Я бывал в вашей губернии, жил у хлыстов в Даньковском уезде, очень хорошие и интересные люди, от них я вынес братские песни... Бога ради, не задержи, ответь. Целую тебя, кормилец, прямо в усики твои милые».[161]

Есенин что-то учуял, очевидно, в некоторых письмах Клюева, что не пришлось ему по душе. В письме к В. С. Чернявскому (июнь-июль 1915) он пишет: «Писал Клюев, но я ему отвечать не собираюсь».[162] «А осенью этого же (1915, БФ) года, — пишет Есенин в одной из автобиографий, — Клюев мне прислал телеграмму в деревню и просил меня приехать к нему».[163] 6 сентября 1915 года Клюев пишет Есенину:

«Я пробуду в Петрограде до 20 сентября. Хорошо бы устроить с тобой где-либо совместное чтение...»[164]

В своих воспоминаниях 1926 года Городецкий рассказывает: «Клюев приехал в Питер осенью (уже не в первый раз). Вероятно, у меня он познакомился с Есениным. И впился в него. Другого слова я не нахожу для начала их дружбы. История их отношений с того момента и до последнего посещения Есениным Клюева перед смертью — тема целой книги. Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением, творчеством вплотную примыкавший к былинам и духовным стихам севера, Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в свое время. Он был лучшим выразителем той идеалистической системы, которую несли все мы. Но в то время как для нас эта система была литературным исканием, для него она была крепким мировоззрением, укладом жизни, формой отно-

шения к миру. Будучи сильней всех нас, он крепче всех овладел Есениным. У всех нас после припадков дружбы с Клюевым бывали приступы ненависти к нему. Но общность философии опять спаевала. Популярная тогда рукописная книга т. Б. 'Правда о Клюеве', к сожалению, разбивала ореол Клюева не по линии философии. Приступы ненависти бывали и у Есенина· Помню, как он говорил мне: 'Ей Богу, я пырну ножом Клюева!' Тем не менее, Клюев оставался первым в группе крестьянских поэтов. Группа эта все росла и крепла В нее входили, кроме Клюева и Есенина, мой сосед по камере в Крестах, ученик и друг Борис Верхоустинский, Сергей Клычков и Александр Ширяевец...[165] Кроме меня, верховодил в этой группе Алексей Ремизов и не были чужды Вячеслав Иванов и художник Рерих... Я называл всю эту компанию 'Краса'. Общее выступление было у нас только одно, в Тенишевском училище — вечер 'Краса'. Выступали: Ремизов, Клюев, Есенин и я. Есенин читал свои стихи, а кроме того пел частушки под гармошку и вместе с Клюевым — страдания....[166] ...В общем, 'Краса' просуществовала недолго. Клюев все больше оттягивал Есенина от меня. Кажется, он в это время дружил с Мережковскими, моими 'врагами', вероятно, там бывал и Есенин».[167] Группа «Краса» замышляла даже организацию собственного издательства, но из этой затеи ничего не вышло. Книги членов «Красы» выходили в издании «Альционы», Аверьянова, Некрасова и др.

Вечер группы поэтов и прозаиков «Краса» состоялся 25 октября 1915. В. С. Чернявский рассказывает, что «в основу этого нарочито 'славянского' вечера была положена погоня за народным стилем, довольно приторная. Этот пересол не содействовал успеху вечера: публика и печать не приняли его всерьез, и искусственное объединение 'Краса' с этих пор само собой заглохло».[168] Сильно шаржированное описание этого вечера (перенесенного только запамятовавшим автором в другое место) дает Георгий Иванов, упорно при этом именующий Клюева «Николаем Васильевичем»:

«На эстраде — портрет Кольцова, осененный жестяным серпом и деревянными вилами. Внизу — два 'аржаных' снопа (от частого употребления порядочно растрепанных) и полотенце, вышитое крестиками. Фон декорирован малороссийской плахтой из кабинета Городецкого. Этим смягчается 'интеллигентское безличие' эстрады и создается настроение,

близкое к 'стихии'. Должно быть, чтобы еще ближе перенести слушателей в обстановку русской деревни, — обычный распорядительский колокольчик отменяется. Вместо него — какой-то не то гонг, не то тимпан. С бубенцами... Городецкий выходит на эстраду и ударяет в этот тимпан. Вид у него восторженно сияющий, ласково-озабоченный. Кудри взъерошены. Голубая или 'алая' косоворотка... Внимательный глаз различит под косовороткой очертания твердого пластрона — это значит, что, после вечера, надо ехать в изящный клуб, где любит ужинать 'Нимфа' (жена Городецкого, БФ), и рубашка надета для скорости обратного переодевания поверх крахмального белья и черного банта смокинга. Городецкий ударяет в свой 'тимпан' и приглашает к вниманию. Свет гаснет. Только эстрада с Кольцовым и снопами — в ярком блеске рефлекторов. ...Зеленая плахта с малиновыми разводами откидывается. Выходит Есенин. На нем тоже косоворотка — розовая, шелковая. Золотой кушак, плисовые шаровары. Волосы подвиты, щеки нарумянены. В руках — о, Господи, пук васильков — бумажных. ...Выходит, наряженный коробейником из хора, Клычков. Читает нараспев — как оперные слепцы... Николай Клюев... Клюев спешно обдергивает у зеркала в распорядительской поддевку и поправляет пятна румян на щеках. Глаза его густо, как у балерины, подведены. Морщинки (Клюеву лет сорок) вокруг умных, холодных глаз сами собой расплываются в деланную сладкую, глуповатую улыбочку.

— Николай Васильевич, скорей!..

— Идуу... — отвечает он нараспев и истово крестится. — Идуу... только что-то боязно, братишечка... Ну, была не была — Господи, благослови... — Ничуть ему не 'боязно' — Клюев человек бывалый и знает себе цену. Это он просто входит в роль 'мужичка-простачка'. Потом степенно выплывает, степенно раскланивается 'честному народу' и начинает истово, на о́:

Ах, ты, птица райская,
Дребезда золотоперая...»[169]

В те же годы, журнальчик «Рудин», издававшийся полупочтенным профессором Рейснером и его красавицей дочкой Ларисой, поместил карикатуру А. Топикова на группу «Краса», изобразив райское древо с райскими птицами — у птиц

— карикатурные лица Городецкого, Клюева, Есенина и других...

Вслед — или наряду с нею — за безвременно скончавшейся «Красой» возникает, по инициативе Михаила Мурашова и Иеронима Ясинского литературное объединение «Страда». Мурашов рассказывает об этом: «В 1915 году мне с трудом удалось провести устав литературно-художественного общества под названием 'Страда'. Есенин предлагал назвать 'Посев', но потом отказался от предложенного названия. Организационное собрание общества состоялось в квартире С. Городецкого. Были Есенин, Клюев, Пимен Карпов, Иер. Ясинский, Ремизов и др.». Мурашов сообщает, что предполагалось издание журнала «Страда», вместо которого был выпущен одноименный сборник (в нем — две «Избяные песни» — памяти матери — Н. Клюева.)[171]

Иероним Ясинский, начиная с 1914 года, много печатал Клюева в газете «Биржевые Ведомости»,*) помогал ему печататься и в других журналах и газетах. Он помогал Мурашову и в организации общества «Страда» и был инициатором издания одноименного альманаха. «Во главе его стоял меценат Семеновский, но главным вдохновителем и редактором ...был Ясинский. ...Недалеко от Технологического института было небольшое помещение, на дверях его красовалась надпись — 'Страда'. Это и был клуб, где собирались участники общества 'Страда', выступавшие со своими произведениями. ...Но, как это случается, сотрудники не поладили с редактором, а тот с меценатом, и, к огорчению всех, альманах 'Страда' прекратил свое существование. Вслед за ним распалось общество 'Страда' и закрылся клуб».[172]

Выступления Клюева и Есенина, театрализованные Городецким, встретили у части публики весьма благожелательное, а у части публики и литераторов либо настороженное, либо насмешливое отношение. «Новые артисты подвизаются на арене литературного балагана: Клычков, Клюев, Есенин, Ширяевец. Публике нашей, пресытившейся модернизмами, эстетизмами и футуризмами, нужна новая забава; забаву эту она найдет в сусальном лживом народничестве Городецкого и братии, кстати, так безупречно патриотически настро-

---

*) Переписка Клюева по поводу его публикаций в «Биржевых Ведомостях» — в статье Г. Мак-Вэя.

енных», — писал марксистский критик Михаил Левидов.[173] А другой литератор, Н. Лернер, назвал свою статью о Клюеве и Есенине насмешливо и зло: «Господа Плевицкие»...[174]

Но далеко не все воспринимали так выступления Клюева и Есенина. Кроме открытого выступления «Красы» 25 октября 1915 г., Клюев и Есенин выступали и в литературных салонах тогдашнего Петербурга, читали свои стихи и в редакциях журналов. Так, 21 октября того же года, за четыре дня до выступления в Тенишевском училище, Клюев и Есенин выступили в редакции «Ежемесячного Журнала». Дневниковая запись писателя Б. А. Лазаревского рассказывает об этом чтении поэтами своих стихов: «Великорусский Шевченко — это Николай Клюев... Начал он читать негромко, под сурдинку, басом. И — очаровал. Проникновеннее Некрасова, сочнее Кольцова. Миролюбов (редактор журнала, БФ) плакал... чуть не заплакал и я. Не чтение, а музыка, не слова, а Евангелие... Как нельзя перевести Шевченко ни на один язык, даже на русский, сохранив все нюансы, так нельзя перевести и Клюева... Затем выступил его товарищ Сергей Есенин. ...В четверть часа эти два человека научили меня русский народ уважать и, главное, понимать то, чего я не понимал прежде — музыку слова народного и муку русского народа — малоземельного, водкой столетия отравленного..., и вот мысль этого народа и его талантливые дети Клюев и Есенин».[175]

Выступали Клюев с Есениным и в Москве. Бывшая жена Есенина, А. Р. Изряднова, пишет: «В январе 1916 года (Есенин, Б. Ф.) приехал с Клюевым. Сшили они себе боярские костюмы — бархатные длинные кафтаны... Читали они стихи в лазарете имени Марии Федоровны, Марфо-Марьинской обители и в 'Эстетике'. В 'Эстетике' на них смотрели, как на диковинку»...[176] На вечере в «Эстетике» присутствовал проф. И. Н. Розанов: «21 января 1916 года я узнал, что в Москву приехал Николай Клюев и вечером будет выступать в 'Обществе свободной эстетики'. Я не очень любил это 'Общество' и почти там не бывал, но Клюева мне хотелось послушать и посмотреть. Уже года четыре, как он обратил на себя всеобщее внимание. Он уже успел выпустить три книги стихов, и я был им очень заинтересован. Легко сказать: из глубины народной гущи являлся поэт, который вел себя не как самоучка и недоучка, расчитывающий на более снисхо-

дительную оценку, а как равный по отношению к другим, уже прославленным поэтам, чувствующий свою силу и властно требующий от поэтов из интеллигенции потесниться... Наконец, раздался шёпот: 'Приехал.' ...И вот между пиджаками, визитками, дамскими декольте твердо и уверенно пробирается Николай Клюев. У него прямые, светлые волосы; прямые, широкие, спадающие, 'моржовые' усы... Он в коричневой поддевке и высоких сапогах... ...Сосед мой слева, поклонник Тютчева, одобрял Клюева: 'Какая образность! Например: 'Солнце — колокол'... ...Другой поэт, деревенский парень (С. Есенин, БФ), ему не понравился...». Читал Клюев сначала «большие стихотворения, что-то вроде современных былин, потом перешел к мелким, лирическим. Помню, как читал он свой длинный 'Беседный наигрыш, стих доброписный'. Содержание было самое современное:

Народилось железное царство
Со Вильгельмищем, ца́рищем поганым...

...Клюев поражал своею густою красочностью и яркой образностью»... Есенин не понравился и соседке Розанова — художнице: когда Клюев, после выступления, подошел к ней и спросил (они раньше были знакомы): «Ну, как?», — художница ответила: «Ваш товарищ мне совсем не понравился». Клюев огорчился: «Как? Такой жавороночек?» «И в тоне Клюева послышалась ласковость к своему 'сынку'», — прибавляет И. Н. Розанов.[177]

Апостол нежный Клюев
Нас на руках носил, —

рассказывал о тех временах Есенин. Клюев тогда почти не расставался с своим «Сереженькой»: «Я помню Есенина, — рассказывает Г. Адамович, — в первые дни его появления. Он приехал из рязанской глуши, прямо к Блоку, на поклон. Его сопровождал Клюев. ...От Клюева Есенин перенял манеру говорить всем 'ты', будто по незнанию, что в городе это не принято».[178]

У Вячеслава Иванова — и у Мережковских, у Иванова-Разумника — и у Городецкого, в Царском Селе у царицы — и в кругу будущих левых эсеров — Клюев и Есенин приняты

всюду. Правда, как уже было сказано, Мережковские вскоре разочаровались в Клюеве: он их ошарашил густой и терпкой поэзией, вовсе непохожей на привычную петербургскую. Он и не соответствовал классическому интеллигентски-народническому представлению о «мужике-богоносце»: слишком уж не простяк, слишком с надломом: и хладен, и елеен, и с хитрецой — и умен с избытком: какое уж тут «смиренномудрие»!

Но и в Москве у Клюева появились поклонники. В частности — Андрей Белый. Говоря об исконности, органичности и крепких, глубоко в почву уходящих корнях купецко-московской культуры, о ее неразрывной связи с мужицкими истоками, он указывает, что все московские тузы-богатеи, как бы утонченны они ни были — «все — Горшковы; все выперли из простейших горшков, где землица с навозцем; перением выперли барство арбатское; перли они хорошо; и в хорошие цветы расцвели; ...дальнейшее пропиранье Горшковых через понятие отвлеченное западной экономики *'капиталистического производства'* подобно пропиранью крестьянски-рабочих поэтов уже *'октября'* ...жестами лирика Клюева, 'баобабы' выращивающим в Вологодской губернии; ...а мужик есть явление очень странное даже: лаборатория, претворяющая ароматы навоза в цветы; под Горшковым, Барановым, Мамонтовым, Есениным, Клюевым, Казиным — русский мужик; откровенно *воняет* и тем, и другим: и — навозом, и розою — в одновременном *'хаосе'*; мужик — существо непонятное; он — какое-то мистическое существо...; из целин матерщины, из вони Горшкова бьет струйная эвритмия словес...»[179] А сколько славословий Клюеву писал Андрей Белый в первые годы революции! Мы видели, что крестным отцом Клюева в литературе был другой крупнейший московский символист — Валерий Брюсов.

Из крупных писателей предреволюционных дней не принял никак Клюева отставной властитель дум передовой интеллигенции Максим Горький. В 1913 году он писал молодому крестьянскому поэту Д. Семеновскому: «А вот, что Вам нравятся стихи Клычкова, Клюева и подобных им, — весьма даровитых, но мало серьезных и еще *не поэтов,* — это плохо, простите меня. Очень плохо...»[180] И уже много позже, советский литературовед Н. Славятинский в своем письме М. Горькому заявил о реакционном характере всех

попыток Клюева и Клычкова опереться на фольклор. Горький сделал на этом письме пометку: «Очень верно!»[181]

«Крестьянские» поэты (название, конечно, крайне условное, а в отношении Клюева просто неверное) отлично сознавали, что их легко можно упрекнуть в «реакционной обращенности к прошлому», в умышленном маскараде, во многих грехах и прегрешениях, особенно с точки зрения фанатиков прогресса, и хотя их художественное словотворчество и их помыслы были вовсе не «обращенностью к прошлому», а поисками выхода из обездушенного мира всецелой машинизации, они все-таки выступали на защиту и этого чувства тоски по уходящему. А. Ширяевец писал В. Ф. Ходасевичу, 7 января 1917 г.: «Скажу кое-что в свою защиту. Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет, но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет? И что прекраснее: прежний Чурила в шелковых лапотках, с припевками, да присказками, или нынешнего дня Чурила, в американских щиблетах, с Карлом Марксом или 'Летописью'*) в руках, захлебывающийся от открывающихся там истин?.. Ей-Богу, прежний мне милее!.. Знаю, что там, где были русалочьи омуты, скоро поставят купальни для лиц обоего пола, со всеми удобствами, но мне все же милее омуты, а не купальни... Ведь не так-то легко расстаться с тем, чем жили мы несколько веков! Да и как не уйти в старину от теперешней неразберихи, ото всех этих истерических воплей, называемых торжественно 'лозунгами' ...Пусть уж о прелестях современности пишет Брюсов, а я поищу Жар-Птицу, пойду к тургеневским усадьбам, несмотря на то, что в этих самых усадьбах предков моих били смертным боем... Придет предприимчивый человек и построит (уничтожив мельницу) какой-нибудь 'Гранд-Отель', а потом тут вырастет город с фабричными трубами... И сейчас уж у лазоревого плеса сидит стриженная курсистка, или с Вейнингером в руках, или с 'Ключами счастья'. ...Может быть, чушь несу я страшную, это все потому, что не люблю я современности окаянной, уничтожившей сказку, а без сказки какое житье

---

*) «Летопись» — журнал Максима Горького, марксистского направления (1916-1917).

на свете?...»[182] Читаешь это письмо Ширяевца (говорящее и о настроениях Клюева, конечно) — и невольно вспоминается лесковское: «Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старою сказкой. Чудная вещь старая сказка! Горе тому, у кого ее не будет под старость!»[183]

Сгинь, перо и вурдалак-бумага!
Убежать от вас в суслонный храм,
Где ячменной наготой Адам
Дух свежит, как ключ в глуши оврага, —

пишет в те годы Клюев. И его костюм, его облик, его повадки, обстановка жизни, наконец, — далеко не то же самое, что желтая кофта футуристов или «голубые цветки» окололитературных и околотеатральных салонов предреволюционных лет. Томление по сказке, стремление претворить несуразную, непутевую, какую-то грешно-взбаломученную жизнь — в творимую сказку, легенду, в *сказание*, в мужицкий Христов корабль. Да, не только маскарад, хотя элементы маскарада бросаются первыми в глаза.

А тут ревнивая страсть к Есенину: в статье Гордона Мак-Вэя приводятся и письма, рассказываются и сцены бешеной ревности Николая Клюева, когда он выл волчьим воем, уговаривая Есенина не идти к женщине, не бросать его, старшого братика... Есенин и отбивался от приступов клюевской страсти, но, судя и по письмам его, и по многим еще косвенным указаниям, как-то поддавался напористым клюевским домогательствам. Затем отшатывался от Клюева, готов был его прирезать, но потом опять тянулся к нему...

Притягивала к Клюеву и его воля, и его властность играла большую роль — и огромный поэтический дар, густой, очень уж непрозрачный настой — никак не укладывающийся в привычные нормы стихосложения. Конечно, и Есенин понимал, что очень пестро и очень неравноценно многое в творчестве его властного и ревнивого опекуна, много просто лигатуры, но зато и червонного золота россыпи немалые. «Не всегда относясь к Клюеву положительно, подымая иногда бунт против его авторитета и философии, — весьма кротко и уклончиво рассказывает в *опубликованной* части своих воспоминаний В. С. Чернявский (многое расшифровывают и поясняют исключенные советской цензурой места, приве-

денные в следующей за этой статье Г. Мак-Вэя), — инстинктивно упрямо стремясь отстоять и утвердить свою личную самобытность, Есенин почти благоговел перед Клюевым как поэтом. В часы, когда тот читал с большим искусством свои тяжелые, многодумные, изощренно-мистические стихи и 'беседные наигрыши', Сергей не раз молча указывал на него глазами, как бы говоря: вот они, каковы стихи!... ...О конечной судьбе этих неустойчивых, как многое в жизни Сергея, отношений свидетельствует фраза из письма его ко мне, написанного из Тифлиса за год до смерти: 'Если бы у меня не было... Клюева, Блока ...что бы у меня осталось? Хрен да трубка, как у турецкого святого'.»[184] И в стихах Есенина, посвященных Клюеву: то огромное тяготение, то лютая зависть и ревность к славе (у Клюева тогда много бóльшей, чем есенинская тогдашняя популярность), то всяческое принижение «старшого», то прямая ненависть к нему·

Когда Есенина мобилизовали, Клюев тосковал страшно. Но и Есенин тянулся к нему. В июле или августе 1916 г. он писал из Царского Села Клюеву: «Дорогой Коля, жизнь проходит тихо и очень тоскливо. На службе у меня дела не важат. В Петроград приедешь, одна шваль торчит. Только вот вчера был для меня день, очень много доставивший. Приехал твой отец, и то, что я вынес от него, прямо-таки передать тебе не могу. Вот натура —разве не богаче всех наших книг и прений? Все, на чем ты и твоя сестра ставили дымку, он старается еще ясней подчеркнуть, и для того только, чтоб выдвинуть помимо себя и своих желаний мудрость приемлемого. Есть в нем, конечно, и много от дел мирских с поползновением на выгоду, но это отпадает, это и незаметно ему самому, жизнь его с первых шагов научила, чтоб не упасть, искать видимой опоры. Он знает интуитивно, что когда у старого волка выпадут зубы, бороться ему будет нечем, и он должен помереть с голоду... Нравится мне он...» Но, переходя к относительной известности его, Есенина, и Клюева, Есенин не без торжества рассказывает в конце письма, как «дед», то есть отец Клюева, говорил ему про рецензии и статьи об обоих поэтах: «Дед-то мне показывал уж и какого размера, ды все, говорит, про тебя сперва, про Николая после чтой-то». И Есенин заканчивает письмо: «Приезжай, брат, осенью во что бы то ни стало. Отсутствие твое для меня заметно очень, и очень скучно. Главное то, что одиночество

круглое· Как я вспоминаю пережитое... Вернуть ли?»[185] Клюев, конечно, откликнулся на призыв своего «жавороночка». Из письма последнего Леониду Андрееву (20 октября 1916) видно, что они с Клюевым побывали у А. М. Ремизова, посетили — но не застали — Леонида Андреева.[186] Круг знакомых у поэтов в эти годы большой. Но не все их «приемлют». Так, неоднократно нами цитированный поэт и артист В. С. Чернявский рассказывает, что «целая группа царскосельских поэтов ультимативно отказалась участвовать в изящном 'Альманахе Муз' (начало 1916 г.), если на страницы его будут допущены 'кустарные' Клюев и Есенин. Клюев, — прибавляет Чернявский, — однако, еще раньше печатался в 'Гиперборее' (органе Цеха Поэтов), его изощренная глубинность и формальная узорчатость находили себе больше защитников».[187]

Несмотря на успех — а иной раз и восторженное отношение к ним некоторых представителей литературных и окололитературных кругов, поэтам в материальном отношении жилось весьма трудно. Стихи, как и всегда и везде почти, не кормили — или кормили весьма плохо. В «Деле» Клюева (1916, № 8), находящемся в бумагах Постоянной комиссии для пособия нуждающимся ученым, литераторам и публицистам при Императорской Академии Наук за 1916 г., хранятся прошение С. Есенина и Н. Клюева, написанное рукой последнего, но подписанное обоими поэтами, и совместное письмо поэтов (также написанное рукою Клюева — и подписанное совместно с Есениным) к Н. А. Котляревскому:

В комиссию для пособия литераторам при Академии наук

Прошение

Мы поэты-крестьяне, Николай Алексеевич Клюев и Сергей Александрович Есенин, почтительнейше просим комиссию пособия литераторам при Академии наук помочь нам в нашей нужде. Нужда наша следующая: мы живем крестьянским трудом, который безденежен и, отнимая много времени, не дает нам возможности учиться и складывать стихи· Чтобы хоть некоторое время посвящать писательству не во вред и тяготу нашему хозяйству и нашим старикам-родителям, единственными кормильцами которых также являемся мы,

нам необходима денежная помощь в размере трехсот рублей на каждого.

(Заслуги наши перед литературой выражаются в сборниках стихов и сотрудничестве в лучших журналах и газетах).

Подпись: Николай Клюев
Сергей Есенин
Адрес: Петроград, Фонтанка, дом № 149, кв. № 9.

На прошении в левом верхнем углу дата: 27 февраля 916 г. На полях той же рукой написано: «В 1-й раз» и обозначена выданная сумма: 60 р.; и указано: «Есен. 20, Кл. 40».

Письмо литературоведу, проф. Н. А. Котляревскому:

Глубокоуважаемый Нестор Александрович, Сообщение Ваше о том, что Академия не может нам помочь, ввергло нас в уныние. Последнее, что мы почтительнейше у Вас просим — это походатайствовать перед комиссией, чтобы нам выдали хотя бы по 50-60 р., чтобы выбраться из Петрограда домой — мне — Клюеву, например, такая сумма крайняя, так как я живу пятьсот верст от чугунки, и это полутысячное расстояние приходится коротать на подводе.

Бога ради снизойдите к нашему молению, оно насущное и крайнее.

Извиняясь за беспокойство, остаемся
Николай Клюев и Сергей Есенин.
Фонтанка 149-9.

Запись в журнале заседания комиссии, 26 сентября 1916, — о Клюеве: «Приехав в Петроград для издания своих произведений и не имея средств для найма комнаты и для прожития, просит 150 руб., дабы иметь возможность устроить свое издание не бедствуя». Постановлено «выдать 75 руб. бесср. (очной) ссуды (большинством голосов)».

В самом начале 1916 года вышла уже упомянутая ранее книга стихов Клюева «Мирские думы». В книге немало патриотических стихов поэта, но назвать ее «империалистической» могли только те советские недоумки, которые бедняка-Клюева произвели в «идеолога кряжистого и заскорузлого

кулачества,» в прославителя и выразителя дум «деревенских богатеев». Книга открывается стихами столь далекими от «империалистических настроений», что диву даешься — как можно было заговорить об этом (правда, уже спустя немало лет):

В этот год за святыми обеднями
Строже лики и свечи чадней,
И выходят на паперть последними
Детвора да гурьба матерей.
На завалинах рать сарафанная,
Что ни баба, то горе-вдова;
Вечерами же мглица багряная
Поминальные шепчет слова.

Может быть, только одно стихотворение этой книги, и то с натяжкой, может быть названо «казенно-патриотическим» — «Русь» («Не косить детине пожен»). Оно скорее находится под сильнейшим влиянием стихов старого славянофильского лагеря, Хомякова в первую голову. В период наибольшей травли уже загнанного в Нарым поэта, в 1935 году, некий А. Волков, опираясь на это стихотворение, причислял Клюева — наряду с Мандельштамом — к числу наиболее ярко выраженных русских «империалистов»: «В стихотворении 'Русь', — пишет А. Волков, — относящемся к периоду мировой войны, расшифровывается социальный смысл народности Клюева... Поэзия Клюева целиком входит в общий стиль империалистической литературы, представляя собой одну из ветвей этого стиля»... Клюев, видите ли, идеолог кулачества, «нашедший свое место под столыпинским солнцем».[189] Ну, а другие стихи книги — о матерях, оплакивающих погибших на войне сыновей-солдат, солдаток-вдов, «слезные платы» — все это в расчет не принималось...

А железо проклято от века:
Им любовь пригвождена ко древу...

Но в те годы, годы предреволюционные, «Мирские думы» принимаются и читателями, и критиками почти безоговорочно: Клюев величина уже общепризнанная... Критическая заметка будущего правоверного коммуниста, поэта и критика Натана Венгрова начинается утверждением, что «за четыре года поэт прошел большой путь и трудно узнать в

Клюеве 'Мирских дум' Клюева 'Сосен перезвона'. Чужой символизм стихов, посвященных Александру Блоку, — ...уступил место крепким образам, уже несомненно принадлежащим или Клюеву или тому, чем жив Клюев теперешний».[190] «Клюев — явление небывалое в нашей поэзии, — пишет по поводу «Мирских дум» Иванов-Разумник в «Русских Ведомостях». А в распространеннейшем в дореволюционной России журнале — в «Ниве», в ежемесячных приложениях к ней, З. Бухарова посвящает «Думам» восторженную статью: «..Мы так долго жили в недостойном рабстве у Запада, что совсем еще недавно все национальное должно было великим трудом пробивать себе дорогу... ...На благодарную, подготовленную почву пало в настоящие дни творчество Николая Клюева — самого талантливого, мудрого и цельного из ...поэтов-крестьян, стоящих совершенно в стороне от всех столь противоречивых литературных течений последнего времени. 'Мирские думы' обвеяны духом чрезвычайной значительности, духом исключительного, сосредоточенного единства...»[191]

Много в «Мирских думах» песен, написанных по типу народных плачей и причитов. На связь этих стихов с народными плачами указывалось неоднократно, в частности, М. А. Рыбниковой, пытавшейся установить чуть ли ни прямую зависимость «плачей» Клюева от причитаний знаменитой плачеи Ирины Федосовой: ведь и мать поэта была плачея.[192] В «Причитаниях Северного края» можно, действительно, найти не одну параллель стихам из «Мирских дум»:

И сговорят да тут рекрутика моло́дыи:
«Уж Ты Спас да наш Владыко многомилостивой!
«И Ты спаси нас безсчастных добрых мо́лодцев
«И Ты от этоей от меры государевой!
«И Ты Покров Мать Пресвятая Богородица!
«И Ты покрой да нас рекрутиков молодыих
«И от злодейской Ты службы государевой!»[193]

Это, как и у Клюева, отнюдь не «урашапкамизакидайство», а скорее напротив: глубокая мужицкая скорбь: от земли отрывают! — и общечеловеческая боль — нежелание войны, как смерти, губительства, меча и брани... Формально: стихи Клюева — не имитация народной поэзии, не бедность своего личного творчества, подменяемого этнографическими сти-

лизациями. Клюев — сам народ. Не приглаженный под светлую моральную величину, не припомаженный под велемудрое смиренномудрие, но могущий надеть любую из этих личин, а, может, и искренне иной раз стремящийся и к нравственной чистоте и духу терпения и любви. И тут же — склонный и к непомерной гордыне, и к самым глубочайшим падениям, к самому непомерному блуду. Достигающий вершин поэтического мастерства и самых глубин поддонных нашей души, — и тут же способный на самый грубый лубок — много хуже агиток Демьяна Бедного. Отсутствие вкуса? Нет, скорее — некоторый чрезмерный эгоцентризм и самовлюбленность: непривычка к отбору. И еще: хлыстовское: «накатило», — значит, и пой, и проповедуй: все от Бога... И во всем этом — Клюев народен и органичен. Даже и в своих метаниях от Вбогаврастания до самого гнусного сатанинского мистического блуда: нет узды и нет никакого удержу: все позволено. А потом — покаяние и стыд. Но и самые далекие от привычной и общепринятой морали устремления облекаются в некие теургические (это тоже — не без влияния хлыстовства!) ризы — и принимают миротворческие формы:

Будет брачная ночь, совершение таин,
Все пророчества сбудутся, камни в пляску пойдут,
И восплачет над Авелем окровавленный Каин,
Видя полночь ресниц, виноград палых уд. ...
...И Единое око насытится зреньем
Брачных ласк и зачатий от ядер миров,
Лавой семя вскипит, изначальным хотеньем
Дастся солнцу — купель, долу — племя богов. ...

Конечно, вопрос о происхождении никак нельзя связывать с вопросом оценки, и поэтическая идея этого стихотворения шире, глубже и выше породившего его устремления, но все-таки оно никак не случайно, это стихотворение, посвящено Виктору Шиманскому. А когда произошел очередной разрыв с Сергеем Есениным, Клюев разразился целым циклом причитов-заплачек:

...Белый цвет-Сережа,
С Китоврасом схожий,
Разлюбил мой сказ! ...

...Как к причастью звоны,
Мамины иконы,
Я его любил.
И в дали предвечной,
Светлый, трехвенечный,
Мной провиден он.
Пусть я некрасивый,
Хворый и плешивый,
Но душа, как сон. ...

И, уйдя от Клюева (стихотворения эти написаны в конце 1916 или в самом начале 1917 года), Есенин убил его, как Годунов убил Димитрия Царевича:

Тяжко, светик, тяжко!
Вся в крови рубашка...
Где ты, Углич мой?...
Жертва Годунова,
Я в глуши еловой
Восприму покой. ...

Когда впоследствии Есенин писал в своих стихах про Клюева:

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь, ——

едва ли он имел в виду только тяжкую образность и микулинскую земную непомерную тягу Клюева-поэта, его поступь Святогора-сказителя: нет: думается, что тут — и о темной стихии страстей Клюева-человека. Да и можно ли разорвать в поэте — творца и человека?

«Весну и лето 16-го года я мало виделся с Клюевым и Есениным. Знаю, что они уже выступали в это время по салонам, — рассказывает С. М. Городецкий. — Осенью 16-го года я уехал в Турецкую Армению на фронт. В самый момент отъезда, когда я уже собирал вещи, вошли Клюев и Есенин. Самое неприятное впечатление осталось у меня от этой встречи. Оба поэта были в шикарных поддевках, со старинными крестами на груди, очень франтовитые и самодо-

вольные. Все же я им обрадовался, мы расцеловались и, после мироточивых слов Клюева, попрощались. Как оказалось, надолго...»[194]

В эти годы то и дело возникают недолговечные организации литераторов неославянофильского типа и поэтов и прозаиков-крестьян. Так, в самый канун революционных потрясений, на улице Жуковской, «в одном из домов возле Греческой церкви, помещалось общество крестьянских поэтов под названием 'Колос'». Об одном из вечеров этой литературной группы, с участием Клюева и Есенина, рассказывает Н. Н. Никитин, явно в угоду официальной советской установке крайне шаржируя и извращая факты: «Крестьян-поэтов в 'Колосе' я что-то не увидел. Вместо них я приметил двух-трех молодых людей, весьма отглаженных, с удивительными проборами, да небольшую группу молоденьких танцовщиц из Мариинского театра».[195] Николай Никитин «не приметил» и выступавших Клюева и Есенина (или не счел их крестьянами), ни входивших в круг поэтов-крестьян Клычкова, Пимена Карпова, Алексея Ганина...

Примыкает к Клюеву (и неразлучному с ним в те годы Есенину) и Михаил Ковалев, взбалмошный племянник вельможного лица, неплохой поэт, писавший и прозу и взявший себе литературное имя в славянско-варяжском духе: Рюрик Ивнев.[196] Разговоры у будущего кощуна и имажиниста Ивнева — самые апокалипсические, если верить Георгию Иванову:

«...Розовый, светлоголовый мальчик в рясе, послушник из Сергиевского подворья. Рядом тоже 'духовное лицо', лысый, заплывший жиром дьякон, расстриженный за сношения с сектантами. [197] С ним истово, на 'о', беседует человек средних лет, в сапогах бутылками и поддевке, с умными холодными глазами. Это поэт Николай Клюев, 'из мужичков', как он сам о себе говорит. 'Мужичок' набелен, нарумянен и надушен 'Роз Жакмино' ...Нарумянен и другой поэт 'из мужичков' — голубоглазый Есенин. Вперемежку с ними — лицеисты, правоведы, какой-то бывший вице-губернатор, побывавший в ссылке, какой-то изобретатель 'сердечного магнита' — наивернейшего средства привлечь сердца отступников на лоно старообрядчества. Прихлебывая чай, кто с блюдечка, кто по всем правилам английского воспитания, часами ведут странные разговоры о Книге голубиной, о магните сердечном, и о Новом Иерусалиме, который воздвигнется 'на Руси',

когда кончится война и настанет 'Царство Христово'... — 'Скоро, скоро, детушки, забьют фонтаны огненные, застрекочут птицы райские, вскроется купель слезная, и правда Божия обнаружится', — Аминь, аминь...»[198]

Если отбросить неприятный привкус — озлобленности, пристрастия, погони за занимательностью для читателя, — картина, нарисованная Георгием Ивановым, в чем-то внутренне-правдива. Ведь почти столь же озлобленно — но неизмеримо глубже — писал об этом А. Блок, писала, примерно, в тех же тонах Ольга Форш, писал — еще более озлобленно и едко — В. В. Розанов.

«Великая сила небратства», сказал давно уже Н. Ф. Федоров... И, хотя и много было в предреволюционных поисках и метаниях духа упадочного, искривленного, просто иной раз — и модного, но была и тоска духа, ненахождение себе места в предгрозовой атмосфере, да еще при заревах неудачнейшей войны... Ахматова напишет потом об этом времени:

Словно в зеркале страшной ночи
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек, —
А по набережной легендарной
Приближался не календарный —
Настоящий Двадцатый Век.

(Поэма без героя)

Разрушить переборки между отдельными «я», разрушить их радениями или песнями, волхованием стиха, одержимостью плоти, опьянением, одержимостью вакхических кружений — все равно, — лишь бы разбить! Может, в этом деле не бесполезны и внешние формы «остранения облика» — армяк и древняя «пугвица» у ворота? И ведь не случайна и шумная — и скандальная, и мистическая — карьера поддевочника полухлыста Григория Распутина, его головокружительный взлет на самые верхи-разверхи тогдашнего общества! А, главное, вложить дерзновенно персты в живительные раны Христа, прикоснуться к живой плоти Мира и Бога. Все это роднит Клюева с безымянными строителями новгородского храма «во имя Уверения неверного Апостола Фомы» (1199), с религиозным материализмом Федорова, с мистическими

сектами, стремящимися также вложить и свои персты в Живую Плоть Господа и мира. И, конечно, роднит Клюева с В. В. Розановым острое чувство органической связи — и трагического разлада — религии и пола, вернее, христианства и пола:

Войти в Твои раны — в живую купель,
И там убелиться, как вербный Апрель,
В сердечном саду винограда вкусить,
Поющею кровью уста опалить...
...Взыграть на суставах: Или — Элои:
И семенем брызнуть в утробу Земли:
Зачни, благодатная, пламенный плод...

(Спас)

А в «Поддонном псалме» прямо хлыстовское:

Приложитесь ко мне братья,
К язвам рук моих и ног:
Боль духовного зачатья
Рождеством я перемог!..
...Снова голубь Иорданский
Над землею воспарил:
В зыбке липовой крестьянской
Сын спасенья опочил.

Это ему, «Микуле» Клюеву так радовался — и так его боялся — по свидетельству Иванова-Разумника[199] — Андрей Белый. Цельный и душевно позитивистический Евгений Замятин старался от него отчураться, сводя успех Клюева к «патриотическому» угару военных лет.[200] «'Христос ваш маленечко плотян' — говорили немоляки о Христе петербургского религиозно-философского общества; что сказали бы они о Христе Клюева! Это подлинно 'плотяный' Христос; и недаром торжественной песнью плоти является вся первая часть 'Четвертого Рима'»...[201] — писал несколько лет спустя Р. Иванов-Разумник. Но не только пореволюционные поэмы и стихи, такие, как «Четвертый Рим», «Мать-Суббота» или «Заозерье», — нет, и в Клюеве предреволюционных лет тот же буйный расцвет плоти, требующей воскрешения своего в полноте и силе.

...Пречистей лебяжьей души
Шамановы ярые уды!
Лобок — желтоглазая рысь,
А в ядрах — по огненной утке, —
Лишь с Солнцевой бабой любись,
Считая лобзанья за сутки...

На рубеже «настоящего двадцатого века», разделяющего действительно две исторических эры, — на рубеже революции создается не то литературно-философически-политическое общество, не то неославянофильски-левоэсеровское движение — Скифы. Главным идеологом этого движения становится Разумник Иванов-Разумник, стройным отрядом вливаются в него будущие левые эсеры, а за ними — пестрая и не слишком дружная толпа писателей и поэтов: среди них — Александр Блок и Алексей Ремизов, Осип Мандельштам и Андрей Белый, и, конечно, так называемые «народные», «крестьянские» поэты (это название стало тесно и совсем неприложимо, по крайней мере, к первым двум) — Клюев, Есенин, Орешин...[202] Многие из них группировались в свое время вокруг журнала «Заветы», многие — примкнули к «Скифам» более или менее случайно. Примкнули к «Скифам» и С. Клычков, и А. Ширяевец, К. Эрберг, Е. Лундберг...[203] Настоящим «партийцем»-скифом Клюев, конечно, не был. В левоэсеровском «Знамени Борьбы», десять лет спустя, некий М. А. писал: «Ни Блок, ни Клюев, ни Есенин никогда не разделяли никаких программ, никогда не прислушивались ни к каким манифестам: они были только поэтами, только певцами».[204] Но если поэты и не прислушивались к политическим платформам и манифестам, то в выработке идеологии «скифства» принимали, может быть, не меньшее участие, чем завзятые политики. Но деятельность «скифов» — это 1917-1918 годы в России, двадцатые годы, вернее, их начало — уже в эмиграции, в Берлине.

А тогда, тогда все почти ждали революцию, призывали революцию, как давнюю народническую «Прекрасную Даму». Ждал ее и Клюев, и все «народные» поэты, группировавшиеся вокруг Клюева, ждали ее. Царевна-Русь, заточенная в тереме злого Кащея, и спешащий ее освободить витязь-революция... Просто и прекрасно, как стихи какого-нибудь Тана-Богораза или Гмырева! И литераторы типа В. Львова-Рога-

чевского так и декламировали: революция, мол, это — для «поэтов полей и городских окраин» прежде всего — освобождение от всех и всяческих авторитетов. В том числе — и в первую очередь — от Бога.

И пришла она, долгожданная. Это, то, что пишется здесь, не социальный анализ и не исторический очерк. Потому важнее — непосредственные впечатления писателей, в том числе — и особенно — «скифов», чем анализы и статистика... Ведь писатель (часто даже писатель-«социалистический реалист» не является в данном смысле исключением) — не социальный аналитик: он живет непосредственными впечатлениями жизни. Ремизов, ведший в те дни свой «временник», записывает: «... с самого первого дня в Таврическом дворце — известно, там в бывшей Государственной Думе все и происходило, 'решалась судьба России'... ...К Таврическому дворцу с музыкой водили войска. Один полк какой-то великий князь сам привел, и об этом много было разговору. С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты, медали, — чтобы передать Родзянке. Появились из деревень ходоки: посмотреть нового царя — Родзянку. Родзянко — был у всех на устах. В то же время в том же Таврическом дворце, где сидел этот самый Родзянко, станом расположились другие люди во главе с Чхеидзе — Совет рабочих и солдатских депутатов. Тут-то, — так говорилось в газетах, — Керенский вскочил на стул и стал говорить — Я заметил два слова — две кнопки, скреплявшие всякую речь, декларацию и приказ той поры: — смогу — всемерно — И Родзянко пропал, точно его и не бывало. К Таврическому дворцу с музыкой водили войска. С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты и медали — чтобы передать Керенскому. Появились из деревень ходоки: посмотреть нового царя — Керенского. Керенский — был у всех на устах. И третье слово, как третья кнопка, скрепило речь: — нож в спину революции. А красные ленточки, ими украсились все от мала до велика, обратились и совсем незаметно в защитный цвет... Демонстрации с пением и музыкой ежедневно. Митинги — с пряниками — ежедневно и повсеместно. Все, что только можно было словами выговорить и о чем могли лишь мечтать, все сулилось и обещалось наверняка — пряники: земля, повышение платы, уменьшение работы, полное во всем довольство, благополучие, рай. Пришвин — агроном, ученый,... — доказывал мне, что земли не

хватит, если на всех переделить ее, и что сулимых полсотни десятин на брата никак не выйдет. Я же никак не агроном, ни возражать, ни соглашаться не мог, я одно чувствовал, наседает на меня что-то и с каждым днем все ощутительней этот насед. И, не имея претензии ни на какую землю и мало веруя в пряники — наговорить-то что угодно можно, язык не отвалится! — карабкался из всех сил и отбивался, чтобы как-нибудь сохранить — свою свободу — самому быть на земле — самим».[205] Примыкавший также к «Скифам» Осип Мандельштам характеризует те немногие месяцы русской демократической республики короче, но не менее выразительно: «Стояло лето Керенского и заседало лимонадное правительство. Все было приготовлено к большому котильону. Одно время казалось, что граждане так и останутся навсегда, как коты с бантами. Но уже волновались айсоры-чистильщики сапог, как вороны перед затмением, и у зубных врачей начали исчезать штифтовые зубы».[206]

Но тогда действительно почти все готовились «к большому котильону». Какое-то беззаботное праздничное настроение овладело людьми — от некоторых великих князей до чистильщика сапог.

Клюев принял революцию прежде всего как старовер или как член Корабля Христовщины, как хлыст:

То колокол наш — непомерный язык,
Из рек бичеву свил Архангелов лик.
На каменный зык отзовутся миры,
И демоны выйдут из адской норы,
В потир отольются металлов пласты,
Чтоб солнца вкусили народы-Христы...

(Песнь Солнценосца)

Как уже говорилось, Христом может быть всякий, Богородицей — всякая — это — не исторические неповторимые л и ч н о с т и , а высочайшие вершины духовного возрастания. Христовщина растворяет Христа в народе, в человечестве, во всем сущем. Даже демоны спасутся. Даже они будут — вместе со всеми народами-Христами мира — приобщаться хлебу и вину новому, солнечному. Своеобразное революционно-мистическое претворение оригенизма... И некая связь с

восточными (буддийскими и суффийскими) представлениями о великом пути возрастания-освобождения. И Христос дается тому или иному народу, тому или иному Кораблю — по молитве и по подвигу духовному. Недаром «начальная» молитва хлыстовщины-христовщины, та, которую — по их представлению — будут петь избранные праведники- девственники на Страшном Суде, — эта молитва так своеобычна:

Дай нам, Господи, к нам
    Исуса Христа!
Дай нам, Сын Божий,
    Свет помилуй нас!
Сударь Дух Святый,
    Свет помилуй нас!
Ох ты, Матушка,
    Свет Помощница,
Пресвятая Свет
    Богородица!
Упроси, Свет, об нас,
Света Сына Твоего
    Бога нашего!
Свет Тобой мы спасены,
На сырой на земле,
    На матушке,
    На сударыне,
    На кормилице![207]

Народы-Христы должны купить состояние христовства отречением, «страдами» и большой кровью. А бары-бояры и правительство — от Антихриста. Так, в общем, писал еще в 1913 г. Пимен Карпов ,тоже «звезднокормчий» (хлыст), автор отмеченного Блоком романа «Пламень». Так мыслят исстари раскольники: «А и герб империи Российской — печать диаволова — двухглавый орел: где же такие у Бога в природе бывают, чтобы о двух головах?» — спрашивают раскольники. Государство *ранит* душу. Бегут от него в скиты и в дальние леса сибирские. А здесь, у хлыстов, все то, что войдет потом и в «Песнь Солнценосца» и в позднейшие произведения Клюева: и мать-сыра земля, как Богоматерь; и христовство, как возрастание снизу и дар свыше; и «народ — это тело Божие» (сравни слова Шатова в «Бесах» Достоев-

ского). А для того, чтобы все стало на свое место, — необходима великая раскачка и неизбежна великая кровь. «О пролитой (в революцию, БФ) крови Клюев вспоминать не любил. Он провидел, что *еще более крови прольется,* может быть, *в ближайшем будущем,* и говорил об этом сдержано, как бы вскользь, но поэтически выразительно: 'Чашу с кровью — всемирным причастьем — нам испить до конца суждено'».[208]

Клюев принял революцию и как крестьянин. «Клюев приемлет революцию, потому что она освобождает крестьянина, и поет ей много своих песен. Но его революция без политической динамики, без исторической перспективы. Для Клюева это ярмарка или пышная свадьба, куда собираются с разных мест — опьяняются брагой и песней, объятьями и пляской, а затем возвращаются ко двору: своя земля под ногами и свое солнце над головой. Для других — республика, а для Клюева — Русь; для иных — социализм, а для него — Китеж-град. И он обещает через революцию рай, но этот рай только увеличенное и приукрашенное мужицкое царство: пшеничный, медвяный рай: птица певчая на узорчатом крыльце и солнце светящееся в яшмах и алмазах».[209] — Так же приняли революцию Алексей Чапыгин, Пимен Карпов, Александр Ширяевец, Сергей Клычков, Петр Орешин, отчасти — озорующий и исхулиганившийся Сергей Есенин. Характерны воспоминания Рюрика Ивнева: «Одна встреча особенно запала в память· Иду по Невскому. Голубой снег. Прошло всего несколько дней после февральского переворота. ...Вдруг вижу — прямо по улице идут четверо, взявшись за руки, точно цепью. Смотрю — Клюев, Клычков, Орешин и с ними Есенин. Все какие-то новые — широкогрудые, взлохмаченные, все в расстегнутых пальто. Накидываются на меня. Колют злыми словами: 'Наше время пришло!' — шипит елейный Клюев». Ивнев рассказывает дальше и об организованном им в первые месяцы после Октябрьского переворота митинге: «Я ему (Есенину, БФ) наспех рассказал о митинге и просил разрешения поставить на афишу его имя. — Кто, ты говоришь, участвует? — я назвал фамилии. Он улыбнулся. — Ну, и винегрет же ты устроил: Клюев — Спиридонова[210], Луначарский — Блок!» Но митинг не удался: «Вышло как-то так, что после политических речей стихи были не у места, и приехавшие поэты сидели в публике».[211]

Клюев принял революцию и как славянофильствующий народник, как «скиф». «Революционными славянофилами» назвал «скифов» Б. Яковенко.[212] И это совершенно точное определение «скифства». Программа «скифов» была крайне далека от четкости, была достаточно туманна и расплывчата. Хотя поэты и не принимали прямого участия в составлении манифестов, программ, воззваний группы, но, фактически, именно они составляли душу «скифства». Ведь и «идеологические» выступления главного вдохновителя «Скифов» — Иванова-Разумника — состояли из декламации, превращающей в превыспренние штампы поэтические образы литературного ядра «скифов». «'Скиф'. Есть в слове этом, в самом звуке его — свист стрелы, опьяненной полетом; полетом — размеренным упругостью согнутого дерзающей рукой, надежного, тяжелого лука. Ибо сущность скифа — его лук: сочетание силы глаза и руки, безгранично вдаль мечущей удары силы». Прославление «народной стихии», «мессианизм» русского народа, вступающего на«крестный путь» во имя «всемирного воскресения» (Федоровские нотки!), революция, понимаемая как русский стихийный мятеж: «Разве скиф не всегда готов на мятеж?» (Много тут и от блоковской высоко-поэтической публицистики — недаром «Скифы» Блока, 1918, станут «гимном» скифов...)[213] Немало тут и от эсхатологии послереволюционного Максимилиана Волошина:

Так семя, дабы прорости,
Должно истлеть...
Истлей, Россия,
И царством духа расцвети! [214]

«В особом положении среди 'скифов' находились крестьянские или, как их часто тогда называли, 'народные поэты' — Клюев, Есенин, Орешин и некоторые другие, не выступавшие активно в 'скифских' изданиях, но по существу примыкавшие к той же группе (С. Клычков, А. Ширяевец и др.), — пишут А. Меньшутин и А. Синявский. — Хотя некоторые из них еще за несколько лет до революции пользовались благосклонным вниманием в символистских кругах, все же тогда они фигурировали в качестве 'меньших братьев', опекаемых своими старшими наставниками. Теперь же, в новой общественно-политической ситуации, эти авторы

окружены почетом и сами задают тон. Если в первом сборнике 'Скифы' центральное место занимал А. Белый, то во втором сборнике это место переходит к Н. Клюеву, и А. Белый сопровождает его стихи восторженным предисловием. В блоке символистов с крестьянскими поэтами последние начинают явно перевешивать, и это было связано не только с их возросшей творческой активностью, но и с тем, что 'скифам' импонировало присутствие в их рядах 'народных поэтов' на которых отныне возлагались большие надежды. Не обошлось здесь без народнических иллюзий на тот счет, что крестьянская Россия... устами названных поэтов произнесет, наконец, свое 'вещее слово'».[215] «Скифы» выпустили два одноименных сборника — в 1917 и в 1918 гг. В первом сборнике Клюев опубликовал впервые свои стихи последних лет, объединенные поэтом в цикл «Земля и Железо»; во втором сборнике — великолепный цикл «Избяные песни» и два стихотворения: «Песнь Солнценосца» и «Двенадцать месяцев в году». В 1920 г. эти циклы и стихи вышли в — уже зарубежном — издательстве «Скифы», в Берлине, двумя отдельными книжками. Во втором сборнике «Скифов», в специальной статье «Песнь Солнценосца», предваряющей эту поэму Клюева, автор статьи — Андрей Белый — хлыстовствует почище самого Давида Христовского Корабля: «Слышит Клюев, народный поэт, что — Заря, что огромное солнце восходит над 'Белою Индией': 'И страна моя, Белая Индия, Преисполнена тайн и чудес'. И его не пугает гроза, если ясли младенца — за громом: Дитя-Солнце родится. И маги Европы, и глас пастухов перекликнулись... ...Пастухи ведь услышали впервые: 'Мир на земле и человекам благоволение, — и весть пастухов из народа передает Клюев нам: да, Народы Христы, если сердца станут в них, как ясли Христовы. Он — все прощает».[216] А Иванов-Разумник, во вступительной статье ко второму сборнику «Скифов», противопоставляя творчество *народных* поэтов «провалившимся на революции» поэтам городским, писал: «Отчего это так случилось: в дни революции стали громко звучать только голоса *народных* поэтов? И притом 'народных' в смысле не только широком, но и узком: Клюев, Есенин, Орешин — поэты народные не только по духу, но и по происхождению, недавно пришедшие в город с трех разных сторон крестьянской великой России, с Поморья, с Поволжья и 'с рязанских

полей Коловратовых'» ... «Клюев — первый народный поэт наш, первый, открывающий нам подлинные глубины духа народного... ...И если не он, то кто же мог откликнуться из глубины народа на грохот громов войны и революции?»[217] Иванов-Разумник ставит Клюева много выше и Кольцова, и Никитина, — считая его воистину *первым* начинателем подлинно-народной культуры. «Сердце Клюева соединяет пастушескую правду с магической мудростью; Запад с Востоком; соединяет воистину воздыхания четырех сторон Света. ...Народный поэт говорит от лица ему вскрывшейся Правды Народной»...[218] — вторит Иванову-Разумнику Андрей Белый. С той же статьей Иванова-Разумника, что и в «Скифах», выходит в эсеровском издательстве «Революционная Мысль» (Петроград), в том же 1918 г., сборник стихов Клюева, Есенина, Орешина и Ширяевца — «Красный Звон».

Далеко не все так высоко расценили весьма на самом деле слабое (и по форме несовершенное) произведение Клюева — «Песнь Солнценосца». В альманахе «правых» эсеров «Мысль» Мих. Платонов писал по поводу восторгов Разумника: «Поистине удивительно приключение Иванова-Разумника с 'Песнью Солнценосца' Клюева: эту дурного тона 'Оду Фелице' Иванов-Разумник не только стерпел на страницах 'Скифов', но еще и хвалит, не поморщившись. ...Как далеко (это) от нашего Клюева, которого мы привыкли любить. Чего стоят в этих виршах одни слова с заглавными буквами — безвкусица, пущенная в оборот, кажется, Андреевым, и первый знак творческой импотенции. А у Клюева в 'Песне Солнценосца' полнехонько этого добра: Мир, Зенит, Премудрость, Труд, Равенство, Песня и... Тайна, и...давно засиженная мухами Любовь, и...ставшая уже мелкой, как лужа, Бездна...» Но, обращаясь к «Избяным Песням», тот же М. Платонов, меняя сам тон, говорит, что в них «Клюев уже бросил всунутые ему в руки Мечи и Бездны — и сразу: не казенное вдохновение, а подлинное; не новое золото, а червонное, какое века простоит и не пойдет ржавчиной. И тут уже не знаешь, что́ выбрать, что́ лучше: так хороша, так живет у Клюева вся избяная тварь — лежанка, кот, пузан-горшок, 'за печкой домовой твердит скороговоркой' что-то, и сама печь-матерь, и коврига — 'лежит на столе, ножу лепеча: я готова себя на закланье принесть'. После 'Избяных песен' еще досадней за Клюева, автора од: сереньким бежать

за победоносным петушком — и сам Бог велел, а таким, как Клюев, — не надо».[219]

Уже в 1917 году Есенин порывается уйти из под всяческой опеки Клюева. Орешин рассказывает, как Есенин говорил ему: «...знаешь, я от Клюева ухожу... Вот лысый черт! Революция, а он 'избяные песни'... На-ка-за-ние! Совсем старик отяжелел. А поэт огромный! Ну, только не по пути...»[220] Но пока что пути их не разошлись: в 1917 году они почти всюду вместе. Вместе пишут, в частности, коллективное письмо поэту Александру Ширяевцу, 30 марта 1917 г., поздравляя его и с Пасхой, и с выходом (в конце 1916 г.) сборника стихов «Запевка». Клюев писал:

Христос Воскресе, дорогая Запевка, целую тебя в сахарные уста и кланяюсь низко.

Николай Клюев[221]

Тому же Ширяевцу Есенин пишет (24 июня 1917, из с. Константинова), поучая его, как относиться к поэтам и писателям из интеллигенции: «В следующий раз мы (т. е. Клюев и Есенин, БФ) тебя поучим наглядно, как быть с ними, а пока скажу тебе об издательствах: Аверьянов сейчас купил за $2^1/_2$ тыс. у Клюева полн/ое/ соб/рание/ (выш/едшие/ кн/иги/) и сел на них. Дела у него плохи, и издатель он шельмоватый».[222] Клюев и Есенин и дела ведут вместе, и в литературных салонах всегда вместе,[223] но трещина все растет и растет. Не только личные отношения, но и зависть: более элементарный и общедоступный, поэтому начинающий пользоваться большей, чем Клюев, любовью среднего (и ниже среднего) читателя, Есенин начинает смертельно ненавидеть Клюева за то, что «большая» печать (и, в частности, «Скифы») ставит Клюева на первое место. В январе 1918 года Есенин порывает со «Скифами» и пишет Иванову-Разумнику: «Дорогой Разумник Васильевич! Уж очень мне понравилось, с прибавлением *не*, клюевская 'Песнь Солнценосца' и хвалебные оды ей с бездарной 'Красной песней'. Штемпель Ваш 'первый глубинный народный поэт', который Вы приложили к Клюеву из достижений его 'Песнь Солнценосца', обязывает меня не появляться в третьих 'Скифах'. Ибо то, что вы сочли с Андреем Белым за верх совершенства, я счел только за мышиный писк... Клюев, за исключением 'Избяных песен',

которые я ценю и признаю, за последнее время сделался моим врагом. Я больше знаю его, чем Вы, и знаю, что заставило написать его 'прекраснейшему' и 'белый свет Сережа, с Китоврасом схожий'. То единство, которое Вы находите в нас, только кажущееся... 'Приложитесь ко мне, братья' противно моему нутру, которое хочет выплеснуться из тела и прокусить чрево небу, чтоб сдвинуть не только государя с Николая на овин, а... Но об этом говорить не принято, и я оставляю это для 'Лицезрения в печати', кажется, Андрей Белый ждет уже... В моем посвящении Клюеву я назвал его *середним* братом... ...Значение среднего в 'Коньке-горбунке', да и во всех почти русских сказках — 'Так и сяк'. Поэтому я и сказал: 'Он весь в резьбе молвы', — то есть в пересказе сказанных. Только изограф, но не открыватель. А я 'сшибаю камнем месяц' и черт с ним, с Серафимом Саровским, с которым он так носится, если, кроме себя и камня в колодце небес, он ничего не отражает. Говорю Вам это не из ущемления 'первенством' Солнценосца и моим 'созвучно вторит', а из истинной обиды за Слово...»[224]

В письме этом Есенин переосмысливал свои стихи 1917 года, посвященные — в первой публикации (во втором сборнике «Скифов», 1918) — Николаю Клюеву, с исключенным в дальнейшем знаменательным эпиграфом из Лермонтова:

Я верю, под одной звездой
С тобой мы были рождены.

О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь.

По голубой долине,
Меж телок и коров,
Идет в златой ряднине
Твой Алексей Кольцов. ...

...За ним, с снегов и ветра,
Из монастырских врат,
Идет, одетый светом,
Его середний брат.

От Вытегры до Шуи
Он избраздил весь край
И выбрал кличку — Клюев,
Смиренный Миколай.

Монашьи мудр и ласков,
Он весь в резьбе молвы,
И тихо сходит Пасха
С бескудрой головы.

А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый,
Такой разбойный я. ...[225]

Так же переосмысливал это свое стихотворение Есенин в разговоре с Блоком, сразу же после выхода стихов в «Скифах»: «О чем вчера говорил Есенин (у меня), — записывает Блок 4 января 1918: — Кольцов — старший брат (его уж очень вымуштровали, Белинский не давал свободы), Клюев — средний — 'и так, и сяк' (изограф, слова собирает), а я — младший... ...Из богатой старообрядческой семьи — рязанец. Клюев в молодости жил в Рязанской губернии несколько лет. Старообрядчество связано с текучими сектами (и с хлыстовством). Отсюда — о творчестве... ... Ненависть к православию. Старообрядчество московских купцов — не настоящее, застывшее. Клюев — черносотенный (как Ремизов). Это не творчество, а подражание (природе, а нужно чтобы творчество было природой; но слово — не предмет и не дерево; это — другая природа; тут мы общими усилиями выяснили). /Ремизов (по словам Разумника) не может слышать о Клюеве — за его революционность/».[226]

Осенью того же 1918 года Есенин пишет свои программные «Ключи Марии», где много говорит о Клюеве, в сущности, полемизирует с ним, старается отчураться от него: «Художники наши уже несколько десятков лет подряд живут совершенно без всякой внутренней грамотности. Они стали какими-то ювелирами, рисовальщиками и миниатюристами словесной мертвенности. Для Клюева, например, все сплошь стало идиллией гладко причесанных английских гравюр, где виноград стилизуется под курчавый порядок воинственных всадников;[227] то, что было раньше для него сверлением об-

легающей его коры, теперь стало вставкой в эту кору. Сердце его не разгадало тайны наполняющих его образов, и вместо голоса из-под камня Оптиной пустыни, он повеял на нас безжизненным ветром деревенского Обри Бердслея, где ночи-вставки он отливает в перстень яснее дней, а мозоль, простой мужицкий мозоль вставляет в пятку, как алтарную ладанку. Конечно, никто не будет спорить о достоинствах этой мозаики. Уайльд в лаптях для нас столь же приятен, как и Уайльд с цветком в петлице и лакированных башмаках. В данном случае мы хотим лишь указать на то, что художник пошел не по тому лугу. Он погнался за яркостью красок и 'изрони женьчужну душу из храбра тела, чрез злато ожерелие', ибо луг художника только тот, где растут цветы целителя Пантелимона».[228] Но в тех же «Ключах Марии» немало мест, в которых Есенин восхищается Клюевым. Во многих воспоминаниях говорится, что он «очень ценил Н. Клюева, которого всегда называл своим учителем».[229]

Вначале Клюев принял и Октябрь. Писал достаточно гнусные стихотворения, восхваляя расстрелы и кощунства, потом каялся, потом опять писал... Печатался в «Красной Газете», в мелких, возникавших как грибы и бесследно исчезавших революционных журналишках и альманахах. «Клюев, очевидно, бывал в Питере во время революции, писал в 'Красной Газете', братался с рабочими, но как хозяин себе на уме, Клюев даже в те медовые дни так и этак прикидывал — не будет ли от этого ущерба его клюевскому хозяйству, то бишь искусству», — писал в начале 1920-х гг. Л. Д. Троцкий.[230] А поэт- приспособленец Василий Князев (впрочем, тоже погибший в ежовщину и «посмертно реабилитированный»), посвятивший в те же двадцатые годы целую книгу разоблачению и погрому Клюева и «клюевщины», писал: «Клюев... и не рядовой пахарь, и не православный пахарь. Клюев — идеолог-сектант. Мистическую пашню свою он пашет глубоко забирающим 'электроплугом' идейно-духовно-обоснованной потребности в Божием бытии».[231] Для Клюева Бог и весь уклад тесно сливаются с самими основами его жизни — жизни не только деревенской, но обязательно связанной тесно с землей:

Нила Сорского глас: «Земнородные братья,
Не рубите кринов златоствольных,

Что цветут, как слезы в древних платьях,
В нищей песни, в свечечках юдольных.
Низвергайте царства и престолы,
Вес неправый, меру и чеканку,
Не голите лишь у Иверской подолы,
Просфору не чтите за баранку.

Октябрь обманул и упования Клюева-старовера, и чаяния Клюева-мужика, и надежды Клюева-славянофила и федоровца, и мечты Клюева- поэта. Уже в начале 1918 года он вздыхает:

На божнице табаку осьмина
И раскосый, вылущенный Спас,
Не поет кудесница-лучина
Про мужицкий, сладостный Шираз.
Древо песни бурею разбито,
Не Триодь, а Каутский в углу, —

и Клюев отаминивается: «Китеж-град ужалил лютый гад»,[232] — и спешит каяться — после богохульства и гнуснейшего воспевания расстрелов... «Облетел цветок купальской веры», «буквенные тати» книжной лжемудрости, брошюрные сердца, сердца папиросные, — съели они дух мужицкой революции и посягают на саму душу России, а

Лучше пунш, чиновничья гитара,
Под луной уездная тоска, —

чем «керженец в городском обноске» и муза «с махорочной гарью губ» — шлюха с заплеванного революционными подсолнухами городского бульвара... И поэт вопит, истошно-выразительно:

Не хочу коммуны без лежанки,
Без хрустальной песенки углей!

Не хочет он и петь по заказу, хотя бы и революционно-рабоче-крестьянской указке:

Не свалить и в Красную Газету
Слов щепу, опилки запятых.
Ненавистен мудрому поэту
Подворотный, тявкающий стих.

Нет, но и *книжная*, искусственная, выдуманная литература — чисто формальная, чисто развлекательная — грех и «распад атома». И здесь Клюев опять перекликается с Н. Ф. Федоровым — и с В. В. Розановым, писавшим: «Мы в сущности играли в литературе. 'Так хорошо написал'. И все дело было в том, что 'хорошо написал', а чтó 'написал' — до этого никому дела не было. ...Народ рос совершенно первобытно с Петра Великого, а литература занималась только 'как они любили', и 'о чем разговаривали'. И все 'разговаривали', и только 'разговаривали', и только 'любили' и еще 'любили'»...[233]

Бумажный ад поглотит вас
С чернильным, черным сатаною,
И бесы: Буки, Веди, Аз,
Согнут построчников фитою.
До воскрешающей трубы
На вас падут, как кляксы, беды,
И промокательной судьбы
Не избежат бумагоеды.

И вот — «мы все шалили», как говорил Розанов. И испытания огнем и верой не выдержали. И революция, как некое испытание в огне и крови, не поняли и не приняли — так, как надо:

Господи! Да будет воля Твоя
Лесная, фабричная, пулеметная.
Руки устали, ловя
Призраки, тени болотные.
Революция не открыла Врат,
Но мы дошли до Порога Несказанного,
Видели Пламенной зрелости сад,
Отрока — агнца багряного.
На отроке угли ран,
Ключи кровяные, свирельные, —
Уста народов и стран

Припадали к ним в годы смертельные...
...Господи! Мы босы и наги,
На руках с неповинною кровью...
Шелестят леса из бумаги,
«Красная Газета» мычит по-коровьи...

Троцкий, умный и остроумный при всей плоскостности его мышления, понял какую-то сторону существа Клюева: «Клюев принял ее (революцию, БФ) не за себя самого, а вместе со всем крестьянством, принял ее по-крестьянски же. Упразднением барской усадьбы Клюев доволен: 'пусть о ней плачет Тургенев на полке'. Но ведь революция это прежде всего город: без города не было бы и упразднения дворянской усадьбы. Вот отсюда и двойственность в отношении Клюева к революции; двойственность, опять-таки, не только клюевская, а общекрестьянская: города Клюев не любит, городской поэзии не признает. Очень поучительны дружески-вражеским тоном своим стихи его, в которых он убеждает поэта Кириллова отказаться от мысли о фабричной поэзии и прийти в его клюевский сосновый лес, единственный источник искусства. Об 'индустриальных ритмах', о пролетарской поэзии, о самом принципе ее Клюев говорит с тем натуральным презрением, какое сквозит в устах каждого 'крепкого' хозяина, когда он примеривается глазом к проповедующему социализм, бездомному городскому рабочему или еще того хуже — к стрекулисту. И когда Клюев благосклонно предлагает кузнецу прилечь на минуту на узорчатой мужицкой лавке, кажется, будто богатый и кряжистый олончанин милостиво подает краюху потомственному пролетарию 'в городском обноске на панельных стоптанных каблуках'».[234]

Речь здесь идет о своеобразной поэтической полемике между пролетарским поэтом Владимиром Кирилловым и Клюевым, развернувшейся на страницах тогдашнего литературного журнала «Пламя». Клюев писал:

Мы — ржаные, толоконные,
Пестрядинные, запечные,
Вы — чугунные, бетонные,
Электрические, млечные.
Мы — огонь, вода и пажити,

Озимь, солнца пеклеванные,
Вы же таин не расскажете
Про сады благоуханные.
Ваши песни — стоны молота,
В них созвучья — шлак и олово;
Жизни дерево надколото,
Не плоды на нем, а головы.
У подножья — кости бранные,
Черепа с кромешным хохотом...
...На святыни пролетарские
Гнезда вить слетелись вороны;
Орды книжные, татарские
Шестернею не осилены.
Кнут и кивер аракчеевский,
Как в былом, на троне буквенном...[235]

Стихотворение и пророческое, ибо в нем предуказан тоталитарный коммунизм, и издевательское, ибо прямо указывает на чисто книжный, надуманный, никак с жизнью не связанный, а навязанный ей — характер русского марксистского коммунизма: ведь страна-то была на девять десятых крестьянской, промышленность в те годы вообще лежала в развалинах; на Путиловском заводе кучка рабочих делала зажигалки, а электричество — «лампочка Ильича» — и до сей поры не очень-то заливает все необъятные просторы России:

Ваша кровь водой разбавлена
Из источника бумажного, —

подчеркивает Клюев, и говорит, что только в океане мужицкой Руси — спасение страны и ее будущее:

И цвести над Русью новою
Будут гречневые гении.

Одно время Клюев возлагал надежды на Ленина, как того, кто поведет народ к обетованному раю просветленной и преображенной Руси, Руси, какая грезилась староверам. Клюев подчеркивал «евразийские» — славяно-финско-татарские черты в самой физиономии Ленина, он чаял увидеть в

нем нового вождя Поморского Согласия, воскресшего Андрея Денисова, возвратившегося на Русь протопопа Аввакума — и Вейнемейнена «Калевалы»:

Есть в Ленине Керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в Поморских Ответах.
Мужицкая ноне земля,
И церковь — не наймит казенный...

Увы, эти грезы 1917-1918 года осыпались пустоцветом или обратились в ядовитейшую белену, как и все революционные упования. Почти отчаяние слышится уже в конце того же стихотворения:

Есть в Смольном потемки трущоб
И привкус хвои с костяникой,
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси великой. ...
...Их ворон-судьба стережет
В глухих преисподних могилах...
О чем же тоскует народ
В напевах татарско-унылых?[236]

И еще сгущеннее ощущение гибели и предсудной тоски в стихотворении «Воздушный корабль» из того же цикла «Ленин»:

...Стихотворная, трубная медь
Оглашает журнальную мглу.
Я под Смольным стихами трубил,
Но рубиново-красный солдат
Белой нежности чайку убил
Пулеметно-суровым «назад».
Половецкий привратный костер,
Как в степи, озарял часовых.
Здесь презрен ягелевый узор,
Глубь строки и капель запятых.
С книжной выручки Бедный Демьян
Подавился кумачным хи-хи...

Уплывает в родимый туман
Мой корабль — буревые стихи.
Только с паруса Ленина лик
С укоризной на Смольный глядит,
Где брошюрное сердце на миг
Потревожил поэзии кит.

Со стороны тогдашних властей предержащих послышался окрик-предупреждение. Троцкий писал: «Когда Клюев 'подспудным, мужицким стихом' поет Ленина, то очень не легко решить: Ленин это или... Анти-Ленин? Двоесмыслие, двоечувствие, двоесловие. А в основе всего — двойственность мужика, лапотного Януса, одним лицом к прошлому, другим — к будущему... ... Каков будет дальнейший путь Клюева: к революции или от нее? Скорее от революции: слишком уж он насыщен прошлым».[237]

И Клюева — несколько лет спустя — даже заставили переделать некоторые стихи из цикла «Ленин». Цитированные выше строки «Воздушного корабля», например, были переработаны до полной неузнаваемости:

...Самоедская рдяная медь
Небывалую трубит хвалу.
Я под Смольным стихами трублю,
Где горячий, как сполох солдат
Пулеметным пшеном прикормил
Ослепительных гаг и утят.
Там ночной звероловный костер,
Как в степи, озарял часовых...
Отзвенел ягелевый узор,
Глубь строки и капель запятых.
Только с паруса Ленина лик
Путеводно в межстрочье глядит,
Где взыграл, как зарница, на миг
Песнобрюхий лазоревый кит.[238]

В стихах стало не слишком много смысла? Пусть так, — ответят вам властители дум из ЦК партии: — зато изъяты сомнения, отчаяние, глубокая тоска. А это — самое существенное. Большевики ведь не поэты, не эстеты, они — реалисты...

Если и раньше Клюев бедствовал, то сейчас он — на самом краю голодной смерти. Раньше он бедствовал, потому что оторвался от отцова хозяйства, хотя и небогатого, но достаточно крепкого. Но сейчас положение поэта отчаянное. А. А. Блок стремится помочь Клюеву. Он устраивает его книги в книгоиздательстве «Земля», где выходят и его, Блока, книги.[239] Впрочем, из этого устройства ничего не выходит — книг Клюева «Земля» не издала... В том же 1918 году Есенин, Клычков, скульптор Коненков и Орешин, чтобы как-то укрепить положение прозаиков и поэтов-крестьян, подают заявление — от имени инициативной группы крестьянских поэтов и писателей — об образовании крестьянской секции при Московском Пролеткульте. В числе тех, кого эта инициативная группа предлагала привлечь к творческой деятельности, значился и Клюев...[240] Клюев — и Пролеткульт! Более нелепого, противоестественного сочетания имен представить невозможно. Но — надо было как-то жить, а Пролеткульт тогда хотя и сквернейшим образом, но что-то издавал, и если не кормил, то немного подкармливал. Клюев печатается даже иногда в таких рьяно-пролеткультовских изданиях, как журнальчик «Грядущее». Но и там клюевская «революционность» облекается в такие ризы, что не понять — как мог «пролетарский» журнал напечатать такое: распят Христос-мужик. А распяла-то его новая монархия Петровская, Санкт-Петербургская, индустриально-железная, порвавшая с исконно-русскими началами, и «образованность наша вонючая». И революция призвана попрать вражьи силы, и «сойдет с древа Всемирное Слово во услышание всем концам земным... Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Нищие, голодные, мученики, кандальники вековечные, серая убойная скотина, невежи сиволапые, бабушки многослезные, многодумные старички онежские вещие, — вся хвойная, пудожская мужицкая сила — стекайтесь на великий, красный пир воскресения! Ныне сошло со креста Всемирное слово. Восколыбнулась вселенная — Русь распятая, Русь огненная, Русь самоцветная, Русь-пропадай голова, соколиная, упевная, валдайская!»...[241] Но народ русский, хотя он и Возлюбленный Сын Божий, «слеп на правый глаз свой». И нужно просветить разум «огненной грамотой», Наукой (с большой буквы): «И полюбишь ты себя во всех народах, и будешь счастливо служить им. И

медведь будет пастись вместе с телицей, и пчелиный рой поселится в бороде старца. Мед истечет из камня, и житный колос станет рощей насыщающей»...[242]

Уму — республика, а сердцу — Матерь-Русь.
Пред пастью львиною от ней не отрекусь.
Пусть камнем стану я, корягою иль мхом, —
Моя слеза, мой вздох о Китеже родном,
О небе пестрядном, где звезды — комары,
Где с аспидом дитя играют у норы,
Где солнечная печь ковригами полна,
И киноварный рай дремливее челна...

Тут и «мужицкий староверский рай», тут и Н. Ф. Федоров, тут и социальные мечтания Фурье о царстве будущего, которое преобратит не только природу человека, но преобразит и всю внешнюю природу, сделав хищных львов благодушными антильвами, а китов, обратив их в антикитов, заставит нести социально-полезную функцию океанских буксиров... Но ведь таковы же и мечты о грядущем золотом веке, отраженные в картинах американского художника-примитивиста Эдварда Хикса (1780-1849), и многих утопистов прошлого и настоящего... А чем лучше и научнее пресловутый «прыжок из царства необходимости в царство свободы» Маркса?

В 1919 году выходит изборник Клюева «Медный Кит». Книгу издал «Петроградский Совет Рабочих и Красноармейских Депутатов». Это сочетание было столь парадоксально, что пролетарский писатель Бессалько в пролеткультовском журнальчике «Грядущее», в рецензии на книгу, острил: «Плавая по бурному океану русской жизни и наглотавшись многих медных и железных вещей, вроде — пулемета, революции, Ленина, власти советов, республики, коммуны, — кит почувствовал тяжесть в брюхе. — Ого! — подумал зверь — я кажется, забрюхател 'современностью'. ...Но родил вместо 'современности' Божьего ослушника, пророка Иону, проглоченного три тысячи лет назад в морях древней Иудеи. Вышедши на свет Божий, мученик Иона решил издать книгу под названием 'Медный Кит', чтобы рассказать миру о вещах, виденных им во чреве кита. Книга эта издана Петроградским Советом, вероятно, с научной целью, чтобы знали,

как преломилась 'современность' в голове человека, который отстал от жизни ровно на 30 столетий. Начнем с 'Поддонного псалма', дабы показать читателю, что Иона не разучился древне-пророческому стилю. ...А вот и о революции.

Не величайте революцию невестой,
Она только сваха, принесшая дар —
В кумачевом платочке яичко и свечка·

Вот она какая 'революция' верующая, с яичком и свечкой, а то, что пищат газеты о приходе Пролеткульта, то это не страшно, ибо каждая крестьянская

Изба — Карфаген, арсеналы же — печка,
По зорким печуркам не счесть катапульт.

Почему же не взрываются эти 'катапульты'? Сам же автор признается, что в той же крестьянской избе

На божнице табаку осьмина
И раскосый, вылущенный Спас.
Не поет кудесница-лучина
Про мужицкий сладостный Шираз.

А деревенские парни вместо 'Триоди' смотрят на Каутского... ...И в их душе уж 'не засеребрится чайкой тень Егорья' святого, и не будут они вместе с Николаем Клюевым просить мужицкого 'заступника':

Страстотерпец, вызволь цветик маков —
Лютый гад ужалил Китеж-град, —

ибо для них рабочая культура не гад, а осиянная ярким светом свобода, которая краше Китеж-градов и прочих древних сказаний. Благодаря заводской культуре, они знают теперь, что лишь

В союзе с паром, сталью и огнем
Овладеем шаровидным Кораблем,

как говорит поэт рабочего класса Илья Садофьев. Да, Вселенной и всей природой мы овладеем лишь разумом, наукой

— точными познаниями, а суеверная сказка, мистика и прочая штука, делавшая людей рабами этой природы, должны быть забыты. В книге 'Медный Кит' и, что то же — 'Еловый скит' есть немало очень сильных, красивых стихотворений, но они не спасают читателя от тяжелой улыбки при зрелище того, как автор тщетно силится уберечь от всеразрушающей революции свой древний Китеж-град, свое христианское миропонимание».[243]

Рецензия выписана почти полностью — так она характерна...

В том же 1919 году вышло двухтомное собрание стихотворений поэта — «Песнослов». О выпуске «Песнослова» Клюев переписывался с Аверьяновым уже давно, в 1917 году (см. его переписку по этому поводу в статье Г. Мак-Вэя). Порвав с Аверьяновым договор, Клюев издал «Песнослов» в Петрограде, в Литературно-издательском отделе Наркомпроса. Это — самое полное собрание стихотворений Клюева, вышедшее в СССР. В отзыве на «Песнослов» поэт и критик Иннокентий Оксенов писал: «...если вначале наряд клюевской музы казался на первый взгляд простым, то знатоки и ценители очень скоро открыли, что эта простота есть простота поэта, смело и уверенно владеющего своим искусством... Поэт сознал свою большую историческую роль — и творчество его гармонически развивалось по своим собственным законам — и, конечно, законам истории. ...Клюев своею любовью к миру приобрел и нам дал уверенность в великой ценности всего, что окружает нас в мире. ...Религиозное постижение мира заставляет поэта принимать и Революцию, как сужденный человечеству шаг на пути к 'Порогу Несказанному'».[244] Таков отзыв поэта — и притом участника некоторых «скифских» изданий. Но А. Воронский воспринимает «Песнослов» — и других поэтов-«скифов» совсем иначе. Говоря о невозможности для них стать воистину советскими поэтами, поэтами революции, он пишет: «Для них (Блока, Клюева, Есенина. БФ) революция ценна была в своей стихийности, бунтарстве. Диктатуры пролетариата, его разума и дисциплины они не понимали и не принимали. Но самое главное — у них нет ни скрупула, ни грана социализма... И вообще социализм им был чужд, так как все они — индивидуалисты».[245] Всеволод Рождественский, несколько позднее писал: «Клюев 'Братских песен' и «Мирских дум'

был прост и лиричен· Подлинный, глубоковзрытый чернозем народной песни... 'Песнослов' — книга, написанная уже в городе, в окружении 'материалами по народному творчеству'; ее некоторая филологическая скованность все-таки не в силах победить нутряного песенного жара».[246]

Выйти в свет «Медный Кит» и «Песнослов» могли, конечно, только потому, что в разных комиссиях и комиссариатах, ведомственных издательствах еще сидели друзья — «осколки разбитой вдребезги» русской культуры предреволюционного периода. Да и руководящие работники Коммунистической партии были в то время значительно интеллигентней — их еще не проредила до предела властная рука гениалиссимуса Сталина. Еще существуют и частные издательства — и даже журналы и газеты, существуют самые противоположные по сути и форме литературные группировки, от самых яро пролетарски-космических — до неославянофильских: литературный критик-эмигрант писал в те годы: «Никогда, быть может, за все существование российской поэзии, от 'Слова о полку Игореве' и до наших дней, — идея Родины, идея России не вплеталась так тесно в кружево и узоры созвучий и образов религиозно-лирических и символических вдохновений, — как в этих стихах 'советских поэтов', стихах служителей того режима, который, казалось, отменил самое понятие Родины и воздвиг гонение на всех, кто в политической области исповедовал 'любовь к Отечеству' и 'народную гордость'»...[247] Существуют и самые разнообразные течения — от староверов-реалистов типа Петрова-Скитальца и до футуристов типа Бурлюка или Маяковского. Многие поэты, конечно, перерастают все эти группировки и течения, и к крупным поэтам никакие групповые ярлыки, понятно, неприложимы. Михаил Кузмин писал, что «Маяковский, Есенин, Клюев и Ивнев — сами по себе, я даже не знаю, к какой школе при быстрой смене ориентации они себя приписывают».[248]

Нищета, разорение города и деревни, братобойная гражданская война, безбожная пропаганда. Голодные столицы зарастают «травой забвенья». Голод косит миллионы. Особенно голодают столицы. «Трава на петербургских улицах — первые побеги девственного леса, который покроет место современных городов», — пишет в те годы Осип Мандельштам.[249] А зимой к голоду прибавлялся лютый холод.

Люди сбивались в одну комнату, к железной печке времянке. Возвращались к пещерному веку: «В пещерной петербургской спальне было так же, как недавно в ноевом ковчеге: потопно перепутаны чистые и нечистые твари. Красного дерева письменный стол; книги; каменно-вековые гончарного вида лепешки; Скрябин, опус 74; утюг; пять любовно, добела вымытых картошек; никелированные решетки кроватей; топор; шифоньер; дрова. И в центре всей этой вселенной — бог, коротконогий, ржаво-рыжий, приземистый, жадный пещерный бог: чугунная печка». (Евгений Замятин).[250] Это еще хорошо, когда есть хотя бы самая малость дров. Виктор Шкловский рассказывает про зиму 1919 года в Петербурге: «Было холодно, топили книгами. В темном 'Доме Литераторов' отсиживались от мороза; ели остатки с чужих тарелок. ...Лопнули водопроводы, замерзли клозеты. Страшно, когда человеку выйти некуда».[251] Может быть, лучше всего передает всю трагичность Петербурга тех месяцев В. Зоргенфрей:

...Крест вздымая над колонной,
Смотрит ангел окрыленный
На забытые дворцы,
На разбитые торцы.
Стужа крепнет. Ветер злится.
Подо льдом вода струится,
Надо льдом костры горят,
Караул идет в наряд. ...
...В нише темного дворца
Вырос призрак мертвеца,
И погибшая столица
В очи призраку глядится.
А над камнем, у костра,
Тень последнего Петра —
Взоры прячет, — содрогаясь,
Горько плачет, отрекаясь. ...
...Желтый свет в окне мелькает.
Гражданина окликает
Гражданин:
— Что сегодня, гражданин,
На обед?
Прикреплялись, гражданин,
Или нет?

— Я сегодня гражданин,
Плохо спал:
Душу я на керосин
Обменял. ...[252]

«По великой Европейско-Российской равнине прекрасная прошла революция, метель метельная вылущила ветрами мертвое все, — умирать неживому. Сказания русских сектантов сбылись, — первый император российской равнины основал себе парадиз на гиблых болотах — Санкт-Питер-Бурх, — последний император сдал императорский — гиблых болот — Санкт-Питер-Бург — мужичьей Москве; слово *москва* значит: темные воды, — темные воды всегда буйны. Питербургу остаться — сорваться с *прямолинейной* — проспекта — в туман метафизик, в болотную гарь».[253]

Столица умирала: зверино голодала, люто холодала. Столица перенесена в Москву: быть Петербургу пусту. Знакомые, друзья, враго-друзья — — многие бегут за советские рубежи: Мережковские, Андрей Белый — и сколько еще! Недалека и смерть Блока: он умрет, «потому что дышать ему уже нечем: жизнь потеряла смысл» ...И никому, казалось бы, нет дела до стихов.·. Никому? Нет, есть чудаки — голодные и в опорках, — которые еще собираются и читают прекрасные, обреченные стихи и повести. Издаются на невозможной — хуже газетной! — бумаге маленькие сборнички и альманахи, обложки к ним рисуют такие же голодные и оборванные Головин, Чехонин, Добужинский, Митрохин... «Записки Мечтателей», «Цех Поэтов», «Трилистник» — во всем этом — какая-то тоска умирания, безнадежного и бессыновнего: некому, очевидно, и передать свое задушевное, некому завещать запазушное, сокровенное. Оно только «себе самому на потребу». Немного позже, в феврале 1921 года, в проекте декларации издательства «Алконост», А. А. Блок напишет: «Группа писателей, объединившаяся в 'Алконосте', проникнута тревогой перед развертывающимися мировыми событиями, наступление которых она чувствовала и предсказывала, потому она обращена лицом не к прошедшему, тем менее — к настоящему, но к будущему».[254] А несколько раньше, Блок говорил, что «настоящим и дышать невозможно, можно дышать только этим будущим»...[255] Но и на будущее у многих исчезла всякая надежда... Нить преемства уже непоправимо

обрывалась. Но последние обломки великого крушения почти экстатически устремлялись к Последнему: к высочайшим пределам мысли и искусства. Так, в голодном и замерзающем Петербурге возникает — по инициативе А. Блока и А. Белого, Иванова-Разумника и С. Аскольдова — Вольная Философская Ассоциация — «Вольфила». Не остается от нее в стороне и Клюев: так, 24 октября 1920 г. в Вольфиле был вечер поэзии Клюева.[256]

Политическое удушье, нищета, голод гонят Клюева на Вытегру. И с любимым «жавороночком» — Есениным — почти разрыв. И как всегда — «почти»: Клюев и притягивает и отталкивает Есенина: «с Клюевым разошелся», пишет он 26 июня 1920 г. А. В. Ширяевцу: «...А Клюев, дорогой мой, — бестия. Хитрый, как лисица, и все это, знаешь, так: под себя, под себя. Слава Богу, что бодливой корове рога не даются. Поползновения-то он в себе таит большие, а силенки-то мало. Очень похож на свои стихи, такой же корявый, неряшливый, простой с виду, а внутри — черт». И Есенин советует Ширяевцу: «...брось ты петь эту стилизационную клюевскую Русь с ее несуществующим Китежом и глупыми старухами, не такие мы, как это все выходит у тебя в стихах. Жизнь, настоящая жизнь нашей Руси куда лучше застывшего рисунка старообрядчества. Все это, брат, было, вошло в гроб, так что же нюхать эти гнилые колодовые останки? Пусть уж нюхает Клюев, ему это к лицу, потому что от него самого попахивает...»[257]

Эти годы Клюев живет в Вытегре со своей «последней», как он сам пишет в те годы, «любовью» — Николаем Ильичем Архиповым.[258] Но и в Вытегре было голодно. Клюев неоднократно наведывался в Петроград. В письме Р. В. Иванову-Разумнику, 4 декабря 1920, из Москвы, Есенин пишет: «Ну, а что с Клюевым? Он с год назад прислал мне весьма хитрое письмо, думая, что мне, как и было, 18 лет, я на него ему не ответил, и с тех пор о нем ничего не слышу. Стихи его за это время на меня впечатление производили довольно неприятное. Уж очень он, Разумник Васильевич, слаб в форме и как-то расти не хочет. А то, что ему кажется формой, ни больше ни меньше как манера, и порой довольно утомительная. Но все же я хотел бы увидеть его. Мне глубоко интересно, вот какой ощупью вот теперь он пойдет?»[259] Возможно, именно это письмо Клюева имеет в виду А. Ма-

риенгоф: «В ту же зиму прислал Есенину письмо... Николай Клюев. Письмо сладкоречивое, на патоке и елее. Но в патоке клюевской был яд... ...Есенин читал и перечитывал письмо. К вечеру знал его назубок. Желтел, молчал, супил брови и в гармошку собирал кожу на лбу. Потом дня три писал ответ... ...Вызволакивал из темных уголков памяти то самое, от чего должен был так же пожелтеть Миколушка, как пожелтел сейчас 'Миколушкин сокол ясный'. Есенин собирался вести за собой русскую поэзию, а тут наставляющие и попечительствующие словеса Клюева».[260]

Как вспоминает А. Назарова, жившая в 1920 году в одной комнате — в Москве — с Есениным и его сестрой Катей (подругой которой она была), Есенин получил в 1920 году письмо от Клюева:

«Умираю с голоду, болен. Хочу посмотреть еще раз своего Сереженьку, чтоб спокойней умереть».[261]

«Есенин немедленно выехал за Клюевым и привез его к себе в Москву. 'Я увидела сытое, самодовольное и какое-то нагло-услужливое лицо...' — таково было первое впечатление А. Назаровой от Клюева. Далее А. Назарова вспоминает, что Клюев, 'как дьячок Великим постом', 'соболезновал о России, о поэзии и прочих вещах, погубленных большевиками... Говорилось это не прямо, а тонко и умно, точно он, невинный страдалец, как будто и не говорил ничего'». Дальше Назарова рассказывает о том тягостном впечатлении, какое произвел на Есенина Клюев: «Когда Клюев ушел, он начал говорить, какой он хороший, и вдруг, как-то смотря в себя: 'Хороший, но... чужой! Ушел я от него. Нечем связаться. Не о чем говорить. Не тот я стал. Учитель он был мой, а я его перерос'». Кончилось тем, что Клюев, мол, «поняв, что у Есенина нет денег, ни поесть ни попить вдоволь у нас нельзя, потому что всего было в обрез..., продав книжку стихов за 50 червонцев, получил эти деньги и тихо, не зайдя даже проститься к своему Сереженьке, уехал сам в Ленинград. После этого Есенин никогда уже не говорил, что Клюев самый близкий ему человек, и не собирался спасать его от голодной смерти».[262] «Над башкой Исус Христос в серебряной ризе, а в башке — корысть, зависть и злодейство», — говорил тогда же о Клюеве Есенин, как вспоминает А. Б. Мариенгоф.[263]

Все это, конечно, сильно окарикатурено. Благодаря трав-

ле Клюева, начиная с 1920-х годов, о нем или избегали прямо говорить, а говорили попутно, рассказывая о Есенине, о Блоке, — или всячески его поносили.

В 1920 году, как уже было сказано выше, вышли в — уже эмигрантском — издательстве левоэсеровского толка «Скифы» две брошюрки стихов Клюева: «Избяные песни» и «Песнь Солнценосца. — Земля и Железо».

Разрыв с Есениным все углублялся и углублялся. Этому весьма способствовало и то, что «долго еще, по привычке, критика подливала масла в огонь, величая Есенина 'меньшим клюевским братом'».[264] Этому способствовало и то, что не в конец разгромленное в те годы русское крестьянство еще имело своих «идеологов», выразителей своих чаяний, а эти последние, упоминая или не упоминая в своих писаниях Клюева, все-таки считали его как-бы своим если не вождем, то знаменем. Так, в 1920 году в Государственном издательстве вышла занятная книжка И. Кремнева (под этим псевдонимом скрылся известный политический и общественный деятель Александр Васильевич Чаянов) «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Вышла, правда, только первая часть этой утопической повести: вторая была сразу же зарезана цензурой. И первая-то часть вышла с «обезвреживающим» предисловием В. В. Воровского, также скрывшегося под псевдонимом П. Орловский. Автор предисловия, по всем правилам марксистской казуистики, следуя всем штампам большевистской печати, предупреждал читателя, что хотя «в революцию крестьянство в общем идет за пролетариатом как более развитым политически и более организованным собратом», но привести крестьянство к социализму — задача трудная, ибо «крестьянство не раз и долго еще будет проявлять тенденции к проявлению своих особых, узкокрестьянских, по существу реакционных идеалов, будет стараться цепляться за старое, сохранить отмирающее, восстановить ушедшее...», и т. д. Ну, а сама «крестьянская утопия» Кремнева представляла собой причудливую смесь «избяного рая» Клюева, староверческого пристрастия к временам Царя Алексея Михайловича — до Никона, конечно, модернистической культуры начала нашего века и утопических мечтаний Фурье. И все это — в клюевском ключе. Интересно, что действие повести отнесено к 1984 году — году, каким названа антиутопия Орвелла. Нет больше го-

родов-спрутов, вся страна — это мириады мелких автономных крестьянских трудовых хозяйств, государственная централизация сведена к самому необходимейшему минимуму, система управления — советская — советы трудового народа, но есть и дозволенные «исключения»: «так, в Якутской области у нас парламентаризм, а в Угличе любители монархии завели 'удельного князя', правда, ограниченного властью местного совдепа». Советская страна крестьянской утопии ведет даже войны с другими советскими же, но чисто пролетарскими, странами Европы... В стране крестьянской утопии костюмы жителей — вроде одежд времен царя Алексея, но крестьянская Русь не обходится без современного искусства: «у шумящего самовара» рассуждает о мастерстве Ван-Гога, а «на кремлевских колоколах в сотрудничестве с колоколами других московских церквей» исполняется государственный гимн — «Прометей» Скрябина и ростовские звоны XVI века. Не презрена и простонародная музыка, и тут же — рядом со Скрябиным и Ван-Гогом — «двухрядная гармоника наигрывала польку с ходом». А народные спортивные состязания «на звание первого игрока в бабки» происходят на стадионах, украшенных бюстами Гераклита, Платона, Пифагора...[265]

Все это не только пронизано Клюевым и воззрениями поэтов его окружения, но и просто соответствует во многом самой натуре Клюева, совмещающем в себе и архаику и модернизм, и утонченную философичность и мужицкую хитринку и смекалку, и староверство и богоборчество...

Конечно, такие публичные выступления, как книжка Кремнева, немедленно пресекались. Кроме разгрома в открытой печати, еще более страшным для «провинившегося» был разнос в закрытых отзывах-доносах, не подлежащих опубликованию. Так, сохранился отзыв на книгу Кремнева известного возглавителя религиозных погромов, главы советских безбожников Емельяна Ярославского: «Крестьянская реакционная утопия с возвращением к индивидуальному хозяйству, славянофильству, к национализму, к коалициям печатается на великолепной бумаге в 1920 году в Гос. Издательстве в то время как у нас не хватает букварей для ликвидации неграмотности, когда мы сокращаем тираж газет и печатаем их на оберточной бумаге».[266]

В те годы голодный, нищий Клюев, Клюев затравленный,

загнанный в глухую Вытегру, оказывается властителем дум, с ним должны считаться и противники, как с крупной — не только поэтической — силой, как с большой «опасностью». Все это разжигало и без того сильную зависть и вражду к Клюеву у Есенина. Прежнее преклонение перед ним и перед Блоком сменяется лютой враждой и мальчишеским — и крайне неграмотно-самоуверенным — желанием принизить, в том числе и в чисто формальном плане. В мае 1921 года, находясь в Ташкенте, Есенин видится с А. Ширяевцем и в дарственной надписи на своей книге «Исповедь хулигана» пишет: «...Я никогда не любил Китежа и не боялся его, нет его и не было, как не было и тебя и Клюева. Жив только русский ум, его я люблю, его кормлю в себе: поэтому мне не страшно, и не город меня съест, а я его проглочу (по поводу некоторых замечаний о моей гибели)».[267] Там же, в Ташкенте, он пишет Иванову-Разумнику длиннейшее письмо (в начале мая), письмо со многими вычеркиваниями и перечеркиваниями, оставшееся неотправленным и сохранившееся в архиве А. В. Ширяевца. Письмо настолько характерное, настолько важное не только для понимания взаимоотношений между Есениным и Клюевым, но и для уяснения литературной обстановки тех лет, что его следует привести в больших отрывках:

«Я очень много думал, Разумник Васильевич, за эти годы, очень много работал над собой, и то, что я говорю, у меня достаточно выстрадано. Я даже Вам в том письме не все сказал, по-моему, Клюев совсем стал плохой поэт, так же как и Блок. Я не хочу этим Вам сказать, что они очень малы по своему внутреннему содержанию. Как раз нет. Блок, конечно, не гениальная фигура, а Клюев как некогда пришибленный им не сумел отойти от его голландского романтизма [и оболгал русских мужиков в какой-то не присущей им любви к женщине, к Китежу, к мистически-религиозному тяготению (в последние годы, конечно, по Штейнеру и по Андрею Белому) и показал любовь к родине с какого-то не присущего нам шовинизма. 'Деду Киеву пошила алый краковский жупан' (жупан — знак вольности)], но все-таки они (кое-что), конечно, значат много. Пусть Блок по недоразумению русский, а Клюев поет Россию по книжным летописям и ложной ее зарисовки всех проходимцев, в этом они, конечно, кое-что сделали. Сделали до некоторой степени

даже оригинально. Я не люблю их, главным образом, как мастеров в нашем языке. Блок — поэт бесформенный. Клюев тоже. У них нет почти никакой фигуральности нашего языка. У Клюева они очень мелкие ('черница темь сядет с пяльцами под окошко шить златны воздухи', 'Зой ку-ку загозье гомон с гремью шыргунцами вешает на сучья', 'туча ель, а солнце белка с раззолоченным хвостом' и т. д.). А Блок исключительно чувствует только простое слово по Гоголю, что 'слово есть знак, которым человек человеку передает то, что им поймано в явлении внутреннем или внешнем'. Дорогой Разумник Васильевич, 500,600 корней хозяйство очень бедное, а ответвления словесных образов дело довольно скучное, чтобы быть стихотворным мастером, их нужно знать дьявольски. Ни Блок, ни Клюев этого не знают, так же как и вся братия многочисленных поэтов. Я очень много болел за эти годы, очень много изучал язык и к ужасу своему увидел, что ни Пушкин, ни все мы, в том числе и я, не умели писать стихов. ...Вот с этой, единственно только с этой точки зрения я писал Вам о Блоке и Клюеве во втором своем письме. Я, Разумник Васильевич, не особенный любитель в поэзии типов, которые нужны только беллетристам. Поэту нужно всегда раздвигать зрение над словом. ...Не люблю я скифов, неумеющих владеть луком и загадками их языка. ...»[268]

Тем не менее, окончательно связь не порывалась. В том же 1921 году Клюев пишет Есенину:

«Живу в Вытегре, городишко с кулачок... в старом купеческом доме. Теперь я нищий и оборванный, изнемогающий от постоянного недоедания... Я целые дни сижу на хлебе пополам с соломой, запивая его кипятком, бессчетные ночи плачу один-одинешенек и прошу Бога только о непостыдной и мирной смерти».[269]

В декабре 1921 года Есенин пишет Клюеву из Москвы: «Мир тебе, друг мой! Прости, что не писал тебе эти годы и то, что пишу так мало и сейчас. Душа моя устала и смущена от самого себя и происходящего. Нет тех знаков, которыми бы можно было передать все, чем мыслю и от чего болею. А о тебе я всегда помню, всегда во мне ты присутствуешь. Когда увидимся, будет легче и приятней выразить все это без письма. Целую тебя и жму твою руку».[270]

В самом начале 1922 года, в частном книгоиздатель-

стве «Эпоха», в Петербурге, выходит маленькая книжка Клюева — поэма «Четвертый Рим». Это — и сугубо-личный, и политический, и поэтический и — отчасти — историософский выпад против Есенина. Клюев чувствует себя покинутым самым близким. Другому близкому посвящает он поэму: тому, с кем вместе живет эти годы в глухомянной Вытегре: Николаю Архипову. (Ему же, при передаче своей фотографии, пишет Клюев в то же время:

Портретом ли сказать любовь,
Мой кровный, неисповедимый!.. ...
...О, только б обручить любовь
Созвучьям — опьяненным пчелам...[271])

Но Есенин — все-таки самая большая любовь Клюева. А обрядился вот в цилиндр, в лакированные башмаки, отошел от «старшого брата», сблизившись с имажинистами, еще со всякими там... И Клюев кричит: «Не хочу быть знаменитым поэтом в цилиндре и в лаковых башмаках»:

Я сплел из слов, как закат, лаптище
Баюкать чадо — столетий зык. ...
...Стихи — огневища о милой невесте,
Чьи ядра — два вепря, два лютых орла. ...

Он, Клюев, певец не только духа, но и земли, но и плоти, но плоти с землей родственной:

О плоть — голубые нагорные липы,
Где в губы цветений вонзились шмели,
Твои листопады сгребает Архипов
Граблями лобзаний в стихов кошели!

Он, Клюев, не променял душу на цилиндр и башмаки, он верен:

...зыбке плакучей, родимой,
Могилушке маминой, лику гумна...
...Зато на моем песнолиственном дубе
Бессмертия птица и стая веков...

«Четвертый Рим» зареет в песнях-упованиях народа русского: Русь не урбанистическая, не индустриальная, а обетованная страна Матери Сырой Земли и бессмертия:

Подарят саван заводским трубам
Великой Азии пески...

И — не только Русь: весь мир, все мироздание... Не будет он, Клюев, воспевать лязг машин, город с его шумами и дымами:

Лучше сгинуть в песках Чарджуев
С мягкозадым бачей-сартенком...*)

И Клюев шлет городу, городскому пафосу, индустриальной обезличке человека — анафему. Конечно, сильны в поэме и ее гомосексуальные элементы.

Поэма вызвала самые различные отклики. Недалекий Сергей Городецкий писал в 1926 году: «Этим своим цилиндром, своим озорством, своей ненавистью к деревенским кудрям Есенин *подымал* себя и над Клюевым и над всеми другими поэтами деревни... И хитрый Клюев очень понимал значение этих чудачеств для внутреннего роста Есенина. Прочтите, какой искренней злобой дышат его стихи Есенину в 'Четвертом Риме'» ...Городецкий несет дальше совсем уже смешные вещи: цилиндр-де и лаковые башмаки — это чуть ли не марксистско-ленинская прививка, чтобы «бытом имажинизма» бороться с инфекцией идеализма Вячеслава Иванова и, особенно, Клюева: «Но, увы! Даже Клюев не понял, что яд лежал глубже, что Есенин был отравлен сильней, что опасность смертельного исхода заболевания идеализмом была ближе...»[272] Лев Троцкий смотрел однобоко, но зорко: «Клюев увидел в этом измену мужицкому корню и бранчливо мылил *младшему* голову — ни дать, ни взять богатый братан, выговаривающий брательнику, который решил жениться на городской шлюхе и записаться в голоштанники

*) Бача — мальчик-наложник. В среднеазиатских республиках СССР были даже комитеты «по борьбе с бачебайством» — по продаже родителями мальчиков богачам-«баям».

...У Есенина нет клюевской солидности, угрюмой и напыщенной степенности... Клюев же целиком сложился в довоенные годы, и если на революцию и войну откликается, то в пределах очень замкнутого своего консерватизма». «Странная книжка... — писал тогда же Э. Бик (С. Бобров). — Тема ее: 'не хочу быть имажинистом'. Но так как пока это ни для кого ни в малой степени не обязательно, то часть пафоса автора, разлагаясь в недоумении, исчезает для читателя».[274] Анонимный рецензент в полусменовеховской берлинской «Новой Русской Книге» недоумевает также: «Стихотворение Клюева (150 строк), почему-то удостоившееся издания отдельной книжечкой, все построено на той теме, что Клюев не хочет быть Есениным... ...Ходит ли Есенин в лаковых башмаках, а Клюев в лаптях, это их дело семейное, и, право, ни для кого, кроме разве неврастенических девиц из 'скифов' неинтересное».[275] Большевики, однако, поняли отлично основную направленность книжки. Понял это, например, Михаил Павлов: «За песни его (Клюева, БФ) об этой темной лесной стихии мы должны быть Клюеву благодарны: врага нужно знать и смотреть ему прямо в лицо».[276] Итак, слово найдено: Клюев — в р а г. Друзья же приветствуют поэта, даже излишне восторженно. Иванов-Разумник, например, пишет о поэме: «Теперь... о другой радости — уже не нечаянной: о новой небольшой поэме Н. Клюева 'Четвертый Рим'. Неожиданного в ней нет ничего для знакомых с последними годами творчества этого поэта, с теми его стихами, которые собраны в книге 'Львиный Хлеб' (скоро появится в печати); осознавший свою силу Илья Муромец размахивается в последних своих стихах и бьет, как в былинах, 'по чем попадя'. Впрочем, Илья по силе (сила — громадная!), он скорее Алеша Попович по хитрости: раньше пробовал рядиться 'в платье варяжское', да скоро увидел, что сила его — в своем, исконном, и не без лукавства сильно ударил по этой струне своего творчества. И силу свою осознал»... «И песня эта — для него сила действенная, — не Сталь победит мир (нет — '...сядет Ворон на череп стали'!), а духовный взрыв приведет к 'Четвертому Риму'; в силу 'стальных машин, где дышит интеграл', не верит '*мужицкий* поэт' ...Но победа — будет, и духовным предтечей ее сознает себя поэт. ...Самонадеян зах-

ват поэмы; но Клюев — имеет право на самонадеянность: силач! Техникой стиха его недаром восторгался Андрей Белый; но недаром он и боялся того духа, который сквозит за 'жемчугами Востока' стихов Клюева. ...Торжественной песнью плоти является вся первая часть 'Четвертого Рима'...[277]

Есенин был в бешенстве. 6 марта 1922 г. он пишет (из Москвы) Иванову-Разумнику, вначале сдерживаясь и стараясь быть объективным и спокойным: «...уж очень мы все рассыпались, хочется опять немного потесней, 'в семью едину', потому что мне, например, до чертиков надоело вертеться с моей пустозвонной братией (имажинистами, БФ), а Клюев засыхает совершенно в своей Баобабии (Вытегре; «баобаб» — нередкий гость клюевских стихов, БФ). Письма мне он пишет отчаянные. Положение его там ужасно, он почти умирает с голоду. Я встормошил здесь всю публику, сделал для него что мог с пайком и послал 10 миллионов руб. Кроме этого, послал еще 2 миллиона Клычков и 10 — Луначарский. Не знаю, какой леший заставляет его сидеть там? Или 'ризы души своей' боится замарать нашей житейской грязью? Но ведь тогда и нечего выть, отдай тогда тело собакам, а душа пусть уходит к Богу. Чужда и смешна мне, Разумник Васильевич, сия мистика дешевого православия, и всегда-то она требует каких-то обязательно неумных и жестоких подвигов. Сей вытегорский подвижник хочет все быть календарным святителем вместо поэта, поэтому-то у него так плохо все и выходит. 'Рим' его, несмотря на то, что Вы так тепло о нем отозвались, на меня отчаянное впечатление произвел. Безвкусно и безграмотно до последней степени со стороны формы. 'Молитв молоко' и 'сыр влюбленности' — да ведь это же его любимые Мариенгоф и Шершеневич со своими 'бутербродами любви'. Интересно только одно фигуральное сопоставление, но, увы, — как это по-клюевски старó!.. Ну, да это ведь попрек для него очень небольшой, как Клюева. Сам знаю, в чем его сила и в чем правда. Только бы вот выбить из него эту оптинскую дурь, как из Белого — Штейнера, тогда, я уверен, он записал бы *еще* лучше, чем 'Избяные песни'. ...Нужно обязательно проветрить воздух. До того накурено у нас сейчас в литературе,

что просто дышать нечем».[278] И — злость на Клюева — и известное послушание: с имажинистами намечается уже разрыв. И даже в стихах — как бы ответ: «Я хожу в цилиндре не для женщин...» А 5 мая того же года Есенин пишет уже Клюеву самому: «Милый друг! Все, что было возможно, я устроил тебе и с деньгами, и с посылкой от 'Ара'*). На днях вышлю еще 5 миллионов. Недели через две я еду в Берлин, вернусь в июне или в июле, а может быть, и позднее. Оттуда постараюсь также переслать тебе то, что причитается со 'Скифов'. Разговоры об условиях беру на себя и если возьму у них твою книгу, то не обижайся, ибо устрою ее куда выгодней их оплаты.**) Письмо мое к тебе чисто деловое, без всяких лирических излияний, а потому прости, что пишу так мало и скупо. Очень уж я устал, а последняя моя запойная болезнь совершенно меня сделала издерганным, так что даже и боюсь тебе даже писать, чтобы как-нибудь беспричинно не сделать больно. В Москву я тебе до осени ехать не советую, ибо здесь пока все в периоде организации и пусто — хоть шаром покати. Голод в центральных губерниях почти такой же, как и на севере. ...Перед отъездом я устрою тебе еще посылку, может, как-нибудь и провертишься. Уж очень ты стал действительно каким-то ребенком — если этой паршивой спекулянтской 'Эпохе' за гроши свой 'Рим' продал. Раньше за тобой этого не водилось. Вещь мне не понравилась. Неуклюже и слащаво. Ну да ведь у каждого свой путь. От многих других стихов я в восторге. Если тебе что нужно будет, пиши Клычкову, а ругать его брось, потому что он тебя любит и сделает все, что нужно. Потом можешь писать на адрес моего магазина ...книжный магазин художников слова. Это на случай безденежья. Напишешь, и тебе вышлют из моего пая, потом когда-нибудь сочтемся. С этой стороны я тебе ведь тоже много обязан в первые свои дни. ...Привет и целование».[279]

В воспоминаниях лиц, близко знавших Есенина, то и

---

*) АРА — Американская Организация Помощи Голодающим. Спасла многих в России от голодной смерти. Благодарное советское правительство назвало впоследствии эту организацию «шпионской»...

**) Речь идет о повторном издании книги Клюева «Львиный Хлеб» в берлинском издательстве «Скифы», 1922 (38 стр.).

дело встречаются его самые противоречивые высказывания о Клюеве. И дело тут не столько в естественной пристрастности памяти мемуаристов, сколько в чрезвычайной противоречивости, изменчивости самих взаимоотношений Есенина и Клюева. М. Бабенчиков рассказывает о Есенине, что «дружбу с Клюевым он вспоминал как мрачную полосу».[280] В воспоминаниях пролетарского поэта Владимира Кириллова передается его разговор с Есениным: «'Мне кажется, что Клюев оказал на тебя некоторое влияние?' — Может быть, вначале, а теперь я далек от него — он весь в прошлом».[281] Но, встретясь вскоре с Кирилловым, Есенин остановил его и сказал: «Ты знаешь, то, что я говорил тебе о Клюеве, — неправда. Клюев — мой учитель и я его очень люблю и ценю».[282] По воспоминаниям Ивана Старцева Есенин «из современников любил Белого, Блока и какой-то двойственной любовью Клюева».[283] Оправдываясь, Есенин говорил: «Разве я виноват в том, что я такой! ...Я признаю влияние на меня Блока, Клюева... Вот они влияли на меня! Я ведь никогда этого не скрывал!»[284] — так рассказывает Иван Грузинов. А В. Эрлих рассказывает: Есенин возмущался: «Они говорят — я от Блока иду, от Клюева. Дурачье! У меня ирония есть. Знаешь, кто мой учитель? Если по совести... Гейне мой учитель!»[285] А 26 февраля 1921 года, почти одновременно с этими высказываниями, Есенин говорил И. Н. Розанову: «С Клюевым мы очень сдружились. Он хороший поэт, но жаль, что второй том его 'Песнослова' хуже первого».[286]

В том же 1922 году выходит книга стихов «Львиный Хлеб». Это — манифест. Книга неославянофильская. Значительная часть тиража этой книги была вскоре уничтожена. Книгу замалчивали — и замолчали. Почти не было рецензий, ее едва-едва упоминали. За рубежом, по заданию Москвы, в сменовеховской газете «Накануне», на «Львиный Хлеб» обрушивается А. Кусиков. Он всячески издевается над «книгой старательных пророчеств», воскуряя фимиам прежнему Клюеву.[287] Но в книге — сквозь пестрядь слов, иногда чрезмерную нагроможденность образов, угловатость мыслей и условную клюевскую географию сказочного евразийства — проступает замечательный образ Руси — мужицкого рая, Невидимого Града, хлебно-духовного вызревания и вырастания.

Увы, Ленин, на которого надеялся Клюев, — отнюдь не

«игумен Поморских Ответов» — и клюевских мужикословствующих стихов он не возлюбил. Да, очевидно, и не догадывался о их существовании: ведь его вкусы не шли дальше бездарнейшего Чернышевского и худших, но зато с социалистической слезой, стихов Некрасова. А как «вождь» мужиков-староверов и землелюбов — он и вовсе оказался «антихристом». И поэт, отчаявшись, раскаявшись, вопит покаянные песни. Нет, коммунизм — не из Новгорода, Рязани и Москвы родом. Он — от Петра и материалистического и атеистического Запада, а «домик Петровский — не песня Есенина», — и Русь ждет гостей с Запада, но как *гостей*, а не владык-реформаторов. Рада Русь повысмотреть и диковины заморские, как ядреная деревенская девка рада расторопному коробейнику с немецким товаром: «Проедет ли Маркони, Менделеев»... Но только — не душить тишину, не убивать Начальника Тишины духовной — Духа Святого — гудками заводов и автомобилей: «Маяковскому грезится гудок над Зимним», — так прочь и Маяковского! Пусть органически, в соборную личность сольются Восток и Запад. А чужеродное, органически не усвоенное, — погань, украшательство лакейское. Его надо смыть. И, может быть, революция — кровавая баня духа, смывающая неорганически усвоенную и изъязвившуюся цивилизацию с живого тела народа, Руси:

Только в ветре порох и гарь...
Не заморскую ль нечисть в баньке
Отмывает тишайший царь?...

Простой, как мычание, и облаком в штанах казинетовых
Не станет Россия, так вещает Изба.

У России — свой путь, своя судьба, своя стать, своя краса и своя вера. И революция — не путь. Может быть, только пропятие. Индустриализацией и пятилетками еще и не пахнет, но поэт уже чует грядущие дни железного раскулачивания, голодных и разутых пятилеток ускоренного преображения Руси в СССР. И поэт, уже в начальные годы революции, отмахивается:

Не знать бы «масс», «коллектива», —
Святых имен на земле...

Цилиндр и лаковые ботинки Есенина — лакейская попытка подпаска, облачившегося в бариновы обноски, подбоченившись, стать фертом перед мужиком. И еще тысячекратно гнуснее — его же лакейское — в угоду властям предержащим — кощунство, богохульство: но оно чревато неотвратимым возмездием:

От оклеветанных Голгоф
Тропа к Иудиным осинам...
...И опадает песни сад
Над материнским строгим гробом...

Гробом Матери-земли, гробом Матери-Руси, гробом народного Бога... Деревенский зажиток — не кулачество, не зло, с которым нужно бороться деревенскими «комбедами» и правительственными декретами, — поучает Клюев. Нет, в крестьянском скопидомстве — накопление общенародных богатств и культуры, мысли и святости, собирание Земли Русской и всех ее устоев; нажиток тысячелетий, исконная земляная сила — она же — живые истоки творчества, разума, божественной полноты:

Когда златится солома,
Оперяются озима,
Мы в черте алмазной, мы дома
У живых истоков ума.

И вспоминает Клюев, что не Есенин только, — а и он, Клюев, кощун и грешник, не раз отрекавшийся от Бога своего: и восклицает в горечи сердечной:

О, распните меня, распните
Как Петра — головою вниз!

«Но не в том вопрос, с кем наша душа, вопрос в том — с кем Россия, с кем наше будущее. И поэт Земли отвечает на это поэту Машины:

Маяковскому грезится гудок над Зимним,
А мне — журавлиный перелет и кот на лежанке:
Брат мой несчастный, будь гостеприимным... ...

Только в думах поддонных, в сердечных домнах
Выплавится жизни багровое золото.

Поэт, конечно, прав — и его земляные 'поддонные думы' безмерно глубже истошного орева духовно-плоского футуризма; но за последним, независимо от воли его, стоит другая правда — правда усложняющейся жизни Города. Две правды, две мистерии — надо ль нам бесповоротно осудить одну, возвеличить другую?» — спрашивает Иванов-Разумник.[288]

Если «Четвертый Рим» и «Львиный Хлеб» насыщены до предела полемикой, то «Мать-Суббота», третья книга Клюева, вышедшая в том же 1922 году (изд. «Полярная Звезда»), уже канон. Недаром на всем протяжении поэмы повторяется, как припев, как «зачало», великолепное: «Ангел простых человеческих дел»... Посвящена поэма — «Николаю Ильичу Архипову — моей последней радости!» Не платформа это мужицкая, даже не «Мужикослов», а — мистика Земли, древняя, исконная мистика зерна-прорастания, опары, Матери-материнства, жизни, оплодотворения. На эту замечательную книжку, быстро, подозрительно быстро исчезнувшую из оборота, откликнулись, пожалуй, только поэт Всеволод Рождественский, да писательница Ольга Форш. Попутно выругал Клюева в те дни сделавшийся околомарксистом В. В. Сиповский. Вот и все. А это — одна из вершин русской поэзии послереволюционных лет. Есть в этой поэме отзвуки и писем А. Н. Шмидт — понимание Духа Святого, как *Женской* Ипостаси в Св. Троице:

Сладок Отец, но пресладостней Дух —
Бабьего выводка ястреб — пастух...

И вся поэма пронизана небывалым в русской поэзии прославлением Жены-Матери:

Улей ложесн двести семьдесят дней
Пестует рой медоносных огней...

Колоритную картинку Клюева у молодых — тогда — литераторов и литературоведов-формалистов, Клюева, читающего им «Мать-Субботу», рисует в полудокументальной

повести «Сумасшедший Корабль» Ольга Форш: «...Итак, под треск пулеметов, под гул орудий, под гибель интеллигентского эсерства, такого русского в своей романтике, с неслыханной идеей террора, возведенного в систему, — мужицкий гений Микулы принес молодым свое русское древнее слово. Он вошел к ним, приземистый, обросший, тяжкий, земляной, как Вий, он не сел, он остался стоять. Стоя читал:

Ангел простых человеческих дел
В душу мою жаворонком влетел...

Читая Микула разъярялся. Космы отросших волос ему прянули на глаза. Он сквозь космы сверлил голубыми, пьяными от лирных волнений и сверкающими, и гаснущими от вспененных чувств взорами. Порой, — как одержимый элевзинским таинством, помавая тирсом, воскликнет вдруг 'эвоэ'! — он взрывал мощным голосом:

Радуйтесь, братья, беременен я
От поцелуев и ядер коня.

И к черту — рыцарство, с худосочной дамой, дантову Розу, россианскую красную-девицу, все начало женское, змею, кусающую собственный хвост... Прославлена от земли в зенит вертикаль. И она — мать, рождающая самосильно. Никогда, может быть, не было такого возвеличения начала женского, идеи женской, — церковью, философией, бытом хитро сведенной к метафизическому и всякому 'приложению' мужчины. В этой мужицкой, хлыстовской, глубоко-русской концепции, впервые женщина возносилась в *единицу* самостоятельной ценности, как мать. Прочее все — дама, роза, мистика, дева — отметается, как баловство. Вскрывались внезапно и находили оправдание глубины народные, даже то, что казалось бессмыслицей и похабством. И вдруг подумалось — быть может, бессознательной тягой к лону матери, тягой к темному, уберегающему материнскому охранению и досадой, что его уже нет, объясняется происхождение всего ужасающего, единственного в мире российского мата. Окончил Микула стихи свои плача... ...*Молодые*... заговорили по очереди. Они отлично поняли и оценили силу стиха, богатство образов, узор языка, но им было *все равно*. Они кондовую мощь Микулы восприняли со стороны, как

иностранцы... ...Весь пафос Микулы, который целиком зачался, рос и ветвился славянской вязью, был для них таким же прошлым, как земля на китах... ...Но зато Микуле они разъяснили его самого всеми методами, напоследок формальными. Микула молча шарахнул острым оглядом по углам — образов, конечно, уже не было — шарахнул по внимательным вежливым молодым, прослушавшим его, старого, и сказал, как несытый:

— Пойти бы куда... дух томится».[289]

Вот так формалистически подошел к «Матери-Субботе» и Всеволод Рождественский: «Лучший пример неудачного идеологического построения — поэма 'Мать-Суббота'. Тягучая пряжа, прошитая прекрасным рефрэном: 'Ангел простых человеческих дел', показывает привычное уже мастерство Клюева — нанизывателя олонецкого жемчуга. Что ни строчка, то метафора, но какого-то обнаженно-лингвистического порядка. Прием побеждает дух. Если рассыпать эту густо нанизанную нитку, сколько прекрасных жемчужин можно поднять, не заботясь о конечном узоре!» У самого Вс. Рождественского формалистический прием победил духовное понимание поэмы: за деревьями великолепнейших клюевских метафор не усмотрел Рождественский высокого леса одной из наиболее «федоровских» поэм Давида Христовского Корабля... Вот внешнюю красу поэмы он понял: «Я советую перелистывать эту прелестную книжку с конца, с середины. Каждая строчка ее маленьких глав — отдельное стихотворение, которое Сергей Клычков или Петр Орешин развернули бы строфы на четыре. У хитрого Клюева слова на счету. Он скуповат, этот олонецкий сказочник. Он расточителен только в воображении. И тут уже конечно границ его дарования не учесть никакому 'Обществу научного изучения фольклора'». Рождественский пишет, что Клюев никогда не бывает элементарен и неинтересен, «несмотря на свои большие срывы».[290]

Почти одновременно типичный литературовед-педант, ставший в те годы околомарксистом, набросился на Клюева вообще: «Читаешь стихотворения Клюева и порой недоумеваешь, в каком веке живешь — в XX или в XVI-XVII? Духовными стихами, поэзией раскола проникнута эта поэзия»...[291]

Нищий поэт зажиточной полнокровной жизни, почти не допускаемый в журналы, живет Клюев странником-поби-

рухой, скитаясь из Петербурга в Москву, из Москвы — в Вытегру или в Кириллов Белозерский монастырь, снова в Петербург, в Каргополь, в Заонежье. Даже в далеком северокавказском Армавире побывал он в эти годы. Сохранились глухие указания на то, что Н. Клюев был около этого времени арестован в Москве: не то за «кражу» во время изъятия церковных ценностей, не то за какие-то паспортные неполадки...

В это время, под предлогом «помощи голодающим Поволжья», Советы изымали церковные ценности из храмов и монастырей. Делалось это грубо, с кровавыми насилиями, не обращалось внимания ни на религиозное значение, святость изымаемых ценностей, ни на их высокую художественную значимость. Анна Ахматова описала с предельной художественной конкретностью это «совлекание риз» с видимой, земной церкви и ес святителей:

...И выходят из обители,
Ризы древние отдав,
Чудотворцы и святители,
Опираясь на клюки...
...Провожает Богородица,
Сына кутает в платок,
Старой нищенкой оброненный
У Господнева крыльца. (1922)[292]

Возможно, что Клюев утаил от производивших изъятия какую-нибудь чтимую или старописную икону — он был их большим знатоком и ценителем: это делали тогда многие, чтобы спасти для церкви ее достояние. Возможно, что арестовали Клюева и из-за каких-нибудь непорядков с его документами. Это скорее всего, так как сохранилась до сих пор неопубликованная и недатированная записка Есенина к Галине Артуровне Бениславской: «Галя, милая! Заходил. К сожалению не мог ждать. За вчерашнее обещание извиняюсь. Дулся в карты. Домой пришел утром. Разыграл Мариенгофа и Приблудного. В общем скучно. Иду на совещание относительно Клюева с паспортной братией. С. Есенин».[293]

7 августа 1922 г. в Петербургском Доме Литераторов Клюев читает свои воспоминания об Александре Блоке.[294]

Воспоминания эти были написаны много раньше, так как их собирались опубликовать «Записки Мечтателей» в № 6-7.[295] Воспоминания эти опубликованы не были и рукопись их, повидимому, утрачена.

Еще в 1919 году создал Есенин «Ассоциацию вольнодумцев в Москве». А в 1923 г., вернувшись из-заграницы, решил издавать при этой ассоциации журнал: не то тоже под названием «Вольнодумец», не то под названием «Россияне». «Я спросил, — рассказывает секретарь ассоциации М. Ройзман, — кто намечен в сотрудники 'Вольнодумца'. Сергей сказал, что для прозы у него есть три кита: Иванов, Пильняк, Леонов. Для поэзии старая гвардия: Брюсов, Белый, Блок — посмертно. Еще: Городецкий, Клюев».[296] «...В последнее время у него (Есенина, БФ) были попытки примирения с Клюевым, попытки совместной работы. Так, в 1923 году, когда обозначился уход Есенина из группы имажинистов, он прежде всего обратился к Клюеву и хотел восстановить с ним литературную дружбу. — Я еду в Питер, — таинственным шепотом сообщает мне Сергей, — я привезу Клюева. Он будет у нас главный, он будет председателем 'Ассоциации вольнодумцев'. Ведь это он учредил 'Ассоциацию вольнодумцев'! — Клюева он действительно привез в Москву. Устроил с ним несколько совместных выступлений. Но прочных литературных взаимоотношений с Клюевым не наладилось. Стало ясно: между ними нет больше точек соприкосновения... Со стороны Есенина это была последняя попытка совместной литературной работы с Клюевым. Личными друзьями они остались: Есенин, приезжая в Ленинград, считал своим долгом посетить Клюева. К последним стихам Клюева Есенин относился отрицательно. Осенью 1925 года Есенин, будучи у меня, прочел 'Гитарную' Клюева, напечатанную в ленинградской 'Красной Газете'. — Плохо! Никуда! — вскричал он и бросил газету под ноги».[297] Так рассказывает Ив. Грузинов. Нужно принять во внимание, что все цитируемые воспоминания о пребывании Клюева в Москве в 1923 году принадлежат близким друзьям Есенина, людям, явно настроенным против Клюева, а потому далеко не объективным. Но других источников информации мы лишены: Клюев к этому времени уже «идеолог кулачества», «классовый враг», — и о нем писать было рискованно: можно было только ругать или окарикатуривать. Однако, и сквозь эти

карикатурные описания прорывается нечто, во всяком случае, о взаимоотношениях его с Есениным.

Судя по воспоминаниям артистки А. Л. Миклашевской, эта встреча поэтов в Москве произошла во второй половине октября: «Очень не понравился мне самый маститый его друг — Клюев. По просьбе Есенина он приехал в Москву. Когда мы пришли в кафе, Клюев уже ждал нас с букетом. Встал навстречу. Волосы прилизанные. Весь какой-то ряженый, во что-то играющий. Поклонился мне до земли и заговорил елейным голосом. И опять было непонятно, что было общего у них... ..Клюев опять говорил, что стихи Есенина сейчас никому не нужны. Это было самым страшным, самым тяжелым для Сергея, и все-таки Клюев продолжал твердить о ненужности его поэзии. Договорился до того, что, мол, Есенину остается только застрелиться. После встречи со мной Клюев долго уговаривал Есенина вернуться к Дункан».[298]

Несомненно еще более окарикатуренную, крайне искаженную, но по-своему колоритную картинку этого свидания поэтов рисует А. Б. Мариенгоф: «Есенин еще печатался в имажинистской 'Гостинице для Путешествующих в Прекрасном', но поглядывал уже в сторону 'мужиковствующих'. Подолгу сидел с Орешиным, Клычковым, Ширяевцем в подвальной комнатке 'Стойла Пегаса'. Ссорились, кричали, пили. Есенин хотел вожаковать. В затеваемом журнале 'Россияне' требовал: — Диктатуры! — Орешин злостно и мрачно показывал ему шиш. Клычков скалил глаза и ненавидел многопудовым завистливым чувством. Есенин уехал в Петербург и привез оттуда Николая Клюева. Клюев раскрывал пастырские объятия перед меньшими своими братьями по слову, троекратно лобызал в губы, называл Есенина 'Сереженькой' и даже меня ласково гладил по колену, приговаривая: — Олень! олень! — Вздыхал об олонецкой избе и до закрытия, до 4-го часа ночи, каждодневно сидел в 'Стойле Пегаса', среди визжащих фокстроты скрипок и красногубой, пустосердечной и площадноречивой толпы, отрыгивающей винным духом, пудрой 'Леда' и мутными тверскобульварными венными страстишками. Мне нравился Клюев. И то, что он пришел путями Господними в 'Стойло Пегаса', и то, что он творил крестное знамение над жидким моссельпромовским пивом и вобельным хвостиком, и то, что он ради мистического ряжения и

великой фальши, которую зовем мы искусством, одел терновый венец и встал с протянутой ладонью среди нищих на соборной паперти с сердцем циничным и кощунственным, холодным к любви и вере. Есенин к Клюеву был ласков и льстив. Рассказывал о 'Россиянах', обмозговывал, как из 'старшо́го брата' вытесать подпорочку для своей 'диктатуры', как 'Миколаем' смирить Клычкова с Орешиным. А Клюев вздыхал:

— Вот, Сереженька, в лапотки скоро обуюсь... последние щиблетишки, Сереженька, развалились!

Есенин заказал для Клюева шевровые сапоги. А вечером в 'Стойле Пегаса' допытывал: — Ну, как же насчет 'Россиян', Николай?

— А я кумекаю — ты, Сереженька, голова... тебе красный угол.

— Ты скажи им — Сереге-то Клычкову и Петру, что, мол, 'Есенина диктатура'.

— Скажу, Сереженька, скажу...

Сапоги делались целую неделю. Клюев корил Есенина: — Чего Изадору-то бросил... хорошая баба... богатая... вот бы мне ее... плюшевую бы шляпу купил с ямкою и сюртук, Сереженька, из поповского сукна себе справил...

— Справим, Николай, справим! только бы вот 'Россияне'...

А когда шевровые сапоги были готовы, Клюев увязал их в котомочку и в ту же ночь, втихомолку, не простившись ни с кем, уехал из Москвы».[299]

Сапоги сапогами, а поэзия поэзией... Мы видим, что оба ругали друг друга за стихи. И не пошел Микула в есенинских сапогах стать в недружные ряды перепившихся «Россиян». «Сереженька-то наш, Сереженька-то наш совсем спился, совсем спился — сокрушенно причитая, жаловался мне Клюев, — рассказывает Ив. Грузинов. — И уехал обратно в Петроград»[300] А сам-то Сереженька в те же, примерно, времена, похвалялся Вольфу Эрлиху и клюевскими подарками, и клюевскими наставлениями: «— А знаешь, мне Клюев перстень подарил! Хороший перстень! Очень старинный! Царя Алексея Михайловича! — ...Он кладет руки на стол. Крупный медный перстень надет на большой палец правой руки. ...— Слушай! И слушай меня хорошо! Вот я например могу сказать про себя, что я — ученик Клюева. И это —

правда! Клюев — мой учитель. Клюев меня учил даже таким вещам: — Помни, Сереженька! Лучший размер лирического стихотворения — 24 строки».[301]

Очевидно, именно в ту же московскую поездку Клюев пытается связаться покрепче с некоторыми пролетарскими поэтами, с теми, что поталантливее, вроде В. Казина, В. Кириллова (с которым полемизировал в 1918-1919 гг.), Г. Санникова. Эти группа, отколовшаяся от Пролеткульта, образовала литературное объединение, назвав его «Кузницей». Еще до поездки в Москву к Есенину, Клюев приезжал в Москву, в начале 1923 года, и читал в «Кузнице» свой рассказ — из эпохи повстанческой крестьянской борьбы в Сибири — «Бугор».[302] Рассказ опубликован не был, и рукопись его, очевидно, утрачена. Теперь, осенью, он опять бывает в «Кузнице», возможно, вместе с Есениным.

Вполне вероятно, что Клюеву нужно как-то обелить себя перед властями предержащими, создать себе хотя бы сколько-нибудь сносное политическое лицо — чтобы его выпустили за рубежи СССР. Такой хорошо осведомленный орган, как сменовеховская берлинская газета «Накануне» (главная редакция которой была в Москве...), сообщает в номере от 25 декабря 1925 г., что Клюев «собирается за границу».[303] Конечно, из этой поездки ничего не вышло...

Клюев обосновывается в Петербурге. Довольно близко сходится с замечательным русским философом — Сергеем Алексеевичем Алексеевым-Аскольдовым. Познакомился он с ним давно, еще на «башне» у Вячеслава Иванова. Много позже, уже в сороковых годах, Аскольдов рассказывал пишущему эти строки, как сильно озадачивал его и других Клюев, поправляя в разговоре цитаты Сергея Алексеевича из Баадера или Фихте-младшего... Клюев, по словам Аскольдова, и в литературе, и в философии чувствовал себя обжитым прочно, домовито, — знал, кажется, не только немецкий, но и английский, но, конечно, только для чтения, а произносил — и в стихах тоже! — «Я — олонецкий Лонгфелло́», и писал французские разговорные фразы русскими литерами. Троцкий, неплохо понимавший, но не до конца уразумевший Клюева, писал о нем: «Клюев учился. Где и чему, не знаем, но распоряжался он знаниями, как начетчик и еще как скопидом. Крестьянин зажиточный, вывезя из города случайно телефонную трубку, укрепляет ее в красном углу,

неподалеку от божницы. Так и Клюев Индией, Конго, Монбланом украшает красные углы своих стихов, а украшать Клюев любит. Простая скобленая дуга у хозяина бывает только от бедности. У хорошего хозяина дуга с резьбою, расписная, в несколько красок. Клюев хороший стихотворный хозяин, наделенный избытком: у него везде резьба, киноварь, синель, позолота, коньки и более того: парча, атлас, серебро и всякие драгоценные камни».[304]

Клюев, конечно, далеко не простой мужицкий «украшатель». Орнамент Клюева не самодовлеющ. Он — иногда недостаток, но никогда не является основным свойством поэта. Перегрузка поэтическими образами — от перегруженности стихов идейным содержанием. В этом смысле Клюева можно сравнить с поздним Вячеславом Ивановым «Зимних сонетов» и «Человека». И у Вячеслава Иванова, и у Клюева — апокалипсический строй мысли и ее воплощения. Отсюда — и сгущенная образность речи-притчи. А за нею — и Достоевский, и Н. Ф. Федоров, и поэзия христовщины, и всемирное звучание бродячих сюжетов сказки-былины-легенды... И огромная начитанность и в подспудной литературе скрытников и Поморского Согласия — и в европейской литературе и философии, в литературе апокрифов и Пролога — и современных модернистов...

В 1924 году, еще до смерти Ильича, поэт собирает свои старые стихи, посвященные Ленину, — и издает их отдельной книжкой «Ленин». Цензурное вмешательство, как уже говорилось выше, лишило некоторые стихотворения смысла, но зато книжка, после смерти Ильича, в первые же месяцы года, выходит и вторым, и третьим изданием. Художническое нутро Клюева идет наперекор даже его расчету, — и Клюев не переделывает своих «евразийских» строф, не облекает Ленина в привычные штампы официальных молитвословий. Книжку критика и власти предержащие принимают в штыки. Г. Лелевич пишет разносную рецензию в «Печати и Революции»,[305] пишет об «Окулаченном Ленине» и в своей книжке: «Клюев берет Октябрьскую революцию и пытается приспособить ее к своим кулацким чаяниям... Эта раскольничья рухлядь превращает стихи талантливого Клюева в разукрашенные куклы».[306] В феврале группа «пролетарских» писателей-коммунистов, в открытом письме в

редакцию «Правды», прямо называет Клюева реакционером.[307]

Клюев живет теперь случайными подачками от союза поэтов, от литературного фонда (ему часто отказывают при этом), от старых друзей и знакомых. Печатают его настолько редко, что источником средств существования гонорары назвать нельзя. Много странствует, питается чем Бог послал, но долго отказывается продать иконы своего домашнего кивота. А иконы у него замечательные, дониконовские. То он у олончан, то в Ферапонтовом монастыре, то у Сергия на Троице в посаде, — он обходит всю древнюю, уходящую, родную ему Русь.

Как-то пищущий эти строки встретился с Клюевым около Спаса на Крови, на Екатериненском канале, названном «каналом *писателя* Грибоедова» («писателя» прибавили для понятности...). Клюев только-что вернулся из Кириллова и Ферапонтова монастырей:

— Хожу по Руси... И в Кирилловом был... И в Ферапонтовом побывал... А путь-то по каналу монастырскому как предивен! А башни монастырские! Отлетает Русь, отлетает, сынок... Отлетает... Вот и спешу походить-поездить — последнее материно благословение и последний вздох Руси принять. А ты? Неужли и фресок Дионисия еще не видал? Как же можно?»

Как любил Клюев эту древнюю, чистую, конструктивную, строгую «лепоту»! Глядя на бездомного певца-странника, непоседу, алчного ко всяческой красоте, — вспоминалось, что именно в России было возглашено, что красота спасет мир; это проповедовал Достоевский; об этом говорил Н. Ф. Федоров («Наша жизнь есть акт эстетического творчества»[308]); Константин Леонтьев считал красоту мерилом и принципом гораздо более универсальным, чем истина, мораль, религия. А наш русский Спас, в лепоту облекшийся! «Не железом, а красотой купится русская радость», — написал Клюев на своей книге, подаренной Панаиту Истрати...

Светел запечный притин —
Китеж Мамелф и Арин...

Ленинградская комната Клюева, его пристанище, когда он не в пути по Руси, была не то кельей старовера-начетчика,

не то горницей времен царя Алексея. Р. Менский довольно верно описывает ее: «Мы очутились в настоящей крестьянской избе (а жил Клюев в самом центре Ленинграда — ул. Герцена, бывшая Большая Морская, 25, БФ). В левом углу — треногая лохань. Над нею висел чугунный рукомойник. В другом углу стояла кровать под пологом. Третий угол занимала божница. В ней — ценнейшие образцы русской иконописи. Перед иконами висели три лампадки...»[309]

Крестный твой отец весь век
Обрастал иконами, —

пишет о Клюеве его крестнику, сыну поэта Клычкова, Егорушке Павел Васильев.[310]

«Рассматривал негатив Клюева, снятый мною у него в комнате, — рассказывает М. М. Пришвин. — На негативе видна развернутая книга старинная, на ней рука, еще видна борода и намеком облик самого Клюева...»[311] Так и представлялся Клюев — книга старописная, борода староверская, иконы дониконовские, цветные блики лампад на них...

Ночью 27 декабря 1925 года покончил самоубийством в ленинградской гостинице «Англетер» Есенин. Пути поэтов, кажись, разошлись давно. Несмотря на свой огромный успех и редкую популярность, Есенин хорошо сознавал, что не ровня он был Клюеву, как поэт, понимал — чем и в чем Клюев был выше его. Завидовал, ругался, пытался даже отшутиться:

И Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи, как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочел,
И в клетке сдохла канарейка. (1924)[312]

И все-таки — в каждый свой приезд в Ленинград — без своего старого пестуна не обходился: шел к нему, тащил его к себе, читал ему свои стихи, пытливо поглядывая на «старшóго брата»: нравится ли?

О последней встрече Есенина с Клюевым, в самый день самоубийства Есенина, существует несколько рассказов.

Г. Устинов, сразу же после смерти «последнего поэта деревни», писал: «В шестом часу вечера он (Есенин, БФ) разбудил меня, сидел до рассвета, потом вместе с Эрлихом пошли разыскивать Н. Клюева. Клюева они нашли не сразу. Облазали несколько квартир. Встреча была обычной· Расцеловались. Есенин сел, рассматривая прищуренным взглядом убранство клюевского жилища. Очень много икон, перед иконами лампадка. Посидев, Есенин хотел прикурить от лампадки, но Клюев воспротивился так, что даже буйный Есенин не настаивал. А когда Клюев вышел умываться, Есенин погасил лампадку, сказав Эрлиху: — Ты ему не верь, он все притворяется! Посмотри, он и не заметит, что лампадка погашена. И, действительно, Клюев не заметил. Это очень веселило Есенина».[313] Более колоритно рассказывает об этом Вольф Эрлих: «Проснулись мы часов в шесть утра. Первое, что я услышал от него в этот день: — Слушай, поедем к Клюеву. — 'Поедем'. ...— Ты подумай только: ссоримся мы с Клюевым при встречах кажинный раз. Люди разные. А не видеть его я не могу. Как был он моим учителем, так и останется. Люблю я его. ·..В девять поехали. ...Подняли Клюева с постели. Пока он одевался, Есенин взволнованно объяснял: — Понимаешь? Я его люблю! Это мой учитель. Ты подумай: учитель! Слово-то какое!» Далее следует тот же рассказ о лампадке, что и у Устинова. «...Мы втроем вернулись в гостиницу («Англетер», БФ). Вслед за нами пришел художник Мансуров (тогдашний постоянный спутник и тень Клюева, БФ). Есенин читал последние стихи. — Ты, Николай, мой учитель. Слушай. — Учитель слушал. Когда Есенин кончил читать, некоторое время молчали. Он потребовал, чтобы Клюев сказал, нравятся ли ему стихи. Умный Клюев долго колебался и наконец съязвил:

— Я думаю, Сереженька, что, если бы эти стихи собрать в одну книжечку, они стали бы настольным чтением для всех девушек и нежных юношей, живущих в России.

Ничего другого, по совести, он не мог и сказать. Есенин помрачнел. Ушел Клюев в четвертом часу. Обещал прийти вечером, но не пришел».[314]

А потом Клюев рыдал у гроба своего Сереженьки, рыдал навзрыд, как плачеи в северных деревнях. В сборнике памяти Есенина, выпущенном Союзом Поэтов в 1926-27 г., Клюев

причитает по своем «жавороночке» еще старыми, из «Львиного Хлеба», стихами — с их зловещим:

От оклеветанных Голгоф
Тропа к Иудиным осинам.

Но тогда же, сразу почти после смерти Есенина, задумывается и пишется Клюевым его «Плач о Сергее Есенине»[315] После неполной газетной публикации, поэма издается целиком в Ленинграде, издательством «Прибой», в 1927 году, вместе со статьей П. Медведева, в книге под названием «Сергей Есенин».

Помяни, чертушко, Есенина...
...Лепил я твою душеньку, как гнездо касатка...

Не тот путь избрал покойный совенок, птаха любимая, не путь исповедничества и муки, а путь наименьшего сопротивления, путь приспособленчества или к властям предержащим, или к новому сентиментальному советскому мещанству, которое именуется подлинной советской лирикой. Но не вынес поэт — сломалась и душа его — и сам он сломался, не выдюжил. Да и сам он, Клюев, не грешил ли — и не грешит ли подчас доныне? Правда, для барышень сентиментальных — хотя бы и комсомолочек — не писал никогда...

Умереть бы тебе, как Михайле Тверскому,
Опочить по-мужицки, до рук борода...

Но, конечно, «гробовая доска — всем грехам покрышка», но все-таки помнит Клюев, что помер любимый его

...за грехи, за измену зыбке,
Запечным богам Медосту и Власу...

И причитает Клюев, заливается плачем: «Овдовел я без тебя, как печь без помяльца...»

Подкосилась судьба хотя и изменщика, но «последнего поэта деревни» — и запазушного, такого когда-то близкого, уродненного:

Звал мою пазуху улусом татарским,
Зубы табунами, а бороду филином!

И баюкает покойного меньшого брата олонецкий Давид христовского корабля. Один-одинешенек остается Клюев. И ему «пора уже в дорогу»...

А в дорогу его, Клюева, торопят всяческие злобно-тупые улюлюкальщики из коммунистического стана, все его плачи, плачи поэта по убиваемой красе, сводящие к штампам марксистско-ленинской схоластики: «...когда революция ударила по кулачеству, Клюев завопил во весь голось. Таким воплем и осталась его поэзия до последних времен, поэзия запечной тоски по гибнущей жизни»...[316]

Союз Поэтов устроил в начале 1926 года вечер памяти поэта. В Ленинграде на этом вечере выступил и Клюев. Ольга Форш рассказывает: «На поминальном вечере зал был полон и взволнован отвратительно. На зрителях — нездоровый налет садизма. Пришли не ради поэзии, а чтобы на даровщинку удобно, но в меру остро поволноваться, замирая от стихов, за которые не они заплатили жизнью... Настал черед и Микулы. Он вышел с правом, властно, как поцелуйный брат, пестун и учитель. Поклонился публике земно — так дьяк в опере кланяется Годунову. Выпрямился и слегка вперед выдвинул лицо, с защуренными на миг глазами. Лицо уже было овеяно собранной песенной силой. Вдруг Микула распахнул веки и без ошибки, как разящую стрелу, пустил голос. Он разделил пóмин души на две части. В первой его встреча юноши-поэта, во второй — измена этого юноши пестуну и старшему брату, и себе самому. Голосом, уветливым до сладости, матерью, вышедшей за околицу встретить долгожданного сына, сказал он свое известное о том, как 'С рязанских полей коловратовых вдруг забрезжил конопляный свет'... ...Еще под обаянием этой песенной нежности были люди, как вдруг он шагнул ближе к рампе, подобрался, как тигр для прыжка, и зашипел язвительно, с таким древним, накопленным ядом, что сделалось жутко. Уже не было любящей, покрывающей слабости матери, отец-колдун пытал жестоко, как тот, в 'Страшной мести' Катеринину душу, за то, что не послушала его слов. Не послушала и вот —

...На том ли дворе, на большом рундуке,
Под заклятою черной матицей
Молодой детинушка себя сразил...

Никто не уловил перехода, когда он, сделав еще один мелкий шажок вперед, стал говорить уже не свои, а стихи того поэта ушедшего. Чтобы воочию представить уже подстерегавшую друга гибель, Микула говорил голосом надсадным, хриплым от хмеля:

И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое...

Было до такой верности похоже на голос того, когда с глухим отчаянием, с пьяной икотой он кончил: 'Ты Рассея моя... Рас...сея... Азиатская сторона'... С умеренным вожделением у публики было кончено. Люди притихли, побледнев от настоящего испуга. Чудовищно было для чувств обывателя это нарушение уважения к смерти, к всеобщим эстетическим и этическим вкусам. Микула опять ударил земно поклон, рукой тронув паркет эстрады, и вышел торжественно в лекторскую. Его спросили: — Как могли вы... — И вдруг по глазам, поголубевшим как у Врубелевского Пана, увиделось, что он человеческого языка и чувств не знает вовсе и не поймет произведенного впечатления. Он действовал в каком-то одном ему внятном, собственном праве.

— По-мя-нуть захотелось, — сказал он по-бабьи, с растяжкой. — Я ведь плачу о нем. Почто не слушал меня? Жил бы! И ведь знал я, что так-то он кончит. В последний раз виделись, знал — это прощальный час. Смотрю, чернота уж всего облепила...

— Зачем же вы оставили его одного? Тут-то вам и не отходить.

— Много раньше увещевал, — неохотно пояснил он. — Да разве он слушался? Ругался. А уж если весь черный, так мудрому отойти. Не то на меня самого чернота его перекинуться может! Когда суд над человеком совершается, в него метаться нельзя. Я домой пошел. Не спал, ведь, — плакал».[317]

Давно уже не выходило никаких книг Клюева. Не печатали почти его в эти годы в журналах. А если стихи поэта и попадали в антологии, то снабжались соответствующими комментариями. Так, в большой антологии Ежова и Шамурина, во вступительной статье Валериана Полянского, поэт

охарактеризован, как певец «крепкого хозяина», кулака,[318] а в другой вступительной статье, И. С. Ежова, поэтическое мировоззрение Клюева сравнивается со «взглядами славянофилов об исконных началах русской жизни и о гнилом Западе. 'Железный край' современной техники, конечно, смертоносен для 'запечного' рая Клюева, о чем он очень сожалеет. ...Понятно, что многое в современной деревне ему не нравится, хотя свое недовольство он умеет искусно скрыть за вязью слов».[319] Смысл всего этого ясен: Клюев — скрытый классовый враг, как об этом давно уже кричат всяческие окололитературные молодчики с партбилетом и без оного. Но Клюева пока не арестовывают. Коммунисты хотят в последний — перед разгромом — раз *обмануть* крестьянство, выжать из него последние соки. В резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» сказано: «Крестьянские писатели должны встречать дружественный прием и пользоваться нашей безусловной поддержкой. Задача состоит в том, чтобы переводить их растущие кадры на рельсы пролетарской идеологии, *отнюдь, однако, не вытравляя из их творчества крестьянских литературных образов, которые и являются необходимой предпосылкой для влияния на крестьянство*... ...Нужно ...вырабатывать соответствующую форму, понятную миллионам».[320] Одним словом, крестьянские аксессуары, мужицкая личина и коммунистическое нутро. Не трогают — до поры — ни Клычкова, ни Пимена Карпова, ни Орешина, ни даже Клюева. Авось, призадумаются — и «примкнут».

Но Клюев не «примыкает»: он даже перепечатывает — из почти исчезнувшего из оборота и полузапрещенного «Львиного Хлеба» — наиболее яркие и «программные» свои стихотворения: в 1924 году, в первом номере недолговечного (его прихлопнули на четвертом номере) журнала «Русский Современник» — три стихотворения, сомкнутые в цикл под знаменательным названием: «Песни на крови»:

Псалтырь царя Алексия,
На страницах убрусы, кутья,
Неприкаянная Россия
По уставам бродит кряхтя.
Изодрана душегрейка,

Опальный треплется плат...
...Зачураться бы от наслышки
Про железный неугомон...

Третий Рим Иванов Третьего и Грозного и Петра раскололся в Октябре. Раскололся и весь мир, хотя осознает это мир много позже, — и терновый венец Искупителя — на лике страждущего яро мира. А Искупитель с укором глядит на отрекшихся от него...

Но в ночи кукарекнет петел,
Как назад две тысячи лет. ...
Римский век багряно-булатный
Гладиаторский множит крик...
. . . .

«Имя бо Антихриста 666 (Апокалипсис). Он был на 1000 лет связан (гл. XX, 2); потом развязан, и сие власть Римскую являет, возвратися бо на первое свое возлюбленное место и нача отступление папежено, егда исполнися 1555 лет бысть отступление Унитов к папе, иже предтеча Антихристу наречеся, а по исполнении 1666 лет наста день Христов, день брани с диаволом; при Антихристе бо с самим сатаною братися имут, иже и воцарися по Ефрему, во всем мире...» — так рекут пророки и святители в Цветнике основателя секты странников-бегунов Евфимия.[321]

И не слышна слеза Петрова —
Огневая моя слеза...
Осыпается Бога-Слова
Живоносная бирюза...

В четвертой книге альманаха «Ковш», в 1926 г., Клюев перепечатывает — из того же «Львиного Хлеба» два стихотворения. По поводу одного из них — «Железо» — на Клюева ополчаются все пролетарские, комсомольские, напостовские силы. И даже много позже — для характеристики «кулацкой» литературы — О. Бескин, например, берет именно это стихотворение: «У Клюева стихотворение 'Железо' — символический приговор современности, стонущей от 'железной пяты безголовых владык'».[322]

Замечательнейшие вещи Клюева печатают в эти годы ленинградское и московское отделения Всероссийского Союза Поэтов, союза, который очень скоро будет закрыт, как «последнее пристанище буржуазного эстетства». В сборнике «Поэты Наших Дней» (Москва, 1924) публикуется стихотворение «Портретом ли сказать любовь», тоже из «Львиного Хлеба». В «Собрании Стихотворений» (Ленинград, 1926) — чудом проскочившее через цензуру, одно из высочайших творений Клюева:

Наша собачка у ворот отлаяла,
Замело пургою башмачок Светланы,
А давно ли нянюшка ворожила баяла
Поваренкой вычерпать поморья-океаны· ...
...Налетела на хоромы преукрашены
Птица мертвая — поганый вран...
...Люди обезлюдены, звери обеззверены...

Наконец, в сборнике «Костер» (Ленинград, начало 1927) появилась маленькая поэма «Заозерье», ярый гимн жизни, плоти, любви. Герой поэмы — «отец Алексей из Заозерья — берестяный светлый поп» — отнюдь не истовый православный священник и не начетчик Поморского Согласия, хотя — вместе с «богами» сельской Руси — «Федосьей-колосовицей и Медостом — богом овечьим» — и велит «двуперстьем креститься детенышам человечьим». Скорее Алексей — Пан и Дионис одновременно, может быть, древнеславянский Велес, он служит лесную и полевую обедню,

Чтоб у баб рожались ребята
Пузатей и крепче реп,
И на грудах ржаного злата
Трепака отплясывал цеп. ...
...А уж бабы на Заозерьи, —
Крутозады, титьки как пни...
...В Заозерьи свадьбы на диво, —
За невестой песен суслон...
Христос Воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ!..

«Заозерье» — редкое у Клюева произведение: никакого трагизма, никакого надлома — солнечный гимн земле и радостям земли. Даже без той лирической дымки, которая окутывает «Мать-Субботу». Да, но все эти публикации — в сборниках выходивших ничтожными тиражами — от 500 до 1.000 экземпляров...

В 1927 году, в первом номере ленинградского журнала «Звезда», появилась знаменитая поэма Клюева — «Деревня». Как ее пропустила цензура — одному Богу известно. Но она появилась. На следующий день в «Вечерней Красной Газете» громили поэта за контрреволюционное кулацкое выступление, редакцию журнала «обновили», о поэте завели дело в ГПУ... Испуганный журнал попытался как-то отыграться: спешно заказал Клюеву агитационно-плакатный бодрячок о пионерии и комсомолии: «Мой красный галстук так хорош...». В пятой книге журнала и появилась эта «Юность» — жалчайшая попытка поэта приспособиться, редакции журнала — оправдаться... Но спасти положения это уже не могло. Последние публикации поэта — приспособленческие, технически достойные какого-нибудь Исаковского, — не могли надолго отдалить гибель. Смерть — тень косы — уже ложится на жизнь поэта...

Клюева всячески клеймят, его имя склоняется всегда, когда говорят о контрреволюционных писателях, о кулаках, о врагах советского народа. Назовем только немногие статьи и книги, где говорится о Клюеве и «клюевщине»: А. Безыменский — «О чем они плачут?» («Комсомольская правда», 5 апреля 1927); Л. Авербах — «С кем и почему мы боремся» (изд. «На Литературном Посту», 1930); О. Бескин — «Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика» (изд. Комакадемии, 1930). Характерна в этом отношении и передовая статья в «Литературной Газете» — 29 ноября 1930: «Будем беспощадны к литературным агентам капитализма»: «Классовый враг пытается укрепиться и на фронте литературы... Кулацкие выступления Клычкова и Клюева... попытки враждебных элементов укрепиться в крестьянской литературе...» и т. д. И так — до самой смерти Клюева. Нет, и после смерти его не оставили в покое — он и сейчас — один из классовых непримиримых врагов. А. В. Кулинич, например, говорит, что «хотя в поэме 'Деревня' (1927) Клюев рассказывает о 'железной нови' на селе, о том,

как «стальногрудый витязь' трактор распахал межи, сердцем он остается на стороне старой деревни. С появлением трактора 'утопиться в окуньей гати бежали березки в ряд', 'ласточки по сараям разбили гнезда в куски' и т. д. Поэма завершается типично клюевской хвалой старому...» Даже «деревенские пейзажи ... Клюева отмечены чертами консервативности».[323]

Характерно, что Николай Брыкин, когда ему нужно было обрисовать образ контрреволюционера и саботажника, бывшего белого полковника-дроздовца, а затем счетовода станичного кооператива на Кубани, подбивавшего колхозников и казаков на уничтожение тракторов, затем же покончившего с собой, — этот Николай Брыкин начал свой роман «Стальной Мамай» цитатой из неопубликованной поэмы Клюева «Погорельщина»:

По горбылям железных вод
Горыныч с Запада ползет.

Роман написан в форме дневника счетовода — вот этого самого бывшего полковника-дроздовца Ладоги, и для характеристики этого вредителя использована именно «Деревня» Клюева: «Просматриваю ежемесячник. И стараюсь внушить себе, что у меня в руках находится не большевистский журнал, а изъеденное временем, закопченное в пороховом дыму, не раз простреленное старое полковое знамя. Стихотворение во многих местах отмечено карандашом. ...Три трактора мужик смел бородой. А разве это не истинно-русское дело? Разве это не объявление войны большевизму? Но к черту комментарии, сейчас они неуместны. Стихи сами говорят за себя. При чтении их жизнь приобретает совершенно иную окраску. Когда ты натыкаешься на родник, когда жажда расслабляет твое тело, дух — тогда совершенно лишними бывают рассуждения. Нужно припасть к ключу и, не теряя ни капли, жадно, полными глотками пить драгоценную влагу, пить — пока не выпили ее за тебя другие». Николай Брыкин цитирует затем большой кусок «Деревни», начиная со строки: «На деревню привезен трактор» и кончая:

Видно, к хлебушку с новым раем
Посошку пути не легки!

«Я отодвинул журнал. Стихи подобны крепкому вину. Многое хотелось сказать и в то же время ни о чем не хотелось говорить. Устами поэта говорит Россия. *Русская* Россия».[324]

Все здесь замечательно: и то, что любовь к поэме Клюева использована, как лучшая характеристика ненависти к большевизму, и достаточно верная характеристика настроений. Да ведь и не в уничтожении тракторов было дело. *Боролись против коллективизации.* Умирали во имя свободы, шли на Голгофу безнадежных бунтов и пассивного сопротивления· Умирали целыми селами, шли на верную смерть целыми станицами. Массовая кровавая коллективизация — «сплошная» — началась года через три-четыре, но Клюев уже напророчил:

Ты, Рассея, Рассея теща,
Насолила ты лихо во щи,
Намаслила кровушкой кашу —
Насытишь утробу нашу.
Мы сыты, мать, до печонок...

Но — не пропадет вконец Россия: слишком сильна в ней мужицкая несгибаемая, пусть даже долго таящаяся сила:

Будет, будет русское дело, —
Объявится Иван Третий
Попрать татарские плети,
Ясак с ордынской басмою
Сметет мужик бородою!

Примерно в то же время (уж не за «Деревню» ли?) Клюев попадает в ГПУ. Провел он в знаменитом ленинградском ДПЗ (Доме предварительного заключения), на улице Воинова, бывшей Шпалерной, всего три дня, но зато в знаменитой камере пыток с резиново-пробковыми стенами. В своей — вышедшей посмертно — книге «Тюрьмы и ссылки» Иванов-Разумник рассказывает: «...Николай Клюев попал на три дня в 'пробковую комнату' петербургского ГПУ и потом с ужасом рассказывал о своем там пребывании».[325]

Как было сказано выше, в 1927 году появляется и отдельное издание «Плача о Есенине». Рецензии и отзывы бы-

ли самые доносительские: «'Деревня' и 'Плач по Есенине', — писал нынешний член-корреспондент Академии Наук СССР Л. Тимофеев, — совершенно откровенные антисоветские декларации озверелого кулака. Клюев открыто проклинает революцию за разоблачение мощей и т. д. и предрекает что «мужик сметет бородою» новое татарское иго... Революция разрушает старый уклад и поэтому яростно разоблачается».[326]

И все-таки, благодаря ли стараниям немногих друзей и почитателей Клюева, или просто благодаря счастливому случаю, в 1928 году появляется еще одна — в СССР уже последняя — книжка стихов Клюева. Это — «Изба и Поле», избранные стихотворения поэта, выпущенные ленинградским издательством «Прибой». Избяная, кондовая, исконная и поддонная Русь, *русская* Россия звучит в этих старых стихах, умело выбранных, с небывало-новой силой.

Рецензий немного. Но издевательств очень много. «Отлетает Русь, отлетает», шепчут бескровные губы поэта-странника. А в ответ площадная советская пресса пишет примерно, так: «'Только на пятачок. Две недели смеха. Что делает жена, когда мужа дома нет. 120 веселых анекдотов Николая Клюева!' — Так рекламируют свой товар книжные торговцы».[327]

«Знак истинной поэзии — бирюза. Чем старее она, тем глубже ее зелено-голубые омуты», — пишет поэт в предисловии к своему последнему сборнику. Умирает культурная традиция — умирает бирюза, умирает жизнь, умирает нация...

— Отлетает Русь, отлетает...

Клюев теперь вовсе изгоняется из литературы. Если и появляются невзначай два-три его стихотворения, то они либо на «колхозную» тему, написаны на заказ, написаны буквально левой ногой, либо — еще того пуще — воспевают заводы и пролетарский город... И, конечно, получается из рук вон плохо. Но и эти подачки перепадают редко. Клюев официально объявлен идеологом класса, подлежащего слому, — кулачества. В сущности, из-за него, отчасти из-за его спутников — Сергея Клычкова, Петра Орешина, Пимена Карпова и некоторых других, — разгоняют Союз Крестьянских Писателей, основывают вместо него ВОКП — Всесоюз-

ное объединение крестьянских писателей, — принимающих на расширенном пленуме Центрального совета, 15-17 мая 1928 года, следующую платформу: «1)... Не всякий писатель, пишущий о крестьянстве, является *подлинно* крестьянским писателем. 2) Крестьянскими нужно считать таких писателей, которые на основе пролетарской идеологии, но при помощи свойственных им крестьянских образов в своих художественных произведениях организуют чувство и сознание трудовых слоев крестьянства и всех трудящихся в сторону борьбы с мелко-буржуазной ограниченностью — за коллективизацию хозяйства, быта и психики, в сторону строительства социализма, и — в конечном счете — в сторону бесклассового общества. 3) Крестьянские писатели, таким образом, ничего общего не имеют с писателями, выражающими в своих художественных произведениях идеологию и чаяния эксплоататорской части современной деревни — кулачества. А также — крестьянские писатели считают пережитком прошлого творчество тех писателей, которые при диктатуре пролетариата, в эпоху строительства социализма, в обстановке все усложняющейся борьбы в деревне, продолжают по традиции пережевывать дореволюционные народнические мотивы, пассивно воспринимать и отображать природу, идеализировать патриархальную жизнь и старые деревенские порядки: религию, собственность, национализм. Отличительной чертой крестьянских писателей в области творчества является активно-трудовое восприятие и отображение природы и жизни во всей ее сложности и многообразии».[328]

Вся эта длинная и нудная галиматья была направлена, главным образом, против Клюева. А. П. Чапыгин ушел в исторические романы, Пимен Карпов замолчал окончательно в самом начале 1920-х годов, Орешин пытался воспевать Веру Засулич и гордость революции — матросов.

Клюеву остается теперь только писать для себя — и про себя. Благодаря изысканиям и работе английского ученого, Гордона Мак-Вэя, мы имеем теперь возможность познакомиться с теми неизданными вещами поэта, которые уцелели, не погибли в трагические последние годы жизни Клюева. Среди этих стихов такие — одновременно с «Деревней» созданные, — как «От иконы Бориса и Глеба»:

...Неспроста у рябки яичко
Просквозило кровавым белком...
Громыхает чумазый отмычкой
Над узорчатым тульским замком.
Неподатлива чарая скрыня,
В ней златница — России душа...

Остались в этом архиве неизданного Клюева и непринятые редакциями «стихи на социальный заказ», исключительно слабые, ибо не мог Клюев писать их сколько-либо от души: воротило его, его душу от них:

Рогатых хозяев жизни
Хрипом ночных ветров
Приказано златоризней
Одеть в жемчуга стихов.
Ну, что же? — не будет голым
Тот, кого проклял Бог...

Ведь Клюев — Клюев и есть:

Кто за что, а я за двоперстие,
За байку над липовой зыбкой, —

говорит он, и чурается «социального заказа»:

Не буду петь кооперацию,
Ситец, да гвоздей немного...

Чтобы как-то заработать — хотя бы на скудный хлеб — поэт изредка читает свои вещи на домашних собраниях у друзей и знакомых. Такие собрания устраиваются — тайком, разумеется, — не только в Ленинграде и Москве· Есть сведения, что Клюев бывал и в других городах. Поэт Иван Елагин рассказывает, что в 1928 г. Клюев посетил в Саратове высланного туда литератора, поэта и журналиста, отца Елагина — Венедикта Николаевича Матвеева, писавшего под псевдонимом «Март». В. Март устроил литературное выступление Клюева в одном частном доме. Клюев читал, пел раскольничьи песни, песни свадебные, обрядовые, радельные. Как свидетельствует Иванов-Разумник, единственным источником существования Николая Алексеевича стало теперь именно это чтение произведений, главным образом новых, — на дому у знакомых. « К сожалению, — пишет Иванов-

Разумник, — нельзя было ручаться за 'знакомых знакомых', перед которыми приходилось читать новые свои произведения. 'Раскулаченный' в своей вытегорской деревне, он поселился в Петербурге, читал свои произведения у друзей и знакомых, которые делали среди присутствовавших сборы и вручали гонорар за чтение задушенному цензурой поэту. Кто слышал эти чтения, тот никогда их не забудет».[329]

В эти годы — со второй половины двадцатых годов — по свидетельству ряда лиц (Р. В. Иванов-Разумник, Глеб Глинка, писатель А. Н-в и др.) — Клюев на этих потайных домашних вечерах читал преимущественно «Погорельщину», замечательную поэму о затравленной и убиенной Руси наших дней. Поэма ходила в списках по рукам, выучивалась наизусть. Ходит она в списках по рукам и сейчас, как об этом рассказывает в своих воспоминаниях кн. Зинаида Шаховская.[330] Опубликована в печати «Погорельщина» пишущим эти строки, в собрании сочинений поэта, изданном в 1954 г. Чеховским издательством в Нью-Йорке. Список поэмы был передан Клюевым в 1929 г. известному итальянскому слависту и литератору, проф. Этторе Ло Гатто (вместе с машинописями «Заозерья» и «Деревни»), а Этторе Ло Гатто любезно предоставил мне право ее опубликовать. Так большой друг русской литературы, итальянский ученый, возвратил России самую крупную и значительную поэму русейшего из русских поэтов. Он вернул нам великий эпос послебурья, считавшийся потерянным, сохранившимся лишь в искаженных, несовершенных списках.

Иногда устраивались даже полуофициальные чтения Клюевым его произведений. Об одном таком вечере рассказывает участник этого собрания, литератор Р. Менский: «В начале 1930 года, группа крестьянских писателей задумала устроить вечер, посвященный поэзии Н. А. Клюева. Всем хотелось услышать его новую поэму 'Погорельщина'. Знали, что она к печати никогда не будет допущена большевиками. Предприятие было рискованное. Легальное проведение вечера требовало страховки в форме критического доклада. Доклад поручили сделать критику Г. Р. Вечер состоялся на Стремянной улице № 10, в Доме деревенского театра*). Большой зал был полон народа· Присутствовали поэты, писатели,

*) В Ленинграде.

студенты, педагоги. Чтобы не обижать поэта, перед началом доклада его увели в отдельную комнату и стали угощать чаем. Н. А. пил чай, а критик его 'критиковал: поэзия Н. А. несозвучна политической современности; при всей яркости ее образов и глубине чувств, она несет на себе печать старообрядческого духа; говоря о новом в образах прошлого, она мешает нормальному восприятию нового; говоря о деревне, она противоставляет ее городу. ...Когда кончился доклад, Николая Алексеевича привели в зал. Присутствующие встретили его аплодисментами. Не снимая поддевки, поэт сел у стола и стал читать 'Погорельщину'. Зазвучал, окающий по-олонецки, его былинный сказ. В воображении, как в театре, пошел вверх занавес, раскрывая перед слушателями народный мир, в его полном убранстве. Начинался этот мир где-то далеко за историческим рубежом. Неустанно развиваясь в себе, он приводил нас к настоящему· В 'Погорельщине', в образе Настеньки-пряхи, Русь тянет с 'кудельной бороды' непрерывную нить народной жизни. Короткие словесные мазки поэта окружают Настеньку нимбом благословенного труда, памятью о народных походах и битвах, сказкой и горестной былью. Ломается прялка под гибельной новью, рвется нить, умирает Настенька. Сгорает духовный дом народа — 'Погорельщина'. Поэма вызвала у слушателей восторг, смятение перед 'новью' и тяжелую тоску по 'Настеньке'. 'Маята как змея одолела' ...После 'Погорельщины' Н. А. читал 'Деревню'... ..·За 'Деревней' следовал 'Плач о Есенине' ...Это действительно плач. Огромная скорбь вложена в эту поэму по погибшем 'побратиме'... ...А потом о себе:

Падает снег на дорогу,
Белый ромашковый цвет·
Может, дойду понемногу
К окнам, где ласковый свет...

Но в советских окнах для народного поэта не было ласкового света. Когда кончился вечер, Николаю Алексеевичу долго аплодировали, искренне, с любовью. Расходились с грустью, понимая его правду и предвидя предстоящую за нее гибель. ...

В 1932 году партия решила покончить с полусоветскими литературными объединениями — попутчиков, крестьянских

писателей. 'Социалистический реализм' был объявлен единственно законным направлением».[331]

Шли страшные годы сплошной коллективизации и «раскулачивания». Даже такая лживая книга, как «История Коммунистической партии Советского Союза», рисует — сама того не замечая — трагическую картину народного погрома. Вот несколько сухих выдержек: «5 января 1930 г. ЦК ВКП (б) принял историческое постановление 'О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству'. ...Сплошная коллективизация означала переход всех земель в районе села или деревни в распоряжение колхоза. Кулацкие участки, находившиеся на этой земле, переходили к колхозам... ...Советская власть *сняла запрет* с раскулачивания. Советской власти в районах сплошной коллективизации предоставлялось право выселять наиболее злостных кулаков в районы, отдаленные от их постоянного жительства, с конфискацией у них всех средств производства (скота, машин и другого инвентаря) и передачей их в собственность колхозам. Кулаки подвергались полной экспроприации. Эти меры по отношению к кулакам были единственно правильными». ...Далее «История партии» говорит о некоторых «искривлениях» партийной линии в отношении коллективизации: «Добровольность вступления в колхозы заменялась принуждением под страхом 'раскулачивания', лишения избирательных прав и т. д. В некоторых районах процент 'раскулаченных' доходил до 15, лишенных избирательных прав — до 15-20...» А так как сама «История партии» насчитала «свыше одного миллиона кулацких хозяйств» в эти годы,[332] то, считая по 5 человек в среднем на крепкое крестьянское хозяйство, выселено было в мало населенные области Севера и Сибири до 5-5,5 миллионов человек. Отбирали при этом все. Даже одежды оставляли «кулакам» самую малость — по одной смене на человека, и то — худшей. Гнали под конвоем чекистов стариков и женщин, детей, без еды, без теплых вещей. На месте их не ожидали даже землянки — их просто выгружали в дикой тайге, предоставляя самим заботиться о постройке жилища и нахождении пропитания — безо всяких средств, инструментов, материалов. «Раскулачивали» без разбора и понимания. Часто признаком «кулачества» были «кровати с никелированными шишками». Если бедняк или середняк не шел добровольно в колхоз, его объявляли «подкулач-

ником» — и тоже высылали. Расстрелы, часто без суда и следствия, узаконенное ограбление, насилия, доносы, сведение личных счетов — и, в результате всего этого — голод, унесший миллионы жизней: и не только голод: людоедство:

Тоскуют печи по ковригам
И шарит оторопь по ригам
Щепоть кормилицы-мучицы...
...И синеглазого Васятку
Напредки посолили в кадку...

(Погорельщина)

«До отъезда в Москву (1932 или 1933) Н. А. жил на улице Герцена..., № 25. ...С большой скорбью Н. А. жаловался нам на свою тяжелую нужду. Она заставила его отнести и продать музею уже не одну икону. Перед иконами висели три лампадки. Стол был накрыт деревенской скатертью. На столе стояли простые старинные подсвечники. Электричеством — этим 'огнем в пупыре', он не пользовался. На маленьком столике у стены лежали толстые, рукописные старообрядческие книги в кожаных переплетах. Н. А. подвел нас к книгам и ласково проговорил: 'Это мои университеты'. Разговор о поэзии у нас не клеился. Время было тревожное — развертывалась во всю коллективизация. Судьба народа глубоко волновала Н. А. Он понимал, что большевики собираются закрыть открытый им мир народа, а с ним и его поэтический 'монастырь'. Еще в самый расцвет НЭП'а он отчетливо угадывал будущее. ...В наступлении большевиков на деревню ему чудилось опустошение крестьянской души, катастрофический распад народного духа. 'По горбылям железных вод Горыныч с Запада ползет'. Горыныч выбросит иконы из красного угла, разгонит 'запечных богов', убьет сказания, поверья, песни, сказки, всё, что было скоплено народом в тысячелетиях. ...Когда мы уходили, Н. А. почти шёпотом несколько раз сказал: 'Будет гарь... Ох, будет гарь'... Насильственная коллективизация у него ассоциировалась с насильственным никонианством. Вскоре после этого, когда крик о коллективизации в прессе и журналах стал истошным, Н. А. принес в редакцию журнала 'Звезда' стихи... 'Кто о чем, а я о двопер-

стии...»[333] Стихи, конечно, напечатаны не были... Так рассказывает Р. Менский о своем посещении Клюева.

В 1929 и 1931 гг. Клюев встречается с приехавшим в СССР — в научную командировку (как сказали бы в Советском Союзе) — крупным итальянским славистом, литератором, переводчиком, проф. Этторе Ло Гатто. Привел Клюева в итальянское консульство в Ленинграде, где остановился проф. Ло Гатто, земляк поэта — известный прозаик Алексей Павлович Чапыгин. «Должен сказать, что, когда Чапыгин познакомил меня с Клюевым, последний увидел во мне не столько историка русской литературы..., сколько просто итальянца, — рассказывает в своих интересных «Воспоминаниях о Клюеве» проф. Э. Ло Гатто: — ...Встретившись со мной, итальянцем, и услышав из моих уст выражение южной тоски по Северной России, он, не колеблясь, назвав меня 'светлым братом', задумал послать привет Риму: выраженный в посвящении новому знакомцу, он будет передан его песнями собору Св. Петра и Колизею...*) ...Надо прибавить, что как раз с первыми моими воспоминаниями о Клюеве связывается память о поездке в Новгород Великий, в Ростов Великий и во Владимир — эти колыбели русской истории, и о трепетном посещении старинных монастырей, которые уже тогда пустовали, но которые поэт, обращаясь к прошлому, населил в моем воображении странной и таинственной жизнью. ...Если бы не влияние Клюева и его поэзии, я бы вероятно не только не пустился бы на поиски старинных монастырей, ...но и не дал бы того ответа, который я дал главе Бюро печати при советском Наркоминделе, упрекавшему меня за то, что гигантским новым заводам первой пятилетки я предпочел старинные церкви и опустевшие монастыри: ...такие же заводы и фабрики я могу видеть в любой другой стране, тогда как старую Россию можно найти только в России, и то пока она не исчезла бесследно». Поэт подарил проф. Этторе Ло Гатто «Песнослов» — с замечательным посвящением, — передал, как уже сказано выше, ему три свои поэмы в машинописи: в том числе «Погорельщину», — с тем, чтобы Ло Гатто опубликовал их после смерти Клюева. И образ поэта навеки связался у талантливого итальянского историка русской лите-

*) Это замечательное посвящение нами публикуется, как второй «эпиграф» к первому тому. — *Ред.*

ратуры не с «русской рубашкой, которая производила странное впечатление в сочетании с надетым поверх ее обыкновенным городским пиджаком и брюками, заправленными в сапоги с голенищами»... Нет, у Ло Гатто «образ Клюева, принимая конкретные очертания, связывается с его стастью к собиранию икон. Как сейчас вижу его в его бедной комнатушке в Ленинграде, где он рисковал принимать меня, склонившимся над ящиком, полным икон, чтобы выбрать одну мне в подарок. И он действительно подарил мне, вместе со своими песнями, икону, чтобы моя память и моя печаль о нем были еще более пронизаны их музыкой».[334]

«Николая Алексеевича, — рассказывает Р. Менский, хорошо знавший Клюева и встречавшийся с ним и в сибирской ссылке, — видимо, думали подкупить. Ему предложили переехать в Москву и даже назначили пенсию».[335] Переехал Клюев в Москву в 1932 или 1933 году. Но Клюев не унялся. Он не мог простить режиму ни гибели крестьянства, ни погрома и гибели русской культуры, ни тех десяти лет вынужденного молчания, которые тяжким бременем легли на его, Клюева, плечи. К 1932-1933 гг. относится и ряд его гневных стихотворений, в которых он совсем отрекается от революции:

Мне революция не мать...

Большевизм лишил русский народ творческой свободы, подрезал сухожилия Пегасу поэзии, убил сам дух поэтической культуры:

Я гневаюсь на вас и горестно браню,
Что десять лет певучему коню,
Узда алмазная, из золота копыта,
Попона же созвучьями расшита,
Вы не дали и пригоршни овса
И не пускали в луг, где пьяная роса
Свежила б лебедю надломленные крылья.
Ни волчья пасть, ни дыба, ни копылья
Не знали пытки вероломней.
Пегасу русскому в каменоломне
Нетопыри вплетались в гриву
И пили кровь, как суховеи ниву,
Чтоб не цвела она золототканно
Утехой брачною республике желанной...

Эти стихи наизусть знал Мандельштам, из них же взяла Ахматова эпиграф для одной части своей «Поэмы без героя»: «Осип читал мне на память отрывки из стихотворения Н. Клюева 'Хулители Искусства' — причину гибели несчастного Николая Алексеевича. Я своими глазами видела у Варвары Клычковой заявление Клюева (из лагеря о помиловании):

«Я, осужденный за мое стихотворение 'Хулители Искусства' и за безумные строки моих черновиков».

Оттуда я взяла два стиха как эпиграф — 'Решка', а когда я что-то неодобрительно говорила о Есенине — Осип возражал, что можно простить Есенину что угодно за строчку: 'Не расстреливал несчастных по темницам'».[336]

Но не только эти стихи ставились в вину Клюеву. Ему не могли простить «Деревню», «Плач о Есенине», многие «безумные строки его черновиков», ставшие теперь, хотя бы в сохранившейся их части, доступными читателю благодаря трудам английского ученого Г. Мак-Вэя. И, конечно, Советы не могли простить Клюеву его «Погорельщину». Слухи о «Погорельщине», о нелегальных литературных собраниях распространяются слишком широко; скрывать от ГПУ-НКВД эти чтения, эти немалочисленные списки поэмы, переходящие из рук в руки, развозимые друзьями по всей России, — становится почти невозможным· Популярность Клюева, особенно в литературных кругах, все же настолько велика, что ленинградский журнал «Звезда» осмеливается объявить его своим сотрудником в 1933 году.[337] Но никакое «сотрудничество», однако, состояться не могло... Уже было слишком поздно. Из стихов, посвященных художнику Анатолию Яр-Кравченко, последней привязанности поэта, видно, что в 1932, примерно, году Клюев провел лето на Вятке и в самой Вятке. Стихи, написанные там — и публикуемые только теперь, в нашем собрании, — одни из лучших стихов в наследии поэта.

В 1933 году поэта арестовывают по обвинению в «кулацкой агитации» — в распространении антисоветских поэм «Погорельщина», «Хулители Искусства», других контрреволюционных стихов. Продержав поэта положенное число недель или месяцев на Лубянке и в других узилищах Первопрестольной, его отправили в ссылку в Нарымский край, в село Колпашево.[338] «Там он жил в самых ужасных условиях (знаю об этом по его письмам), но продолжал заканчивать поэму 'Песнь о Великой Матери' и писал такие стихи, выше

которых еще никогда не поднимался, — рассказывает Иванов-Разумник. — В середине 1934 года он обратился с мольбой о помощи к Максиму Горькому,[339] который был тогда на вершине силы и славы...; Горький 'протянул руку помощи' — и Клюева перевели в Томск (в 1935 г., БФ[340]), но вскоре арестовали в Томске. Так, сперва задушенный цензурой, погибал в сибирской ссылке один из самых больших наших поэтов XX века».[341]

«Нам не известно, что делал и что писал Н.А. в Томске, — рассказывает встретивший Клюева в ссылке, в с. Колпашеве, Р. Менский. — В Колпашеве он писал мало — быт, тяжелая нужда убивали всякую возможность работы. Кроме того, у ссыльных несколько раз в году производились обыски. Отбирали книги, письма и тем более рукописи. Запись откровенных мыслей была исключена. В Колпашеве Н. А. была начата поэма — 'Нарым'. Пока это были композиционно не слаженные, отдельные строфы. Записаны они были на разных клочках бумаги (от желтых кульков, на оберточной бумаге). Видимо, поэму он записывал только на время, пока не выучит наизусть, а затем уничтожал записи. Написанное он читал некоторым ссыльным. Талант его не угасал, хотя поэт и чувствовал себя морально подавленным».[342]

По словам Иванова-Разумника, ссылка, аресты и допросы сломили Клюева: он совсем пал духом и попробовал «перековаться»: «В 1935 году он написал большую поэму 'Кремль', посвященную прославлению Сталина, Молотова, Ворошилова и прочих вождей; поэма заканчивалась воплем:

Прости, иль умереть вели!

Не знаю, дошла ли поэма 'Кремль' до властителей Кремля, но это приспособленчество не помогло Клюеву: он оставался в ссылке до конца срока, до августа 1937 года.. ...Отбыв срок ссылки, он получил разрешение выехать в Москву, где должны были определить его дальнейшую участь; в августе 1937 года он выехал из Томска — как он сам писал —

с чемоданом рукописей.

По дороге, в вагоне, он скончался от сердечного припадка и похоронен на одной из станций Сибирской магистрали;

но какой? — друзья не могли дознаться до все того же 1941 года... Чемодан с рукописями пропал бесследно».[343]

Писатель-невозвращенец Г. А. Глинка сообщил пишущему эти строки, что в Москве, среди писателей, ходила несколько иная версия рассказа о смерти Клюева осенью того же 1937 года: якобы Клюева не направляли для разрешения его дальнейшей участи в Москву, а просто перегоняли с одного места ссылки на другое. В пути поэт и погиб от сердечного припадка. Кое-какие соображения говорят в пользу этой версии: поэт был арестован в 1933 году, и к 1937 году пробыл в ссылке всего четыре года — слишком малый срок для «столь важного преступника», да еще в ежовском 1937 году. Кроме того, пересмотр дела (приговора), в те годы особенно, совершался обычно «за глаза», — и привозить для пересмотра в Москву (город запретный для всех, даже отбывших свое наказание по политическим статьям москвичей) столь «опасного контрреволюционера», каким не мог не считаться Николай Клюев, — ежовские заплечных дел мастера едва ли бы удосужились...

Но в те годы, особенно же в 1937 и в начале 1938 года, был очень распространен другой способ расправы с теми, кого советское правосудие считало наказанными не в меру их преступлений перед партией и правительством: этих людей вывозили из лагерей и мест ссылки якобы для пересмотра их дел в Москве — и расстреливали без суда и следствия на ближайшей станции... И о гибели Клюева ходят и такие слухи. Думаем, они ближе всего к истине. Впрочем, мы едва ли когда-нибудь узнаем что-либо более достоверное о последних годах жизни Клюева — и о его смерти.

Судьба его рукописного наследства, по рассказу того же Иванова-Разумника, не менее трагична. «Кремль» пропал бесследно, но это — самая лучшая участь для вымученного и фальшивого панегирика жертвы палачу. А вот лучшие, наиболее зрелые и выстраданные веши Николая Клюева последних лет: первая часть «Песни о Великой Матери», свыше 50 стихотворений и свыше 100 писем, хранившиеся в личном архиве Иванова-Разумника в его царскосельской квартире, — погибли в том же Пушкине (Царском Селе) зимой 1941-1942 года. Вторую часть «Песни о Великой Матери» поэт ухитрился переслать из ссылки своему другу Николаю Ильичу Архипову. В то время Архипов был хранителем Большого

Петергофского Дворца-музея. Чтобы лучше и вернее сохранить рукопись поэмы, «Архипов положил ее на одну из высоких кафельных печей в одной из зал дворца. Вскоре после этого он был арестован, а Петергофский дворец был разрушен войной 1941 года».[344]

Вторая и третья часть «Песни о Великой Матери» и все предсмертные стихи поэта погибли, очевидно бесследно, вместе с чемоданом поэта...[345]

Странник-певец, хитроумный сказитель, большой художник Николай Клюев умучен, погиб. Значительная и, может быть, лучшая часть написанного им погибла для нас безвозвратно. Из большинства советских библиотек — кроме, так сказать, академических — изъяты книги опального поэта. Во втором издании Большой Советской Энциклопедии нет даже упоминания о нем. Нет и книг о поэте, написанных после 1924-1925 года. Даже во второй половине 20-х годов, желая вспомянуть о Клюеве, пристегивали воспоминания о нем к воспоминаниям о Есенине: так проще и безопаснее... Иногда получались, правда, вещи курьезные: в иных статьях и воспоминаниях об Есенине значительно больше говорилось о Клюеве. Но написать прямо о Клюеве?! Еще обвинят в кулацком уклоне! Некоторое время, правда, замалчивали и Есенина. Долго в стихах Есенина изымали отдельные строфы, где упоминалось имя Клюева, изымались упоминания о нем и в автобиографических заметках «младшего брата»[346] Только теперь появляются робкие попытки частичной реабилитации поэта. По обычной формуле: «посмертно реабилитирован». Так, в изданной Академией Наук СССР книге П. Выходцева «Русская советская поэзия и народное творчество», 1963, немало места уделено Клюеву, причем автор осмеливается заметить, что «даже в творчестве наиболее консервативных (Клюев) и наиболее противоречивых (Клычков, Орешин, Есенин) крестьянских поэтов трудно найти прямое отражение этой (кулацкой, БФ) идеологии и психологии».[347] 21 ноября 1966 г. в «Литературной России», «по просьбе читателей» (что весьма характерно!) появилась большая статья Вл. Орлова «Николай Клюев» (сопровождаемая весьма тенденциозной и неудачной подборкой стихов поэта). Вл. Орлов старается быть возможно более объективным, но уже подбор им стихов Клюева — насквозь фальшив. «Особняком в русской поэзии начала XX века стоит Николай Клюев — поэт сильного

и самобытного дарования. В творчестве Клюева господствует совершенно особая стихия — крестьянская мистика, выросшая на скрещении старообрядческого начетничества, сектантского (в данном случае — хлыстовского) вероучения и очень своеобразных бунтарско-анархических настроений, находивших благодарную почву именно в сектантской среде. Это было целое мировоззрение, уходящее в стародавнюю народно-религиозную культуру русского Севера, в особый уклад его жизни. Правильно понять творчество Клюева в его истоках и содержании можно лишь в том случае, если рассматривать его под широким углом зрения — как факт не только литературы, но вообще русской действительности предреволюционной поры, породившей такие, например, явления, как распутинщина». Начав с таких верных, в основном, положений, Вл. Орлов вынужден все-таки писать о «квасном патриотизме» военных и предвоенных стихов Клюева, о его «чуждости» советскому искусству (что, конечно, верно!): «Это — последний отзвук исторически обреченной кондовой России».

Ну, а в тридцатых годах Клюева поминали часто — и всегда недобрым словом. Обязательно прибегали к имени Клюева, когда желали особенно крепко ошельмовать какого-нибудь поэта. Так, О. Бескин, в статье «О поэзии Заболоцкого, о жизни и о скворешниках», сравнивает замечательную поэму Заболоцкого «Торжество земледелия» с «клюевщиной»: «...политически реакционная поповщина, с которой солидаризируется на селе кулак, а в литературе — Клюевы и Клычковы»...[348] Е. Усиевич, в статье о талантливом поэте Павле Васильеве (умученном в застенках НКВД в 1937 г., когда ему еще не было и 27 лет...) и о его поэме «Соляной бунт», пишет, что первым из шагов по идеологической перестройке Васильева на советский лад «было совершенно необходимое — как *неизбежное условие* перестройки, а не как *сама перестройка,* — политическое размежевание с группой Клычкова и Клюева, которое произведено Васильевым в одном из его последних выступлений».[349]

Убить не только человека, не только его творчество, но постараться убить и саму память о человеке и его деле, большом и важном деле. Ведь Клюев, как никто в XX веке, перебрасывает мост, соединяет две разобщенные, казалось бы, навсегда России: древнюю Русь новогородской вольницы и Московии Аввакума — и имперски-нигилистическую, Пет-

ровско-Пушкинскую Россию,[350] и Российскую империю предгрозья с РСФСР «погибели Земли Русския» и революционных взрывов:

Мы не знаем нынче покою,
Маята-змея одолела
Без сохи, без милого дела,
Без сусальной в углу Пирогощей...

И даря свои руссейшие песни итальянскому литератору и литературоведу, отправляя их в вечный Рим на поклон Олексию-Человеку Божию, Николе Милостивому, соснам Умбрии и убрусу Апостола Петра, грешный, мятущийся, но вечно ищущий Облекшегося в лепоту Всецелого Бога, — большой поэт России писал:

...Расскажите им, песни, что заросли русские поля плакун-травой невылазной, что рыдален шум берез новгородских, что кровью течет Матерь-Волга, что от туги и и скорби своего панцырного сердца захлебнулся черной тиной тур-Иртыш — Ермакова братчина, червонная сулея Сибирского царства, что волчьим воем воют родимые избы, замолкли грановитые погосты, и гробы отцов наших брошены на чумных и смрадных свалках.

Увы! Увы! Лютой немочью великая, непрощеная и неприкаянная Россия!...

Но — «будет, будет русское дело» — «ясак с ордынской басмою сметет мужик бородою!»

И пусть это собрание произведений Николая Алексеевича Клюева, полнейшее из доныне опубликованных, — даст возможность прикоснуться к погорелой, но вечно *подлинной* Руси, о которой свидетельствует нам последний *народный* поэт России:

Нерукотворную Россию
Я, песнописец Николай,
Свидетельствую, братья, Вам...

И пусть это собрание пестрых и противоречивых выписок, столь неприличное с обычной «академической» оглядки («как! — выписки по три страницы! — а где же автор?! автор статьи?..») приблизит большого — при всей своей внешней

неприглядности — человека к нам, тоже не без греха, тоже надломленным историческими бурями — и самой лоскутностью своею, своей противоречивостью непосредственных свидетельских показаний и оценок современников, — и даст хотя бы приближенное представление о человеке и певце, значительном и в самих падениях своих...

В разлуке жизнь обозревая,
То улыбаясь, то рыдая,
Кляня, заламывая пальцы,
Я слушаю глухие скальцы
Набухлых и холодных жил; —
Так меж затерянных могил,
Где мыши некому посватать,
На стужу, на ущерб заката
Ворчит осенняя вода...

Если удалось вместе с тем показать, что и затерянные могилы — не только некрополь, но и акрополь великой культуры, великого культурного преемства, если удалось показать, что Клюев не только так называемый «певец крестьянской Руси», но и большой певец Великой Матери — женского начала нашего мироздания, задача *составителя* и его цель — достигнута. И пусть «ордой иссечен», но навеки, навсегда

Осиянно вечен
Материнский Лик.

Борис ФИЛИППОВ.

1953. Нью-Йорк.
1969. Вашингтон.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ольга Форш. Сумасшедший Корабль. Изд. Международного Литературного Содружества, Вашингтон, 1964, стр. 208-209.

[2] Георгий Иванов. Петербургские зимы. Изд. «Родник», Париж, 1928, стр. 83-84.

[3] Александр Блок. Собрание сочинений в 8 томах. Том 7, ГИХЛ, Москва-Ленинград, 1963, стр. 70.

[4] Н. Гумилев. Собрание сочинений в 4 томах. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Том 4. Изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1968, стр. 281, 298-299.

[5] Андрей Белый. Песнь Солнценосца. «Скифы». Сборник II, Петроград, 1918, стр. 8-9.

[6] Осип Мандельштам. Письмо о русской поэзии (1922). В кн. Собрание сочинений в 3 томах. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Том 3, изд. Междунар. Лит. Содружества, 1969, стр. 34.

[7] С. Городецкий. О Сергее Есенине. Воспоминания. «Новый Мир», 1926, № 2, стр. 139.

[8] Александр Блок. Собр. соч. в 8 тт. Т. 7, ГИХЛ, М.-Л., 1963, стр. 97.

[9] В. Ф. Ходасевич. Некрополь. Воспоминания. Изд. «Петрополис», Брюссель, 1939, стр. 187-189.

[10] Жизнеописание Аввакума. В кн.: А. Н. Робинсон. Жизнеописания Аввакума и Епифания. Исследование и тексты. Изд. Академии Наук СССР, Москва, 1963, стр. 139.

[11] Н. Клюев. (Автобиографическая заметка), в отделе «Литераторы о себе». «Красная Панорама», № 30 (124), Ленинград, 23 июля 1926, стр. 13. См. ее в этом томе нашего собр. соч. Клюева.

[12] Из рассказа Н. А. Клюева автору этой статьи.

[13] Из автобиографич. заметки, см. примеч. 11-е.

[14] Р. Иванов-Разумник. Николай Клюев. В его кн. «Писательские судьбы». Изд. (стеклографич.) «Литературный Фонд», Нью-Йорк, 1951, стр. 34. В дальнейшем ряд биографических сведений взят из этой статьи.

[15] И. Розанов. Есенин и его спутники. В сборн. «Есенин. — Жизнь. — Личность. — Творчество», под ред. Е. Ф. Никитиной, изд. «Работник Просвещения», Москва, 1926, стр. 85.

[16] Некоторые биографические сведения по статье П. Сакулина «Народный златоцвет». «Вестник Европы», 1916, № 5, стр. 200-201.

[17] (Автобиографическая заметка) Н. Клюева, опубликованная в кн. «Современные рабоче-крестьянские поэты в образцах и автобиографиях», составил П. Я. Заволокин. Изд. «Основа», Иваново-Вознесенск, 1925. См. эту заметку в этом томе нашего собр. соч. Клюева.

[18] Е. В. Барсов. Причитания Северного края. Часть I, Москва, 1872, стр. 67.

[19] (Автобиографическая заметка) Н. Клюева, 1930-х гг. — рукописн. собр. ИМЛИ, фонд 178, опись 1, № 10, — см. первую публикацию ее в наш. издании, в этом томе, в статье Гордона Мак-Вэя.

[20] Письмо протопопа Аввакума боярыне Морозовой. В кн. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения». Под ред. Н. К. Гудзия. Изд. «Academia», б. г., стр. 306.

[21] Н. С. Демкова. Неизвестные и неизданные тексты из сочинений протопопа Аввакума. В кн. «Труды отдела древнерусской литературы. Академия Наук СССР», XXI. Изд. «Наука», Москва-Ленинград, 1965, стр. 233.

[22] Цитирую по книге «Раскольники и острожники. Очерки и рассказы. Сочинение Фед. Вас. Ливанова», том IV, СПб, 1873, стр. 253-254.

[23] И. Г. Айвазов. Материалы для исследования русских мистических сект. Вып. 1. Христовщина. Том III. Петроград, 1915, стр. 1-2.

[24] Исследование о скопческой ереси (соч. Надеждина), изданное по распоряжению г. министра внутренних дел, СПб., 1845. Перепеч. в кн. «Сборник правительственных сведений о раскольниках, составленный В. Кельсиевым», вып. 3, Лондон, 1862, стр. 138-139.

[25] Взята из дела о скопце, унтер-офицере Морской типографии Мироне Данильчикове. В. Кельсиев, цитир. труд, вып. 3, приложения, стр. 68, № 32.

[26] В. Кельсиев, цитир. труд, вып. 3, стр. 8.

[27] Там же, «Послания».

[28] Там же, стр. 8.

[29] Цитирую по кн. Ф. В. Ливанов. Раскольники и острожники. Том IV, СПб, 1873, стр. 302.

[30] Курсив мой. Цитирую по кн.: И. Г. Айвазов, цитир. труд, том I, 1915, стр. 575.

[31] Там же, стр. 15-16.

[32] Жизнеописание Епифания. В кн.: А. Н. Робинзон, цитир. труд, стр. 179.

[33] Граф Стенбок. Краткий взгляд на причины быстрого распространения раскола. В. Кельсиев, цитир. труд, вып. 4, стр. 327.

[34] «Цветник» Евфимия. В. Кельсиев, цитир. труд, вып. 4, стр. 263.

[35] В. Кельсиев, цитир. труд, вып. 4, стр. 45-46.

[36] В. Кельсиев, цитир. труд, вып. 1, стр. 209.

[37] И. Г. Айвазов, цитир. труд, том 1, стр. 563. Орфография и пунктуация нами приближена к общепринятой.

[38] В. Кельсиев, цитир. труд, вып. 1.

[39] В. В. Розанов. Апокалипсическая секта. СПб, 1914, стр. 52.

[40] Н. Клюев. Братские песни. Изд. журнала «Новая Земля», М., 1912, стр. 60-62.

[41] Дерютинцы и Потапкинцы в XX-м столетии. В кн.: И. Г. Айвазов, цитир. труд, т. 1, стр. 471-472.

[42] П. Мельников. Записка о русском расколе, составленная для В. Кн. Константина Николаевича. 1857. В кн.: В. Кельсиев, цитир. труд, вып. 1, Лондон, 1860, стр. 197.

[43] П. Сакулин. «Народный златоцвет». «Вестник Европы», 1915, № 5, стр. 201.

[44] Вл. Орлов. Николай Клюев. «Литературная Россия», № 48 (204), 25 ноября 1966, стр. 16.

[45] Р. Иванов-Разумник. Николай Клюев. В его кн. «Писательские судьбы». Изд. Литературного Фонда, Нью-Йорк, 1951, стр. 34.

[46] Этот отрывок из письма опубликован в примечаниях А. Космана в кн. «Письма Александра Блока к Е. П. Иванову». Под ред. Цезаря Вольпе. Изд. Академии Наук СССР, М.-Л., 1936, стр. 124-125.

[47] Этот отрывок из письма опубликован в примечаниях М. И. Дикман в кн.: Александр Блок. Собрание сочинений в 8 тт. Т. 8, ГИХЛ, М.-Л., 1963, стр. 587.

[48] Письмо № 143: Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, 1963, стр. 215.

[49] Примечания А. Космана в кн. «Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову», 1936, стр. 124-125.

[50] Возможно, они были опубликованы в журнале «Доля Бедняка», как о том свидетельствует Л. М. Клейнборт (см. его «Встречи», в сборнике под ред. Ю. Л. Прокушева: Воспоминания о Сергее Есенине. Изд. «Московский Рабочий», М., 1965, стр. 131-132): «Клюев получил крещение... в 'Доле Бедняка'. Я напомнил как-то об этом самому Клюеву. Он смотрел на меня так, точно я о нем открывал ему вещи, о которых он сам не знал...». Однако, стихи эти не разысканы были, по крайней мере, до 1966 г. и советскими литературоведами. Во всяком случае, Вл. Орлов, в статье «Николай Клюев», пишет: «где напечатаны эти стихи — установить не удалось» («Литературная Россия», № 48, 25 ноября 1966, стр. 16). И, конечно, если эти стихи имеет в виду Клейнборт, то они далеко не были литературным дебютом Клюева, так как первые стихи, насколько нам удалось уста-

новить, опубликованы Клюевым в сборнике «Новые Поэты», изд. 2-е (Н. Иванова), СПб, 1904.

[51] «Письма Клюева сохранились у Л. Д. Блок в количестве 46», — прибавляет А. Косман (см. «Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову», 1936, стр. 125). «...Клюев, с которым Блок усиленно переписывался с 1908 по 1916 год», — пишет Л. Тимофеев (в его кн.: «Творчество Александра Блока». Изд. Академии Наук СССР, М., 1963, стр. 129).

[52] Об этом глухо (простой оговоркой «не сохранились») пишет и Вл. Орлов в примеч. к кн.: Александр Блок. Сочинения в одном томе. Редакция Вл. Орлова. ГИХЛ, М.-Л., 1946, стр. 624. То же — в примечаниях к восьмитомнику Блока...

[53] См. статью: Вл. Орлов. Николай Клюев («Литерат. Россия», № 48, 25 ноября 1966, стр. 16).

[54] С. Л. Франк. Этика нигилизма. «Вехи». Сборник статей о русской интеллигенции. Изд. 2, М., 1909, стр. 175.

[55] С. Н. Булгаков. Героизм и подвижничество. Там же, стр. 24-25.

[56] М. О. Гершензон. Творческое самосознание. Там же, стр. 79.

[57] А. Блок. Народ и интеллигенция. Собр. соч. в 8 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 322-324.

[58] П. Б. Струве. Интеллигенция и революция. «Вехи», М., 1909, стр. 160.

[59] А. Блок. Стихия и культура. Собр. соч. в 8 тт., т. 5, 1962, стр. 355-356.

[60] А. Вольский. Умственный рабочий. Изд. Международного Литературного Содружества, 1968, стр. 44.

[61] В. И. Ленин. Что делать? Сочинения. Изд. 4, т. 5, М., 1946, стр. 347-348.

[62] А. Блок. Литературные итоги 1907 года. Собр. соч. в 8 тт., т. 5, 1962, стр. 211.

[63] А. Блок. Стихия и культура. Там же, стр. 359.

[64] А. Блок. Три вопроса. Там же, стр. 237, 236.

[65] А. Блок. Письма о поэзии. Там же, стр. 281.

[66] С. Н. Булгаков. Задачи политической экономии. В его сборн.: От марксизма к идеализму. М., 1903, стр. 347.

[67] Н. Ф. Федоров. Философия Общего Дела. Т. 1. Верный, 1906, стр. 331.

[68] Там же, стр. 96.

[69] Там же, стр. 13.

[70] Там же, том 2, стр. 455.

[71] Андрей Белый. Воспоминания о Блоке. «Эпопея», Москва-Берлин, 1922, № 2, стр. 119.

[72] Александр Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 5, 1962, стр. 213-214.

[73] Письмо № 147. Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, 1963, стр. 219.

[74] Александр Блок. Записные книжки. 1901 - 1920. ГИХЛ, М., 1965, стр. 114, 115, 122.

[75] Письмо № 193, от 2 ноября 1908 — Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, 1963, стр. 258. «Письмо Н. А. Клюева опубликовано не было», — свидетельствует в примечаниях М. И. Дикман (там же, стр. 594).

[76] Письмо № 194, 5-6 ноября 1908 — там же, стр. 258-259.

[77] ЦГАЛИ, 1908, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39. Опубликовано частично: все приведенные нами отрывки в примечаниях М. И. Дикман — Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, 1963, стр. 594; первый отрывок также в кн.: Борис Соловьев. Поэт и его подвиг. Творческий путь Александра Блока. Изд. «Советский Писатель», М., 1965, стр. 254. Раздумья над этим письмом отразились в докладе и статье «Народ и интеллигенция». Доклад был прочитан Блоком 13 ноября 1908 г. в Религиозно-философском обществе. См. высказывания Горького о влиянии на Блока писем Клюева: «Литературное Наследство», т. 70, стр. 625. «И в письмах, и в личном общении Клюев с позиции 'народного поэта' и носителя 'народной религии' пытался усвоить в отношении Блока поучающе-обличительный тон, чему Блок на первых порах поддался», — пишет Вл. Орлов (Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 7, ГИХЛ, М.-Л., 1963, стр. 475). Следует заметить, однако, что Клюеву в то время было всего 20 лет, он на семь лет моложе Блока...

[78] Примеч. М. И. Дикман. Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, 1963, стр. 593.

[79] Отрицая наличие раскола между интеллигенцией и народом, В. В. Розанов назвал письмо Клюева, опубликованное Блоком (без имени автора письма) в статье «Литературные итоги 1907 года», письмом «бывшего дворового человека», «мужика», служителя в каком-либо ресторане, где он имел достаточно поводов «завидовать кутящим господам». Статья Розанова, под псевдонимом «В. Варварин», была опубликована в газ. «Русское Слово», М., 25 января 1908: «Автор 'Балаганчика' о петербургских религиозно-философских собраниях».

[80] Письмо № 187. Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, 1963, стр. 252.

[81] Письмо № 189. Там же, стр. 254.

[82] Ал. Блок. Стихия и культура. Собр. соч. в 8 тт., т. 5, 1962, стр. 357.

[83] Там же, стр. 358-359.

[84] Михаил Пришвин. Большевик из «Балаганчика». «Воля Страны», 16 (3) февраля 1918.

[85] Ал. Блок. Записные книжки. 1901 - 1920. М., 1965, стр. 131.

[86] Там же, стр. 159.

[87] Алексей Ремизов. Моя литературная судьба. — Магия. «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 7 марта 1954.

[88] Анатолий Мариенгоф. Встречи с Сергеем Есениным. Изд. «Огонек», М., 1926, стр. 10. Тоже в кн. А. Мариенгофа «Роман без вранья». Изд. 3-е, «Прибой», Л., 1929, стр. 17. См. также: И. А. Бунин. Воспоминания. Изд. «Возрождение», Париж, 1950, ст. 17. В статье Р. Менского «Н. А. Клюев» — этот эпизод рассказан иначе: юный Клюев, мол, явился в Питер шпаклевать и белить городские квартиры, и за работой у Городецкого распелся. Когда Городецкий, услышавший пение из соседней комнаты, попросил Клюева продиктовать ему то, что он поет, юноша отказался: «Может быть, это большой грех». «С тех пор поэт и маляр, — пишет Р. Менский, — стали друзьями. Без преувеличения можно утверждать, что маляр оказал бóльшее влияние на поэта, чем поэт на маляра». («Новый Журнал», Нью-Йорк, № 32, 1953, стр. 149-150).

[89] Надежда Дмитриевна Санжарь — писательница, автор автобиографической повести «Записки Анны» (1910).

[90] Пимен Иванович Карпов (1887 - 1963) — поэт и прозаик, из хлыстов. Автор книг стихов «Говор зорь» (1910), «Знойная лира» (1911), «Русский Ковчег» (1922), «Звездь» (1922) и повести «Пламень» (1913), о которой писал А. А. Блок. Карпов — из крестьян-бедняков, летом чаще всего работал батраком на сельскохозяйственных работах в деревне, зимой — жил случайными заработками в городе.

[91] Дмитрий Владимирович Кузьмин-Караваев, юрист, историк, литератор, один из руководителей «Цеха Поэтов».

[92] Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 7, 1963, стр. 70-71.

[93] Там же, стр. 72-73.

[94] «Вестник Европы», 1916, № 5, стр. 200.

[95] Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 7, 1963, стр. 100.

[96] Там же, стр. 101.

[97] Там же, стр. 101.

[98] Там же, стр. 101.

[99] Там же, стр. 102.

[100] Там же, стр. 103.

[101] В. А. Десницкий. Социально-психологические предпосылки творчества Александра Блока. В кн.: Письма Александра Блока к родным. Том 2. Изд. «Academia», М.-Л., 1932, стр. 27.

[102] Л. И. Тимофеев. Творчество Александра Блока. Изд. Академии Наук СССР, М., 1963, стр. 129, сноска.

[103] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 3с, ед. хр. 35, письмо № 21, без даты. Цитирую

по указ. в примечании 102-м в указ. выше книге Л. Тимофеева, стр. 129.

104 Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 7, 1963, стр. 105.

105 Там же, стр. 106-107.

106 Там же, стр. 108.

107 А. Д. Скалдин. О письмах А. А. Блока ко мне. В кн. «Письма Александра Блока. Со вступ. статьями и примечаниями С. М. Соловьева, Г. И. Чулкова, А. Д. Скалдина и В. Н. Княжнина». Изд. «Колос», Л., 1925, стр. 176.

108 Ольга Форш. Сумасшедший Корабль. Повесть. Изд. МЛС, Вашингтон, 1964, стр. 209-210.

109 Ал. Блок. О Дмитрии Семеновском. Собр. соч. в 8 тт., т. 6, ГИХЛ, М.-Л., 1962, стр. 342.

110 Аркадий Вениаминович Руманов (1876 - 1960) — журналист, представитель сытинской газеты «Русское Слово» в Петербурге; после Октября — эмигрант. «Главное, чтоб скуки не было. Подавать повкуснее, и в горячем виде. В Петербургском отделении А. В. Руманов, вездесущий, как Фигаро. Все видит, все знает. Раньше всех все пронюхает. Из министерских приемных не вылезает. Днем ездит, ночью телефонирует. На извозчиков состояние тратит» (Д. Аминадо. Поезд на третьем пути. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 177).

111 Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 7, 1963, стр. 127.

112 Женя — близкий друг Блока — Евгений Павлович Иванов (1879 - 1942) — третьестепенный литератор.

113 Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 7, 1963, стр. 156.

114 Там же, стр. 157.

115 Там же, стр. 158.

116 Там же, стр. 227.

117 В. Свенцицкий. (Вступ. статья) в кн.: Н. Клюев. Братские песни. Книга вторая. Изд. «Новая Земля», М., 1912, стр. V-VI.

118 ЦГАЛИ. Цитирую по примеч. М. И. Дикман в кн. Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, 1963, стр. 611.

119 Письмо № 326. Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, ГИХЛ, 1963, стр. 400-402.

120 В. Ф. Ходасевич. Некрополь. Воспоминания. Изд. «Петрополис», Брюссель, 1939, стр. 186.

121 С. Городецкий. О Сергее Есенине. Воспоминания. «Новый Мир», 1926, № 2, стр. 199.

122 В. Варварин (В. В. Розанов). Автор «Балаганчика» о петербургских религиозно-философских собраниях. «Русское Слово», 21 января 1908. См. примеч. 79-е.

[123] Алексей Ремизов. Мышкина дудочка. Изд. «Оплешник», Париж, 1953, стр. 43-44.

[124] Цитирую по книге: Г. И. Поршнев. Революция и культура народа. Иркутск, 1917, стр. 93.

[125] Письмо приводится в книге: Helen Kazantzakis. Nikos Kazantzakis. A Biography. Transl. by Amy Mims. Simon and Schuster, New York, 1968, p. 192. О Клюеве там же, стр. 222, 246.

[126] Ю. Каменев. Литературные беседы. Николай Клюев. «Звезда», 1912, № 10.

[127] В. В. Розанов. Апокалипсическая секта. (Хлысты и скопцы). СПб, 1914, стр. 11.

[128] о. Павел Флоренский. Столп и утверждение истины. Опыт православной феодицеи в 12 письмах. Изд. «Путь», Москва, 1914, стр. 326.

[129] Проф. прот. В. В. Зеньковский. История русской философии. Том II. YMCA, Париж, 1950, стр. 415.

[130] С. Н. Булгаков. Философия хозяйства. Москва, 1912, стр. 119.

[131] Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 10 тт., т. 7, ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 154.

[132] «Волк клянется, землю ест». «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева, изд. 3-е, Москва, 1897, т. 1, стр. 3. Там же, примечание: «Это любопытное указание на старинный обряд клятвы. Вадим Пассек свидетельствует, что на Украйне были примеры, когда клятва скреплялась целованием земли, и такая клятва считалась самою важною и священною (Путевые записки, стр. 151-152)».

[133] Борис Филиппов. Погорельщина. В его кн. «Живое прошлое», г. Вашингтон, 1965, стр. 103. См. также во втором томе этого издания Клюева.

[134] Н. Ф. Федоров. Философия Общего Дела. Т. 1. Верный, 1906, стр. 416.

[135] Сборник правительственных сведений о раскольниках, составленный В. Кельсиевым. Вып. 1, Лондон, 1860, стр. XXIX.

[136] Там же, вып. 2, Лондон, 1861, стр. XII.

[137] Вячеслав Иванов. Anima. В кн.: С. Л. Франк. Из истории русской философской мысли конца XIX и начала XX века. Антология. Посмертная ред. В. С. Франка. Изд. МЛС, 1965, стр. 183.

[138] Об этом подробно в моей статье «Николай Клюев. («Явление»)» — «Воздушные Пути», альм. IV. Ред.-изд. Р. Н. Гринберг, Нью-Йорк, 1965, стр. 216-231.

[139] В.....ский, Ч... Н. Клюев. Сосен перезвон. Изд. 2-е; Лесные были. «Вестник Европы», 1913, № 4, стр. 386.

[140] С. Городецкий. Некоторые течения в современной русской поэзии. «Аполлон», 1913, № 1, стр. 47.

141 В. Гиппиус. Встречи с Блоком. «Ленинград», 1941, № 3. Перепеч. в его книге «От Пушкина до Блока», изд. «Наука», Москва-Ленинград, 1966, стр. 337.

142 См., напр., письмо О. Э. Мандельштама к Федору Сологубу. О. Мандельштам. Собр. соч. в 3 тт. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Т. 3, МЛС, 1969, стр. 195.

143 А. Волков. Поэзия русского империализма. ГИХЛ, Москва, 1935, стр. 155-156.

144 «Звено», Париж, 1926, № 203, стр. 2.

145 В. Львов-Рогачевский. Поэзия Новой России. Поэты полей и городских окраин. Изд. Писателей в Москве, 1919, стр. 48-49.

146 «Клюев в молодости жил в Рязанской губернии несколько лет», — записывает со слов Есенина А. А. Блок в дневнике, под 4 января 1918. Собр. соч. в 8 тт., т. 7, ГИХЛ, 1963, стр. 313.

147 В. Ф. Ходасевич. Некрополь. Воспоминания. Изд. «Петрополис», Брюссель, 1939, стр. 185-186.

148 Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 7, 1963, стр. 313.

149 Лев Троцкий. Литература и революция. Изд. 2-е, ГИЗ, Москва, 1924, стр. 48 (статья «Николай Клюев»).

150 Н. Ф. Федоров. Философия Общего Дела. Т. 1. Верный, 1906.

151 Вадим Шершеневич. Памяти Сергея Есенина. «Советское Искусство», 1926, № 1, стр. 51.

152 В. Ф. Ходасевич. Некрополь... 1939, стр. 191-192.

153 Приведено в подстрочном примечании в кн.: Л. И. Тимофеев. Творчество Александра Блока. Изд. Академии Наук СССР, Москва, 1963, стр. 130.

154 Б. С. Глаголин. «Слово за Распутина». Изд. Мэри О'Двайер, на правах рукописи (стеклографич. изд., тираж — 50 экз.). (Холливуд, 1945), стр. 3. В книге интересные воспоминания о нескольких встречах автора с Распутиным. Небезынтересно наблюдение Б. Глаголина: «Вера (Распутина, БФ) в каждого встречного и поперечного была в нем приятием добра и зла в слиянии их в одном, в порождаемом им третьем» (стр. 17). О Распутине и Клюеве см. замечания в статье: Борис Нарциссов. Николай Клюев. «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 12 сентября 1954.

155 И. Н. Розанов. Есенин и его спутники. Сбор. «Есенин. — Жизнь. — Личность. — Творчество», под ред. Е. Ф. Никитиной. Изд. «Работник Просвещения», Москва, 1926, стр. 89.

156 Автобиография Сергея Есенина в разделе «Писатели о себе». «Новая Русская Книга», Берлин, 1922, № 5, стр. 41-42. Перепеч. в кн.: Сергей Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, Москва, 1962, стр. 9.

[157] В том же Собр. соч., т. 5, 1962, стр. 114.

[158] Архив Есенина, ЦГАЛИ, фонд 190, оп. 1, ед. хр. 110. Цитирую по кн.: Е. Наумов. Сергей Есенин. Жизнь и творчество. Учпедгиз, Ленинград, 1960, стр. 34.

[159] Указ. выше кн. Е. Наумова, стр. 34.

[160] ЦГАЛИ, ф. 190, оп. 1, ед. хр. 110. Цитирую по указ. выше кн. Е. Наумова, стр. 34.

[161] См. сноску 160-ю, стр. 34-35.

[162] Сергей Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 118.

[163] Там же, стр. 17.

[164] Архив Есенина, ЦГАЛИ, ф. 190, оп. 1, ед. хр. 111. Цитирую по указ. выше кн. Е. Наумова, стр. 36.

[165] Сергей Клычков (псевдоним Сергея Антоновича Лешенкова, 1889-1940; арестован в 1937 г. органами НКВД и погиб в его застенках или лагерях). Поэт и прозаик. «Песни», Москва, 1911; «Потаенный сад», Москва, 1913; «Дубравна», Москва, 1919; «Кольцо Лады», Москва, 1919; «Гость Чудесный», Москва, 1923; «Сахарный немец» (роман), 1925; «Серый барин», Харьков, 1926; «Чертухинский балакирь» (роман), 1926; «Талисман», Ленинград, 1927; «Князь мира», Москва, 1928; «В гостях у журавлей», Москва, 1930, и др. Когда в советской прессе и советских «исследованиях» сугубо охранительного типа говорят о кулацких идеологах, злейших реакционерах и т. д., то всегда вслед за именем Клюева называют Сергея Клычкова. Их относит к «правым буржуазным писателям» и В. Иванов («Формирование идейного единства советской литературы», ГИХЛ, Москва, 1960, стр. 88), и все почти «Истории русской советской литературы». Е. Наумов в его уже неоднократно цитированной нами книге о Есенине (1960, 2-е изд. 1965) причисляет к «кулацким поэтам» и Клюева, и Клычкова, и Ширяевца, и даже коммуниста (тоже репрессированного...) П. Орешина... «...Все они смотрели в прошлое» (стр. 125). Это пишется уже в послесталинские годы, когда Клычков «посмертно реабилитирован». А в двадцатые-тридцатые годы статьи о Клычкове носили такие имена, как «Бард кулацкой деревни» (О. Бескин — «Печать и Революция», 1929, № 7). Воспоминания о Клычкове опубликовал Г. Забежинский: «О Сергее Клычкове» — «Новый Журнал», Нью Йорк, 1952, № 29. А. Ширяевец (псевдоним Александра Васильевича Абрамова, 1887 - 1924). Поэт. «Стихи» (вместе с двумя еще авторами), Ташкент, 1911; «Запевка», Ташкент, 1916; «Алые маки», Петроград-Москва, 1917; «Край солнца и чимбета», Ташкент, 1919; «Мужикослов», Москва-Петроград, 1923; «Узоры», Москва-Петроград, 1923; «Раздолье», Москва-Петроград, 1924; «Волжские песни», Моск-

ва, 1928. Талантливый поэт круга Клюева. Дружил с Есениным.

[166] О пении Клюева и Есенина под гармошку на литературных вечерах Городецкий говорил и в речи «Памяти Есенина», 21 февраля 1926. Сборн. «Есенин...», под ред. Е. Ф. Никитиной, 1926, стр. 44.

[167] С. Городецкий. О Сергее Есенине. Воспоминания. «Новый Мир», 1926, № 2, стр. 139, с исправлением времени первой встречи Есенина с Клюевым по перепечатке этих воспоминаний (перепечатке с цензурными пропусками!) в сборн. «Воспоминания о Сергее Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 168-170.

[168] В. С. Чернявский. Встречи с Есениным. «Новый Мир», 1965, № 10, стр. 194.

[169] Георгий Иванов. Петербургские зимы. Изд. «Родник», Париж, 1928, стр. 81-83.

[170] «Рудин», Петроград, 1915, № 1, стр. 16.

[171] Мих. Мурашов. Сергей Есенин в Петрограде. В сборн. «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания». Под ред. И. В. Евдокимова. ГИЗ, Москва-Ленинград, 1926, стр. 51.

[172] М. М. Марьянова. Встречи с Есениным. В сборн. «Воспоминания о Сергее Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 176-177.

[173] М. Левидов. «Народная поэзия». «Журнал Журналов», 1915, № 30, стр. 8-9.

[174] «Журнал Журналов», 1916, № 10, стр. 6. Надежда Васильевна Плевицкая (1884- ок. 1939 — погибла во французской каторжной тюрьме, осужденная за активное участие в похищении в 1937 г. агентами ГПУ-НКВД — при содействии ее мужа, генерала Скоблина, — главы Общевоинского Союза в Париже, генерала Миллера) — известная исполнительница русских народных песен, с 1920 г. — в эмиграции.

[175] Неопубликованный дневник Б. А. Лазаревского. ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 145, № 10, лл. 27, 30. Цитирую по публикации этого отрывка в статье: Н. Хомчук. Есенин и Клюев (по неопубликованным материалам). «Русская Литература», 1958, № 2, стр. 158.

[176] А. Р. Изряднова. Воспоминания. Сборн. «Воспоминания о Сергее Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 101.

[177] И. Н. Розанов. Есенин и его спутники. В сборн. «Есенин...», под ред. Е. Ф. Никитиной, «Работник Просвещения», Москва, 1926, стр. 73-76.

[178] Г. Адамович. Литературные беседы. «Звено», Париж, 1926, № 154, стр. 1.

[179] Андрей Белый. Арбат. «Россия», 1924, № 1, февр., стр. 58-59.

[180] М. Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 29, ГИХЛ, Москва, 1955, стр. 315.

[181] Литературное Наследство. Т. 70: Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Москва, 1963, стр. 373.

182 В. Ф. Ходасевич. Некрополь. 1939, стр. 220-221.

183 Н. С. Лесков. Соборяне. — Собр. соч. в 11 тт., т. 4, ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 152.

184 В. С. Чернявский. Первые шаги. В сборн. «Воспоминания о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 147, 149.

185 Сергей Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, Москва, 1962, стр. 121-122.

186 Там же, стр. 122.

187 В. С. Чернявский. Первые шаги. В сборн. «Восп. о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 143.

188 И. Юдина. Литературный фонд и русские писатели 1910-х годов (Письма М. Горького, С. Есенина, Н. Клюева, С. Подъячева). «Русская Литература», 1926, № 2, стр. 210-211.

189 А. Волков. Поэзия русского империализма. ГИХЛ, 1935, стр. 157-158, 156.

190 Н. Венгров. Н. Клюев. Мирские думы. «Современный Мир», 1916, № 2.

191 З. Бухарова. Н. Клюев. Мирские думы. «Ежемесячные Литературные и Популярно-Научные Приложения к 'Ниве'», 1916, № 5, май, столб. 146-148. В том же номере ее же рецензия на «Радуницу» С. Есенина, где Клюев именуется «мудрым, глубоким 'сказителем'» (столб. 150).

192 М. А. Рыбникова. Книга о языке. Изд. 3-е, «Работник Просвещения», Москва, 1926, стр. 40-47. Приводимые автором примеры неудачны, а объяснения ряда клюевских слов неверны.

193 Е. В. Барсов. Причитания Северного края. Часть 2, Москва, 1882, стр. 15 — плач Ирины Федосовой по рекрутам.

194 С. Городецкий. О Сергее Есенине. Воспоминания. «Новый Мир», 1926, № 2, стр. 140.

195 Н. Н. Никитин. О Есенине. В сборн. «Воспом. о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 480.

196 Рюрик Ивнев (настоящее имя и фамилия — Михаил Александрович Ковалев, р. 1891). Поэт. Впервые выступил в печати в 1909. Книги стихов: «Самосожжение», кн. 1, 1913; «Пламя пышет», 1913; «Золото смерти», 1916; «Самосожжение», 1917; «Солнце во гробе», 1921; «Моя страна», 1943; «Стихи», 1948; романы: «Несчастный ангел», 1917; «Любовь без любви», 1925; «Открытый дом», 1927; «Герой романа», 1928. Примыкал к эгофутуристам (1913 - 1916), был имажинистом (1919 - 1924), был отчасти близок к «Скифам» (1917 - 1918).

197 Имеется в виду, очевидно, неоднократно упоминавшийся ранее в этих материалах для биографии Клюева расстриженный за революционные выступления и связи со староверами и сектантами священ-

ник Иона Пантелеевич Брихничев, поэт, критик, публицист, близкий (особенно в 1912 - 1913 гг.) к Клюеву, издатель журналов «Новая Земля» и «Новое Вино».

198 Г. Иванов. Петербургские зимы. «Родник», Париж, 1928, стр. 158.

169 Р. Иванов-Разумник. Три богатыря. «Летопись Дома Литераторов», 1922, № 3, стр. 5.

200 Евг. Замятин. Я боюсь. «Дом Искусств», 1921, № 1, стр. 44. Перепеч. в его кн. «Лица», МЛС, 1967, стр. 187. В своей статье «Русская литература» Замятин несколько раз упоминает Клюева более спокойно и объективно («Грани», № 32, 1956/57, стр. 93, 97, 99).

201 Р. Иванов-Разумник. Три богатыря. «Лет. Дома Литер.», 1922, № 3, стр. 5.

202 Петр Васильевич Орешин (1887 - 1938). Поэт. Примыкал к кругу Н. Клюева. Выступил в печати впервые в 1911. Погиб в 1938 г. в застенках НКВД. Свыше 50 книг стихов, в том числе: «Зарево», 1918; «Красная Русь», 1918; четырехтомник: «Ржаное солнце», 1923, «Солнечная плаха», 1925, «Родник», 1927 и «Откровенная лира», 1928. В своих воспоминаниях «Мое знакомство с Сергеем Есениным» Орешин рассказывает, как вечером, около девяти часов, осенью 1917 года, «когда в воздухе уже попахивало Октябрем», к нему неожиданно явился щегольски одетый (уже не в русском маскараде) Есенин. «Спрашивает, улыбаясь: — С Клюевым ты как... знаком? — Нет. — А с Городецким? А с Блоком? — Нет... — Вот чудак! А ведь Блок и Клюев... хорошие ребята!.. Зря ты так, в стороне...» (Сборн. «Воспомин. о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 187). Очень скоро Орешин примкнул к группе Клюева, но стоял ближе других поэтов его круга к коммунистической партии. Но и он пал жертвой террора, но и раньше подвергался всяческим нападкам, о которых достаточно добродушно, но не без горечи, рассказал в одном из своих стихотворений:

В РЕДАКЦИИ

Вчера в редакции одной
Мне сказано всерьез:
— Опять, опять ты, милый мой,
Гармошку нам принес!

— Опять березы средь полей,
Опять мужичья грудь...
Нельзя ли, братец, поновей,
Измысли что-нибудь!

Обидно стало мне до слез,
С чего, и сам не знай...
Да, я, действительно, принес
Стихи про русский край.

Редактор, вижу, больно строг,
Да что же делать мне?
. . . .
Всю ночь забыться я не мог
И водку пил... во сне!

1926

(«Родник», стихи, т. III, Москва-Ленинград, 1927).

203 О Блоке в «Скифах» см.: Ал. Ильина (Сеферьянц). Непостижимая. В сборн. «О Блоке», под ред. Е. Ф. Никитиной, изд. «Никитинские Субботники», Москва, 1929, стр. 328.

204 М. А. Шум слитный. «Знамя Борьбы», Берлин, 1927, № 22-23, стр. 17.

205 Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова. «Эпопея», под ред. Андрея Белого, Берлин, № 2, 1922, стр. 61-63.

206 Осип Мандельштам. Египетская марка. — Собр. соч., под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 2, МЛС, 1966, стр. 52.

207 Исследование о скопческой ереси (Надеждина). Напечатано по приказу г. министра внутренних дел. СПб, 1845. Цитирую по указ. выше сборнику В. Кельсиева, вып. 3, Лондон, стр. 143. Ср. также песню о «Хлебе солнечном», сообщенную гусляром-складателем А. Котомкиным и включенную мной в рассказ «Бродяги»:

Ой, вы, люди русские,
И все люди Божии!
Сиры странники —
Калики перехожие!
Побредем-пойдем
Мы тропушкою тернистою
Как ко Той
Пресвятой Богородице!
. . . .
Мы попросим,
Мы помолим
Хлеба того Солнечного,
Что у ясна месяца

В чаше покоится,
Как во той ли
Семизвездной чаше
Во серебряной.
Мы накормим
Русь нашу Матушку,
Чтоб не ела она
Хлеба того каменна,
Хлеба каменна окаянного,
Не погибла чтоб
От руки дьявола нечистого,
От слуги его —
Проклятого Антихриста...

. . . .

(Борис Филиппов. Кресты и перекрестки. Изд. В. П. Камкина. Вашингтон, 1957, стр. 73).

208 И. Н. Розанов. Есенин и его спутники. Сборн. «Есенин...», под ред. Е. Ф. Никитиной, 1926, стр. 80.

209 Лев Троцкий. Клюев. В его кн. «Литература и революция», изд. 2, ГИЗ, 1924, стр. 49-50.

210 Мария Александровна Спиридонова (р. 1889) — виднейший лидер левого крыла социалистов-революционеров («левых эсеров»). В записных книжках Блока запись от 2 января 1918: «Митинг 'Народ и интеллигенция' в Зале Армии и Флота (Луначарский, Коллонтай, Иванов-Разумник — не будет, Петров-Водкин — не будет, я — не буду, Камков, Ивнев, Гуро, М. Спиридонова)...» (Ал. Блок. Записные книжки. 1901 - 1920. ГИХЛ, Москва, 1965, стр. 381).

211 Р. Ивнев. Об Есенине. Сборн. «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания», под ред. И. В. Евдокимова. ГИЗ, Москва-Ленинград, 1926, стр. 16, 18, 19.

212 Б. Яковенко. Издательство «Скифы». «Русская Книга», Берлин, 1921, № 1, стр. 9. Так же отпределяют это движение А. Меньшутин и А. Синявский: «В противоположность позднейшим 'Запискам Мечтателей' — изданию камерного, 'музейного' типа, проникнутому консервативностью, пассеизмом, академизмом и стремящемуся соблюсти 'чистоту' символистской традиции, — 'Скифы' открыто ориентировались на революционную современность, выступали под лозунгом 'бури и натиска', мятежа, боевой активности. Поэтическое ядро этой группы, наряду с Белым и Блоком, составляли так называемые

крестьянские поэты — Н. Клюев, С. Есенин и П. Орешин, испытавшие в свое время зависимость от символизма, но более свободные от его канонов, а главное — иной, чем символисты, социальной среды, иной жизненной судьбы, опыта, биографии. Этот 'символистско-крестьянский' альянс, зародившийся на основе прежних литературных связей (Клюев и Есенин еще до Октября находились в тесных отношениях с символистами), осуществлялся в период революции под знаком 'неонародничества', чему немало способствовал идейный руководитель 'Скифов' Р. В. Иванов-Разумник с явственно выраженным левоэсеровским уклоном. Политический профиль 'скифских' изданий (сборники 'Скифы', журнал 'Наш Путь' и др.) во многом определялся программой левых эсеров, которые на первых порах поддерживали большевиков, но вскоре повели борьбу по вопросу о мире, о диктатуре пролетариата и т. д. ...Поэты в этой борьбе участия не принимали...» (А. Меньшутин и А. Синявский. Поэзия первых лет революции. 1917 - 1920. Академия Наук СССР. Институт Мировой Литературы им. А. М. Горького. Изд. «Наука», Москва, 1964, стр. 64-65).

213 «Скифы», сборник 1, изд. «Скифы», СПб, 1917, стр. VII, VIII, X.

214 Максимилиан Волошин. Северовосток. В его кн.: «Демоны глухонемые», 2-е изд. Изд. Писателей в Берлине, 1923, стр. 41.

215 А. Меньшутин и А. Синявский. Указ. выше книга, стр. 67.

216 Андрей Белый. Песнь Солнценосца. «Скифы», сборн. II, Петроград, 1918, стр. 8-9.

217 Р. Иванов-Разумник. Поэты и революция. Там же, стр. 1.

218 А. Белый. Цитир. выше статья, стр. 10.

219 Мих. Платонов. Скифы ли? «Мысль», альм. 1. Изд. «Революционная Мысль», Петроград, 1918, стр. 291-292.

220 П. В. Орешин. Мое знакомство с Сергеем Есениным. Сбор. «Воспоминания о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 189.

221 Д. Благой. Материалы к характеристике Сергея Есенина. Из архива поэта А. Ширяевца. «Красная Новь», 1926, № 2, стр. 201.

222 Сергей Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 128. Переписка Клюева с Аверьяновым — см. в статье Гордона Мак-Вэя.

223 «У нас гости в столовой, — сказал Толстой (Алексей Николаевич, БФ), заглянув в мою комнату, — Клюев привел Есенина. Выйди, познакомься. Он занятный. Я вышла в столовую. Поэты пили чай. Клюев в поддевке, с волосами, разделенными на пробор, с женскими плечами, благостный и сдобный, похож был на церковного старосту. Принимая от меня чашку с чаем, он помянул про Великий пост. Отпихнул ветчину и масло. Чай пил 'по-поповски', накрошив в него яблоко. Напившись, перевернул чашку, деловито осмотрел марку

фарфора, затем перекрестился в угол на этюд Сарьяна и принялся читать вслух вполне доброкачественные стихи. Временами, однако, черезчур фольклорное словечко заставляло насторожиться. Озадачил меня его мизинец с длинным хорошо отполированным ногтем. Второй гость, похожий на подростка, скромно покашливал...» (Н. В. Толстая-Крандиевская. Сергей Есенин и Айседора Дункан. Сборн. «Воспоминания о Сергее Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 325.

224 Сергей Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 129-130.

225 Сергей Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 1, ГИХЛ, Москва, 1966, стр. 291-292.

226 Ал. Блок. Собр. соч. в 8 тт., т. 7 (Дневники), ГИХЛ, Москва-Ленинград, 1963, стр. 313-314. Здесь — не мысли и оценки Блока, а запись мыслей и оценок Есенина, метавшегося всю жизнь от преклонения перед Клюевым к ненависти к нему и всяческому умалению его значения. Оценка Клюева дана Блоком в уже цитированном нами отзыве на стихи Д. Семеновского: «...что приходится признать, с чем нельзя не считаться, но с чем, по-моему, жить нельзя: тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь...» (там же, т. 6, 1962, стр. 342). Но оценка, при неприятии поэтического мира Клюева, остается высокой, и интерес к Клюеву у Блока не ослабевает: Блок вспоминает в своих дневниках «злые карикатуры на... Городецкого, Клюева, Ремизова и Есенина по поводу 'Красы' Ясинского» в «журнальчике 'Рудин', издававшемся Рейснерами, 'пораженческом' в полном смысле, до тошноты плюющемся злобой и грязном» (запись 5 марта 1921, когда Лариса Рейснер уже была важной советской сановницей). 18 апреля того же года в дневнике выписки из статьи Петроника — и опять запись о Клюеве (Собр. соч. в 8 тт., т. 7, 1963, стр. 411-412 и 416-417). А. М. Ремизов, после выхода первого сборника «Скифов», отошел от Скифов. О Клюеве писал около 1-10 июля 1917 г., правда, записывая очередной свой ремизовский «сон» (некоторые его знакомые требовали от Ремизова никогда не видеть их во сне...): «Вошел Клюев: он в огромной соломенной шляпе, в поддевке, но уже без своего серебряного креста. — Страха ради революции. — У нас стоит инструмент: не то арфа, не то гусли, — объясняет Клюев, — а самопишущее перо Адлер, без чернил пишет». (Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова. «Эпопея», Берлин, № 3, декабрь 1922, стр. 105).

227 Здесь у Есенина прямой выпад не столько против Клюева, сколько против Осипа Мандельштама:

> Я сказал: виноград как старинная битва живет,
> Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке...

(О. Мандельштам. Собр. соч. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 1, изд. 2-е, МЛС, 1967, стр. 64).

228 Ключи Марии. Серг. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 47-48. Некоторый интерес представляет здесь, возможно не случайное, упоминание Бердслея и Уайльда, заведомых гомосексуалов...

229 В. Ф. Наседкин. Последний год Есенина. Сборн. «Восп. о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 448.

230 Лев Троцкий. Литература и революция. Изд. 2-е, ГИЗ, 1924, стр. 50. А. Меньшутин и А. Синявский пишут сорок лет спустя: «В самом деле, в облике Клюева было много от сектанта-начетчика, осуществлявшего весьма умело свое духовное руководство. Крайний фанатизм, нетерпимость, готовность стоять до конца на защите своего идеала 'в самосожженческих стихах' — совмещались у него с достаточной гибкостью, расчетливостью, 'живучестью' в отношении с современностью». (Поэзия первых лет революции. 1917-1920. Изд. «Наука», Москва, 1924, стр. 69).

231 Василий Князев. Ржаные апостолы. (Клюев и клюевщина). Изд. «Прибой», Петроград, 1924, стр. 86. Книга написана много раньше: в 1921 году.

232 «Знамя Труда», 9 (22) мая 1918.

233 В. В Розанов. Апокалипсис нашего времени. № 1. Сергиев Посад, 1917, стр. 7-8.

234 Л. Троцкий. Литература и революция. Изд. 2-е, ГИЗ, 1924, стр. 116. Подавляющее большинство советских критиков и исследователей творчества Клюева почти буквально повторяют характеристику поэта, данную Троцким, но, само собою разумеется, не смеют упоминать запретнейшее имя Троцкого.

235 «Пламя», № 28, октябрь 1918, стр. 11. «История русской советской литературы» подчеркивает полемический характер этого стихотворения, как бы упрекая даже вдохновителя журнала и его редактора — наркома просвещения А. В. Луначарского в некой «аполитичности»: «Литературный отдел 'Пламени' отражал несомненно позицию редактора журнала А. В. Луначарского. В каждом номере журнала публиковались стихи, авторы которых принадлежали к самым различным течениям современного искусства. Мы встретим здесь пролетарских поэтов... и такого 'крестьянского' поэта, как Н. Клюев, который резко противопоставлял свое творчество творчеству пролетарских поэтов: 'Мы ржаные, толоконные...' — и утверждал, что '...цвести над Русью новою будут гречневые гении'. В другом стихотворении Н. Клюев бросает вызов В. Маяковскому. А между тем рядом с цитированным выше стихотворением Н. Клюева в том же номере, вышедшем к пер-

вой годовщине Октябрьской революции, редакция поместила 'Оду революции' В. Маяковского». (Н. И. Дикушина. Литературные журналы 1917 - 1920 гг. В кн. «История русской советской литературы» в 3 тт., т. 1, Акад. Наук СССР, 1958, стр. 499-500).

236 «Знамя Труда», 1918, № 1.

237 Л. Троцкий. Литература и революция. Изд. 2-е, 1924, стр. 51.

238 Н. Клюев. Ленин. ГИЗ, 1924 (вышло в 1924 г. три издания этой книжки).

239 Ал. Блок. Записные книжки. 1901 - 1920. ГИХЛ, Москва, 1965, стр. 420, 248: записи от 12 августа и 19 сентября 1918.

240 Серг. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 233-235.

241 Ник. Клюев. Красный конь. «Грядущее», 1919, № 5-6, стр. 15.

242 Ник. Клюев. Огненная Грамота. «Грядущее», 1919, № 7-8, стр. 18. «Поселившись на далекой Вытегре, наподобие волшебника, он обращался с посланиями к русскому народу, напоминающими одновременно религиозную проповедь и боевую прокламацию: 'Нищие, голодные, мученики...' — Любопытно, что это приветствие было опубликовано в пролеткультовском журнале, который хотя и критиковал Клюева, но вместе с тем считал нужным поддерживать с ним контакт. Его вскоре даже ввели в состав сотрудников журнала, наряду с А. Гастевым, И. Садофьевым, П. Лебедевым-Полянским и другими деятелями пролетарской литературы. (См. «Грядущее», 1920, № 3). Видимо, это сотрудничество осуществлялось под знаком единения рабочего класса с крестьянством, и посланцем, 'ходоком' от крестьянства в данном случае выступал Клюев, охотно принимавший на себя эту миссию. Между тем Клюев, как это явствует уже из приведенных строк его послания, под лозунгами 'общенародной' борьбы на передний план выдвигал своих излюбленных 'вещих старичков' и 'многослезных бабушек' — не революционную молодую Россию, а уходящую 'дремучую' Русь!» (А. Меньшутин и А. Синявский. Поэзия первых лет революции. 1917 - 1920. «Наука», 1964, стр. 70).

243 Б/ессалько/. «Медный Кит» Николая Клюева. «Грядущее», 1919, № 1, стр. 23. В журн. «Пламя» была помещена — в № 38, от 26 января 1919 (стр. 15-16) — рецензия на «Медного Кита» другого пролеткультовца — А. Крайского.

244 Инн. Оксенов. Песнослов. Кн. I-II. «Книга и Революция», 1920, № 6, стр. 46-47.

245 А. Воронский. Литературные портреты. Том 2. Изд. «Федерация», Москва, 1929, стр. 176. Много говорит о Клюеве, причисляемом им к футуристам-бедетлянам, — и о неонародничестве Я. Шапирштейн-

Лерс в его книге «Общественный смысл русского футуризма», Москва, 1922, стр. 34, 47-48.

246 Вс. Рождественский. Ник. Клюев. Мать-Суббота. «Книга и Революция», 1923, № 2 (26), стр. 62.

247 Петроник. Идея родины в советской поэзии. «Русская Мысль», София, 1921, № I-II.

248 М. Кузмин. Парнасские трофеи. «Завтра», сборн. I. Изд. «Петрополис», Берлин, 1923, стр. 116.

249 Слово и культура. Осип Мандельштам. Собр. соч. под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 2, МЛС, 1966, стр. 264.

250 Евгений Замятин. Пещера. Собр. соч., т. 3. Изд. «Федерация», Москва, 1929, стр. 186.

251 Виктор Шкловский. Сентиментальное путешествие. Воспоминания. 1918 - 1923. Изд. «Атеней», Ленинград, 1924, стр. 54.

252 В. Зоргенфрей. Над Невой. «Дом Искусств», СПб, № 2, 1921. Затем в сборн. автора «Страстная Суббота», Петроград, 1922.

253 Борис Пильняк. Повесть Петербургская. Изд. «Геликон», Берлин, 1922, стр. 28.

254 Ал. Блок. Собр. соч., т. 8. Изд. «Советский Писатель», Ленинград, 1936, стр. 247.

255 Там же, стр. 245.

256 Ал. Блок. Записные книжки. 1901 - 1920. ГИХЛ, Москва, 1965, стр. 505.

257 Серг. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 137-138.

258 Там же, стр. 348. Николай Ильич Архипов — прозаик, автор романа «Так было», Москва, 1926. До революции — редактор ежемесячных альманахов «Новая Жизнь», в 1920-х гг. — редактор издательства того же названия в Москве. В 1930-х гг. Архипов был хранителем Большого Петергофского дворца-музея. Был арестован во время ежовщины (см. Р. Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Нью Йорк, 1951, стр. 37).

259 Серг. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 142.

260 Анатолий Мариенгоф. Роман без вранья. Изд. 3-е, «Прибой», Ленинград, 1929, стр. 20-21.

261 Е. Наумов. Сергей Есенин... 1960, стр. 88.

262 Неопубликованные воспоминания А. Назаровой, написанные в 1926 г. (ЦГАЛИ). Цитирую по указ. выше книге Е. Наумова, стр. 88-89. В примеч. к кн.: Серг. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 318-319, эта встреча поэтов отнесена не к 1920, а к 1923 г.

263 А. Мариенгоф. Неопубликованные воспоминания. Всесоюзн. Гос. Библиотека им. Ленина, Архив Есенина, фонд 218, № 686, ед. хр. 5. Цитирую по указ. выше книге Е. Наумова, стр. 89.

[264] А. Мариенгоф. Роман без вранья. Изд. 3-е, «Прибой», Ленинград, 1929, стр. 21.
[265] И. Кремнев. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. Часть 1. С предисловием П. Орловского. ГИЗ, Москва, 1920, стр. XIV, 47, 39.
[266] Партархив ИМЛ, ф. 17, оп. 60, ед. хр. 45, л. 11. Цитирую по указ. выше книге А. Меньшутина и А. Синявского, стр. 72.
[267] Серг. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 314-315.
[268] Там же, стр. 145-149.
[269] «Список письма хранится у Н. И. Архипова, жившего в те годы вместе с Клюевым в Вытегре». — Там же, стр. 348.
[270] Там же, стр. 150.
[271] Н. Клюев. Львиный Хлеб. Изд. «Наш Путь», Москва, 1922, стр. 75-76.
[272] С. Городецкий. О Сергее Есенине. Воспоминания. «Новый Мир», 1926, № 2, стр. 144.
[273] Л. Троцкий. Литература и революция. Изд. 2-е, 1924, стр. 50, 51.
[274] Э. П. Бик. Четвертый Рим. «Печать и Революция», 1922, № 2, стр. 363.
[275] (Без подписи). Н. Клюев. Четвертый Рим. «Новая Русская Книга», Берлин, 1922, № 6, стр. 22.
[276] М. Павлов. Н. Клюев. Четвертый Рим. «Книга и Революция», 1922, № 4, стр. 48-49.
[277] Р. Иванов-Разумник. Три богатыря. «Летопись Дома Литераторов», 1922, № 3, стр. 5.
[278] Серг. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 151-152.
[279] Там же, стр. 154-156.
[280] М. Бабенчиков. Есенин. Сборн. «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания», под ред. И. В. Евдокимова, ГИЗ, Москва-Ленинград, 1926, стр. 42.
[281] В. Кириллов. Встречи с Есениным. В том же сборнике, стр. 172.
[282] Там же, стр. 177.
[283] И. Старцев. Мои встречи с Есениным. Тот же сборн., стр. 72.
[284] И. Грузинов. Есенин разговаривает о литературе и искусстве. Изд. Всероссийского Союза Поэтов, Москва, 1927, стр. 19-20.
[285] В. Эрлих. Право на песнь. Изд. Писателей в Ленинграде, 1930. О Клюеве, стр. 14.
[286] И. Н. Розанов. Воспоминания о Сергее Есенине. Сборн. «Воспом. о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 299.
[287] А. Кусиков. Битюг (Н. Клюев. Львиный Хлеб. «Книга старательных пророчеств»). Литературн. Приложение к газ. «Накануне», Берлин, 7 мая 1922.
[288] Р. Иванов-Разумник. «Мистерия» или «Буфф»? «Искусство старое и

новое», сборн. под ред. К. Эрберга, I, изд. «Алконост», Петербург, 1921, стр. 71-72.

289 Ольга Форш. Сумасшедший Корабль. Вступ. статья Б. Филиппова. МЛС, Вашингтон, 1964, стр. 226-227.

290 Вс. Рождественский. Н. Клюев. Мать-Суббота. «Книга и Революция», 1923, № 2 (26), стр. 62.

291 В. В. Сиповский. Поэзия народа. Пролетарская и крестьянская лирика наших дней. Изд. «Сеятель», Петроград, 1923, стр. 103-104.

292 Причитание. — Анна Ахматова. Сочинения. Под. ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Т. 1, изд. 2-е, МЛС, 1967, стр. 225.

293 ИМЛИ, фонд 32, оп. 5, № 9. Сообщено мне Гордоном Мак-Вэем, которому приношу благодарность.

294 Заметка в хронике. «Новая Русская Книга», Берлин, 1922, № 8, стр. 28.

295 Заметка в хронике. «Летопись Дома Литераторов», 1921, № 2, стр. 8.

296 М. Д. Ройзман. «Вольнодумец» Есенина. Сборн. «Воспомин. о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 258.

297 Ив. Грузинов. Есенин разговаривает о литературе и искусстве. Изд. Всеросс. Союза Поэтов, Москва, 1927, стр. 19-20.

298 А. Л. Миклашевская. Встречи с поэтом. Сборн. «Воспомин. о Серг. Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева, 1965, стр. 350.

299 А. Мариенгоф. Роман без вранья. Изд. 3-е, «Прибой», Ленинград, 1929, стр. 148-150. «Изадора» — Айседора Дункан. «Петр» — поэт П. Орешин.

300 Ив. Грузинов. Цитир. выше книга, стр. 19-20.

301 Вольф Эрлих. Право на песнь. Изд. Писателей в Ленинграде, 1930, стр. 25, 57.

302 Заметка в хронике. «Новая Русская Книга», Берлин, 1923, № 2, стр. 33. Об этом же (но без указания названия рассказа Клюева) в заметке в хронике: «Печать и Революция», 1923, № 4, стр. 305.

303 «Жизнь писателей» — в «Литературной Неделе» газ. «Накануне», Берлин, 25 декабря 1923, стр. 12.

304 Л. Троцкий. Литература и революция. Изд. 2-е, 1924, стр. 48.

305 «Печать и Революция», 1924, № 2.

306 Г. Лелевич. На литературном посту. Статьи и заметки. Изд. «Октябрь», Тверь, 1924, стр. 156.

307 Нейтралитет или руководство? «Правда», 19 февраля 1924.

308 Н. Ф. Федоров. Философия Общего Дела. Т. 2, стр. 155.

309 Р. Менский. Н. А. Клюев. «Новый Журнал», Нью Йорк, № 32, стр. 150.

310 Егорушке Клычкову. Стихи. В кн.: Павел Васильев. Стихотворения и

поэмы. Библиотека Поэта. Большая серия. Изд. «Советск. Писатель», Ленинград, 1968, стр. 153.

[311] М. М. Пришвин. Глаза земли. — Собр. соч. в 6 тт., т. 5, ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 390.

[312] На Кавказе. — Серг. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 3, ГИХЛ, Москва, 1967, стр. 29.

[313] Г. Устинов. Мои воспоминания о Есенине. Сборн. «Серг. Ал. Есенин. Воспоминания», под ред. И. В. Евдокимова, ГИЗ, Москва-Ленинград, 1926, стр. 164.

[314] Вольф Эрлих. Право на песнь. Изд. Писателей в Ленинграде, 1930, стр. 96-98 (первоначально отрывок «Четыре дня», в сборн. «Памяти Есенина» Всеросс. Союза Поэтов, Москва, 1926, стр. 91-92). Г. Устинов в цитир. выше воспоминаниях пишет об этом почти в тех же словах: «Он читал Клюеву свои новые стихи. Клюев слушал, сложив руки на животе, посматривая на Есенина из-под своих мохнатых мужицких бровей. — Ну, как, Николай? — Хорошие стихи, Сережа, очень хорошие стихи! Вот если бы все эти стихи собрать в одну книжечку, да издать ее с золотым обрезом, она была бы настольной книжечкой у всех нежных барышень». (Стр. 164). Почти дословно то же и в воспоминаниях жены Г. Устинова — Е. Устиновой: «Днем, в 11-12 часов, в номере Есенина были Клюев, скульптор Мансуров и я. Мы сидели на кушетке и оживленно беседовали. Сергей Александрович познакомил меня с Клюевым: — Тетя, это мой учитель, мой старший брат!..» На другой день «разбирали вчерашний визит Клюева... ...Н. Клюев, прослушав накануне стихи Есенина, сказал: — Вот, Сереженька, хорошо, очень хорошо! Если бы их собрать в одну книжку, то она была бы настольной книгой для всех хороших, нежных девушек. — Есенин отнесся к этому пожеланию неодобрительно, бранил Клюева, но тут же, через пять минут, говорил, что любит его...» (Е. Устинова. Четыре дня Сергея Александровича Есенина. Сборн. «Серг. Ал. Есенин. Воспоминания», под ред. И. В. Евдокимова. ГИЗ, Москва-Ленинград, 1926, стр. 91-92). Георгий Иванов, во вступительной статье «Есенин» к кн.: «Есенин. Стихотворения», изд. «Возрождение», Париж, 1951, — как всегда фантазируя, рассказывает о последней встрече поэтов: «Поздно вечером в день самоубийства Есенин неожиданно пришел именно к Клюеву. ...Вид Есенина был страшен. Перепугавшийся Клюев, по-стариковски лепеча — 'Уходи, уходи, Сереженька, я тебя боюсь'... — поспешил выпроводить своего друга в декабрьскую петербургскую ночь. От Клюева Есенин поехал прямо в отель 'Англетер'». (Стр. 9).

[315] Ленинградская «Красная Газета», вечерний выпуск, № 311, 28 декаб-

ря 1926, без двух приключенных к поэме и завершающих ее стихотворений.

316 А. Селивановский. Очерки по истории русской советской литературы. ГИХЛ, Москва, 1936, стр. 167. И позже: «Но навсегда уходила в прошлое патриархальная деревня, ее певцы остались без читателя. Клюевская архаика осталась чуждой новаторскому духу советской литературы». Так пишет А. Кулинич: «Новаторство и традиции в русской советской поэзии 20-х годов», изд. Киевского университета, 1967, стр. 75-76. Одновременно он причисляет к «новаторам» даже... Демьяна Бедного!..

317 Ольга Форш. Сумасшедший Корабль. МЛС, Вашингтон, 1964, стр. 211-214. Р. Б. Гуль считает, что «из больших вещей поэта 'Плач о Есенине' лучшее, что создано Клюевым» (Р. Гуль. Ник. Клюев. Полн. собр. соч. в 2 тт. — рецензия. — «Новый Журнал», Нью Йорк, № 38, 1954, стр. 291).

318 В. Полянский. Социальные корни русской поэзии XX века. В кн.: И. С. Ежов и Е. И. Шамурин. Русская поэзия XX века. Антология русской лирики от символистов до наших дней. Изд. «Новая Москва», 1925, стр. XV.

319 И. С. Ежов. Революционная русская поэзия XX века. В той же антологии, стр. XI, III и XI, VI.

320 «Известия», № 147, 1 июля 1925. Курсив мой.

321 Сборник правительственных сведений о раскольниках, составленный В. Кельсиевым. Вып. 4-й. Лондон, 1862, стр. 259-260.

322 О. Бескин. Кулацкая литература. «Литературная Энциклопедия», изд. Комакадемии, Москва, т. 5, 1931, столб. 714. И еще позже, А. В. Кулинич, напр., пишет: «Клюев ненавидит город, машину, железо, их он считает злейшими врагами деревни ('Железо')». — «Новаторство и традиции в русской советской поэзии 20-х годов». Изд. Киевского университета, 1967, стр. 107.

323 Та же книга Кулинича, стр. 107.

324 Николай Брыкин. Стальной Мамай. Кн. 1. Изд. Писателей в Ленинграде, 1934, стр. 78-79.

325 Р. В. Иванов-Разумник. Тюрьмы и ссылки. Изд. им. Чехова, Нью Йорк, 1953, стр. 270.

326 Л. Тимофеев. Клюев. «Литературная Энциклопедия», изд. Комакадемии, т. 5, Москва, 1931.

327 Аф. Милькин. Москва книжная. «Читатель и Писатель», Москва, № 32, 11 августа 1928.

328 «Читатель и Писатель», 1928, № 27.

329 Р. Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Нью Йорк, 1951, стр. 36.

330 Princesse Z. Schakovskoy. Ma Russie habillée en URSS. Editions B. Grasset, Paris, 1958, pp. 169, 251-253.

331 Р. Менский. Н. А. Клюев. «Новый Журнал», Нью Йорк, № 32, 1953, стр. 151-153.

332 История Коммунистической партии Советского Союза. Госполитиздат, 1959, стр. 417, 420, 420-421, 422, 416.

333 Р. Менский. Цитир. выше статья, стр. 150-151.

334 Этторе Ло Гатто. Воспоминания о Клюеве. «Новый Журнал», Нью Йорк, № 35, 1953, стр. 128-129.

335 Р. Менский. Цитир. выше статья, стр. 153.

336 Анна Ахматова. Мандельштам. — Сочинения. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Т. 2. МЛС, 1968, стр. 180.

337 Б. Рест. Ленинградские журналы в новом году. «Литературная Газета», № 59, 29 декабря 1932.

338 Р. Менский. Цитир. статья, стр. 153.

339 По воспоминаниям Романа Менского (цитир. статья, стр. 153), хлопоты шли через Екатерину Павловну Пешкову.

340 См. цитир. статью Р. Менского, стр. 153.

341 Р. Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Нью Йорк, 1951, стр. 36-37.

342 Р. Менский. Цитир. статья, стр. 153-154.

343 Цитир. выше книга Р. Иванова-Разумника, стр. 37.

344 Там же, стр. 37.

345 Там же, стр. 37.

346 См., напр., в кн.: Сергей Есенин. Избранное. ГИХЛ, Москва, 1952 (под ред. П. Чагина). Но тоже, увы, и в безграмотном вообще эмигрантском издании стихотворений С. Есенина под ред. Г. Иванова, изд. «Возрождение», Париж, 1951.

347 П. Выходцев. Русская советская поэзия и народное творчество. Изд. Академии Наук СССР, Москва, 1963, стр. 175.

348 «Литературная Газета», № 32, 11 июля 1933.

349 Е. Усиевич. На переломе. «Литературная Газета», № 22, 11 мая 1933. В том же номере «Литературной Газеты», в пародийном «почти стенографическом отчете» — «Когда потребует поэта 'Литературная Газета'», Александр Архангельский изображает эту публичную покаянную речь Павла Васильева: «...Меня не погубили ни Есенин, ни Клюев, ни Клычков. Штаба мне в кулаках не оказаться, — ...прощай, родня!». Речь идет об оставшемся неопубликованном стихотворении П. Васильева «На Клюева и К°», хранящемся (в рукописи) у вдовы поэта Е. А. Вяловой. См. Павел Васильев. Стихотворения и поэмы. Библиотека Поэта. Больш. серия. Изд. «Сов. Писатель», Ленинград, 1968, стр. 619.

350 Об этом см. мою статью «Погорельщина», во втором томе настоящего собрания сочинений Клюева. О «Погорельщине» также моя статья: «'Погорельщина' Николая Клюева», в сборн. «Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver». Roma, 1964, pp. 235-242.

Gordon McVay

Nikolai Klyuev

Some biographical materials

Whilst working in several Moscow and Leningrad literary archives in 1965-1968, I came across various letters and documents connected with the life of Nikolai Klyuev.* I copied out many of the letters I read, which are presumably unpublished, and am publishing them now in order to clarify certain aspects of Klyuev's life. This article does not pretend to be a coherent biography of the poet, but we believe that Klyuev's letters will be of great interest to students of his poetry.

We will quote first of all a brief autobiographical note written by Klyuev, and then cite various letters and other materials in chronological order.

In publishing these documents, I pursue no political ends, and trust that the various Soviet archives in which I worked are also in favour of the diffusion of accurate knowledge about Klyuev's life.

Nikolai Klyuev. A brief autobiography, handwritten. Written c. 1930. Complete text. IMLI (Institute of World Literature, Moscow), Fond 178, opis' 1, No. 10.

Родился 1887 г.

Родом я крестьянин с северного поморья. Отцы мои за древлее православие в книге Виноград Российский на веки поминаются. Знаю Русь — от Карелы и Пинеги до сапфирных гор Китайского Беловодья. Много на своем веку плакал и людей жалел. За книги свои молю ненавидящих меня не судить, а простить. Почитаю стихи мои только за сор мысленный — не в них суть моя... Тоскую в городе, вот уже целых три года, по заячьим тропам, по голубам вербам, по маминой чудотворной прялке.

* My main aim was to collect materials for a thesis on the life and works of Sergei Esenin (1895-1925), but Klyuev was naturally of great interest to me, for Klyuev's poetry strongly influenced the young Esenin, and their complex personal relationship lasted from 1915 until Esenin's death in December 1925.

Учился — в избе по огненным письмам Аввакума — Протопопа — по Роману Сладкопевцу — лета 1440-го.

Н. Клюев

Postcard from Klyuev, in St. Petersburg, to A. V. Shiryayevets * *in Tashkent, March 11th 1913. Complete text. IMLI, Fond 29, opis' 3, No. 25.*

Дорогой Александр Васильевич — я получил Ваши письмо и бандероль. Мне очень радостны все Ваши слова и выводы и я всегда буду любить Вас как любил заочно по песням в народном журнале. Вы мне очень близки по духу и по устремлению к песне. Я сейчас уезжаю из Питера домой и из дому напишу Вам подробно. Адрес мой: Почтовое отд. Мариинское, Олонецкой губ. Вытегорского уезда. Николаю Клюеву. Не нужно, родной, кручиниться. Приветствую Вас лобзанием братским.

11 марта. 1913 г. Н. Клюев.

Copy (not the original) of two postcards from Klyuev to Sergei Alexandrovich Garin. Feb. 3 and June 3, 1913. IMLI, Fond 178, opis' 1, No. 11.

(Почтовый штемпель: С. Петербург, 3. 2· 13)
Москва
Вторая Брестская улица, дом № 19, кв. 51.
Сергею Александровичу Гарину

Дорогой Сергей Александрович,
Я пробуду до 10-го февраля в Петербурге, не потрудитесь ли Вы выслать мне карточки, что снимались мы вместе. Кланяюсь Вашей супруге.
Адрес: С. Петербург. Усачев переулок.
Дом № 11, кв. № 1
Николаю Алексеевичу Клюеву.

---

* A. V. Shiryayevets (1887-1924) was a peasant poet, born on the Volga but for a long time employed in Turkestan. Klyuev adopted a paternal/fraternal attitude towards his fellow peasant-poet.

(Почтовый штемпель:
Мариинское. Олон. 3. 6. 13)

Г.Лубны. Полтавской губернии
почтовый ящик № 11. Сергею Гарину

Дорогой Сергей Александрович, я страшно взволнован, тронут Вашим добрым письмом и приветом обожаемой Нины Михайловны, но воспользоваться Вашим приглашением приехать в Лубны к несчастью не могу, так как от нас проезд длителен и невероятно дорог, да и домашние условия у меня очень тяжелы... — Если в Москву меня и занесло, то это вероятно в последний раз. Я страшно мучусь душой о многом и многом и в постоянной борьбе с собой забываю о наружной жизни и о так называемых «условиях существования». Жизнь Вам и радость. Я очень Вас люблю и светло помню.

Н. Клюев

Letter (copy, not the original) from Klyuev to S. A. Garin [1913], IMLI, Fond 178, opis' 1, No. 11.

Дорогой Сергей Александрович — я писал Вам из С.П.Б. открытку и просил прислать мне часть следуемых мне карточек, но ответ не получил. Теперь пишу еще и прошу ответить мне. Адрес мой до 15-20 мая — Мариинское почтовое отд. Олонецкой губ., Вытегорского уезда. После же этих чисел я уезжаю из своих мест надолго и тогда мой адрес: С. П. Б., Усачев переулок, дом 11, кв. 1, Ращеперину для Клюева. Будьте здоровы. Н. Клюев.

Низко кланяюсь Нине Михайловне и Н. А. Шахову.
Я живу по-прежнему, т. е. в бедности и одиночестве.

Copy (not the original) of a letter from Klyuev to Sergei Alexandrovich Garin. Undated, but presumably written by late 1913 as Klyuev refers to his mother as being alive. IMLI, Fond 178, opis' 1, No. 11.

Дорогой Сергей Александрович,

Меня вновь потянуло написать Вам, приветствовать Вас и дорогую Нину Михайловну, так как из всех московских

знакомств только встреча с Вами и Ваше отношение ко мне глубоко тронули и запомнились в духе моем. Я очень стесняюсь говорить про себя людям, так как чаще всего они норовят залезть с сапогами в душу, но с Вами не боязно мне. Жизнь Вам и радость с поклоном низким!

В Москве я постараюсь не быть дольше, так как ни московская жизнь ни люди не соответствуют складу души моей тишиной безвестьем жувущей — на зеленой тихой земле под живым ветром, в светлой печали и чистом труде для насущного. Не хотелось бы мне говорить о том, «что по чужим углам горек белый хлеб, брага хмельная неразымчива», так как чаще всего разговор об этом становится похожим на жалобу, но все-таки тяжко мне, дорогой Сергей Александрович. Живу я в деревне о 8 дворах, имею старых-престарых отца и мать любящих «весь Белый свет»; то-то бы была радость, если бы на этом Белом свете был для них *свой угол* и их «Миколаюшка» не скитался бы на чужой стороне, а жил бы в *своей* избе и на *своей* земле, но все это дорогое, бесконечно родимое слопали тюрьма да нужда. Нестерпимо осознавать себя как поэта, 12 тысяч книг которого разошлись по России, знать, что твои нищие песни читают скучающие атласные дамы, а господа с вычищенными ногтями и с безукоризненными проборами пишут захлебывающиеся статьи в газетах «про Надсона и мужичков» и конечно им неинтересно, что у этого Надсона нет даже «своей избы», — т. е. того важного и жизненно необходимого, чем крепок и красен человек деревни. Хотел я с этой нуждой обратиться к Шахову, ведь эта просьба *так свята и нетленна по жизненности своей. Потому что в земле только наше бессмертие и, в частности, бессмертие всякой жертвы и помощи человеку от человека исходящих*. Это, я знаю, чувствует и Шахов. Но пишу сперва Вам, в простосердечной уверенности, что Вы найдете действенные, живые слова для просьбы обо мне к Шахову, а если найдете удобным, то прочитаете ему это письмо, — нужно 300-400 рублей, и я оживу, и уверяю, что заплачу людям за это песнями до сего времени невыраженными и быть может и неслыханными... Жадно, нетерпеливо жду ответа. Адрес: Мариинское почт. отделение, Олонецкой губ., Вытегорского уезда, Николаю Клюеву. Жду карточки.

Жизнь Вам и любовь. Н. Клюев.

Klyuev's postcard, sent in an envelope postmarked Мариинское Олон. 15. 11. 14, to A. V. Shiryayevets in Chardzhui. IMLI, Fond 29, opis' 3, No. 25.

On one side of the postcard is a photo-reproduction of Вытегорский Погост — two churches (one of them with very complex little domes), a river, a wooden fence, wooden huts.
On the other side of the photograph Klyuev has written:

Всмотрись милый хорошенько в этот погост, он много дает моей душе, еще лучше он внутри, а около половины марта на зорях — кажется сказкой. У нас давно зима, сутемки. Светло только около полудня, а в два часа дня достаем огонь. Кланяется тебе мой отец, он читал тебя. Дорогой мой братик — я не забыл тебя, и постоянно ты у меня в сердце, но жизнь так строга что не позволяет многого и многое осуждает. Всё это время у меня не было слов к тебе. Когда придут слова, тогда напишу больше. Стихи я пишу очень редко — и по малу. Твоя матросская песня размашиста и ярка, но кряду видно, что море-океан не знаком тебе. Пиши свое — телеграфное или домашнее или бухарское. Брихничев и я хотели ехать по осени в Ташкент, но война помешала. Присылаю тебе вид одного из погостов Олонии. Не изъяснимым очарованием веет от этой двадцатичетырехглавой церкви времен Ивана Грозного. Фотография моего Петроградского знакомого и в продаже навряд ли есть.

Клюев

Letter from Klyuev to A. V. Shiryayevets. Undated, but possibly written c. November 19th 1914, as it follows the handwritten text of a poem + 19 ноября — 1913 года. (Хорошо в вечеру при лампадке) — saying that a year tomorrow his mother died. IMLI, Fond 178, opis' 1, No. 1.

It is thus clear that Klyuev's mother died on November 19th 1913.

...Я каждый день хожу в рощу — сижу там у часовенки — а сосны столетние, в небо вершок, думаю о тебе: — какой ты

горячий, да круглоголовый — и хочешь стать памятником в Жигулях...

Целую тебя в очи твои и в сердце твое — милое. Сегодня такая заря сизоперая смотрит на эти строки, а заяц под окном щиплет сено в стогу. О, матерь пустыня! рай душевный, рай мысленный! Как ненавистен и черен кажется весь так называемый Цивилизованный мир и что бы дал, какой бы крест, какую бы голгофу понес — чтобы Америка не надвигалась на сизоперую зарю, на часовню в бору, на зайца у стога, на избу-сказку...

Letters from Klyuev to Alexander Alexeevich Izmailov. 1915 and undated. IRLI (Institute of Russian Literature, Leningrad). Fond 115, opis' 3, ed. khr. 147.

Олонецк. г., Вытегорск. у., Мариинск.

Н. Клюев

Благодарю Вас, г. Измайлов (имени и отчества Ваших я не знаю), за добрые слова. — Они такие же, как и в 1907 году, когда Вы написали мне ответ на мое письмо к Вам. Считаю за великую честь иметь от Вас Ваши «Осени мертвой цветы запоздалые». Уверьтесь в этом.

Живу я в бедности и одиночестве в лесной деревушке, около пятисот верст от чугунки, еще дальше водой, не близко и от почтового отделения, и рад всякой книге, тем более Вашей, к тому же связанной с воспоминанием о моих песенных зачалах.

Низко Вам кланяюсь и благодарно благодарю.

Николай Клюев

*

Дорогой Александр Алексеевич,

Низко Вам кланяюсь и присылаю две песни. Они написаны для деревни, но шлю их Вам. Если приглянутся, то пусть Бир. Вед. печатают, по 50 коп. за строчку, так как везде, где я печатаюсь, мне плотят не меньше.

Будьте милостивы, пришлите мне вырезки с моими первыми к Вам стихами — их всего четыре, из которых одно,

«В родном углу», я получил при Вашем ко мне письме. О пятом же стихотворении, «Ночь на Висле», посланном вместе с упомянутыми четырьмя, я никаких сведений не имею. Если оно забраковано, то мне необходимо знать это, чтобы при наличности свободного стихотворения не огорчать отказом любимые журналы.

Жизнь Вам невольно идущая,

Николай Клюев. Февраль — 1915 г.

*

Дорогой Александр Алексеевич, благодарю Вас за добрый совет о предполагаемой книге моих военных песен. Я обрадован Вашей похвалой песни «Кабы я не Акулиною была».

Еще до выступления моего в печати Вы написали мне о моих песнях следующее: «Все это настоящая лирика, земная, свежая, национальная, сильная», и я верю Вам, как отцу родному. Вы и В. С. Миролюбов говорите о моих песнях одинаково, почитай что одними и теми же словами. Дай Вам Бог здоровья и отгони от Вас Господь Духа уныния и холодности. Окромя прилагаемой «Мирской думы» Вам послал «Поминный причит», сверху его я упустил поставить «Из песен о войне».

Деньги — 51 руб. 80 коп. — я получил, за что премного благодарю.

Жизнь Вам и крепость!

Остаюсь известный Вам Николай Клюев.

«Речную сказку» посылаю для Огонька, быть может погодится.

*

Дорогой Александр Алексеевич,

Извините, что долго не отвечал на Ваше письмо, где Вы упоминаете о моем портрете.

Не отвечал я потому, что был в отлучке в другом уезде по сплаву лесных материалов, а теперь сенокос — все недосуг, да к тому же я один и по избяным и по протчим делам, а портретов у меня нет. Приеду в Петроград в сентябре, снимусь и почту за удовольствие преподнести Вам свой портрет — за великую честь считаю иметь в свою очередь и Ваш.

Я писал в контору Бирж. Вед. чтобы мне выслали деньги за стихи:

«Мирская дума», «Кабы я не Акулиною была», «Поминный причит», «Речная сказка», «Слезный плат» и «Рыжее жнивье», но оттуда ни слуху, ни духу, а деньги мне нужны — они и дадут мне возможность съездить в Питер — на эту получку вся моя и надежда.

Мне стыдно Вас беспокоить, но и на этот раз будьте добры посодействовать высылке мне за упомянутые стихи по 50 к. за строчку. Страшно бы хотелось повидаться с Вами.

Известный Вам Николай Клюев.

Мариинск, Олонецкой губ., Вытегорского уезда.

Присылаю Вам песни под тальянку, быть может, они представляют некоторый интерес.

*

Дорогой Александр Алексеевич! Я давно послал Вам письмо со стихами «Гей, отзовитесь, курганы» и «Рыжее жнивье» — погодились ли они для газеты? Посылаю Вам еще песню, буде годится, то побеспокою Вас просьбой выслать мне деньги. Мука у нас 20 руб. куль, пшено 15 коп. фунт, не знаю, как перебьемся этот год. Будьте добры и милостивы, не задержите денег за стихи. Адрес старый. Низко Вам кланяюсь.

Николай Клюев

*

Дорогой Александр Алексеевич, благодарю Вас за извещение о моих стихах последнего присыла. Стихот(ворений) было два — одно «Как у кустышка», и другое про солдатку, как Вы сообщаете, похеренное цензурой. Значит ли это, что первое стихотворение «Как у кустышка» принято Вами для Бир. Вед.? Присылаю Вам еще два стихот(ворения) — одно из них как будто и не военное, но навеяно оно переживаемым временем. Никакого Вашего письма с предложением писать о себе я не получал. Почтовое отд(еление) от меня далеко, письма идут через волостное правление, а там много всякого любопытствующего начальства, у которого я на дурном счету, — так что Ваше письмо, верно, попало Попу или Урядни-

ку, а не то и самому Становому. Но уже и то, что Вы написали обо мне в Биржевых — прибавило мне врагов из лиро-эпических и разных протчих столичных поэтов. Так что не лучше ли быть подальше от греха.

Низко Вам кланяюсь и извиняюсь за беспокойство.

Николай Клюев

*

Дорогой Александр Алексеевич, беспокою Вас вновь своим письмом с приложением «Поминного причита», который очень желательно мне пропечатать, и за который больно, если он окажется негодным для Бирж. Ведомостей.

Усердно прошу Вас посоветовать мне о следующем: стоит ли издавать мне мои песни о теперешних событиях отдельной книжкой и если стоит, то не укажете ли Вы мне подходящего издателя, т. е. такого, который бы мне заплатил за книгу и взял бы на себя корректуру.

Кроме настоящего письма я послал Вам два предварительных со стихами: «Гей, отзовитесь, курганы», «Рыжее жнивье» и «Кабы я не Акулиною была».

С искр(енним) уваж(ением) Николай Клюев.

Мариинск, Олонецкой губ., Вытегорского уезда.

On April 24th 1915 Sergei Esenin first wrote to Klyuev, and Klyuev eagerly sent several letters to Esenin (who was then in the village of Konstantinovo) during the summer of that year.[1]

Klyuev wrote to Esenin:

Я холодею от воспоминания о тех унижениях и покровительственных ласках, которые я вынес от собачьей публики. У меня накопилось около двухсот газетных и журнальных вырезок о моем творчестве, которые в свое время послужат документами, вещественным доказательством того барско-интеллигентского напыщенного и презрительного взгляда на

[1] See Sergei Esenin, *Sobraniye sochinenii v pyati tomakh*, M. 1962, Vol. 5, pp. 114, 318. The originals of Esenin's letters to Klyuev may be seen in IRLI, R. 1, op. 7, No. 6. Extracts from Klyuev's letters to Esenin are published in E. Naumov, *Sergei Esenin. Zhizn' i tvorchestvo*, L. 1960, pp. 34-36.

чистое слово, и еще того, что Салтычихин и Аракчеевский дух до сих пор не вывелся даже среди лучших из так называемого русского общества. Я помню, как жена Городецкого в одном собрании, где на все лады хвалили меня, выждав затишье в разговоре, вздохнула, закатила глаза и потом изрекла: «Да, хорошо быть крестьянином». Подумай, товарищ, не заключается ли в этой фразе все, что мы с тобой должны возненавидеть и чем обижаться кровно! Видите ли — не важен дух твой, бессмертное в тебе, а интересно лишь то, что ты, холуй и хам — смердяков, заговорил членораздельно.[2]

The two peasant poets first met in person when Esenin returned to Petrograd at about the end of September 1915. Klyuev sought to dominate his "younger brother", and exerted enormous influence on Esenin during the following few months. On October 21st 1915 the writer Boris Lazarevski noted in his diary:

...Вечером пошел я в «Ежемесячный Журнал» — Думал что проскучаю, а вышло интересно... Я вообще не любящий стихов, кроме Лермонтова и Шевченка поэтов почти не чтущий вдруг услыхал двух поэтов — да каких!

Великорусский Шевченко этот Николай Клюев...[3]

It is clear that Klyuev and Esenin, however different in upbringing and temperament, posed with great success as true Russian "peasants" in literary Petrograd at this time. They both left inscriptions, for instance, in the album of the translator and bibliographer F. F. Fidler, on October 6th 1915. (GLM, OF 4173). Klyuev wrote:

---

[2] From *Esenin i russkaya poeziya*, Leningrad 1967, p. 191 (in V. A. Vdovin's essay, "Esenin i literaturno-khudozhestvennoye obshchestvo 'Strada' "). According to V. A. Vdovin, Klyuev's letter is in TSGALI SSSR, fond S. A. Esenina (f. 190), opis' 1, No. 110.

[3] From the diary of Boris Lazarevski. IRLI, Fond No. 145, No. 10. Entry of October 21st 1915.

Lazarevski continued (ibid.):

«Затем выступил его товарищ Сергей Есенин... В четверть часа эти два (неразб.) научили меня русский народ уважать и главное (?) *понимать* то, что я не понимал прежде — музыку слов народных и мýку русского народа — малоземельного (?), водкой столетия отравляемого».

Автограф Гейне, трубка Пушкина, вторая часть мертвой души и (неразб.) моя бренная подпись! — Приходится верить в чудеса и в наш век железа и лжи.

На память и жизнь бесконечную дарю малое за большое Федору Федоровичу.

Николай Клюев
6 октября 1915 года.

On the next side of this album Esenin wrote out:

Перо не быльница
Но в нем есть звон.
Служи, чернильница,
Лесной канон.

О мати вечная,
Святой покров!
Любовь заречная —
Без слов.

Сергей Есенин.

6 октября 1915 г.

В поминание Федору Федоровичу Фидлеру.

Much could be written about the relationship between Klyuev and Esenin — for instance, its literary and political aspects — but one should also speak openly of the moral effect of Klyuev on Esenin, and Klyuev's evident homosexual feeling for Esenin. Vladimir Chernyavski, a friend of Esenin in 1915-1916, speaks candidly about this in his unpublished memoirs. Chernyavski writes:

«Он /Клюев/ совсем подчинил нашего Сергуньку /Есенина/: поясок ему завязывает, волосы гладит, следит глазами» (моя записка 1 дек. 15).

...В записи моей от 23 дек. 1915 г. звучит сожаление, что нельзя отвести Есенина от Клюева... «К Клюеву нет у меня по-прежнему симпатии и в нытье его нет веры; ничего он не «нашел», ворожит, хитрит, не любя никого, кроме, пожа-

луй, Сергуньки, которого так хочется избавить от этого духовного главенства. Ощущение явственное: подлинный цветок и столько бесов, городских и иных, — вокруг».[4]

Chernyavski continues in a lightly crossed out part of his memoirs:

...Ни одной минуты я не думал, что эротическое отношение к нему /Есенину/ Клюева, в смысле внешнего его проявления, могло встретить в Сергее что-либо кроме резкого отпора, когда духовная нежность и благостная ласковость перешли в плоскость физиологии.

С совершенно искренним и здоровым отвращением говорил об этом Сергей, не скрывая, что ему пришлось физически уклоняться от настойчивых притязаний 'Николая' и припугнуть его большим скандалом и разрывом, невыгодным для их поэтического дела.

Особенно его возмущало, что к нему 'смеет лезть' этот 'больной', который 'дома все возится с мазями, банками и рецептами' и глотает нивесть от чего лекарства. Говорил он /Есенин/, что Клюев, приходя из гостей, где пил со смирением только голый кипяток, докусывая сухариками, громко объявлял, что проголодался и просил сестру подать ему поскорее «ветчины, да чаю».

По возвращении из первой поездки в Москву, Сергей рассказывал, как Клюев ревновал его к женщине, с которой у него был первый — городской — роман. 'Как только я за шапку, он — на пол, посреди номера, сидит и воет во весь голос по-бабьи: не ходи, не смей к ней ходить!'...

...Повторяю, однако, что в иной, — более глубокой —, сфере сознания Сергей умел относиться к Клюеву по другому...[5]

---

[4] Vl. Chernyavski, *Memoirs written in 1926. GLM* (State Literary Museum), N-v 10/1-2, pp. 21-22. The extracts quoted above are crossed out in Chernyavski's manuscript memoirs, but one feels that this scarcely invalidates their accuracy.

[5] Vl. Chernyavski, *GLM memoirs,* N-v 10/1-2, pp. 22-23.

From about early October 1915 until February 1916 Esenin and Klyuev seem to have been virtually inseparable. When the time came for Esenin to be called up for military service, Klyuev still hovered around in Tsarskoye Selo. On February 27th 1916 Klyuev wrote out a joint application on behalf of himself and Esenin for financial aid.[6]

Esenin was undoubtedly grateful for Klyuev's friendship. In an unpublished inscription to Klyuev beneath a photograph of himself, Esenin wrote on March 30th 1916:

Дорогой мой Коля! На долгие годы
унесу любовь твою. Я знаю
что этот лик заставит
меня плакать (как плачут
на цветы) через много лет.
Но эта тоска будет не
о минувшей юности, а
по любви твоей которая
будет мне как старый друг.

твой Сережа 1916 г.
30 марта. Пт.[7]

At IRLI (Leningrad), f. 256, op. 1, ed. khr. 114, in the archive of A. M. Remizov, there are 2 letters by Klyuev:

(10. IX. 1915)

Извините за беспокойство, но мне очень бы хотелось показать Вам досюльный рукописный требник. Я приехал на малое время и никого знающего старое письмо не знаю.

Адрес: Фонтанка 149-9, телефон 609-81.

Николай Клюев

---

[6] See the documents published in the journal *Russkaya literatura*, L. 1966, No. 2, pp. 209-212. See also the introductory article of Boris Filipoff. The originals of these documents were shown to me in IRLI, Leningrad.

[7] IMLI, Fond 32, opis' 6, No. 16. Photocopy.

*

Алексей Михайлович, Бога ради высылайте не медля свидетельство Карпинского. Берут.

Н. Клюев.

Several of Klyuev's letters are addressed to the publisher Mikhail Vasil'evich Aver'yanov. One is perhaps postmarked 26. 7. 16. IRLI, f. 428, op. 1, No. 49.

Любезный Михаил Васильевич, я в настоящее время дома, прошу прощения, что не зашел к Вам решить об издании моих сочинений, но это не по нежеланию, а по невозможности: я был у Сережи в Рязанской губернии, и оттуда проехал прямо домой. Мое последнее Вам слово о первом томе моих стихов следующее: за три тысячи экземпляров, на одно издание, 500 рублей, ни на что другое я не согласен. В случае Вашего нежелания на это — сообщите мне — сколько я Вам должен за взятые у Вас Мирские думы? И я не медля Вам вышлю деньги.

Мир Вам и здравие! Н. Клюев

Адрес: Мариинское почтовое отд. Олонецкой губернии, Вытегорского уезда.

Klyuev sent a brief postcard, written in the old orthography, to A. V. Shiryayevets. This postcard seems to be postmarked 21. 11. 16, and was sent from Armavir to Tashkent. IMLI, Fond 29, opis' 3, No. 25.

Голубь мой
Я на Кавказе.
Спасибо за Запевку.[8]
Может доеду до тебя.
Клюев.

---

[8] An allusion to Alexander Shiryayevets' book of verse, *Zapevka*, published in Tashkent in 1916. This book included a poem dedicated to N. Klyuev (ibid., p. 5).

Esenin signed a photograph of himself on December 28th 1916, and made the following inscription to Klyuev. Manuscript Department of the State Saltykov-Shchedrin Public Library, Leningrad. F. 474, Album 1, which belonged to P. Medvedev.

Дорогому Коле, на память многую за дни наши светлые

Сергей Есенин
лето 1916
28 декабрь.[9]

Postcard from Klyuev to Alexander Shiryayevets. Sent from Petrograd to Tashkent, 4. 5. 17. IMLI, Fond 29, opis' 3, No. 25.

Милый Шура, получил твою открытку. Верен тебе по прежнему и люблю бесконечно. Умоляю не завидовать нашему положению в Петрограде. Кроме презрения или высокомерной милости мы ничего не видим от братьев образованных писателей и иже с ними.[10] Христос с тобой милый

Клюев.

Later in 1917 Klyuev sought to publish his book Pesnoslov (Vol. 1) with the publisher M. V. Aver'yanov. In one letter, perhaps sent on August 29th 1917, Klyuev mapped out the title page of Pesnoslov (**первый**), *and referred to his financial hardship and ill-health. (IRLI, f. 428, op. 1, No. 49):*

---

[9] Published in V. A. Vdovin's "Sergei Esenin na voennoi sluzhbe", *Nauchnye doklady vysshei shkoly. Filologicheskiye nauki,* M. 1964, No. 1, p. 149.

[10] Cf. Zinaida Gippius' diary-entry of February 22nd 1917, in З. Гиппиус, *«Синяя книга». Петербургский дневник.* 1914-1918. (Белград, 1929 г., стр. 71): «...Особенно же противен был, вне программы, неожиданно прочтенный патриото-русопятский 'псалом' Клюева. Клюев — поэт в армяке (не без таланта), давно путавшийся с Блоком, потом валандавшийся даже в кабаре 'Бродячей Собаки' (там он ходил в пиджачной паре), но с войны особенно ввЕрзившийся в 'пейзанизм'. Жирная, лоснящаяся физиономия. Рот круглый, трубкой. Хлыст. За ним ходит 'архангел' в валенках.

Бедная Россия. Да опомнись же!»

Presumably the „archangel" was Esenin.

(Почтовый штемпель:
29. 8. 17).

Николай Клюев П е с н о с л о в (п е р в ы й) Изд. М. В. Аверьянов Петроград, Фонтанка, 38

(На лицевой стороне письма, а на обороте — само письмо):

Я уже писал Вам, дорогой Михаил Васильевич, чтобы Вы выслали мне следуемые 500 руб. — ведь квитанцию отправления можно подшить к нашему договору, как документ. Сам я приехать не могу, по нужде моей и по нездоровью. Я так устраивал свои дела, что полученные от Вас деньги все израсходованы — осталась надежда на сентябрьские пятьсот — вот о них-то к Вам мое слезное прошение — не заставьте голодать — у нас ничего нет съестного — сахарный песок 5 рублей фунт, керосин 90 коп. фунт и т. д. Еще я Вас просил задержать на некоторое время издание, так как я почти уже приготовил его в еще раз подчищенном виде и немедля высылаю его Вам. Вышлите мне список непонятных по-Вашему слов для приложения к книге.

Мир Вам. Н. Клюев

Fair copies (i. e. without crossings-out) of the poems of Pesnoslov may be seen in Klyuev's handwriting, IRLI, f. 428, op. 1, No. 136. On the cover Klyuev has entitled the poems Ковчежец первый and Ковчежец второй.

Perhaps on October 3rd 1917, Klyuev sent Aver'yanov Volume 1 of Песнослов in its final form, and asked that the artist who designed the cover should bear in mind the word «Песнослов». Klyuev wrote in this letter to Aver'yanov (IRLI, f. 428, op. 1, No. 49).

(Мариинское почтовое отделение,
Олонецкой губ., Вытегорского уезда,
3. 10. 17)

Мир Вам и крепость, возлюбленный Михаил Васильевич!

Присылаю Вам «Песнослов» в окончательном виде и буду ждать издания в радости, с уверенностью во внешности его соответствующей содержанию. Особенно тревожит меня обложка, которую Вы, как говорили, собираетесь заказать художнику. При заказе нельзя ли обратить внимание художника на название книги — в нем вся душа книги, весь рисунок ее.

Если художник будет руководствоваться словом «Песнослов», то не ошибется в выражении лица — обложки.

Моя новая книга подвигается вперед успешно, но ответственное, страшное время обязывает меня относиться к своему писанию со всей жестокостью. Но к осени 1918 г. она будет готова, по крайней мере по количеству оговоренных с Вами стихов (100).

Жду декабрьских 500 руб. Живу я в большом сиротстве, в неугасимой душевной муке, в воздыханиях и молитвах о мире всего Мира, об упокоении всех убиенных, в том числе об одном известном Вам младенце, жизнь которого и торжество так дороги и насущны мне. Но чего не сделает человек, когда покинет его Ангел? Верую, что младенцы, пожранные Железом, будут в Царстве и наследуют Жизнь вечную. Это меня утешает, хоть и плачет Золотая Рязань... Не забываю Вам напомнить, что на обложке Песнослова можно поставить: «Книга первая», но никак «тетрадь первая». Мне кажется, что лучше всего напечатать это на корешке: Николай Клюев. Песнослов 1-й, или книга первая.

Покорнейше прошу сообщить о получении рукописи; в ней прибавлено штук десять не вошедших в первые издания стихотворений.

Остаюсь искренне Ваш

Н. Клюев.

Eventually, perhaps in a letter postmarked 16. 8. 18 (i. e. August 16th 1918), Klyuev wrote from Petrograd to Aver'yanov cancelling his contract with Aver'yanov for the publication of his works, as the ко-

миссариат народного просвещения was now going to publish them and spread them among the people. Klyuev wrote as follows (IRLI, f. 428, op. 1, No. 49):

(Петроград, 16. 8. 18)

Имея заявление от Комиссариата Народного Просвещения об издании им моих сочинений в целях широкого распространения в народе, ставлю Вас в известность, дорогой Михаил Васильевич, что договор Ваш со мной, как совершенный вопреки закону и не выполненный Вами по пункту, предусматривающему срок выхода издания, считается отныне *недействительным.*

Полученные от Вас деньги сим обязуюсь выплатить.

Николай Клюев

Офицерская 57, кв. 21. А. А. Блоку для Н. К.[11]

There are 2 more letters from Klyuev to Aver'yanov (IRLI, f. 428, op. 1, No. 49):

(Без даты)

Дорогой Михаил Васильевич, мне предлагают две тысячи рублей за мои четыре книги, с тем, чтобы я продал их в неограниченное пользование на десять лет, но мне тяжело расстаться с Вами, — потому прошу Вас — сообщить мне письмом — приемлемы ли Вам *такие же* условия — чему я буду весьма рад, иначе же я, по нужде, должен буду отдать книги в другие руки.

Н. Клюев.

Очень прошу не задержать ответом.

Фонтанка 149-9

тел. 609-81

---

[11] In one of his notebooks Blok mentions that Klyuev spent the night of August 10th-11th 1918 at Blok's (see Alexander Blok, Записные книжки 1901-1920, М. 1965, стр. 420).
In an undated letter to a professor, perhaps in the 1920s, Klyuev asked that the professor should «дать заработок очень хорошо грамотному и отчаянно нуждающемуся юноше». In this letter Klyuev gave as his own address: ул. Герцена 45, кв. 8. (State Saltykov-Shchedrin Public Library, Leningrad, Manuscript Department, Archive of K. K. Vladimirov, *f.* 150, *ed. khr.* No. 536).

*

(Без даты)

Возлюбленный Михаил Васильевич!

В первых строках моего письма низко Вам кланяюсь и желаю от Господа Бога здравия и в делах Ваших скорого и счастливого успеха. Извещаю Вас через сие мое малое рукописанье, что я по милости Божией жив и здоров, чего и Вам от всей моей души желаю. Еще прошу Вас, возлюбленный, книжку мою печатать повременить, так как я готовлю ее в новом, раньше непредвиденном, виде и вышлю посылкой вскорости. А печатать ее необходимо одним томом, так как, располагая стихи погуще (по Вашему желанию), я вижу, что в двух книжках они будут иметь жидкое и жалкое подобие. Я живу по-старому, т. е. в бедности и одиночестве, и беспокою Вас просьбой отложить для меня следуемые пятьсот рублей между августом и сентябрем. Остаюсь Ваш молитвенник и сын

Николай Клюев

Мариинское почт. отд. Олон. губ.

There is a postcard sent by Klyuev in Vytegra to N. N. Il'in in Simbirsk. The postmark is blurred, but may be 6. 5. 20 — at all events, after the Revolution. IRLI, 385/21.

Я, грешный человек, не отказался бы от мальчишки коричневотелого и с глазами ребят-дикарей. Но я сейчас болен и думаю о том когда вы возьмете на себя труд выслать мне пшена. Красноармейцы могут посылать беспрепятственно. Умоляю Вас об этом. [неразб.] ... мне бы хотелось, чтобы Вы хотя немножко любили меня. Это так редко теперь бывает, а между тем необходимо для души.

Приветствую Вас поцелуем крепким.

Н. Клюев.

Alongside this postcard there is the handwritten draft of a telegram, dated 7/5 (i. e. May 7th) and addressed to Ильин. Симбирск. Малая Казанская 26. *The text is in the new orthography, and is as follows (IRLI, f. 385/21):*

Умоляем прислать посылку пшеничных сухарей пшена Вытегра Клюеву

Клюев.

In the album of A. V. Shiryayevets Klyuev wrote in red ink in October 1923 (IMLI, Fond 29, opis' 2, No. 59):

Брат Александр — мир тебе и любовь!

As the 1920s advanced, Klyuev came under increasing attack for his "reactionary" and "kulak-type" poetry. We have already quoted above (pp. 185-6) the brief autobiography he wrote in perhaps about 1930 — in this autobiography Klyuev asks forgiveness of those who "hate" him. On an identical sheet of paper to that on which he wrote this brief autobiography, Klyuev made a list of his works. (IMLI, Fond 178, opis' 1, No. 10):

Родился 1887 г.

Из поэмы
Мать Суббота.

Братья, Субботе земли
Всякий любезно внемли —
Лишь на груди избяной
Вы обретете покой!

Николай Клюев.

Мои книги:

Сосен перезвон 1
Братские песни 2
Лесные были 3
Мирские думы 4
Неувядаемый цвет 5

In January 1932 Klyuev, virtually an outcast from the literary community, applied to the All-Russian Union of Soviet Writers asking for help. Klyuev wrote (IMLI, Fond 178, opis' 1, No. 12):

Во Всероссийский Союз советских писателей

Поэта Николая
Клюева
Заявление

По крайней нужде и тяжелой болезни прошу Союз о вспомоществовании в размере ста рублей

Н. Клюев

1932 г.

On this sheet of paper one can see I. Evdokimov's laconic resolution, dated 13. 1. 1932:

Месяц назад выдано уже. При решении выдава[ли?] в последний раз.

Отказать. 13/1. 32.

We know nothing about Klyuev's last years, which were spent in exile. Probably he suffered from ill health as well as from the fact that he could no longer publish his works.

He died, it seems, in 1937. Usually it is said that he died of a heart attack during a train journey; others claim that he was shot.

Only in recent years has it been officially admitted in the Soviet Union that he was a major poet, despite his idiosyncratic ideology.

Gordon McVAY
University College of North Wales
Bangor, 1968

Николай Клюев

Только во сто лет раз слетает с Громового дерева огнекрылая Естрафиль-птица, чтобы пропеть-провещать крещенному люду Судьбу-Гарпун.

И лишь в сороковую, неугасимую, нерпячью зарю расцветает в грозных соловецких дебрях Святогорова палица — чудодейная Лом-трава, сокрушающая стены и железные засовы. Но еще реже, еще потайнее проносится над миром пурговый звон народного песенного слова, — подспудного, мужицкого стиха. Вам, люди, несу я этот звон — отплески Медного Кита, на котором, по древней лопарской сказке, стоит Всемирная Песня.

Николай КЛЮЕВ

Присловие к книге стихов «Медный Кит», 1919.

Песни мои Олонецкие журавли да болотные гагары — летите за синее море, под сапфирное небо прекрасной Италии! Поклонитесь от меня вечному городу Риму, страстотерпному праху Колизея, гробнице чудного во святых русских Николы Милостивого, могилке сладчайшего брата калик перехожих Алексия-человека Божьего, соснам Умбрии и убрусу Апостола Петра! Расскажите им, песни, что заросли русские поля плакун-травой невылазной, что рыдален шум берез новгородских, что кровью течет Матерь-Волга, что от туги и скорби своего панцырного сердца захлебнулся черной тиной тур Иртыш — Ермакова братчина, червонная сулея Сибирского царства, что волчьим воем воют родимые избы, замолкли грановитые погосты, и гробы отцов наших брошены на чумных и смрадных свалках.

Увы! Увы! Лютой немочью великая, непрощёная и неприкаянная Россия!

Николай КЛЮЕВ

День Похвалы Пресвятыя Богородицы 1929 года.
(Из посвящения «Этторе Лё Гатто —
Светлому брату» Песнослова)

(АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Мне тридцать пять лет, родом я по матери прионежский, по отцу же из-за Свити-реки, ныне Вологодской губ.

Грамоте, песенному складу и всякой словесной мудрости обучен своей покойной матерью, память которой чту слезно, даже до смерти.

Жизнь моя — тропа Батыева. От Соловков до голубиных китайских гор пролегла она: много на ней слез и тайн запечатленных... Родовое древо мое замглено коренем во временах царя Алексия, закудрявлено ветвием в предивных строгановских письмах, в сусальном полыме пещных действ и потешных теремов.

До Соловецкого Страстного сиденья восходит древо мое, до палеостровских самосожженцев, до выговских неколебимых столпов красоты народной.

Первая книга моя «Сосен перезвон» напечатана радением купца Знаменского в Москве 1912 года.

Мои книги: «Сосен перезвон», «Братские песни», «Лесные были», «Мирские думы», «Медный Кит», «Песнослов» (I и II кн.), «Избяные песни», «Песнь Солнценосца», «Четвертый Рим», «Мать-Суббота» и «Ленин».

/1925/

(АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА)

Говаривал мне мой покойный тятинька, что его отец, а мой — дед, медвежьей пляской сыт был. Водил он медведей по ярмаркам, на сопели играл, а косматый умник под сопель шином ходил. Подручным деду был Федор Журавль — мужик, почитай, сажень ростом: тот в барабан бил и журавля представлял. Ярманки в Белозерске, в Кирилловской стороне, до двухсот целковых деду за год приносили.

Так мой дед Тимофей и жил. Дочерей, а моих теток, за хороших мужиков замуж выдал. Сам жил не на квасу да

редьке: по престольным праздникам кафтан из ирбитского сукна носил, с плисовым воротником, кушак по кафтану бухарский, а рубаху носил тонкую, с бисерной надкладкой по вороту.

Разоренье и смерть дедова от указа пришла. Вышел указ: медведей-плясунов в уездное управление для казни доставить... Долго еще висела шкура кормильца на стене в дедовой повалуше, пока время не стерло ее в прах.

Но сопель медвежья жива, жалкует она в моих песнях, рассыпается золотой зернью, аукает в сердце моем, в моих снах и созвучиях... Я — мужик, но особой породы: кость у меня тонкая, кожа белая, и волос мягкий. Ростом я два аршина восемь вершков, в грудях двадцать четыре, а в головной обойме пятнадцать с половиной. Голос у меня чистый и слово мерное, без слюны и без лая, глазом же я зорок и сиз: нерпячий глаз у меня, неузнанный. Не пьяница я и не табакур, но к сиропному пристрастен: к тверскому прянику, к изюму синему в цеженом меду, к суслу, к слоеному пирогу с куманичным вареньем, к постному сахару и ко всякому леденцу.

В обиходе я тих и опрятен. Горница у меня завсегда, как серебряная гривна, сияет и лоснится. Лавка древесным песком да берестой натерта — моржевому зубу белей не быти...

Жизнь моя — тропа Батыева: от студеного Коневца (головы коня) до порфирного быка Сивы пролегла она. Много на ней слез и тайн запечатленных. Труды мои на русских путях, жизнь на земле, тюрьма, встречи с городом, с его бумажными и каменными людями, революция — выражены мною в моих книгах, где каждое слово оправдано опытом, где все пронизано Рублевским певчим заветом, смысловой графьей, просквозило ассисом любви и усыновления.

Из всех земных явлений я больше люблю огонь. Любимые мои поэты — Роман Сладкопевец, Верлэн и царь Давид. Самая желанная птица — жаворонок, время года — листопад, цвет — нежно-синий, камень — сапфир. Василек — цветок мой, флейта — моя музыка.

/1926/

ПЕСНОСЛОВ

Сосен Перезвон

Александру Блоку —
Нечаянной Радости

1.

В златотканные дни Сентября
Мнится папертью бора опушка.
Сосны молятся, ладан куря,
Над твоей опустелой избушкой.

Ветер-сторож следы старины
Заметает листвой шелестящей.
Распахни узорочье сосны,
Промелькни за березовой чащей!

Я узнаю косынки кайму,
Голосок с легковейной походкой...
Сосны шепчут про мрак и тюрьму,
Про мерцание звезд за решеткой,

Про бубенчик в жестоком пути,
Про седые бурятские дали...
Мир вам, сосны, вы думы мои,
Как родимая мать, разгадали!

В поминальные дни Сентября
Вы сыновнюю тайну узнайте,
И о той, что погибла, любя,
Небесам и земле передайте.

2.

Весна отсияла... Как сладостно больно,
Душой отрезвяся, любовь схоронить.
Ковыльное поле дремуче раздольно,
И рдяна заката огнистая нить.

И серые избы с часовней убогой,
Понурые ели, бурьяны и льны
Суровым безвестьем, печалию строгой —
«Навеки», «Прощаю», — как сердце полны.

О, матерь-отчизна, какими тропами
Бездольному сыну укажешь пойти;
Разбойную ль удаль померять с врагами,
Иль робкой былинкой кивать при пути?

Былинка поблекнет, и удаль обманет,
Умчится, как буря, надежды губя;
Пусть ветром нагорным душа моя станет
Пророческой сказкой баюкать тебя.

Баюкать безмолвье и бури лелеять,
В степи непогожей шуметь ковылем,
На спящие села прохладою веять
И в окна стучаться дозорным крылом.

3.

Наша радость, счастье наше
Не крикливы, не шумны,
Но блаженнее и краше,
Чем младенческие сны.

В серых избах, в казематах,
В нестерпимый крестный час
Смертным ужасом объятых
Не отыщется меж нас.

Мы блаженны, неизменны,
Веря любим и молчим,
Тайну Бога и вселенной
В глубине своей храним.

Тишиной безвестья живы,
Во хмелю и под крестом,
Мы — жнецы вселенской нивы
Вечеров уборки ждем.

И хоть смерть косой тлетворной
Нам грозит из лет седых,
Он придет, нерукотворный
Век колосьев золотых.

4.

Вечер ржавой позолотой
Красит туч изгиб.
Заболею за работой
Под гудочный хрип.

Прибреду в подвальный угол —
В гнилозубый рот.
Много страхов, черных пугал
Темень приведет.

Перепутает с просонка
Стрелка ход минут...
Убаюкайте совенка,
Сосны, старый пруд!

Мама, дедушка Савелий,
Лавка глаже щек...
Темень каркнет у постели:
«Умер паренек».

«По одежине — фабричный,
Обликом — белес»...
И положат в гроб больничный
Лавку, старый лес.

Сказку мамину на сердце,
В изголовье — пруд,
Убиенного младенца
Ангелы возьмут.

К деду Боженьке, рыдая,
Я щекой прильну:
«Там, где гарь и копоть злая,
Вырасти сосну!»

«Страшно, дедушка, у домны
Голубю-душе...»
И раздастся голос громный
В Божьем шалаше:

«Полетайте, серафимы,
В преисподний дол!
Там для пил неуязвимый
Вырастите ствол.

Расплесните скатерть хвои,
Звезды шишек, смоль,
Чтобы праведные Нои
Утолили боль.

Чтоб от смол янтарно пегий,
Как лесной закат,
Приютил мои ковчеги
Хвойный арарат».

5.

Я говорил тебе о Боге,
Непостижимое вещал
И об украшенном чертоге
С тобою вместе тосковал.

Я тосковал о райских кринах,
О берегах иной земли,
Где в светло-дремлющих заливах
Блуждают сонно корабли.

Плывут преставленные души
В незатемненный далью путь,
К Материку желанной суши
От бурных странствий отдохнуть.

С тобой впервые разгадали
Мы очертанья кораблей,
В тумане сумеречной дали,
За гранью слившихся морей.

И стали чутки к откровенью
Незримо веющих сирен,
Всегда готовы к выступленью
Из Лабиринта бренных стен.

Но иногда мы чуем оба
Ошибки чувства и ума:
О неужель за дверью гроба
Нас ждет неволя и тюрьма?

Все так же будет вихрь попутный
Крутить метельные снега,
Синеть чертою недоступной
Вдали родные берега?

Свирелью плачущей сирены
Томить пугливые сердца,
И океан лохмотья пены
Швырять на камни без конца?

(1908)

6. ПАХАРЬ

Вы на себя плетете петли
И навостряете мечи.
Ищу вотще: меж вами нет ли
Рассвета алчущих в ночи?

На мне убогая сермяга,
Худая обувь на ногах,
Но сколько радости и блага
Сквозит в поруганных чертах.

В мой хлеб мешаете вы пепел,
Отраву горькую в вино,
Но я как небо мудро-светел,
И не разгадан как оно.

Вы обошли моря и сушу,
К созвездьям взвили корабли,
И лишь меня — мирскую душу,
Как жалкий сор пренебрегли.

Работник Господа свободный
На ниве жизни и труда,
Могу ль я вас, как терн негодный,
Не вырвать с корнем навсегда?

7.

Я был прекрасен и крылат
В Богоотеческом жилище,
И райских кринов аромат
Мне был усладою и пищей.

Блаженной родины лишен
И человеком ставший ныне,
Люблю я сосен перезвон,
Молитвословящий пустыне.

Лишь одного недостает
Душе в подветренной юдоли,
Чтоб нив просторы, лоно вод
Не оглашались стоном боли,

Чтоб не стремил на брата брат
Враждою вспыхнувшие взгляды,
И ширь полей как вертоград
Цвела для мира и отрады,

И чтоб похитить человек
Венец Создателя не тщился,
За что, отверженный навек,
Я песнокрылия лишился.

8. ГОЛОС ИЗ НАРОДА

Вы — отгул глухой, гремучей,
Обессилевшей волны,
Мы — предутренние тучи,
Зори росные весны.

Ваши помыслы — ненастье,
Дрожь и тени вечеров,
Наши — мирное согласье
Тяжких времени шагов.

Прозревается лишь в книге
Вами мудрости конец, —
В каждом облике и миге
Наш взыскующий Отец.

Ласка матери-природы
Вас забвеньем не дарит, —
Чародейны наши воды
И огонь многоочит.

За слиянье нет поруки,
Перевал скалист и крут,
Но бесплодно ваши стуки
В лабиринте не замрут.

Мы как рек подземных струи
К вам незримо притечем,
И в безбрежном поцелуе
Души братские сольем.

9.

Просинь — море, туча — кит,
А туман — лодейный парус.
За окнищем моросит
Не то сырь, не то стеклярус.

Двор — совиное крыло —
Весь в глазастом узорочьи.
Судомойня — не село,
Брань — не щекоты сорочьи.

В городище, как во сне,
Люди — тля, а избы — горы.
Примерещилися мне
Беломорские просторы.

Гомон чаек, плеск весла,
Вольный промысел ловецкий:
На потух заря пошла,
Чуден остров Соловецкий.

Водяник прядет кудель,
Что волна, то пасмо пряжи...
На извозчичью артель
Я готовлю харч говяжий.

Повернет небесный кит
Хвост к теплу и водополью...
Я как невод, что лежит
На мели, изъеден солью.

Не придет за ним помор —
Пододонный полонянник...
Правят сумерки дозор,
Как ночлег бездомный странник.

(1911)

10.

Осенюсь могильною иконкой,
Накормлю малиновок кутьей,
И с клюкой, с дорожною котомкой
Закачусь в туман вечеровой.

На распутьях дальнего скитанья,
Как пчела медвяную росу,
Соберу певучие сказанья
И к тебе, родимый, принесу.

В глубине народной не забытым
Ты живешь, кровавый и святой...
Опаленным, сгибнувшим, убитым,
Всем покой за дверью гробовой.

11.

В морозной мгле, как око сычье,
Луна-дозорщица глядит;
Какое светлое величье
В природе мертвенной сквозит.

Как будто в поле, мглой объятом,
Для правых подвигов и сил,
Под сребротканным снежным платом
Прекрасный витязь опочил.

О кто ты, родина? Старуха?
Иль властноокая жена?
Для песнотворческого духа
Ты полнозвучна и ясна.

Твои черты январь-волшебник
Туманит вьюгой снеговой,
И схимник-бор читает требник,
Как над умершею тобой.

Но ты вовек неуязвима
Для смерти яростных зубов,
Как мать, как женщина любима
Семьей отверженных сынов.

На их любовь в плену угрюмом,
На воли пламенный недуг
Ты отвечаешь бора шумом,
Мерцаньем звезд да свистом вьюг.

О изреки: какие боли,
Ярмо какое изнести,
Чтоб в тайники твоих раздолий
Открылись торные пути?

Чтоб, неизбывная доселе,
Родная сгинула тоска
И легкозвоннее метели
Слетела песня с языка?

12.

Сердцу сердца говорю:
Близки межи роковые,
Скоро вынесет ладью
На просторы голубые.

Не кручинься и не плачь,
Необъятно и бездумно,
Одиночка и палач —
Все так ново и безумно.

Не того в отшедшем жаль,
Что надеждам изменило,
Жаль, что родины печаль
Жизни море не вместило.

Что до дна заметено
Зарубежных вьюг снегами,
Рокоча как встарь, оно
Не заспорит с берегами.

13.

Холодное как смерть, равниной бездыханной
Болото мертвое раскинулось кругом,
Пугая робкий взор безбрежностью туманной,
Зловещее в своем молчаньи ледяном.

Болото курится как дымное кадило,
Безгласное как труп, как камень мостовой.
Дитя моей любви, не для тебя ль могилу
Готовит здесь судьба незримою рукой!

Избушка ветхая на выселке угрюмом
Тебя изгнанницу святую приютит,
И старый бор печально-строгим шумом
В глухую ночь невольно усыпит.

Но чуть рассвет затеплится над бором,
Прокрякает чирок в надводном тростнике, —
Болото мертвое немерянным простором
Тебе напомнит вновь о смерти и тоске.

14.

Ты все келейнее и строже,
Непостижимее на взгляд...
О кто же, милостивый Боже,
В твоей печали виноват?

И косы пепельные глаже,
Чем раньше, стягиваешь ты,
Глухая мать сидит за пряжей —
На поминальные холсты.

Она нездешнее постигла,
Как ты, молитвенно-строга...
Блуждают солнечные иглы
По колесу от очага.

Зимы предчувствием объяты,
Рыдают сосны на бору;
Опять глухие казематы
Тебе приснятся ввечеру.

Лишь станут сумерки синее,
Туман окутает реку, —
Отец, с веревкою на шее,
Придет и сядет к камельку.

Жених с простреленною грудью,
Сестра, погибшая в бою, —
Все по вечернему безлюдью
Сойдутся в хижину твою.

А Смерть останется за дверью,
Как ночь, загадочно темна.
И до рассвета суеверью
Ты будешь слепо предана.

И не поверишь яви зрячей,
Когда торжественно в ночи
Тебе за боль, за подвиг плача —
Вручатся вечности ключи.

15.

О ризы вечера, багряно-золотые,
Как ярое вино пьяните вы меня!
Отраднее душе развалины седые
Туманов — вестников рассветного огня.

Горите же мрачней, закатные завесы!
Идет Посланец Сил, чтоб сумрак одолеть;
Пусть в безднах темноты ликуют ночи бесы,
Отгулом вторит им орудий злая медь.

Звончее топоры поют перед рассветом,
От эшафота тень черней — перед зарей...
Одежды вечера пьянят багряным цветом,
А саваны утра покоят белизной.

16. ПРОГУЛКА

Двор, как дно огромной бочки,
Как замкнутое кольцо;
За решеткой одиночки
Чье-то бледное лицо.

Темной кофточки полоски,
Как ударов давних след,
И девической прически
В полумраке силуэт.

После памятной прогулки,
Образ светлый и родной,
В келье каменной и гулкой
Буду грезить я тобой.

Вспомню вечер безмятежный,
В бликах радужных балкон,
И поющий скрипкой нежной
За оградой граммофон.

Светло-крашеную шлюпку,
Весел мерную молву,
Рядом девушку-голубку —
Белый призрак наяву...

Я все тот же — мощи жаркой
Не сломил тяжелый свод...
Выйди, белая русалка,
К лодке, дремлющей у вод!

Поплывем мы... Сон нелепый!
Двор, как ямы мрачной дно,
За окном глухого склепа
И зловеще и темно.

(1907)

17.

Я надену черную рубаху,
И вослед за мутным фонарем
По камням двора пройду на плаху
С молчаливо ласковым лицом.

Вспомню маму, крашеную прялку,
Синий вечер, дрему паутин,
За окном ночующую галку,
На окне любимый бальзамин,

Луговин поемные просторы,
Тишину обкошенной межи,
Облаков жемчужные узоры
И девичью песенку во ржи:

Узкая полосынька
Клинышком сошлась, —
Не во-время косынька
На две расплелась,

Развилась по спинушке,
Как льняная плеть, —
Не тебе-детинушке
Девушкой владеть.

Деревца вилавого
С маху не срубить, —
Парня разудалого
Силой не любить.

Белая березынька
Клонится к дождю...
Не кукуй, загозынька,
Про судьбу мою...

Но прервут куранты крепостные
Песню-думу боем роковым...
Бред души! То заводи речные
С тростником поют береговым.

Сердца сон кромешный как могила!
Опустил свой парус рыбарь-день.
И слезятся жалостно и хило
Огоньки прибрежных деревень.

(1911)

18.

Темным зовам не верит душа,
Не летит встречу призракам ночи.
Ты как осень ясна, хороша,
Только строже и в ласках короче.

Потянулися с криком в отлет
Журавли над потусклой равниной.
Как с природой, тебя эшафот
Не разлучит с родимой кручиной.

Не однажды под осени плач,
О тебе — невозвратно далекой,
За разгульным стаканом палач
Головою поникнет жестокой.

19.

«Безответным рабом
Я в могилу сойду,
Под сосновым крестом
Свою долю найду».

Эту песню певал
Мой страдалец-отец,
И по смерть завещал
Допевать мне конец.

Но не стоном отцов
Моя песнь прозвучит,
А раскатом громов
Над землей пролетит.

Не безгласным рабом,
Проклиная житье,
А свободным орлом
Допою я ее.

(1905)

20.

Есть на свете край обширный,
Где растут сосна да ель,
Неисследный и пустынный, —
Русской скорби колыбель.

В этом крае тьмы и горя
Есть забытая тюрьма,
Как скала на глади моря,
Неподвижна и нема.

За оградою высокой
Из гранитных серых плит,
Пташкой пленной, одинокой
В башне девушка сидит.

Злой кручиною объята,
Все томится, воли ждет,
От рассвета до заката,
День за днем, за годом год.

Но крепки дверей запоры,
Недоступно страшен свод,
Сказки дикого простора
В каземат не донесет.

Только ветер перепевный
Шепчет ей издалека:
«Не томись, моя царевна,
Радость светлая близка.

За чертой зари туманной,
В ослепительной броне,
Мчится витязь долгожданный
На вспененном скакуне».

21.

По тропе-дороженьке
Могота ль брести?..
Ой вы, руки, ноженьки, —
Страдные пути!

В старину по кладочкам
Тачку я катал,
На привале давеча
Вспомнил, — зарыдал.

На заводском промысле
Жизнь не дорога...
Ой вы, думы-розмысли,
Тучи да снега!

22.

Я пришел к тебе убогий,
Из отшельничьих пустынь,
От родимого порога
Пилигрима не отринь.

Слышишь, — пеною студеной
Море мечет в берега...
Приюти от ночи темной,
Обогрей у очага:

Мой грозою сорван парус,
И челнок пучиной взят, —
Отложи на время гарус,
Подыми от прялки взгляд...

Расскажи про край родимый,
Хорошо ль живется в нем,
Все лежит он недвижимый
Под туманом и дождем?

Как и прежде, мглой повиты,
В брызгах пенистых валов,
Плачут серые граниты
У пустынных берегов?

Если «да» в ответ услышу
Роковое от тебя, —
Гробовую буду нишу
Я готовить для себя.

Если ж «нет»... Рокочет злая
Непогода без конца.
Ты молчишь, не подымая
Бездыханного лица.

К заповедному приходу
Роковое допряла,
И орлиную свободу
Раньше родины нашла.

23.

Старый дом зловеще гулок,
Бел под лунным серебром.
Час мечтательных прогулок,
Встреч и вздохов о былом.

Но былому неподвластны —
Мы в грядущее глядим,
Замок сказочно прекрасный
Под луною сторожим.

Выйдем в сад, с тобою рядом
Мне так ново, так светло.
Под луны волшебным взглядом
Ты как белое крыло.

Оттого ли, как в темнице,
Сердцу плачется с утра,
Что тебе — урочной птице
Отлететь на Юг пора?

Иль душе поверить тяжко,
Что, забыт в саду глухом,
Твоего возврата, пташка,
Не дождется лунный дом?

24.

Любви начало было летом,
Конец — осенним Сентябрем.
Ты подошла ко мне с приветом
В наряде девичьи-простом.

Вручила красное яичко,
Как символ крови и любви:
Не торопись на Север, птичка,
Весну на Юге обожди!

Синеют дымно перелески,
Настороженны и немы,
За узорочьем занавески
Не видно тающей зимы.

Но сердце чует: есть туманы,
Движенье смутное лесов,
Неотвратимые обманы
Лилово-сизых вечеров.

О не лети в туманы пташкой!
Года уйдут в седую мглу —
Ты будешь нищею монашкой
Стоять на паперти в углу.

И может быть, пройду я мимо,
Такой же нищий и худой...
О дай мне крылья херувима
Лететь незримо за тобой!

Не обойти тебя приветом,
И не раскаяться потом...
Любви начало было летом,
Конец — осенним Сентябрем.

(1908)

25.

Не оплакано былое,
За любовь не прощено.
Береги, дитя, земное,
Если неба не дано.

Об оставленном не плачь ты,
Впереди чудес земля,
Устоят под бурей мачты,
Грудь родного корабля.

Кормчий молод и напевен,
Что ему бурун, скала?
Изо всех морских царевен
Только ты ему мила. —

За глаза из изумруда,
За кораллы на губах...
Как душа его о чуде,
Плачет море в берегах.

Свой корабль за мглу седую
Не устанет он стремить,
Чтобы сказку ветровую
Наяву осуществить.

(1912)

26. ОТВЕРЖЕННОЙ

Если б ведать судьбину твою,
Не кручинить бы сердца разлукой,
И любовь не считать бы свою
За тебя нерушимой порукой.

Не гадалося ставшее мне,
Что, по чувству сестра и подруга,
По своей отдалилась вине
Ты от братьев сурового круга.

Оттого, как под ветром ковыль,
И разлучная песня уныла,
Что тебе побирушки костыль
За измену судьба подарила.

И не ведомо: я ли не прав,
Или сердце к тому безучастно,
Что, отверженной облик приняв,
Ты как прежде, нетленно прекрасна?

27.

Ты не плачь, не крушись,
Сердца робость избудь,
И отбыть не страшись
В предуказанный путь.

Чем ущербней зима
К мигу солнечных встреч,
Тем угрюмей тюрьма
Будет сказку стеречь.

И в весенний прилет
По тебе лишь одной
У острожных ворот
Загрустит часовой.

28.

Сегодня небо, как невеста,
Слепит венчальной белизной,
И от ворот — до казни места
Протянут свиток золотой.

На всем пути он чист и гладок,
Печатью скрепленный слегка,
Для человеческих нападок
В нем не нашлося уголка.

Так отчего глядят тревожно
Твои глаза на неба гладь?
Я обещаюсь непреложно
Тебе и в нем принадлежать.

Ласкать как в прошлом, плечи, руки
И пряди пепельные кос...
В неотвратимый час разлуки
Не нужно робости и слез.

Лелеять нам одно лишь надо:
По злом минутии конца,
К уборке трав и винограда
Прибыть в обители Отца.

Чтоб не опали ягод грозди,
Пока отбытья длится час,
И наших ног, ладоней гвозди
Могли свидетельствовать нас.

29.

Я — мраморный ангел на старом погосте,
Где схимницы-ели да никлый плакун,
Крылом осеняю трухлявые кости,
Подножья обветренный, ржавый чугун;
В руке моей лира, и бренные гости
Уснули под отзвуки каменных струн.

И многие годы, судьбы непреклонней,
Блюду я забвение, сны и гроба.
Поэзии символ — мой гимн легкозвонней,
Чем осенью трав золотая мольба...
Но бдите и бойтесь! За глубью ладоней,
Как буря в ущельи, таится труба!

(1912)

30.

Нам закляты и заказаны
К пережитому пути,
И о том, что с прошлым связано,
Ты не плачь и не грусти:

Настоящего видениям —
Огнепальные венки,
А безвестным поколениям —
Снежной сказки лепестки.

31.

Не говори — без слов понятна
Твоя предзимняя тоска,
Она как море необъятна,
Как мрак осенний глубока.

Не потому ли сердцу мнится
Зимы венчально-белый сон,
Что смерть костлявая стучится
У нашей хижины окон?

Что луч зари ущербно-острый
Померк на хвойной бахроме...
Не проведут ли наши сестры,
Как зиму — молодость в тюрьме?

От их девического круга,
Весну пророчащих судьбин,
Тебе осталася лачуга,
А мне — медвежий карабин.

Но, о былом не сожалея,
Мы предвесенни как снега...
О чем же, сумеречно тлея,
Вздыхает пламя очага?

Или пока снегов откосы
Зарозовеют вешним днем —
Твои отливчатые косы
Затмятся зимним серебром?

32.

Я за гранью, я в просторе
Изумрудно-голубом,
И не знаю, степь иль море
Расплеснулося кругом.

Прочь ветрила размышленья,
Рифм маячные огни,
Ветром воли и забвенья
Поле-море полыхни!

Чтоб души корабль надбитый,
Путеводных волен уз,
Не на прошлого граниты
Драгоценный вынес груз!..

Колыбельны трав приливы,
Кругозор, как моря дно.
Спит ли ветер? Спят ли нивы?
— Я уснул давно... Давно.

33.

Мы любим только то, чему названья нет,
Что как полунамек, загадочностью мучит:
Отлеты журавлей, в природе ряд примет
Того, что прозревать неведомое учит.

Немолчный жизни звон, как в лабиринте стен,
В пустыне наших душ бездомным эхом бродит;
А время, как корабль под плеск попутных пен,
Плывет и берегов желанных не находит.

И обращаем мы глаза свои с тоской
К Минувшего Земле — не видя стран грядущих.

. . . .

В старинных зеркалах живет красавиц рой,
Но смерти виден лик в их омутах зовущих.

34.

Я обещаю вам сады...
К. Бальмонт

Вы обещали нам сады
В краю улыбчиво-далеком,
Где снедь — волшебные плоды,
Живым питающие соком.

Вещали вы: «Далеких зла
Мы вас от горестей укроем,
И прокаженные тела
В ручьях целительных омоем».

На зов пошли: Чума, Увечье,
Убийство, Голод и Разврат,
С лица — вампиры, по наречью —
В глухом ущелье водопад.

За ними следом Страх тлетворный
С дырявой Бедностью пошли, —
И облетел ваш сад узорный,
Ручьи отравой потекли.

За пришлецами напоследок
Идем неведомые Мы, —
Наш аромат смолист и едок,
Мы освежительней зимы.

Вскормили нас ущелий недра,
Вспоил дождями небосклон,
Мы — валуны, седые кедры,
Лесных ключей и сосен звон.

35.

На песню, на сказку рассудок молчит,
Но сердце так странно правдиво, —
И плачет оно, непонятно грустит,
О чем? — Знают ветер да ивы.

О том ли, что юность бесследно прошла,
Что поле заплаканно-нище?
Вон серые избы родного села,
Луга, перелески, кладбище.

Вглядись в листопадную странничью даль,
В болот и оврагов пологость,
И сердцу-дитяти утешной едва ль
Почуется правды суровость.

Потянет к загадке, к свирельной мечте,
Вздохнуть, улыбнуться украдкой —
Задумчиво-нежной небес высоте
И ивам, лепечущим сладко.

Примнится чертогом — покров шалаша,
Колдуньей лесной — незабудка,
И горько в себе посмеется душа
Над правдой слепого рассудка.

36.

Я молился бы лику заката,
Темной роще, туману, ручьям,
Да тяжелая дверь каземата
Не пускает к родимым полям

Наглядеться на бора опушку,
Листопадом, смолой подышать,
Постучаться в лесную избушку,
Где за пряжею старится мать...

Не она ли за пряслом решётки
Ветровою свирелью поет...
Вечер нижет янтарные четки,
Красит золотом треснувший свод.

(1912)

37.–38. АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ

I.

Верить ли песням твоим —
Птицам морского рассвета,
Будто туманом глухим
Водная зыбь не одета?

Вышли из хижины мы,
Смотрим в морозные дали:
Духи метели и тьмы
Взморье снегами сковали.

Тщетно тоскующий взгляд
Скал испытует граниты, —
В них лишь родимый фрегат
Грудью зияет разбитой.

Долго ль обветренный флаг
Будет трепаться так жалко?..
Есть у нас зимний очаг,
Матери мерная прялка.

В снежности синих ночей
Будем под прялки жужжанье
Слушать пролет журавлей,
Моря глухое дыханье.

Радость незримо придет
И над вечерними нами
Тонкой рукою зажжет
Зорь незакатное пламя.

II.

Я болен сладостным недугом —
Осенней, рдяною тоской.
Нерасторжимым полукругом
Сомкнулось небо надо мной.

Она везде, неуловима,
Трепещет, дышит и живет;
В рыбачьей песне, в свитках дыма,
В жужжаньи ос и блеске вод.

В шуршаньи трав — ее походка,
В нагорном эхо — всплески рук,
И казематная решетка —
Лишь символ смерти и разлук.

Ее ли косы смоляные,
Как ветер смех, мгновенный взгляд...
О, кто Ты: Женщина? Россия? —
В годину черную собрат!

Поведай: тайное сомненье
Какою казнью искупить,
Чтоб на единое мгновенье
Твой лик прекрасный уловить?

39.

Простятся вам столетий иго,
И все, чем страшен казни час,
Вражда тупых, и мудрых книги,
Как змеи, жалящие нас.

Придет пора, и будут сыты
Нездешней мудростью умы,
И надмогильные ракиты
Зазеленеют средь зимы.

40. ЗАВЕЩАНИЕ

В час зловещий, в час могильный
　　Об одном тебя молю:
Не смотри с тоской бессильной
　　На восходную зарю.

Но, верна словам завета,
Слезы робости утри,
И на проблески рассвета
Торжествующе смотри.

Не забудь за далью мрачной,
Средь волнующих забот,
Что взошел я новобрачно
По заре на эшафот;

Что, осилив злое горе,
Ложью жизни не дыша,
В заревое пала море
Огнекрылая душа.

Братские песни

ОТ АВТОРА

«Братские песни» — не есть мои новые произведения. В большинстве они сложены до первой моей книги «Сосен перезвон», или в одно время с нею. Не вошли же они в первую книгу потому, что не были записаны мною, а передавались устно или письменно помимо меня, так как я, до сих пор, редко записывал свои песни, и некоторые из них исчезли из памяти.

Восстановленные уже со слов других, или по посторонним запискам, песни мои и образовали настоящую книжку.

Николай Клюев

41.

«Я был в духе в день воскресный».
Апокалипсис, гл. 1, 10.

Я был в духе в день воскресный,
Осененный высотой,
Просветленно бестелесный
И младенчески простой.

Видел ратей колесницы,
Судный жертвенник и крест,
Указующей десницы
Путеводно-млечный перст.

Источая кровь и пламень,
Шестикрыл и многолик,
С начертаньем белый камень
Мне вручил Архистратиг.

И сказал: «Венчайся белым
Твердо-каменным венцом,
Будь убог и темен телом,
Светел духом и лицом.

И другому талисману
Не вверяйся никогда —
Я пасти не перестану
С высоты свои стада.

На крылах кроваво-дымных
Облечу подлунный храм,
И из пепла тел невинных
Жизнь лазурную создам».

Верен ангела глаголу,
Вдохновившему меня,
Я сошел к земному долу,
Полон звуков и огня.

42. БЕГСТВО

Я бежал в простор лугов
Из-под мертвенного свода,
Где зловещий ход часов —
Круг замкнутый без исхода.

Где кадильный аромат
Страстью кровь воспламеняет,
И бездонной пастью ад
Души грешников глотает.

Испуская смрад и дым,
Всадник-смерть гнался за мною,
Вдруг провеяло над ним
Вихрем с серой проливною —

С высоты дохнул огонь,
Меч, исторгнутый из ножен, —
И отпрянул Смерти конь,
Перед Господом ничтожен.

Как росу с попутных трав,
Плоть томленья отряхнула,
И душа, возликовав,
В бесконечность заглянула.

С той поры не наугад
Я иду путем спасенья,
И вослед мне: свят, свят, свят, —
Шепчут камни и растенья.

43.

Костра степного взвивы,
Мерцанье высоты,
Бурьяны, даль и нивы —
Россия, — это ты!

На мне бойца кольчуга,
И подвигом горя,
В туман ночного луга
Несу светильник я.

Вас люди, звери, гады
Коснется-ль вещий крик:
Огонь моей лампады —
Бессмертия родник!

Все глухо. Точит злаки
Степная саранча...
Передо мной, во мраке,
Колеблется свеча; —

Роняет сны-картинки
На скатерчатый стол, —
Минувшего поминки,
Грядущего символ.

44. ПОЛУНОЩНИЦА

(Зачало. Возглас первый).

Всенощные свечи затеплены,
Златотканные подножья разостланы,
Воскурен ладан невидимый,
Всколыбнулося било вселенское,
Взвеяли гласы серафимские;
Собирайтесь-ка, други, в Церковь Божию,
Пречудную, пресвятейшую!
Собираючись, други, поразмыслите,
На себя поглядите оком мысленным,
Не таится ли в ком слово бренное,
Не запачканы ль где ризы чистые,
Легковейны ль крыла светозарные?
Коль уста — труба, ризы — облако,
Крылья — вихори поднебесные,
То стекайтесь в Храм все без боязни!

(Лик голосов)

Растворитеся врата
Пламенного храма,
Мы — глашатаи Христа,
Первенцы Адама.

Человечий бренный род
Согрешил в Адаме, —
Мы омыты вместо вод
Крестными кровями.

Нам дарована Звезда,
Ключ от адской бездны,
Мы порвали навсегда
Смерти плен железный.

Вышли в райские луга,
Под живые крины,
Где не чуется Врага
И земной кручины.

Где смотреть Христу в глаза —
Наш блаженный жребий,
Серафимы — образа,
Свечи — зори в небе.

(Конец. Возглас второй).

Наша нива — тверди круг,
Колосится звездной рожью,
И лежит вселенский плуг
У Господнего подножья.

Уж отточены серпы
Для новины лучезарной,
Скоро свяжется в снопы
Колос дремлюще-янтарный.

(Лик голосов).

Аминь!

(1912)

45.

Есть то, чего не видел глаз,
Не уловляло вечно ухо:
Цветы, лучистей, чем алмаз,
И дали призрачнее пуха.

Недостижимо смерти дно,
И реки жизни быстротечны, —
Но есть волшебное вино
Продлить чарующее вечно.

Его испив, не меркнущ я,
В полете времени безлетен,
Как моря вал из бытия —
Умчусь певуч и многоцветен.

И всем, кого томит тоска,
Любовь и бренные обеты,
Зажгу с высот Материка
Путеводительные светы.

46. ОЖИДАНИЕ

Кто-то стучится в окно:
Буря ли, сучья ль ракит?
В звуках, текущих ровно —
Топот поспешных копыт.

Хижина наша мала,
Некуда гостю пройти;
Ночи зловещая мгла
Зверем лежит на пути.

Кто он? Седой пилигрим?
Смерти костлявая тень?
Или с мечом Серафим,
Пламеннокрылый, как день?

Никнут ракиты, шурша,
Топот как буря растет...
Встань, пробудися, душа —
Светлый ездок у ворот!

47.

Спят косогор и река
Призраком сизо-туманным.
Вот принесло мотылька
Ночи дыханьем медвяным.

Шолом избы, как челнок,
В заводи смерти глядится...
Ангелом стал мотылек
С райскою ветвью в деснице.

Слышу бесплотную весть —
Голос чарующе властный:
«Был ты, и будешь, и есть —
Смерти во-век непричастный».

48.

За лебединой белой долей,
И по лебяжьему светла,
От васильковых меж и поля
Ты в город каменный пришла.

Гуляешь ночью до рассвета,
А днем усталая сидишь,
И перья смятого берета
Иглой неловкою чинишь.

Такая хрупко-испитая
Рассветным кажешься ты днем,
Непостижимая, святая, —
Небес отмечена перстом.

Наедине, при встрече краткой,
Давая совести отчет,
Тебя вплетаю я украдкой
В видений пестрый хоровод:

Панель... Толпа... И вот картина,
Необычайная чета:
В слезах лобзает Магдалина
Стопы пречистые Христа.

Как ты, раскаяньем объята,
Янтарь рассыпала волос, —
И взором любящего брата
Глядит на грешницу Христос.

49.

Позабыл, что в руках:
Сердце, шляпа иль трость?..
Зреет в Отчих садах
Виноградная гроздь.

Впереди крик: «нельзя»,
Позади: «воротись».
И тиха лишь стезя,
Уходящая ввысь.

Не по ней ли идти?
Может быть, не греша,
На лазурном пути
Станет птицей душа.

(1912)

50. ВАЛЕНТИНЕ БРИХНИЧЕВОЙ

Заревеют нагорные склоны,
Мглистей дали, туманнее бор.
От закатной черты небосклона
Ты не сводишь молитвенный взор.

О туманах, о северном лете,
О пустыне моленья твои,
Обо всех, кто томится на свете,
И кто ищет ко Свету пути.

Отлетят лебединые зори,
Мрак и вьюги на землю сойдут,
И на тлеюще-дымном просторе
Безотзывно молитвы замрут.

(1912)

51. БРАЧНАЯ ПЕСНЯ

Белому брату
Хлеб и вино новое
Уготованы.
Помолюсь закату,
Надем рубище суровое,
И приду на брак непозванный.

Ты узнай меня, Братец,
Не отринь меня, одноотчий,
Дай узреть Зари Твоей багрянец,
Покажи мне Солнце после Ночи,
Я пришел к Тебе без боязни,
Молоденький и бледный как былинка,
Укажи мне после тела казни
В Отчие обители тропинку.
Божий Сын, Невидимый Учитель,
Изведи из мира тьмы наружной
Человека — брата своего!
Чтоб горел он, как и Ты, Пресветлый,
Тихим светом в сумраке ночном,
Чтоб белей цветов весенней ветлы
Стала жизнь на поприще людском!

Белому брату
Хлеб и вино новое
Уготованы.
Помолюсь закату,
Надем рубище суровое,
И приду на брак непозванный.

52.

«Не бойтесь, убивающих тело,
Души же не могущих убить».
Еванг. от Матф., гл. 10, 28.

Как вора дерзкого, меня
У града врат не стерегите,
И под кувшинами огня
Соглядатайно не храните.

Едва уснувший небосклон
Забрезжит тайной неразгадной,
Меня князей синедрион
Осудит казни беспощадной.

Обезображенная плоть
Поникнет долу зрелым плодом,
Но жив мой дух, как жив Господь,
Как сев пшеничный перед всходом.

Еще бесчувственна земля,
Но проплывают тучи мимо,
И тонким ладаном куря,
Проходит пажитью Незримый.

Его одежды, чуть шурша,
Неуловимы бренным слухом,
Как одуванчика душа,
В лазури тающая пухом.

53.

Дремны плески вечернего звона,
Мглистей дали, туманнее бор.
От закатной черты небосклона
Ты не сводишь молитвенный взор.

О туманах, о северном лете,
О пустыне моленья твои,
Обо всех, кто томится на свете,
И кто ищет ко Свету пути.

Отлетят лебединые зори,
Мрак и вьюги на землю сойдут,
И на тлеюще-дымном просторе
Безотзывно молитвы замрут.

54.

Не верьте, что бесы крылаты, —
У них, как у рыбы, пузырь,
Им любы глухие закаты
И моря полночная ширь.

Они за ладьею акулой,
Прожорливым спрутом плывут;
Утесов подводные скулы —
Геенскому духу приют.

Есть бесы молчанья, улыбки,
Дверного засова, и сна...
В гробу и в младенческой зыбке
Бурлит огневая волна.

В кукушке и в песенке пряхи
Ныряют стада бесенят.
Старушьи, костлявые страхи —
Порука, что близится ад.

О, горы, на нас упадите,
Ущелья, окутайте нас!
На тле, на воловьем копыте
Начертан громовый рассказ.

За брашном, за нищенским кусом
Рогатые тени встают...
Кому же воскрылья с убрусом
Закатные ангелы ткут?

55.

Вы деньки мои — голуби белые,
А часы — запоздалые зяблики,
Вы почто отлетать собираетесь,
Оставляете сад мой пустынею?

Аль осыпалось красное вишенье,
Виноградье мое приувянуло,
Али дубы матерые, вечные,
Буреломом как зверем обглоданы?

Аль иссякла криница сердечная,
Али веры ограда разрушилась,
Али сам я — садовник испытанный
Не возмог прикормить вас молитвою?

Проворкуйте, всевышние голуби,
И прожубруйте, дольние зяблики,
Что без вас с моим вишеньем станется:
Воронью оно в пищу достанется.

По отлете ж последнего голубя
Постучится в калитку дырявую
Дровосек с топорами да пилами,
В зипунище, в лаптищах с оборами.

Час за часом, как поздние зяблики,
Отлетает в пространство глубинное...
Чу! Как няни сверчковая песенка
Прозвенело крыло голубиное.

56.

«Не жди зари — она погасла,
Как в мавзолейной тишине
Лампада чадная без масла»...
Могильный демон шепчет мне.

Душа смежает робко крылья,
Недоуменно смущена,
Пред духом мрака и насилья
Мятется трепетно она.

И демон сумрака кровавый
Трубит победу в смертный рог.
Смутился кубок брачной славы
И пуст украшенный чертог.

Рассвета луч не обагрянит
Вино в бокалах круговых,
Пока из мертвых не восстанет
Гробнице преданный Жених.

Пока же камень не отвален
И стража тело стережет, —
Душа безмолвие развалин
Чертога брачного поет.

57.

Отвергнув мир, врагов простя,
Собрат букашке многоногой,
Как простодушное дитя,
Сижу у хижины порога.

Смотрю на северный закат,
Внимаю гомону пингвинов,
Взойти на Радужный Фрегат
В душе надежды не отринув.

Уже в дубраве листопад
Намел смарагдов, меди груду...
Я здесь бездумен и крылат
И за морями светел буду.

58.

Помню я обедню раннюю,
Вереницы клобуков,
Над толпою покаянною
Тяжкий гул колоколов.

Опьяненный перезвонами,
Гулом каменно-глухим,
Дал обет я пред иконами
Стать блаженным и святым.

И в ответ мольбе медлительной,
Покрывая медный вой,
Голос ясно-повелительный
Мне ответил: «ты не Мой».

С той поры я перепутьями
Невидимкою блуждал,
Под валежником и прутьями
Вместе с ветром ночевал.

Истекли грехопадения,
И посланец горних сил
Безглагольного хваления
Путь заблудшему открыл.

Знаки замысла предвечного —
Зодиака и Креста,
И на плате солнца млечного
Лик прощающий Христа.

59.

Отгул колоколов, то полновесно-четкий,
То дробно-золотой, колдует и пьянит.
Кто этот, в стороне, величественно-кроткий,
В одежде пришлеца, отверженным стоит?

Его встречаю я во храме, на проселке,
По виду нищего, в лохмотьях и в пыли,
Дивясь на язвы рук, на жесткие иголки,
Что светлое чело короной оплели.

Ужели это Он? О, сердце — бейся тише!
Твой трепетный восторг гордынею рожден:
По Ком томишься ты, Тот в полумраке ниши,
Поруганный мертвец, ко древу пригвожден.

Бесчувственному чужд Пришелец величавый,
Служитель перед Ним тимьяна не курит,
И кутаясь во мглу, как исполин костлявый,
С дыханьем льдистым смерть очей Его бежит.

60-61. НА КРЕСТЕ

I

Лестница златая
Прянула с небес,
Вижу, умирая,
Райских кринов лес.

В кущах духов клиры, —
Светел лик, крыло...
Хмель вина и мирры
Ветром донесло.

Лоскуты рубахи
Треплются у ног...
Камни шепчут в страхе:
«Да воскреснет Бог».

II

Гвоздяные ноют раны,
Жалят тернии чело.
Чу! Развеяло туманы
Серафимское крыло.

К моему ли, горний, древу
Перервать томленья нить, —
Иль нечающую деву
Благовестьем озарить?

Ночь глуха и безотзывна,
Ко кресту утрачен след.
Где ты, светлая отчизна —
Голубиный Назарет?

62

О поспешите, братья, к нам,
В наш чудный храм, где зори — свечи,
Где предалтарный фимиам —
Туманы дремлющих поречий!

Спешите к нам, пока роса
Поит возжаждавшие травы,
И в заревые пояса
Одеты дымные дубравы.

Служить Заутреню любви,
Вкусить кровей, живого хлеба...
Кто жив, души не очерстви
Для горних труб и зовов неба!

В передрассветный тайный час,
Под заревыми куполами,
Как летний дождь, сойдет на нас
Всеомывающее пламя.

Продлится миг, как долгий век, —
Взойдут неведомые светы...
У лучезарных райских рек
Сойдемся мы, в виссон одеты.

Доверясь радужным ладьям,
Мы поплывем, минуя мысы...
О поспешите, братья, к нам
В нетленный сад, под кипарисы!

(1912)

63. БРАТСКАЯ ПЕСНЯ

Поручил ключи от ада
Нам Вселюбящий стеречь.
Наша крепость и ограда —
Серафима грозный меч.

Град наш тернием украшен,
Без кумирен и палат.
На твердынях светлых башен
Братья-воины стоят.

Их откинуты забрала,
Адамант — стожарный щит,
И ни ад, ни смерти жало
Духоборцев не страшит.

Кто придет в нетленный город, —
Для вражды неуязвим.
Всяк собрат нам — стар и молод,
Земледел и пилигрим.

Наш удел — венец терновый,
Ослепительней зари. —
Мы — соратники Христовы,
Преисподней ключари.

Ада пламенные своды
Разомкнуть дано лишь нам,
Человеческие роды
Повести к живым рекам.

Крест целящий, крест разящий,
Нам водитель и завет.
Брат, на гноище лежащий,
Подымись, Христос грядет!

Он не в нищенском хитоне,
И не с терном вкруг чела...
На рассветном небосклоне
Плещут ангелов крыла.

Их заоблачные гимны
Буреветрами звучат...
Звякнул ключ гостеприимный
У предвечных светлых врат.

(1911)

64.

В Моем раю обитель есть,
Как день лазурно беспотемна,
Где лезвия не точит месть,
Где не выносят трупов волны.

За непреклонные врата
Лишь тот из смертных проникает,
На ком голгофского креста
Печать высокая сияет.

Тому в обители Моей
Сторицей горести зачтутся,
И слезы выспренних очей
Для всезабвения утрутся.

Он не воротится назад —
Нерукотворных сеней житель,
И за него в тиши палат
Не раз содрогнется мучитель.

65.

Он придет! Он придет! И содрогнутся горы
Звездоперстой стопы огневого Царя,
Как под ветром осока, преклонятся боры,
Степь расстелет ковры, ароматы куря.

Он воссядет под елью, как море гремучей,
На слепящий престол, в нестерпимых лучах,
Притекут к Нему звери пучиной рыкучей,
И сойдутся народы с тоскою в очах.

Он затопчет, как сор, вероломства законы,
Духом уст поразит исполинов-бойцов,
Даст державу простым, и презренным короны,
Чтобы царством владели во веки веков.

Мы с тобою, сестра, боязливы и нищи,
Будем в море людском сиротами стоять:
Ты печальна, как ивы родного кладбища,
И на мне не изглажена смерти печать.

Содрогаясь, мы внемлем Судьи приговору:
Истребися, воскресни, восстань и живи!
Кто-то шепчет тебе: «к бурь и молний собору
Вы причислены оба — за подвиг любви».

И пойму я, что минуло царство могилы,
Что за гробом припал я к бессмертья ключу...
Воспаришь ты к созвездьям орлом буйнокрылым
Молоньей просияв, я вослед полечу.

(1912)

66.

Как звезде, пролетной тучке,
Мне отчизна — синева.
На терновника колючке
Кровь, заметная едва.

Кто прошел стезею правой,
Не сомкнув хвалебных уст?
Шелестит листвою ржавой
За окном колючий куст:

«Чтоб на Божьем аналое
Сокровенное читать,
Надо тело молодое
Крестным терном увенчать».

(1912)

67.-69. РАДЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ

I.

Ах вы други — полюбовные собратья,
Обряжайтеся в одёжу — в цветно платье.

Снаряжайтесь, умывайтеся беленько,
Расцвечайтеся, как зорюшка, аленько.

Укрепитеся, собратья, хлебом-солью,
Причаститеся незримой Агнчьей кровью!

Как у нас ли, други, ныне радость:
Отошли от нас болезни, смерть и старость.

Стали плотью мы заката зарянее,
Поднебесных облак-туч вольнее.

Разделяют с нами брашна серафимы,
Осеняют нас крылами легче дыма,

Сотворяют с нами знамение-чудо,
Возлагают наши душеньки на блюдо.

Дух возносят серафимы к Саваофу,
Телеса на Иисусову голгофу.

Мы в раю вкушаем ягод грозди,
На земле же терпим крест и гвозди.

Перебиты наши голени и ребра...
Ей, гряди ко стаду, Пастырь добрый!

Аминь.

(1912)

II.

Мне сказали — Света век не видать, —
Белый Светик и поныне во глазах.

Я возьму каленовострую стрелу,
На полете звонкоперой накажу:

«Не кровавь, стрела зубчата, острия,
Ни о зверя, ни о малого червя».

Не послушалась каленая меня,
Полетела за туманные моря.

За морями синий камешек лежит,
Из-под камня быстра реченька бежит,

Вдоль по речке лебедь белая плывет,
Выше берега головушку несет,

Выше леса крылья взмахивает,
На себя водицу всплясскивает.

Угодила звонкоперая стрела
В жилу смертную лебяжьего крыла.

Дрогнул берег, зашаталися леса,
Прокатилися по взгорьям голоса:

«Ныне, други, сочетался с братом брат:
С белой яблоней — зеленый виноград!»

III.

Ты взойди, взойди, Невечерний Свет,
С земнородными положи завет!

Чтоб отныне ли до скончания
Позабылися скорби давние,

Чтоб в ночи душе не кручинилось,
В утро белое зла не виделось,

Не желтели бы травы тучные,
Ветры веяли б сладкозвучные,

От земных сторон смерть бежала бы,
Твари дышущей смолкли б жалобы.

Ты взойди, взойди, Невечерний Свет —
Необорный меч и стена от бед!

Без Тебя, Отец, вождь, невеста, друг,
Не найти тропы на животный луг.

Зарных ангельских не срывать цветов,
Победительных не сплетать венков,

Не взыграть в трубу, в гусли горние,
Не завихрить крыл ярче молнии.

(1912)

70.

Путь надмирный совершая,
Посети меня родная,
И с любовью
К изголовью,
Как бывало, припади,

Я забуду смерти муку,
С жизнью скорую разлуку,
Прозревая,
С верой чая,
Кущи рая впереди.

Не отринь меня, Царица,
Ангел, Дева, Дух и Птица,
Одиноким не оставь!
Предавая тело Змею,
Я затишья вожделею
Кипарисовых дубрав.

Нераздельные судьбою,
Мы увидимся с Тобою
Средь лазоревых полей.
И, грозя кровавым жалом,
На триумфе запоздалом
Зашипит тлетворно Змей.

(1912)

71. УСЛАДНЫЙ СТИХ

Под ивушкой зеленой,
На муравчатом подножьи травном,
Где ветер-братик нас в уста целует,
Где соловушко-свирель поет-жалкует,
Соберемся-ка мы, други-братолюбцы,
Тихомудрой, тесною семейкой
Всяк с своей душевною жилейкой.

Мы вспоем-ка, друженьки, взыграем,
Глядючи друг другу в очи возрыдаем
Что-ль о той приземной доле тесной,
Об украшенной обители небесной,
Где мы в Свете Неприступном пребывали,
Хлеб животный, воду райскую вкушали,
Были общники Всещедрой Силы,
Громогласны, световидны, шестикрылы...

Серафимами тогда мы прозывались,
Молоньею твари трепетной казались...
Откликались бурей-молвью громной,
Опоясаны броней нерукотворной.

Да еще мы, братики, воспомним,
Дух утробу брашном сладостным накормим,
Как мы, духи, человечью плоть прияли,
Сетовязами, ловцами в мире стали,
Как рыбачили в водах Генисарета:
Где Ты — Альфа и Омега, Отче Света?..

Свет явился, рек нам: «мир вам, други!»
Мы оставили мережи и лачуги,
И пошли во след Любови-Света,
Воссиявшего земле от Назарета.

Рек нам Свете: «с вами Я во веки!
Обагрятся кровью вашей реки,
Плотью вашей будут звери сыты,
Но в уме вы Отчем не забыты».
Ныне, братики, нас гонят и бесчестят,
Тем Уму Христову приневестят.

Мы восплещем, други, возликуем,
Заодно с соловкой пожалкуем.
С вешней ивой росно прослезимся,
В серафимский зрак преобразимся:

Наши лица заряницы краше,
Молоньи лучистей ризы наши,
За спиной шесть крылий легковейных,
На кудрях венцы из звезд вечерних!

Мы восплещем зарными крылами
Над кручинными, всерусскими полями,
Вдунем в борозды заплаканные нови
Дух живой всепобеждающей любови —

И в награду, друженьки, за это
Вознесут нас крылья в лоно света.

(1912)

72.

Ты не плачь, моя касатка,
Что на Юг лететь пора,
Мне уснуть зимою сладко
Под фатой из серебра.

Снежный бор от вьюг студеных
Сироту оборонит,
Сказкой инеев узорных
Боль — любовь угомонит.

И когда метель-царица
Допрядет снегов волну,
О невесте-голубице
Я под саваном вздохну. —

Бор проснется, снег растает,
Улыбнется небосвод,
Сердце зимнее взыграет,
Твой предчувствуя прилет.

73. ПЕСНЬ ПОХОДА

Иисуса крест кровавый —
Наше знамя, меч и щит,
Зверь из бездны семиглавый
Перед ним не устоит.

Братья-воины, дерзайте
Встречу вражеским полкам!
Пеплом кос не посыпайте,
Жены, матери, по нам.

Наши груди — гор уступы,
Адаманты — рамена.
Под смоковничные купы
Соберутся племена.

Росы горние увлажат
Дня палящие лучи,
Братьям раны перевяжут
Среброкрылые врачи...

В светлом лагере победы,
Как рассветный ветер гор,
Сокрушившего все беды
Воспоет небесный хор, —

Херувимы, Серафимы...
И как с другом дорогим,
Жизни Царь Дориносимый
Вечерять воссядет с ним.

Винограда вкусит гроздий,
Для сыновних видим глаз...
Чем смертельней терн и гвозди,
Тем победы ближе час...

Дух животными крылами
Прикоснется к мертвецам,
И завеса в пышном храме
Раздерется пополам...

Избежав могильной клети,
Сопричастники живым,
Мы убийц своих приветим
Целованием святым:

«Мир вам, странники-собратья
И в блаженстве равный пай,
Муки нашего распятья
Вам открыли светлый рай.»

И враги, дрожа, тоскуя,
К нам на груди припадут...
Аллилуя, аллилуя!
Камни гор возопиют.

(1912)

Лесные были

74.

Пашни буры, межи зелены,
Спит за елями закат,
Камней мшистые расщелины
Влагу вешнюю таят.

Хороша лесная родина:
Глушь да поймища кругом!..
Прослезилася смородина,
Травный слушая псалом.

И не чую больше тела я,
Сердце — всхожее зерно...
Прилетайте, птицы белые,
Клюйте ярое пшено!

Льются сумерки прозрачные,
Кроют дали, изб коньки,
И березки — свечи брачные
Теплят листьев огоньки.

(1914)

75. СТАРУХА

Сын обижает, невестка не слухает.
Хлебным куском да бездельем корит...
Чую — на кладбище колокол ухает,
Ладаном тянет от вешних ракит.

Вышла я в поле, седая, горбатая, —
Нива без прясла, кругом сирота...
Свесила верба сережки мохнатые
Меда душистей, белее холста.

Верба-невеста, молодка пригожая,
Зеленью-платом не засти зари!
Аль с алоцветной красою не схожа я —
Косы желтее, чем бус янтари.

Ал сарафан с расписной оторочкою,
Белый рукав и плясун-башмачок...
Хворым младенчиком всхлипнув над кочкою,
Звон оголосил пролесок и лог.

Схожа я с мшистой, заплаканной ивою,
Мне ли крутиться в янтарь-бахрому?
Зой-невидимка узывней, дремливее,
Белые вербы в кадильном дыму.

(1912)

76. ОСИНУШКА

Ах, кому судьбинушка
Ворожит беду:
Горькая осинушка
Ронит лист-руду.

Полымем разубрана,
Вся красным-красна,
Может быть, подрублена
Топором она.

Может, червоточина
Гложет сердце ей,
Черная проточина
Въелась меж корней.

Облака по просини
Крутятся в кольцо.
От судины-осени
Вянет деревцо.

Ой заря-осинушка,
Златоцветный лет,
У тебя детинушка
Разума займет!

Чтобы сны стожарные
В явь оборотить,
Думы — листья зарные
По ветру пустить.

(1913)

77.

Я люблю цыганские кочевья,
Свист костра и ржанье жеребят,
Под луной как призраки — деревья,
И ночной железный листопад.

Я люблю кладбищенской сторожки
Нежилой пугающий уют,
Дальний звон и с крестиками ложки,
В чьей резьбе заклятия живут.

Зорькой тишь, гармонику в потемки,
Дым овина, в росах коноплю...
Подивятся дальние потомки
Моему безбрежному «люблю».

Что до них? Улыбчивые очи
Ловят сказки теми и лучей...
Я люблю остожья, грай сорочий,
Близь и дали, рощу и ручей.

(1914)

78. ПОВОЛЖСКИЙ СКАЗ

Собиралися в ночнину,
Становились в тесный круг:
«Кто старшой, кому по чину
Повести за стругом струг?

Есть Иванко Шестипалый,
Васька Красный, Кудеяр,
Зауголыш, Рямза, Чалый
И Размыкушка-гусляр.

Стать не гоже Кудеяру,
Рямзе с Васькой-яруном!
Порешили: быть Гусляру
Струговодом-большаком!

Он доселе тешил братов,
Не застаивал ветрил, —
Сызрань, Астрахань, Саратов
В небо полымем пустил».

В япанчу, поверх кольчуги,
Оболок Размыка стан
И повел лихие струги
На слободку — Еруслан.

Плыли долго аль коротко,
Обогнули Жигули,
Еруслановой слободки
Не видали — не нашли.

Закручинились орлята:
Навожденье чем избыть?
— Отступною данью-платой
Волге гусли подарить...

Воротилися в станища, —
Что ни струг, то сирота:
Буруны разъели днища,
Червоточина — борта.

Объявилась горечь в браге.
Привелось, хоть тяжело,
Понести лихой ватаге
Черносошное тягло.

И доселе по Поволжью
Живы слухи: в ледоход
Самогуды звучной дрожью
Оглашают глуби вод.

Кто проведает — учует
Половодный вещий сказ, —
Тот навеки зажалкует,
Не сведет с пучины глаз.

Для того туман поречий —
Стружный парус; гул валов —
Перекатный рокот сечи,
Удалой повольный зов.

Дрожь осоки — шепот жаркий,
Огневая вспышка струй —
Зарноокой полонянки
Приворотный поцелуй.

(1913)

79.

В просинь вод загляделися ивы,
Словно в зеркальце девка-краса.
Убегают дороги извивы,
Перелесков, лесов пояса:

На деревне грачиные граи,
Бродит сонь, волокнится дымок;
У плотины, где мшистые сваи,
Нижет скатную зернь Солнопек:

— Водянице стожарную кику, —
Самоцвет, зарянец, камень-зель...
Стародавнему верен навыку,
Прихожу на поречную мель.

Кличу девушку с русой косою,
С зыбким голосом, с вишеньем щек.
Ивы шепчут:«Сегодня с красою
Поменялся кольцом Солнопек.

Подарил ее зарною кикой,
Заголубил в речном терему»...
С рощи тянет смолой, земляникой,
Даль и воды в лазурном дыму.

(1912)

80. ЛЕС

Как сладостный орган, десницею небесной
Ты вызван из земли, чтоб бури утишать,
Живым дарить покой, жильцам могилы тесной
Несбыточные сны дыханьем навевать.

Твоих зеленых волн прибой тысячеустный
Под сводами души рождает смутный звон.
Как будто моряку, тоскующий и грустный,
С родимых берегов доносится поклон.

Как будто в зыбях хвой рыдают серафимы
И тяжки вздохи их, и гул скорбящих крыл
О том, что Саваоф броней неуязвимой
От хищности людской тебя не оградил.

81.

Прохожу ночной деревней.
В темных избах нет огня.
Явью сказочною, древней
Потянуло на меня.

В настоящем разуверясь,
Стародавних полон сил,
Распахнул я лихо ферязь,
Шапку-соболь заломил.

Свистнул, хлопнул у дороги
В удалецкую ладонь,
И, как вихорь, звонконогий
Подо мною взвился конь.

Прискакал. Дубровым зверем
Конь храпит, копытом бьет;
Предо мной узорный терем,
Нет дозора у ворот.

Привязал гнедого к тыну;
Будет лихо, али прок, —
Пояс шелковый закину
На точеный шеломок.

Скрипнет крашеная ставня...
«Что, разлапушка, — не спишь?
Неспроста повесу-парня
Знают Кама и Иртыш!

Наши хаживали струги
До Хвалынщины подчас, —
Не иссякнут у подруги
Бирюза и канифас...»

Прояснилися избенки,
Речка в утреннем дыму.
Гусли-морок, всхлипнув звонко,
Искрой канули во тьму.

Но в душе как хмель струится
Вещих звуков серебро —
Отлетевшей жаро-птицы
Самоцветное перо.

(1912)

82.

Певучей думой обуян,
Дремлю под жесткою дерюгой.
Я — королевич Еруслан
В пути за пленницей-подругой.

Мой конь под алым чепраком,
На мне серебряные латы...
А мать жужжит веретеном
В луче осеннего заката.

Смежают сумерки глаза,
На лихо жалуется прялка...
Дымится омут, спит лоза,
В осоке девушка-русалка.

Она поет, манит на дно
От неги ярого избытка...
Замри, судьбы веретено,
Порвись, тоскующая нитка!

(1912)

83.

Тучи, как кони в ночном,
Месяц — грудок пастушонка.
Вся поросла ковылем
Божья святая сторонка.

Только и русла, что шлях —
Узкая, млечная стёжка.
Любо тебе во лесях,
В скрытой избе, у окошка.

Светит небесный грудок
Нашей пустынной любови.
Гоже ли девке платок
Супить по самые брови?

Пó сердцу ль парню в кудрях
Никнуть плакучей ракитой?
Плыть бы на звонких плотах
Вниз по Двине ледовитой!

Чуять, как сказочник-руль
Будит поддонные были...
Много б Устёш и Акуль
Кудри мои полонили.

Только не сбыться тому, —
Берег кувшинке несносен...
Глянь-ка, заря бахрому
Весит на звонницы сосен.

Прячется карлица-мгла
То за ивняк, то за кочку.
Тысяча лет протекла
В эту пустынную ночку.

84.

Я борозду за бороздою
Тяжелым плугом провожу
И с полуночною звездою
В овраг молиться ухожу.

Я не кладу земных поклонов
И не сплетаю рук крестом, —
Склонясь над сумрачною елью,
Горю невидимым огнем.

И чем смертельней лютый пламень,
Тем полногласней в вышине
Рыдают ангельские трубы
О незакатном, райском дне.

Но чуть заря, для трудной нови
Я покидаю дымный лог, —
В руке цветок алее крови —
Нездешней радости залог.

85.

Ноченька темная, жизнь подневольная...
В поле безлюдье, бесследье да жуть.
Мается душенька... Тропка окольная,
Выведи парня на хоженый путь!

Прыснул в глаза огонечек малешенек,
Темень дохнула далеким дымком.
Стар ли огневщик, младым ли младешенек,
С жаркою бровью, с лебяжьим плечом, —

Что до того? Отогреть бы ретивое,
Ворога тезкою, братом назвать...
Лютое поле, осочье шумливое
Полнятся вестью, что «умерла мать».

«Что не ворохнутся старые ноженьки,
Старые песни, как травы, мертвы»...
Ночь — домовище, не видно дороженьки,
Негде склонить сироте головы.

(1914)

86.

Изба-богатырица,
Кокошник вырезной,
Оконце, как глазница,
Подведено сурьмой.

Кругом земля-землища
Лежит, пьяна дождем,
И бора-старичища
Подоблачный шелом.

Из-под шелома строго
Грозится туча-бровь...
К заветному порогу
Я припадаю вновь.

Седых веков наследство,
Поклон вам, труд и пот!..
Чу, песню малолетства
Родимая поет:

Спородила я сынка-богатыря
Под потокою на сиверке,
На холодном полузимнике,
Чтобы дитятко по матери пошло,
Не удушливато в летнее тепло,
Под морозами не зябкое,
На воде-луде не хлябкое!

Уж я вырастила сокола-сынка
За печным столбом на выводе,
Чтоб не выглядел Старик-Журавик,
Не ударил бы черемушкой,
Не сдружил бы с горькой долюшкой!

(1914)

87.

Месяц — рог олений,
Тучка — лисий хвост.
Полон привидений
Таежный погост.

В заревом окладе
Спит Архангел Дня.
В Божьем вертограде
Не забудь меня.

Там святой Никита,
Лазарь — нищим брат.
Кирик и Улита
Страсти утолят.

В белом балахонце
Скотий врач — Медост...
Месяц, как оконце,
Брезжит на погост.

Темь соткала куколь
Елям и бугру.
Молвит дед: «не внука ль
Выходил в бору?»

Я в ответ: «теперя
На пушнину пост,
И меня, как зверя,
Исцелил Медост».

88.

Я пришел к тебе, сыр-дремучий бор,
Из-за быстрых рек, из-за дальних гор,
Чтоб у ног твоих, витязь-схимнище,
Подышать лесной древней силищей.

Ты прости, отец, сына нищего,
Песню-золото расточившего!
Не кудрявичем под гуслярный звон
В зелен терем твой постучался он.

Богатырь душой, певник розмыслом,
Раздружился я с древним обликом,
Променял парчу на сермяжину,
Кудри-вихори на плешь-лысину.

Поклонюсь тебе, государь, душой —
Укажи тропу в зелен терем свой!
Там, двенадцать в ряд, братовья сидят
Самоцветней зорь боевой наряд...

Расскажу я им, баснослов-баян,
Что в родных степях поредел туман,
Что сокрылися гады, филины,
Супротивники пересилены,

Что крещеный люд на завалинах,
Словно вешний цвет на прогалинах...

Ах, не в руку сон! Седовласый бор
Чуда-терема сторожит затвор:
На седых щеках слезовая смоль,
Меж бровей-трущоб вещей думы боль.

(1911)

89.

Галка-староверка ходит в черной ряске,
В лапотках с оборой, в сизой подпояске,
Голубь в однорядке, воробей в сибирке,
Курица ж в салопе — клеваные дырки.
Гусь в дубленой шубе, утке ж на задворках
Щеголять далося в дедовских опорках.

В галочьи потемки, взгромоздясь на жердки,
Спят, нахохлив зобы, курицы-молодки;
Лишь петух-кудесник, запахнувшись в саван,
Числит звездный бисер, чует травный ладан.

На погосте свечкой теплятся гнилушки,
Доплетает леший лапоть на опушке,
Верезжит в осоке проклятый младенчик...
Петел ждет, чтоб зорька нарядилась в венчик.

У зари нарядов тридевять укладок...
На ущербе ночи сон куриный сладок:
Спят монашка-галка, воробей-горошник...
Но едва забрезжит заревой кокошник —
Звездочет крылатый трубит в рог волшебный:
«Пробудитесь, птицы, пробил час хвалебный!
И пернатым брашно, на бугор, на плёсо,
Рассыпает солнце золотое просо!»

90. ВЕШНИЙ НИКОЛА

Как лестовка в поле дорожка,
Заполье ж финифти синей.
Кручинюсь в избе у окошка
Кручиной библейских царей.

Давид убаюкал Саула
Пастушеским красным псалмом,
А мне от елового гула
Нет мочи ни ночью, ни днем.

В тоске распахнула оконце:
Все празелень хвой да рябь вод.
Глядь — в белом, худом балахонце
По стежке прохожий идет.

Помыслила: странник на Колу,
Подпасок, иль Божий Бегун, —
И слышу: «я Вешний Никола» —
Усладней сказительных струн.

Было́ мне виденье, сестрицы,
В сне тонцем, под хвойный канон
С того ль гомонливы синицы,
Крякуши и гусь-рыбогон.

Плескучи лещи и сороги
В купели финифтяных вод...
«Украшенны вижу чертоги» —
Верба-клирошанка поет.

91. РОЖЕСТВО ИЗБЫ

От кудрявых стружек тянет смолью,
Духовит, как улей, белый сруб.
Крепкогрудый плотник тешет колья,
На слова медлителен и скуп.

Тепел паз, захватисты кокоры,
Крутолоб тесовый шоломок.
Будут рябью писаны подзоры
И лудянкой выпестрен конек.

По стене, как зернь, пройдут зарубки:
Сукрест, лапки, крапица, рядки,
Чтоб избе-молодке в красной шубке
Явь и сонь мерещились легки.

Крепкогруд строитель-тайновидец,
Перед ним щепа, как письмена:
Запоет резная пава с крылец,
Брызнет ярь с наличника окна.

И когда оческами кудели
Над избой взлохматится дымок —
Сказ пойдет о Красном Древоделе
По лесам, на запад и восток.

92.

Посмотри, какие тени
На дорогу стелют вязы!
Что нам бабушкины пени,
Деда нудные рассказы.

Убежим к затишью речки
От седой, докучной ровни...
У тебя глаза, как свечки
В полусумраке часовни.

Тянет мятою от сена,
Затуманились покосы.
Ты идешь, бледна как пена,
Распустив тугие косы.

Над рекою ветел лапы,
Тростника пустые трости.
В ивняке тулья от шляпы:
Не вчерашнего ли гостя?

Он печальнее, чем ели
На погосте, в час заката...
Ты дрожишь, белей кудели,
Вестью гибели объята.

Ах, любовь, как воск для лепки,
Под рукою смерти тает!..
«Святый Боже, Святый крепкий» —
Вяз над омутом вздыхает.

(1915)

93.

Разохалась старуха
Про молодость, про ад.
В зените горы пуха
Пролиться норовят.

Нет моченьки на кроснах
Ткать белое рядно.
Расплакалося в соснах
Пурги веретено.

Любовь, как нитку в бёрде,
Упустишь — не найдешь.
Запомнилося твердо,
Что был матер, пригож.

Под таежным медведем
Погиб лихой лесник...
Плакучих дум соседям
Не вымолвил язык.

Все выплакано кроснам —
Лощеному рядну.
Не век плясать по соснам
Пурги веретену.

Изба — гнездо тетерье,
Где жизнь, как холст доткать...
А тучи ронят перья
В лесную темь и гать.

94.

Дымно и тесно в избе,
Сумерки застят оконце.
Верь, не напрасно тебе
Грезятся небо и солнце.

Пряжи слезой не мочи,
С зимкой иссякнет куделя...
Кот, задремав на печи,
Скажет нам сказку про Леля.

«На море остров Буян,
Терем Похитчика-Змея»...
В поле редеет туман,
Бор зашептался, синея.

«Едет ко терему Лель,
Меч-кладенец наготове»...
Стукнул в оконце Апрель —
Вестник победной любови.

95.

Невесела нынче весна:
В полях безголосье и дрема,
Дымится, от ливней черна,
На крышах избенок солома.

Окутала сизая муть
Реку и на отмели лодку.
Как узника, тянет взглянуть
За пасмурных облак решётку.

Душа по лазури грустит,
По ладану ландышей, кашек.
В лиловых потемках ракит
Не чуется щебета пташек.

Ужель обманула зима
И сны, что про солнце шептали?
Плывут облаков терема
В рябые, потусклые дали.

(1913)

96.

Талы избы, дорога,
Буры пни и кусты.
У лосиного лога
Четки елей кресты.

На завалине лыжи
Обсушил полудняк.
Снег дырявый и рыжий,
Словно дедов армяк.

Зорька в пестрядь и лыко
Рядит сучья ракит.
Кузовок с земляникой —
Солнце метит в зенит.

Дятел — пущ колотушка —
Дразнит стуком клеста,
И глухарья ловушка
На сегодня пуста.

97.

Ветхая ставней резьба,
Кровли узорный конек.
Тебе, моя сказка, судьба
Войти в теремок.

Счастья-Царевны глаза
Там цветут в тишине,
И пленных небес бирюза
Томится в окне.

По зиме в теремок прибреду
Про свои поведать вины,
И глухую старуху найду
Вместо синей звенящей весны.

(1912)

98.

Мне сказали, что ты умерла
Заодно с золотым листопадом,
И теперь, лучезарно светла,
Правишь горним неведомым градом.

Я нездешним забыться готов, —
Ты всегда баснословной казалась,
И багрянцем осенних листов
Не однажды со мной любовалась.

Говорят, что не стало тебя.
Но любви иссякаемы ль струи:
Разве зори — не ласка твоя,
И лучи — не твои поцелуи?

(1913)

99.

Косогоры, низины, болота,
Над болотами ржавая марь.
Осыпается рощ позолота,
В бледном воздухе ладана гарь.

На прогалине теплятся свечи,
Озаряя узорчатый гроб,
Бездыханные девичьи плечи
И молитвенный с венчиком лоб.

Осень — с бледным челом инокиня —
Над покойницей правит обряд.
Даль мутна, речка призрачно-синя,
В роще дятлы зловеще стучат.

(1915)

100.

Октябрь — петух медянозобый
Горланит в ветре и в лесу:
Я в листопадные сугробы
Яйцо снегóвое снесу.

И лес под клювом петушиным
Дырявым стал. Курятник туч
Сквозит пометом голубиным, —
Мол Духа Божьего не мучь,

Снести яйцо на первопутки
Однажды в год тебе дано...
Как баба, выткала за сутки
Реченка сизое рядно.

Близки дубленые Покровки,
Коровьи свадьбы, конский чёс,
И к звездной кузнице для ковки
Плетется облачный обоз.

101.

Болесть да засуха,
На скотину мор.
Горбясь, шьет старуха
Мертвецу убор.

Холст ледащ наощупь,
Слепы нить, игла...
Как медвежья поступь
Темень тяжела.

С печи смотрят годы
С карлицей-судьбой.
Водят хороводы
Тучи над избой.

Мертвый дух несносен,
Маята и чад.
Помялища сосен
В небеса стучат.

Глухо Божье ухо,
Свод надземный толст.
Шьет, кляня, старуха
Поминальный холст.

(1915)

102.

Чу! Перекатный стук на гумнах
Он по заре звучит как рог.
От бед, от козней полоумных
Мой вещий дух не изнемог.

Я всё такой же, как в столетьях,
Широкогрудый удалец...
Знать, к солнцепеку на поветях
Рудеет утренний багрец.

От гумен тянет росным медом,
Дробь молотьбы — могучий рог.
Нас подарил обильным годом
Сребробородый древний Бог.

103.

Снова поверилось в дали свободные,
В жизнь, как в лазурный, безгорестный путь.
Помнишь ракиты седые, надводные,
Вздохи туманов, безмолвия жуть?

Ты повторяла: «Туман — настоящее,
Холоден, хмур и зловеще глубок,
Сердцу пророчит забвенье целящее
В зелени ив пожелтевший листок».

Явью безбольною стало пророчество:
Просинь небес и снега за окном.
В хижине тихо. Покой, одиночество —
Веют нагорным, свежительным сном.

104.

Набух, оттаял лед на речке,
Стал пегим, ржаво-золотым.
В кустах затеплилися свечки
И засинел кадильный дым.

Березки — бледные белички,
Потупясь, выстроились в ряд.
Я голоску веснянки-птички,
Как материнской ласке, рад.

Природы радостный причастник,
На облака, молюся я.
На мне инóческий подрясник
И монастырская скуфья.

Обету строгому неверен,
Ушел я в поле к лознякам,
Чтоб поглядеть, как мир безмерен,
Как луч скользит по облакам,

Как пробудившиеся речки
Бурлят на талых валунах,
И невидимка теплит свечки
В нагих, дымящихся кустах.

(1912)

105.

Пушистые, теплые тучи,
Над плесом соловая марь.
За гатью, где сумрак дремучий,
Трезвонит Лесной Понамарь.

Плывут вечевые отгулы...
И чудится: витязей рать,
Развеся по ельнику тулы,
Во мхи залегла становать.

Осенняя явь Обонежья
Как сказка, баюкает дух.
Чу, гул... Не душа ли медвежья
На темень расплакалась вслух?

Иль чует древесная сила,
Провидя судьбу наперед,
Что скоро железная жила
Ей хвойную ризу прошьет.

Зовут эту жилу Чугункой, —
С ней лихо и гибель во мгле...
Подъёлыш с Ольховой лазункой
Таятся в родимом дупле.

Тайга — Боговидящий инок,
Как в схиму, закуталась в марь.
Природы великий поминок
Вещает Лесной Понамарь.

106. ВРАЖЬЯ СИЛА

Возят щебень, роют рвы,
Понукают лошаденок.
От встревоженной травы
Дух идет, горюч и тонок.

В лысый пень оборотясь,
На людей дивится леший:
Где дремали топь и грязь,
Там снуют ездок и пеший.

И береза, зелень кос
Гребню ветра подставляя,
Как вдова, бледна от слез:
Тяжела-де участь злая.

Камни-очи луговин
От тоски посоловели,
Прячут изморозь седин
Под кокошниками ели.

И звериный бог Медост
Пришлецам грозит корягой:
Мол пробыть до первых звезд,
Опосля уйти ватагой.

Вот и звезды, как грибы,
На опушке туч буланых...
Вторя снам лесной избы,
Дед бранит гостей незваных:

«Принесло лихую рать,
Зайцу филина-соседа!..»
И с божницы Богомать
Смотрит жалостно на деда.

А над срубленной сосной,
Где комарьи зой и плясы,
«Со святыми упокой»
Шепчет сумрак седовласый.

107.

Обозвал тишину глухоманью,
Надругался над белым «молчи»,
У креста простодушною данью
Не поставил сладимой свечи.

В хвойный ладан дохнул папиросой
И плевком незабудку обжег;
Зарябило слезинками плесо,
Сединою заиндевел мох.

Светлый отрок — лесное молчанье,
Помолясь на заплаканный крест,
Закатилось в глухое скитанье
До святых, незапятнанных мест.

Заломила черемуха руки,
К норке путает след горностай...
Сын железа и каменной скуки
Попирает берестяный рай.

108.

От дремы, от теми-вина
Накренились деды-овины.
Садится за прясло луна,
Как глаз помутнело-совиный.

На просини елей кресты,
Узорно литье и чеканка...
Пробрезжило. Будит кусты
Заливчатым криком зарянка.

Загукала в роще желна,
Витлюк потянул на болото...
В избе заслюдела стена
Как риза, рябой позолотой.

Встречая дремучий рассвет,
В углу, как святой безымянный,
По лестовке молится дед,
Белесым лучом осиянный.

(1914)

109.

Радость видеть первый стог,
Первый сноп с родной полоски,
Есть отжиночный пирог
На меже, в тени березки,

Знать, что небо ввечеру
Над избой затеплит свечки,
Лики ангелов в бору
Отразят лесные речки...

Счастье первое дитя
Усыплять в скрипучей зыбке,
Темной памятью летя
В край, где песни и улыбки,

Уповать, что мир потерь
Канет в сумерки безвестья,
Что как путник, стукнет в дверь
Ангел с ветвью благовестья.

(1913)

110.

Запечных потемок чурается день:
Они сторожат наговорный кистень, —
Зарыл его прадед-повольник в углу,
Приставя дозором монашенку-мглу.

И теплится сказка... Избе лет за двести,
А все не дождется от витязя вести,
Монашка прядет паутины кудель...
Смежает зеницы небесная бель.

Изба засыпает... С узорной божницы
Взирают Микола и сестры Седьмицы,
На матице ожила карлиц гурьба,
Топтыгин с козой — избяная резьба.

Глядь, — в горенке стол самобранкой накрыт,
На лавке разбойника дочка сидит,
На ней пятишовка, из гривен блесня,
Сама же понурей осеннего дня.

Ткачиха-метель напевает в окно:
На саван повольнику ткися рядно, —
Лежит он в логу, окровавлен чекмень,
Не выведал ворог про чудо-кистень...

Колотится сердце... Лесная изба
Глядится в столетья, темна как судьба,
И пестун былин, разоспавшийся дед,
Спросонок бормочет про Тутошний Свет.

111.

Сготовить деду круп, помочь развесить сети,
Лучину засветить, и слушая пургу,
Как в сказке, задремать на тридевять столетий,
В Садко оборотясь, иль в вещего Вольгу.

«Гей, други! Не в бою, а в гуслях нам удача, —
Соловке-игруну претит вороний грай...»
С палатей смотрит Жуть, гудит, как било, Лаче,
И деду под кошмой приснился красный рай.

Там горы-куличи и сыченые реки,
У чаек и гагар по мисе яицо...
Лучина точит смоль, смежив печурки-веки,
Теплынью дышит печь — ночной избы лицо.

Но уж рыжеет даль, пурговою метлищей
Рассвет сметает темь, как из сусека сор,
И слышно, как сова, спеша засесть в дуплище,
Гогочет и шипит на солнечный костер.

Почуя скитный звон, встает с лежанки бабка,
На ней пятно зари, как венчик у святых,
А Лаче ткет валы размашисто и хлябко,
Теряяся во мхах и в далях ветровых.

112.

В овраге снежные ширинки
Дырявит посохом закат,
Полощет в озере, как в кринке,
Плеща на лес, кумачный плат.

В расплаве мхов и тине роясь, —
Лесовику урочный дар, —
Он балахон и алый пояс
В тайгу забросил, как пожар.

У лесового нос — лукошко,
Волосья — поросли ракит...
Кошель с янтарною морошкой,
Луна забрезжить норовит.

Зарит... Цветет загозье лыко,
Когтист и свеж медвежий след,
Озерко — туес с земляникой,
И вешний бор — за лаптем дед.

Дымится пень — ему лет со сто,
Он в шапке, с сивой бородой...
Скрипит лощеное бересто
У лаптевяза под рукой.

(1915)

113.

Черны проталины. Навозом,
Капустной прелью тянет с гряд.
Ушли Метелица с Морозом,
Оставив Марту снежный плат.

И за неделю Март-портняжка
Из плата выкроил зипун,
Наделал дыр, где пол запашка,
На воротник нашил галун.

Кому достанется обнова?..
Трухлявы кочки, в поле сырь,
И на заре, в глуши еловой,
Как ангелок, поет снигирь.

Капели реже, тропки суше,
Ручьи скатилися в долок...
Глядь, на припеке лен кукуший
Вздувает сизый огонек.

(1913)

114.

Облиняла буренка,
На задворках теплынь.
Сосунка-жеребенка
Дразнит вешняя синь.

Преют житные копны,
В поле пробель и зель...
Чу! Не в наши ли окна
Постучался Апрель?

Он с вербой монашек,
На груди образок,
Легкозвоннее пташек
Ветровой голосок.

Обрядись в пятишовку,
И пойдем в синь и гать
Солнце-Божью коровку
Аллилуйем встречать,

Прослезиться у речки,
Погрустить у бугров...
Мы — две белые свечки
Перед ликом лесов.

(1915)

115.

Осинник гулче, ельник глуше,
Снега туманней и скудней.
В пару берлог разъели уши
У медвежат ватаги вшей.

У сосен сто́рожки вершины,
Пахуч и бур стволов янтарь.
На разопрелые низины
Летит с мошнухою глухарь.

Бреду зареющей опушкой, —
На сучьях пляшет солнопек.
Вон, над прижухлою избушкой
Виляет беличий дымок.

Там коротают час досужий
За думой дед, за пряжей мать...
Бурлят ключи, в лесные лужи
Глядится пней и кочек рать.

(1913)

116.

Я дома. Хмарой тишиной
Меня встречают близь и дали.
Тепла лежанка, за стеной
Старухи-ели задремали.

Их не добудится пурга,
Ни зверь, ни окрик человечий...
Чу! С домовихой кочерга
Зашепелявили у печи.

Какая жуть... Мошник-петух
На жердке мреет как куделя,
И отряхает зимний пух —
Предвестье буйного Апреля.

(1913)

117.

Не в смерть, а в жизнь введи меня,
Тропа дремучая лесная!
Привет вам, братья-зеленя,
Потемки дупел, синь живая!

Я не с железом к вам иду,
Дружась лишь с посохом да рясой,
Но чтоб припасть в слезах, в бреду
К ногам березы седовласой,

Чтоб помолиться лику ив,
Послушать пташек-клирошанок,
И, брашен солнечных вкусив,
Набрать младенческих волвянок.

На мху, как в зыбке, задремать,
Под баю-бай осиплой ели...
О пуща-матерь, тучки прядь,
Туман, пушистее кудели, —

Как сладко брагою лучей
На вашей вечери упиться,
Прозрев, что веткою в ручей
Душа родимая глядится!

(1915)

118.

Растрепало солнце волосы —
Без кудрей, мол, я пригоже,
На продрогший луг и полосы
Стелет блесткие рогожи.

То обшарит куст ракитовый,
То распляшется над речкой!..
У соседок не выпытывай,
Близко милый, аль далечко.

За Онежскими порогами
Есть края, где избы — горы,
Где щетина труб с острогами
Застят росные просторы.

Там могилушка бескрестная
Безголосьем кости нежит,
И луна, как свечка местная,
По ночам над нею брезжит.

Привиденьем жуть железная,
Запахнувшись в саван бродит...
Не с того ль, моя болезная,
Солнце тучи хороводит?

Аль и солнышко отмыкало
Болесть нив и бездорожий,
И земле в поминок выткало
Золоченые рогожи.

(1915)

119.

На темном ельнике стволы берез —
На рытом бархате девические пальцы.
Уже рябит снега, и слушает откос,
Как скут струю ручья невидимые скальцы.

От лыж неровен след; покинув темь трущоб
Бредет опушкой лось, вдыхая ветер с юга,
И таежный звонарь — хохлатая лешуга, —
Усевшись на суку, задорно пучит зоб.

(1915)

120.

Под низкой тучей вороний грай,
За тучей брезжит Господний рай.
Вороньи пени на горний свет
Под образами прослышал дед.

Он в белой скруте, суров пробор,
Во взоре просинь и рябь озер...
Не каркай, ворон, тебе на снедь
Речное юдо притащит сеть!

Поделят внуки счастливый лов,
Глазастых торпиц, язей, сигов...
Земля погоста — притин от бурь, —
Душа, как рыба, всплеснет в лазурь.

Не будет деда, но будет сказ,
Как звон кувшинок в лебяжий час,
Когда в просонки и в хмару вод
Влюбленный лебедь подруг ведет...

Дыряв и хлябок небесный плат,
Лесным гарищем чадит закат.
Изба, как верша... Лучу во след
В то-светный сумрак отходит дед.

(1916)

121.

Лесные сумерки — монах
За узорочным часословом.
Горят заставки на листах
Сурьмою в золоте багровом.

И богомольно старцы-пни
Внимают звукам часословным.
Заря, задув свои огни,
Тускнеет венчиком иконным.

Лесных погостов старожил,
Я молодею в вечер Мая,
Как о судьбе того, кто мил,
Над палой пихтою вздыхая:

Забвенье светлое тебе,
В многопридельном хвойном храме,
По мощной жизни, по борьбе,
Лесными ставшая мощами!

Смывает киноварь стволов
Волна финифтяного мрака,
Но строг и вечен часослов
Над котловиною, где рака.

(1915)

122.

Оттепель — баба хозяйка
Лог, как беленая печь.
Тучка — пшеничная сайка —
Хочет сытою истечь.

Стряпке все мало раствора,
Лапти в муке до обор.
К посоху дедушки-бора
Жмется малютка-сугор:

«Дед, пробудися, я таю!
Нет у шубейки полы».
Дед же спросонок: «Знать к Маю
Смолью дохнули стволы».

«Дедушка, скоро ль сутёмки
Косу заре доплетут?..»
Дед же: «Сыреют в котомке,
Чай, и огниво и трут.

Нет по проселку проходу,
Всюду раствор, да блины...»
В вешнюю полую воду
Думы как зори ясны.

Ждешь, как вестей, жаворонка,
Ловишь лучи на бегу...
Чу! Громыхает заслонка
В теплом, разбухшем логу.

123

Льнянокудрых тучек бег —
Перед ведреным закатом.
Детским телом пахнет снег,
Затененный пнем горбатым.

Луч — крестильный образок —
На валежину повешен,
И ребячий голосок
За кустами безутешен.

Под березой зыбки скрип,
Ельник в маревных пеленках...
Кто родился иль погиб
В льнянокудрых сутемёнках?

И кому, склонясь, козу
Строит зорька-повитуха?..
«Поспрошай куму-лозу»,
Шепчет пихта, как старуха.

И лоза, рядясь в кудель,
Тайну светлую открыла:
«На заранке я Апрель
В снежной лужице крестила».

(1916)

124.

Теплятся звезды-лучинки,
В воздухе марь и теплынь.
Веселы будут отжинки,
В скирдах духмянна полынь.

Спят за омежками риги,
Роща — пристанище мглы.
Будут пахучи ковриги,
Зимние избы теплы.

Минет пора обмолота,
Пуща развихрит листы.
Будет добычна охота,
Лоски на слищах холсты.

Месяц засветит лучинкой,
Скрипнет под лаптем снежок...
Колобы будут с начинкой,
Парень матер и высок.

(1913)

125.

Сегодня в лесу именины,
На просеке пряничный дух,
В багряных шугаях осины
Умильней причастниц-старух.

Пышней кулича муравейник,
А пень, как с наливкой бутыль.
В чащé именинник-затейник
Стоит, опершись на костыль.

Он в синем, как тучка, кафтанце,
Бородка — очесок клочок:
О лете, сынке-голодранце,
Тоскует лесной старичок.

Потрафить приятельским вкусам
Он ключницу-осень зовет...
Прикутано старой бурнусом
Спит лето в затишье болот.

Пусть осень густой варенухой
Обносит трущобных гостей, —
Ленивец, хоть филин заухай,
Не сгонит дремоты с очей!

(1915)

126.

Уже хоронится от слежки
Прыскучий заяц... Синь и стыть,
И нечем голые колешки
Березке в изморозь прикрыть.

Лесных прогалин скатерётка
В черничных пятнах; на реке
Горбуньей-девушкою лодка
Грустит и старится в тоске.

Осина смотрит староверкой,
Как четки, листья обронив;
Забыв хомут, пасется Серко
На глади сонных, сжатых нив.

В лесной избе покой часовни —
Труда и светлой скорби след...
Как Ной ковчег, готовит дровни
К веселым заморозкам дед.

И ввечеру, под дождик сыпкий,
Знать, заплутав в пустом бору, —
Зайчонок-луч, прокравшись к зыбке,
Заводит с первенцем игру.

(1915)

127. СМЕРТНЫЙ СОН

Туча — ель, а солнце — белка
С раззолоченным хвостом.
Синева — в плату сиделка
Наклонилась над ручьем.

Голубеют воды-очи,
Но не вспыхивает в них
Прежних удали и мочи,
Сновидений золотых.

Мамка кажет: «Эво, елка!
Хворь, дитя, перемоги...»
У ручья осока — челка,
Камни — с лоском сапоги.

На бугор кафтан заброшен,
С чернью петли, ал узор,
И чинить его упрошен
Пропитуха мухомор.

Что наштопает портняжка,
Все ветшает, как листы,
На ручье ж одна рубашка
Да посконные порты.

От лесной, пролетней гари
Веет дрёмою могил...
Тише, люди, тише, твари, —
Светлый отрок опочил!

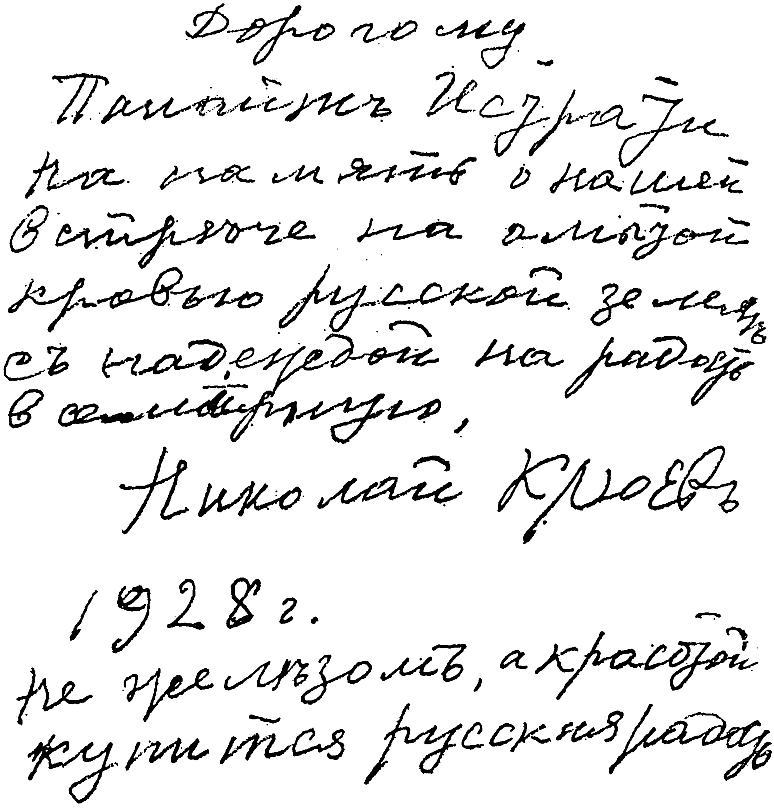
(1915)

128.

Ель мне подала лапу, береза серьгу,
Тучка канула перл, просияв на бегу,
Дрозд запел «Блажен муж» и «Кресту Твоему»
Утомилась осина вязать бахрому.
В луже крестит себя обливанец-бекас,
Ждет попутного ветра небесный баркас:
Уж натянуты снасти, скрипят якоря,
Закудрявились пеной Господни моря,
Вот и сходню убрал белокрылый матрос...
Не удачлив мой путь, тяжек мысленный воз!
Кобылица-душа тянет в луг, где цветы,
Мята слов, древозвук, купина красоты.
Там, под Дубом Покоя, накрыты столы,
Пиво Жизни в сулéях, и гости светлы —
Три пришельца, три солнца, и я — Авраам,
Словно ива ручью, внемлю росным словам:
«Родишь сына — звезду, алый песенный сад.
Где не властны забвенье и дней листопад,
Где береза серьгою и лапою ель
Тиховейно колышут мечты колыбель».

Мирские думы

Памяти храбрых



Дорогому
Панаитъ Истрати
на память о нашей
встрече на омытой
кровью русской земле
съ надеждой на радость
в [illegible],
Николай Клюевъ

1928 г.
не железомъ, а красотой
купится русская радость

Автограф Н. А. Клюева. Надпись на книге «Изба и поле» — посвящение Панаиту Истрати (1928)

129.

В этот год за святыми обеднями
Строже лики и свечи чадней,
И выходят на паперть последними
Детвора да гурьба матерей.

На завалинах рать сарафанная,
Что ни баба, то горе-вдова;
Вечерами же мглица багряная
Поминальные шепчет слова.

Посиделки, как трапеза братская, —
Плат по брови, послушней кудель,
Только изредка матерь солдатская
Поведет причитаний свирель:

«Полетай, моя дума болезная,
Дятлом-птицею в сыр-темен бор...»
На загуменьи ж поступь железная —
Полуночный Егорьев дозор.

Ненароком заглянешь в оконницу —
Видишь въявь, как от северных вод
Копьеносную звездную конницу
Страстотерпец на запад ведет...

Как влачит по ночным перелесицам
Сполох-конь аксамитный чепрак,
И налобником ясным, как месяцем
Брезжит в ельник, пугаючи мрак.

1915

130.

Что ты, нивушка, чернешенька,
Как в нужду кошель порожнешенька,
Не взрастила ты ржи-гуменницы,
А спелегала — к солнцу выгнала
Неедняк-траву с горькой пестушкой?



Н. А. Клюев и С. А. Есенин (Из собрания Г. Мак Вэя) (ок. 1916)

Оттого я, свет, чернотой пошла,
По омежикам замуравела,
Что по ведру я не косулена,
После белых рос не боронена,
Рожью низовой не засеяна...

А и что ты, изба, пошатилася,
С парежа-угара, аль с выпивки,
Али с поздних просонок расхамкавшись,
Вплоть до ужина чешешь пазуху,
Не запрешь ворот — рта беззубого,
Креня в сторону шолом-голову?

Оттого я, свет, шатуном гляжу,
Не смыкаю рта деревянного,
Что от бела дня до полуночи
«Воротись» вопю доможирщику,
Своему ль избяному хозяину.
Вопия, надорвала я печени:
Глинобитную печь с теплым дымником.
Видно, утушке горькой — хозяюшке
Вековать приведется без селезня...

Ты, дорога-путинушка дальняя
Ярый кремень да супесь горючая,
Отчего ты, дороженька, куришься,
Обымаешься копотью каменной?
Али дождиком ты не умывана,
Не отерта туманом-ширинкою,
Али лапоть с клюкой-непоседою
Больно колют стоверстную спинушку?

Оттого, человече, я куревом
Замутилась, как плесо от невода,
Что по мне проходили солдатушки
С громобойными лютыми пушками.
Идучи, они пели: «лебедушку
Заклевать солеталися вороны»,
Друг со другом крестами менялися,
Полагали зароки великие:
«Постоим-де мы, братцы, за родину,
За мирскую Микулову пахоту,

За белицу-весну с зорькой свеченькой
Над мощами полесий затепленной!..»
Стороною же, рыси лукавее,
Хоронясь за бугры да валежины,
Кралась смерть, отмечая на хартии,
Как ярыга, досрочных покойников.

Ах ты, ель-кружевница трущобная,
Не чета ты кликуше осинушке,
Что от хвойного звона да ладана
Бьет в ладошки и хнычет по-заячьи;
Ты ж сплетаешь зеленое кружево
От коклюшек ресниц не здымаючи,
И ни месяц-проныра, ни солнышко
Не видали очей твоих девичьих.
Молви, елушка, с горя аль с устали
Ты верижницей строгою выглядишь?
Не топор ли тебе примерещился,
Печь с беленым, развалистым жарником:
Пышет пламя, с таганом бодается,
И горишь ты в печище, как грешница?

Оттого, человече, я выгляжу
Срубом-церковкой в пуще забытою,
Что сегодня солдатская матушка
Подо мною о сыне молилася:
Она кликала грозных архангелов,
Деву-Пятенку с Теплым Николою,

Припадала как к зыбке, к валежине,
Называла валежину Ванюшкой,
После мох, словно волосы, гладила
И казала сосцы почернелые...
Я покрыла ее епитрахилью,
Как умела родную утешила...
Слезы ж матери — жито алмазное,
На пролете склевала кукушица,
А склевавши она спохватилася,
Что не птичье то жито, а Божие...
Я считаю ку-ку покаянные
И в коклюшках как в требнике путаюсь.

(1915)

131.

Без посохов, без злата
Мы двинулися в путь;
Пустыня мглой объята, —
Нам негде отдохнуть.

Здесь воины погибли:
Лежат булат, щиты...
Пред нами Вечных Библий
Развернуты листы.

В божественные строки,
Дрожа, вникаем мы,
Слагаем, одиноки,
Орлиные псалмы.

О, кто поймет, услышит
Псалмов высокий лад?
А где-то росно дышит
Черемуховый сад.

За створчатою рамой
Малиновый платок, —
Туда ведет нас прямо
Тысячелетний рок.

Пахнуло смольным медом
С березовых лядин...
Из нас с Садко-народом
Не сгинет ни один.

У Садко — самогуды,
Стозвонная молва;
У нас — стихи-причуды,
Заморские слова.

У Садко — цвет-призорник,
Жар-птица, синь-туман;
У нас — плакун-терновник
И кровь гвоздинных ран.

Пустыня на утрате,
Пора исчислить путь,
У Садко в красной хате
От странствий отдохнуть.

(1912)

132. НЕБЕСНЫЙ ВРАТАРЬ

Как у кустышка у ракитова,
У колодечка у студеного,
Не донской казак скакуна поил, —
Молодой гусар свою кровь точил,
Вынимал с сумы полотенышко,
Перевязывал раны черные...
Уж как девять ран унималися,
А десятая словно вар кипит...

С белым светом гусар стал прощатися,
Горючьми слезьми уливатися:
«Ты прощай-ка, родимая сторонушка,
Что ль бажоная теплая семеюшка!
Уж вы ангелы поднебесные,
Зажигайте-ка свечи местные, —
Ставьте свеченьку в ноги резвые,
А другую мне к изголовьицу!
Ты, смеретушка — стара тетушка,
Тише бела льна выпрядь душеньку».

Откуль-неоткуль добрый конь бежит,
На коне-седле удалец сидит,
На нем жар-булат, шапка-золото,
С уст текут меды — речи братские:
«Ты признай меня, молодой солдат,
Я дозор несу у небесных врат,
Меня ангелы славят Митрием,

Преподобный лик — Свет-Солунскиим.
Объезжаю я Матерь-Руссию,
Как цветы вяжу души воинов...
Уж ты стань, солдат, быстрой векшею,
Лазь на тучу-ель к солнцу красному.
А оттуль тебе мостовичина
Ко Маврийскому дубу-дереву, —
Там столы стоят неуедные,
Толокно в меду, блинник масленый;
Стежки торные поразметены,
Сукна красные поразостланы».

(1915)

133.

Луговые потемки, омежки, стога,
На пригорке ракита — сохачьи рога,
Захлебнулась тальянка горючею мглой,
Голосит, как в поминок семья по родной:
«Та-ля-ля, та-ля-ля, ти-ли-ли.
Сенокосные зори прошли.
Август-дед, бородища снопом,
Подарил гармониста ружьем.
Эх-ма, старый, не грызла б печаль,
Да родимой сторонушки жаль.
Чует медное сердце мое,
Что погубит парнюгу ружье,
Что от пули ему умереть,
Мне ж поминные приплачки петь!..»
Луговые потемки, как плат;
Будет с парня пригожий солдат,
Только стог-бородач да поля
Не услышат ночного «та-ля»...

Медным плачем будя тишину,
Насулила тальянка войну.

134. СОЛДАТКА

Скучно молодешеньке у свекра жить в дому,
Мне питье в досадушку, еда не по уму,
Русы мои косыньки повысеклися,
Белые руки примозолилися,
Животы-приданое трунь взяла!

Погляжу я, беднушка, в стекольчато окно, —
Не увижу ль милого за рядой во торгу.
Ах, не торг на улице, не красная гульба,
А лежит дороженька Коломенская!

Как по этой ли дороге воевать милой ушел,
Издалеча слал поклоны, куньей шапкою махал,
На помин зеленой иве часто ветье заломал:
«Мол, пожди меня, сударка, покуль ива зелена,
А как ива облетит, втымеж я буду убит,
Меня ветер отпоет, полуночь глаза сомкнет,
А поплачут надо мной воронье с ковыль-травой!»

(1914)

135. ОБИДИН ПЛАЧ

В красовитый летний праздничек,
На раскат-широкой улице
Будет гульное гуляньице —
Пир — мирское столованьице.
Как у девушек-согревушек
Будут поднизи плетеные,
Сарафаны золоченые.
У дородных добрых молодцев, —
Мигачей и залихватчиков,
Перелетных зорких кречетов,
Будут шапки с кистью до уха,
Опояски соловецкие,
Из семи шелков плетёные.
Только я, млада, на гульбище

Выйду в старо-старом рубище,
Нищим лыком опоясана...
Сгомонятся красны девушки —
Белолицые согревушки,
Как от торопа повального
Отшатятся на сторонушку.
Парни ражие, удалые
За куветы станут талые.
Притулятся на завалины
Старики, ребята малые —
Диво-дивное увидючи,
Промежду себя толкуючи:
«Чья здесь ведьма захудалая
Ходит, в землю носом клюючи?
Уж не горе ли голодное,
Лихо злое, подколодное,
Забежало частой рощею,
Корбой темною, дремучею, —
Через лягу — грязь топучую,
Во селенье домовитое,
На гулянье круговитое?
У нас время не догуляно,
Зелено вино не допито,
Девицы не доцелованы,
Молодцы не долюбованы,
Сладки пряники не съедены,
Серебрушки не доменены...»

Тут я голосом, как молотом,
Выбью звоны колокольные:
Не дарите меня золотом,
Только слухайте, крещеные:
Мне не спалось ночкой синею
Перед Спасовой заутреней.
Вышла к озеру по инею,
По росе медвяной, утренней.
Стала озеро выспрашивать,
Оно стало мне рассказывать
Тайну тихую, поддонную
Про святую Русь крещеную.
От озерной прибауточки,
Водяной потайной басенки

Понабережье насупилось,
Пеной-саваном окуталось.
Тучка сизая проплакала —
Зернью горькою прокапала,
Рыба в заводях повытухла,
На лугах трава повызябла...

Я поведаю на гульбище
Праздничанам-залихватчикам,
Что мне виделось в озерышке,
Во глуби на самом донышке:
Из конца в конец я видела
Поле грозное, убойное,
Костяками унавожено.
Как на полюшке кровавоём
Головами мосты мощены.
Из телес реки пропущены,
Близ сердечушка с ружья паля,
О бока пуля пролятыва,
Над глазами искры сыплются...

*

Оттого в заветный праздничек,
На широкое гуляньице
Выйду я, млада, непутною,
Стану вотдаль немогутною,
Как кручинная кручинушка,
Та пугливая осинушка,
Что шумит-поет по осени
Песню жалкую свирельную,
Ронит листья — слезы желтые
На могилу безымянную.

136. МИРСКАЯ ДУМА

Не гуси в отлет собирались,
Не лебеди на озере скликались, —
Подымались мужики — Пудожане,
С заонежской кряжистой Карелой,
С Каргопольскою дикой Лешнею,

Со всею полесной хвойною силой,
Постоять за крещеную Землю,
За зеленую матерь-пустыню,
За березыньку с вещей кукушкой...

Из-под ели два-десять вершинной
От сиговья Муромского плёса,
Подымался Лазарь преподобный
Ратоборцам дать благословенье,
Провещать поганых одоленье...
Вопрошали Лазаря Лешане,
Каргополы, Чудь и Пудожане:
«Источи нам, Лазаре всечудный,
На мирскую думу сказ медвяный:
Что помеха злому кроволитью, —
Ум-хитрец аль песня-межеумка,
Белый воск, аль черное железо?»
Рек святой: «Пятьсот годин в колоде
Почивал я, об уме не тщася;
Смерть моих костей не обглодала,
Из телес не выплавила сала,
Чтоб отлить свечу, чей брезг бездонный
У умерших теплится во взоре,
По ночному кладбищу блуждает,
Черепа на плитах выжигая;
А железо проклято от века:
Им любовь пригвождена ко древу,
Сожаленью ребра перебиты,
Простоте же в мир врата закрыты.

Белый воск и песня-недоумка
Истекли от вербы непорочной:
Точит верба восковые слезы
И ведет зеленый тайный причит
Про мужицкий рай, про пир вселенский,
Про душевный град, где «Свете Тихий».
И тропарь зеленый кто учует,
Тот на тварь обуха не поднимет,
Не подрубит яблони цветущей,
И веслом бездушным вод не ранит...»

Поклонились Лазарю Лешане,
Каргополы, Лопь и Пудожане:
«Сказ блаженный, как баю над зыбкой,
Что певала бабка Купариха
У Дедери Храброго на свадьбе».
Был Дедеря лют на кроволитье,
После ж песни стал, как лес осенний,
Сердцем в воск, очами в хвой потемки,
А кудрями в прожелть листопада.

137.

Кабы я не Акулиною была,
Не Пахомовной по батюшке слыла,
Не носила б пятишовки с галуном,
Становицы с оподольником,
Еще чалых кос под сборником, —
Променяла бы я жарник с помелом
На гнедого с плящим огненным ружьем,
Ускакала бы со свекрова двора
В чужедальщину, где вражьи хутора,
Где станует бусурманская орда,
Словно выдра у лебяжьего гнезда;
Разразила бы я огненным ружьем
Супротивника с нахвальщиком-царем.
«Не хвались-де, снаряжаючись на рать,
На крещеную мирскую благодать!
Лучше выдай-ка за черные вины
Из ордынской, государевой казны
На мужицкий полк алтынов по лубку,
А на бабий чин камлоту по куску,
Старикам по казинетовым портам,
Бабкам-клюшницам по красным рукавам,
Еще дитятку Алешеньке
Зыбку с пологом алешеньким,
Чтобы полог был исподом канифас,
На овершьи златоризый чудный Спас,
По закромкам были б рубчаты мохры,
Чтобы чада не будили комары,
Не гусело б его платьице
В новой горенке на матице!»

138. ПОМИННЫЙ ПРИЧИТ

Покойные солдатские душеньки
Подымаются с поля убойного:
До подкустья они — малой мошкою,
По надкустью же — мглой столбовитою,
В Божьих воздухах синью мерещатся,
Подают голоса лебединые,
Словно с озером гуси отлетные,
С свято-русской сторонкой прощаются.

У заставы великой, предсолнечной
Входят души в обличие плотское,
Их встречают там горние воины
С грознокрылым Михайлом архангелом,
По три-краты лобзают страдателей,
Изгоняют из душ боязнь смертную.
Опосля их ведут в храм апостольский —
По своим телесам окровавленным
Отстоять поминальную служебку.
Правит службу им Аввакум пророк,
Чтет писание Златоуст Иван,
Херувимский лик плещет гласами,
Солнце-колокол точит благовест.

Как улягутся веи сладкие,
Сходит Божий Дух на солдатушек,
Словно теплый дождь озимь ярую,
Насыщая их брашном ангельским,
Горечь бренных дней с них смываючи,
Раны черные заживляючи...

На последки же громовник Илья
Со Еремою запрягальником,
Снаряжают им поезд огненный, —
Звездных меринов с колымагами,
Отвезти гостей в преблаженный рай,
Где страдателям уготованы

Веси красные, избы новые,
Кипарисовым тесом крытые,
Пожни сенные — виноград-трава,
Пашни вольные, бесплатежные —
Всё солдатушкам уготовано,
Храбрым душенькам облюбовано.

139.

Гей, отзовитесь, курганы, —
Клады, седые кремли, —
Злым вороньем басурманы
Русский рубеж облегли!

Чуется волчья повадка,
Рысье мяуканье, вой...
Аль булавы рукоятка
С нашей не дружна рукой?

Али шишак златолобый
Нам не по ярую бровь?
Пусть богатырские гробы
Кроет ковыльная новь, —

Муромцы, Дюки, Потоки
Русь и поныне блюдут...
Чур нас! Вещуньи-сороки
Щокот недобрый ведут,

В сутемень плачут гагары,
Заяц валежник грызет, —
Будут с накладом товары,
Лют на поганых поход.

Гром от булатных ударов
Слаще погудной струны...
Радонеж, Выгово, Саров, —
Наших имен баюны.

Гей, отзовитеся, деды, —
Правнуков меч не ослаб!
Витязю после победы
Место в светелке у баб.

Ждут его сусло, что пенник,
Гребень-шептун перед сном,
В бане ж духмянистый веник,
Шайка с резным ободком.

Хата чужбины не плоше,
К суслу кто ж больно охоч, —
С первой веселой порошей
Зыбку для первенца прочь.

Ярого кречета раны
Сыну-орлу не в изъян...
Мир вам, седые курганы,
Тучи, сказитель-бурьян!

1915

140. СКРЫТНЫЙ СТИХ

По крещеному Белому Царству
Пролегла великая дорога,
Протекла кровавая пучина —
Есть проход лихому человеку,
Чтоль проезд ночному душегубу.
Только нету вольного проходу
Тихомудру Божью пешеходу.
Как ему — Господню — путь засечен,
Завален проклятым Черным Камнем.

Из песен олонецких скрытников

Не осенний лист падьмя падает,
Не березовый наземь валится,
Не костер в бору по моховищам

Стелет саваном дымы-пажегу, —
На Олон-реку, на Секир-гору
Сходилася нища братия.
Как Верижники с Палеострова,
Возгорельщики с Красной Ягремы,
Солодяжники с речки Андомы,
Крестоперстники с Нижней Кудамы,
Толоконники с Ершеедами,
Бегуны-люди с Водохлёбами,
Всяка сборица-Богомольщина:
Становилася нища братия
На велик камень, со которого
Бел плитняк плитят на могилища,
Опосля на нем — внукам памятку —
Пишут теслами год родительский,
Чертят прозвище и изочину,
На суклин щербят кость Адамову...

Не косач в силке ломит шибанки,
Черный пух роня, кровью капая,
Не язвец в норе на полесника
Смертным голосом кличет Ангела, —
Что ль звериного добра пестуна, —
Братья старища свиховалися,
О булыжину лбами стукнули, —
Уху Спасову вестку подали:
«Ты, Пречистый Спас, Саваофов Сын, —
Не поставь во грех воздыхания:
Али мы тебе не служители,
Нищей лепоты не рачители,
Не плакиды мы, не радельщики,
За крещеный мир не молельщики,
Что нашло на нас время тесное,
Негде нищему куса вымолить,
Малу луковку во отишьи съесть?
Во посад идти, — там табашники,
На церковный двор, — всё щепотники,
В поле чистое, — там Железный Змий,
Ко синю морю, — в море Чудище!

Железняк летит, как гора валит,
Юдо водное Змию побратень:
У них зрак — огонь, вздохи — торопы,
Зуб — литой чугун, печень медная...
Запропасть от них Божью страннику,
Зверю, птичине на убой пойти,
Умной рыбице в глубину спляснуть!»

Покуль старища Спасу плакались,
На кажину тварь легота нашла:
Скокнул заюшка из-под кустышка,
Вышел журушка из болотины,
Выдра с омута наземь вылезла,
Лещ по заводи пузыри пустил,
Ель на маковке крест затеплила.

Как на озере Пододонница,
Зелень кос чеша, гребень выронит,
И пойдет стозвон по зажоринам,
Через гатища, до матерых луд,
Где судьба ему в прах рассыпаться,
Засинеть на дне ярым жемчугом, —
Так молельщикам Глас почуялся:
«Погублю Ум Зла Я Умом Любви,
Положу препон силе Змиевой,
Проращу в аду рощи тихие,
По земле пущу воды сладкие, —
Чтобы демоны с человеками
Перстнем истины обручилися,
За одним столом преломляли б хлеб,
И с одних древес плод вкушали бы!..»

Старцы Голосу поклонилися,
Обоюдный труд взяли в розмысел:
Отшатиться им на крещену Русь, —
По лугам идти — муравы не мять,
Во леса ступить — зверю мир нести,
Не держать огня, трута с плоткою,
Что ль того ножа подорожного,

Когда Гремь гремит, Тороп с Вихорем
В грозовом бою ломят палицы
Норовят сконать Птицу-Фиюса,
Вьюжный пух с нее снегом выперхать,
Кровь заре отдать, гребень — сполоху,
А посмертный грай волку серому, —
Втымеж пахарю тайн не сказывать.
Им тогда вести речи вещие,
Когда солнышко засутемится,
И черница-темь сядет с пяльцами
Под оконце шить златны воздухи, —
Чтоб в простых словах бранный гром гремел,
В малых присловьях буря чуялась,
В послесловии ж клекот коршуна,
Как душа в груди, ясно слышался, —
Чтоб позналась мочь несусветная,
Задолело бы гору в пястку взять,
Сокрушить ее, как соломину.

(1914)

141. СЛЕЗНЫЙ ПЛАТ

Не пава перо обронила,
Обронила мать солдатская платочек,
При дороженьке слезный утеряла.
А и дождиком плата не мочит,
Подкопытным песком не заносит...
Шел дорогой удалый разбойник,
На платок, как на злато, польстился —
За корысть головой поплатился.
Проезжал посиделец гостиный,
Потеряжку почел за прибыток —
Получил перекупный убыток...
Пробирался в пустыню калика
С неугасною свеченькой в шуйце,
На устах с тропарем перехожим;
На платок он умильно воззрился,

Величал его честной слезницей:
«Ай же плат, много в устье морское
Льется речек, да счет их известен,
На тебе ж, словно рос на покосе,
Не исчислить болезных слезинок!
Я возьму тебя в красную келью
Пеленою под Гуриев образ,
Буду Гурию-Свету молиться
О солдате в побоище смертном, —
Чтобы вражья поганая сабля
При замашке закал потеряла,
Пушки-вороны песенной думы
На вспугнули бы граем железным,
Чтоб полесная яблоня-песня,
Чьи цветы плащаницы духмянней,
На Руси как веха зеленела,
И казала бы к раю дорогу!»

(1916)

142. РУСЬ

Не косить детине пожен,
Не метать крутых стогов, —
Кладенец из красных ножен
Он повынул на врагов.

Наговорна рукоятка,
Лезвие — светлей луча,
Будет ворогу не сладко
От мужицкого меча!

У детины кудри — боры,
Грудь — Уральские хребты,
Волга реченька — оборы,
Море синее — порты.

Он восстал за сирых братов,
И, возмездием горя,
Пал на лысину Карпатов
Кладенец богатыря.

Можно б вспять, поправши злобу,
Да покинешь ли одну
Русь Червонную — зазнобу
В басурманском полону!

Гоже ль свадебную брагу
Не в Белградской гридне пить,
Да и как же дружку-Прагу
Рушником не подарить!

Деду Киеву похула
Алый краковский жупан...
Словно хворост, пушек дула
Попирает великан.

Славься, Русь! Краса-девица,
Ладь колечко и фату, —
Уж спрядает заряница
Бранной ночи темноту.

Вспыхнет день под небосклоном, —
Молодых в земле родной
Всеславянским брачным звоном
Встретит Новгород седой!

1914

143. ПЕСНЯ О СОКОЛЕ И О ТРЕХ ПТИЦАХ БОЖИИХ

Как по озеру бурливому,
По Онегушку шумливому,
На песок-луду намойную,
На коряжину надводную,
Что ль на тот горючий камешек, —
Прибережный кремень муромский, —
Птицы вещие слеталися,
От туманов отряхалися.

Перва птица — Куропь снежная,
Друга — черная Габучина,
А как третья птица вещая —
Дребезда золотоперая.
Взговорила Куропь белая
Человечьим звонким голосом:
Ай же, птицы вы летучие, —
Дребезда и ты Габучина,
Вы летели мимо острова,
Миновали море около,
А не видли ль змея пестрого,
Что ль того Лихого Сокола?
Отвечали птицы мудрые:
Ай же, Куропь белокрылая,
Божья птица неповинная,
У тебя ль перо Архангела,
Голос грома поднебесного, —
Сокол враг, змея суровая,
Та ли погань стоголовая,
Обрядился не на острове,
Схоронился не на ростани,
А навис погодной тучею,
Разметался гривой долгою
Надо свят-рекой текучею —
Крутобережною Волгою.
От налета соколиного,
Злого посвиста змеиного
Волга-реченька смутилася,
В сине море отшатилася...
Ой, не звоны колокольные
Никнут к земи, бродят около, —
Стонут люди полоненные
От налета злого Сокола.
И не песня заунывная
Над полями разливается, —
То плакун-трава могильная
С жалким шорохом склоняется!..

*

Мы слетелись птицы умные
На совет, на думу крепкую,

Со того ли саду райского —
С кипариса — Божья дерева.
Мы удумаем по-птичьему,
Сгомоним по-человечьему:
Я — Габучина безгрешная,
Птица темная, кромешная,
Затуманю разум Соколу,
Очи выклюю у серого,
Чтоб ни близ себя, ни около
Не узнал он света белого.
Дребезда тут речь сговорила:
Я развею перья красные
На равнины святорусские,
В буруны озер опасные,
Что ль во те ли речки узкие.
Где падет перо небесное,
Там слепые станут зрячими,
Хромоногие — ходячими,
Безъязыкие — речистыми,
Темноумные — лучистыми.
Где падет перо кровавое,
Там сыра земля расступится,
Море синее насупится,
Вздымет волны над дубравою —
Захлестнет Лихого Сокола,
Его силищу неправую,
Занесет кругом и около
Глиной желтою, горшечною,
И споет с победной славою
Над могилой память вечную.
Прибредет мужик на глинянник,
Кирпича с руды натяпает
На печушку хлебопечную,
На завалину запечную,
Станет в стужу полузимнюю
Спину греть да приговаривать:
Вот те слава Соколиная —
Ты бесславьем опозорилась.
Напоследок слово молвила
Куропь — птица белоперая:

А как я, росой вспоенная,
Светлым облаком вскормленная, —
Возлечу в обитель Божию,
К Саваофову подножию,
Запою стихиру длинную,
Сладословную, умильную.
Ту стихиру во долинушке
Молодой пастух дослушает,
Свесит голову детинушка,
Отмахнет слезу рубахою,
И под дудочку свирельную
Сложит новую бывальщину.

Аминь.

144. СВЯТАЯ БЫЛЬ

Солетали ко мне други-воины
С братолюбным уветом да ласкою,
Приносили гостинцы небесные,
Воду, хлеб, виноградье Адамово,
Благовестное ветвие раево.
Вопрошали меня гости-воины:
Ты ответствуй, скажи, добрый молодец,
Отчего ты душою кручинишься,
Как под вихорем ель, клонишь голову?
Износилось ли платье стожарное,
Загусел ли венец зарнокованный,
Али звездные перстни осыпались,
Али райская песня не ладится?
Я на спрос огнекрылым ответствовал:
Ай же други — небесные витязи,
Мое платье — заря, венец — радуга,
Перстни — звезды, а песни, что вихори,
Камню, травке и зверю утешные;
А кручинюсь, сумлююсь я, друженьки,
По земле святорусския-матери:
На нее века я с небес взирал,

К ней звездой слетев, человеком стал;
Двадцать белых зим, весен, осеней
Я дышу земным бренным воздухом,
Вижу гор алтарь, степь-кадильницу,
Бор — притин молитв, дум убежище, —
Всем по духу брат, с человеками
Разошелся я жизнью внутренней...

Святорусский люд темен разумом,
Страшен косностью, лют обычаем;
Он на зелен бор топоры вострит,
Замуруд степей губит полымем.
Перед сильным — червь, он про слабого
За сивухи ковш яму выроет,
Он на цвет полей тучей хмурится,
На красу небес не оглянется...

*

Опустив мечи и скрестив крыла,
Мой навет друзья чутко слушали.
Как весенний гром на поля дохнет,
Как в горах рассвет зоем скажется,
Как один из них взвеял голосом:
Мир и мир тебе, одноотчий брат,
Мир устам твоим, слову каждому!
Мы к твоим речам приклонили слух,
И дадим ответ по разумию.
Тут взмахнул мечом светозарный гость,
Рассекал мою клеть телесную,
Выпускал меня, словно голубя,
Под зенитный круг, в Божьи воздухи.
И открылось мне: Глубина Глубин,
Незакатный Свет, только Свет один!
Только громы кругом откликаются,
Только гор алтари озаряются,
Только крылья кругом развеваются!
И звучит над горами: Победа и Мир!

В бесконечности духа бессмертия пир.

(1911)

145. БЕСЕДНЫЙ НАИГРЫШ, СТИХ ДОБРОПИСНЫЙ

«Его же в павечернее междучасие
пети подобает, с малым погрецом
ногтевым и суставным».

Из Отпуска — тайного свитка
олонецких сказителей-скрытников

По рожденьи Пречистого Спаса,
В житие премудрыя Планиды,
А в успенье Поддубного старца, —
Не гора до тверди досягнула,
Хлябь здынула каменною плешью,
В стороне, где солнышко ночует
На кошме, за пологом кумачным,
И где ночь-горбунья зелье варит,
Чернит косы копотью да сажей,
Под котлом валежины сжигая, —
Народилось железное царство
Со Вильгельмищем, ца́рищем поганым.
У него ли, нечестивца, войска — сила,
Порядового народа — несусветно;
Они веруют Лютеру-богу,
На себя креста не возлагают,
Великого говения не правят,
В Семик-день веника не рядят,
Не парятся в парной паруше,
Нечистого духа не смывают,
Опосля Удилёну не кличут:
«Матушка ржаная Удилёна,
Расчеши солому — золот волос,
Сдобри бражкой, патокою колос...»

*

Не сарыч кричит за буераком,
На свежье детенышей сзывая,
И не рысь прыскучая лесная
В ночь мяучит, теплой кровью сыта, —
То язык злокозненный глаголет,
Царь железный пыхает речами:
«Голова моя — умок лукавый,

Поразмысли ты, пораскумекай,
Мне кого б в железо заковати?
Ожелезил землю я и воды,
Полонил огонь и пар шипучий,
Ветер, свет колодниками сделал,
Ныне ж я, как куропоть в ловушку,
Светел Месяц с Солнышком поймаю:
Будет Месяц, как петух на жердке,
На острожном тыне перья чистить,
Брезжить зобом в каменные норы
И блюсти дозоры неусыпно!
Солнцу ж я за спесь, за непокорство
С ног разую красные бахилы,
Желтый волос, ус лихой косатый
Остригу на войлок шерстобитам;
С шеи Солнца бобчатую гривну
Кобелю отдам на ожерелок,
Повалю я красного спесивца
На полати с бабой шелудивой —
Ровня ль будет соколу ворона?»

Неедуча солодяга без прихлебки,
Два же дела без третьего не гожи,
Третье ж дело — гуменная работа,
Выжать рожь на черниговских пашнях,
Волгу-матку разлить по бутылям,
С питухов барыши загребая,
С уха ж Стенькина славного кургана
Сбить литую куяшную шапку,
А с Москвы, боярыни вальяжной,
Поснимать соболью пятишовку,
Выплесть с кос подбрусник златотканный,
Осыпные перстни с ручек сбросить.
На последки ж мощи Макавея
Истолочь в чугунной полуступе,
Пропустить труху через решета
И отсевком выбелить печища,
А попов, игуменов московских
Положить под мяло, под трепало —
Лоско ль будет черное мочало!..

*

Не медушник-цветик поит дрема
Павечерней сыченой росою,
И не крест — кладбищенский насельник,
Словно столпник, в тайну загляделся —
Мать-Планида на Руси крещеной
От страды келейной задремала.
Был ли сон, аль малые просонки,
Только въявь Планидушке явились
Петр апостол с Пятенкою-девой.
И рекли святые: «Мать-Планида,
Под скуфьей уснувши стопудовой,
За собой и Русь ты усыпила!
Ты вставай-ка, мать, на резвы ноги,
Повести-ка Русь о супостате.
Не бери в гонцы гуляку-Вихря,
Ни сестриц Сутемок чернокосых,
Ни Мороза с Зоем перекатным:
Вихрю пляс, присвистка да присядка,
Балалайки дробь — всего милее;
Недосуг Сутемкам, — им от Бога
Дан наказ Заре кокошник вышить,
Рыбьи глазки с зеньчугом не спутать,
Корзным стегом выпестрить очелье.
У Мороза же не гладки лыжи,
Где пройдет, там насты да суметы,
В теплых пимах, в малице оленьей
На ходе Морозушко сопреет,
А сопрев, по падям, по низинам
Расплеснется речкой полводной.
Звонаря же Зоя брать негоже, —
Без него трущоба — скит без била,
Зой ку-ку загозье, гомон с гремью
Шаргунцами вешает на сучья;
Ввечеру ж монашком сладкогласным
Часослов за елями читает...
Ты прими-ка, матушка Планида,
Во персты отмычки золотые,
Пробудившись, райскими ключами
Отомкни синь-камень несекомый,

Вызволь ты из каменной неволи
Паскарагу, ангельскую птицу,
Супротив стожарной Паскараги
Бирюча на белом свете нету!..»
От словес апостольских Планида
Как косач в мошище, встрепенулась,
Круто буйну голову здынула,
Откатила скуфью за Онего.
Кур-горой скуфья оборотилась,
Опушь стала ельником кромешным,
А завязка речкою Сорогой...

*

Ой люди крещеные,
Толико ученые,
Слухайте-внимайте,
На улицу баб не пускайте,
Ребят на воронец —
Дочуять песни конец,
На лежанку старух,
Чтобы голос не тух!
Господи благослови,
Царь Давид помоги,
Иван Богослов,
Дай басеньких слов,
В подъязычный сустав
Красных погрецов-слав,
А с того, кто скуп,
Выпеть денежек рубь!..

*

Тысчу лет живет Макоша-Морок,
След крадет, силки за хвоей ставит,
Уловляет души человечьи,
Тысчу лет и Лембэй пущей правит,
Осенщину-дань сбирая с твари:
С зайца — шерсть, буланый пух с лешуги,
А с осины пригоршню алтынов,

Но никто за тысчу зим и весен
Не внимал напеву Паскараги!
Растворила вещая Планида,
Словно складень, камень несекомый,
И запела ангельская птица,
О невзгоде Русь оповещая:

Первый зык дурманней кос девичьих
У ручья знобяник-цвет учуял, —
Он поблек, как щеки ненаглядной
На простинах с воином-зазнобой —
Вещий знак, что много дроль пригожих
На Руси без милых отдевочат.

Зык другой, как трус снегов поморских,
Как булатный свист несметных сабель,
Когда кровь, как жар в кузнечном горне,
Вспучив скулы, Ярость раздувает,
И киркою Смерть-кладоискатель
Из сраженных души исторгает.

Третий зык, как звон воды в купели,
Когда Дух на первенца нисходит,
В двадцать лет детину сыном дарит,
Молодицу ж горлинку — в семнадцать.
Водный звон учуял старичище
По прозванью Сто Племен в Едином,
Он с полатей зорькою воззрился
И увидел рати супостата.
Прогуторил старый: «эту погань,
Словно вошь на гаснике, лишь баней,
Лютым паром сжить со света можно...»
Черпанул старик воды из Камы,
Черпанул с Онеги ледовитой,
И дополнив ковш водой из Дона,
Три реки на каменку опружил.
Зашипели Угорские плиты,
Взмыли пар Уральские граниты,

Валуны Валдая, Волжский щебень
Навострили зубья, словно гребень,
И как ельник, как над морем скалы,
Из-под камней сто племен восстало...

*

Сказанец — не бабье мотовило,
Послесловье ж присловьем не станет.
А на спрос: «откуль» да «что в последки»
Нам програет Кува — красный ворон;
Он гнездищем с Громом поменялся,
Чтоб снести яйцо — мужичью долю.

1915

Песни из Заонежья

146.

Ах вы, цветики, цветы лазоревы,
Алоцветней вы красной зорюшки,
Скоротечней вы быстрой реченьки!
Как на вас, цветы, лют мороз падет,
На муравушку белый утренник, —
Сгубит зябель цвет, корень выстудит!

Ах ты, дитятко, свет Миколушка,
Как дубравный дуб — ты матёр-станлив,
Поглядеть кому — сердцу завистно,
Да осилит дуб душегуб-топор,
Моготу твою — штоф зеленого!

На горе стоит елочка,
Под кудрявою — светелочка,
Во светелке красны девушки сидят,
На кажинной брилянтиновый наряд,
На единой дочке вдовиной —
Посконь с серою мешковиной.

Наезжали ко светлице соколья, —
Всё гостиные купецки сыновья,
Выбирали себе женок по уму,
Увозили распригожих в Кострому,
Оставляли по залавочкам труху —
Вдовью дочерь Миколашке-питуху.

(1914)

147.

Вы белила-румяна мои,
Дорогие, новокупленные.

На меду-вине развоженные,
На бело лицо положенные,

Разгоритесь зарецветом на щеках,
Алым маком на девических устах,

Чтоб пригоже меня, краше не было́,
Супротивницам-подруженькам на зло.

Уж я выйду на широкую гульбу —
Про свою людям поведаю судьбу:

«Вы не зарьтесь на жар-полымя румян,
Не глядите на парчевый сарафан,

Скоро девушку в полон заполонит
Во пустыне тихозвонный белый скит».

Скатной ягоде не скрыться при пути, —
От любови девке сердца не спасти.

(1912)

148.

Западите-ка, девичьи тропины,
Замуравьтесь травою-лебедой, —
Молоденьке зеленой не топтати
Макасатовым красным сапожком.

Приубавила гульбища-воленья
От зазнобушки грамотка-письмо;
Я по зорьке скорописчату читала,
До полуночи в думушку брала.

Пишет девушке смертное прощенье
С Ерусланова, милый, городка, —
На поминку шлет скатное колечко,
На кручинушку бел-гербовый лист.

Я ложила колечко в изголовье, —
Золотое покою не дает.
С ранней пташкою девка пробудилась —
Распрощалася с матерью, отцом.

Обряжалася черною монашкой,
Расставалась с пригожеством-красой...
Замуравьтеся, девичьи тропины,
Смольным ельником, частою лозой.

(1912)

149.

Я сгорела, молоденька, без огня,
Без присухи сердце высушила,
Уж как мой-то муж недобрый до меня,
Не купил мне-ка атласного платка,
А купил злодей, коровушку —
Непорядную работушку!..

Лучше пуд бы мне масла купил,
Подрукавной муки бы мешок, —
Я бы пояс с япанечкой продала,
На те деньги бы стряпейку наняла,
Стряпея бы мне постряпывала,
Я б младешенька похаживала,
Каблучками приколачивала:

Ах вы, красные скрипучи каблучки,
Мне-ка не с кем этой ноченькой легчи —
Нету деда, родной матери с отцом,
Буду ночку коротати с муженьком!
Муженечек на перинушке лежит,
А меня, младу, на лавочку валит,
Изголовьицем ременну плеть кладет,
Потничком велит окутаться:

«Уж ты спи, моя лебедушка, усни,
Ко полуночи квашонку раствори,
К петухам парную баню истопи,
К утру-свету лен повыпряди,
Ко полудню вытки белые холсты,
К сутеменкам муженьку сготовь порты,

У портищ чтоб были строчены рубцы,
Гасник шелковый с кисточкою,
Еще пугвица волжоная...»
Молода жена — ученая.

(1914)

150.

На малиновом кусту
Сладки ягоды в росту,
Они зреют, половеют
На заманку-щипоту.

Затрудила щипота
От калинова моста,
От накладины тесовой,
Молодецка долота.

Малец кладочку долбил,
Долотёшко притупил,
На точило девку милу
Ненароком залучил.

Я не ведала про то,
В моготу ли долото,
Зарудело, заалело
Камень — тело молодо...

У малинова куста
Нету плодного листа,
Ах, в утробе по зазнобе
Зреет ягода густа.

На реке калинов мост
В снежный кутается холст,
Девке торный, незазорный
Первопуток на погост.

На погосте мил дружок
Стружит гробик-теремок...
Белый саван, сизый ладан —
Светлый девичий зарок.

151.

Как по реченьке-реке
В острогрудом челноке,

Где падун-водоворот,
Удалой рыбак плывет.

У него приманно-рус
Закудрявлен лихо ус,

Парус-облако, весло —
Лебединое крыло.

Подмережник — жемчуга,
Во мереже два сига,

Из сиговины один —
Рыбаку заочный сын.

В прибережной осоке,
В лютой немочи-тоске

Заломила руки мать.
Широка речная гладь;

Желтой мели полоса,
Словно девичья коса́,

Заревые янтари —
Жар-монисто на груди.

С рыболовом, крутобок,
Бороздит янтарь челнок.

Глуби ропщут: так иль сяк —
Будешь ты на дне, рыбак.

152. ПЛЯСЕЯ

(Девка-запевало):

Я вечор, млада, во пиру была,
Хмелен мед пила, сахар кушала;
Во хмелю, млада, похвалялася
Не житьем-бытьем — красной удалью.

Не сосна в бору дрожмя дрогнула,
Топором-пилой насмерть ранена,
Не из невода рыба шалая,
Извиваючись, в омут просится, —

Это я пошла в пляску походом:
Гости бражники рты разинули.
Домовой завыл — крякнул под полом,
На запечье кот искры выбрызнул:

Вот я —
Плясея —
Вихорь, прах летучий,
Сарафан —
Синь-туман,
Косы — бор дремучий!
Пляс-гром,
Бурелом,
Лешева погудка,
Под косой —
Луговой
Цветик незабудка!

(Парень-припевало):

Ой, пляска приворотная,
Любовь — краса залетная,
Чем вчуже вами маяться,
На плахе белолиповой
Срубить бы легче голову!

Не уголь жжет мне пазуху,
Не воск — утроба топится,
О камень — тело жаркое
На пляс — красу орлиную
Разбойный ножик точится!

(1912)

153.

На припеке цветик алый
Обезлиствел и поблек, —
Свет-детина разудалый
От зазнобушки далек.

Он взвился бы буйной птицей, —
Цепи-вороги крепки,
Из темницы до светлицы
Перевалы велики:

Призапала к милой стежка,
Буреломом залегла,
За окованным окошком
Колокольная игла.

Всё дозоры да запоры,
Каземат — глухой капкан...
Где вы, косы — темны боры,
Заряница-сарафан?

В белоструганной светелке
Кто призарился на вас,
На фату хрущата шелка,
На узорный канифас?

Заручился кто от любы
Скатным клятвенным кольцом, —
Волос — зарь, малина — губы,
В цвет черемухи лицом?..

Захолонула утроба,
Кровь, как цепи тяжела...
Помяни, душа-зазноба,
Друга — сизого орла!

Без ножа ему неволя
Кольца срезала кудрей,
Чтоб раздольней стало поле,
Песня-вихорь удалей.

Чтоб напева ветрово́ва
Не забыл крещеный край...
Не шуми ты, мать-дуброва,
Думу думать не мешай!

(1913)

154.

Ах, подруженьки-голубушки,
Луговые серы утушки,
Вы берите-ка скорешенько
Пялы новые, точеные,
Еще иглы золоченые,
Шелк бурмитчатый, наводчатый,
Мелкий бисер с ясным золотом,
Расшивайте к сроку-времени
Разузорчатую завесу!
На одном углу — скради глаза,
Наведите солнце с месяцем,
На другом углу — рехнись ума,
Нижьте девушку с прилукою!

Как наедут сват со свахою,
Поезжане с девьим выкупом,
Разглядятся и раззарятся
На мудрены красны шитицы,
А раззарясь, с думы выкинут
Сватать павушку за ворона,
Ощипать перо лазорево,
Довести красу до омута!

(1914)

155. ПОСАДСКАЯ

Не шуми, трава шелкова,
Бел-призорник, зарецвет,
Вышиваю для милова
Левантиновый кисет.

Я по алу левантину
Расписной разброшу стёг,
Вышью Гору Соколину,
Белокаменный острог.

Неба ясные упеки
Наведу на уголки,
Бирюзой занижу реки,
С Беломорьем — Соловки.

Оторочку на кисете
Литерами обовью:
«Люди с титлою», «Мыслете»,
Объявилося: «Люблю».

Ах, не даром на посаде
Грамотеей я слыву...
Зелен-ветер в палисаде
Всколыхнул призор-траву.

Не клонись, вещунья-травка,
Без тебя вдомек уму:
Я — посадская чернавка,
Мил жирует в терему.

У милого — кунья шуба,
Гоголиной масти конь,
У меня — сахарны губы,
Косы чалые в ладонь.

Не окупит мил любови
Четвертиной серебра...
Заревейте на обнове,
Расписные литера!

Дорог камень бирюзовый,
В стёг мудреный заплетись,
Ты, муравонька шелкова,
Самобранкой расстелись.

Не завихрился бы в поле
Подкопытный прах столбом,
Как проскачет конь гоголий
С зарнооким седоком.

(1912)

156. ПЕСНЯ ПРО ВАСИХУ

Откуль пошло прозвище Лешева Находка

Кемское предание.

Баба Василиста
Хороша, грудиста,
Голова кувшином
С носом журавлиным,
Руки — погонялки,
Ноги — волчьи пялки.
Как пошла Васиха
Слободе на лихо
Бёрда наживати,
Самобранку ткати.
Дали ей бердище
По колу зубище...
На повозной паре
Ехали бояре,
Охобни бобровы,
Сами чернобровы:
«Помогай-те Боже
Вытыкать рогожи!»
Баба Василиста
На язык речиста,
Как выжлец у сала,

Мерином заржала.
«Ай да баба-пава,
Гридняя забава...
Быть тебе, Васиха,
В терему ткачихой,
За глумство-отвагу
Трескать солодягу,
За кудель на тыне
Окрестить отныне
Красную Слободку
В Лешеву Находку!»

157. СЛОБОДСКАЯ

Как во нашей ли деревне —
В развеселой слободе,
Был детина, как малина,
Тонкоплеч и чернобров;

Он головушкой покорен,
Сердцем-полымем ретив,
Дозволенья ожениться
У родителя просил.

На кручинное моленье
Не ответствовал отец, —
Тем на утреннем пролете
Сиза голубя сгубил:

У студеного поморья,
На пустынном берегу,
Сын под елью в темной келье
Поселился навсегда.

Иногда из кельи строгой
На уклон выходит он
Поглядеть, как стелет море
По набéрежью туман,

Как плывут над морем тучи,
Волны буйные шумят,
О любови, о кручине,
О разлуке говорят.

(1912)

158. БАБЬЯ ПЕСНЯ

Страховито деревинке под грозой стояти,
Листопадные волосья по ветру трепати,
Таково ли молоденьке за неладным мужем,
Как за вороном касатке, годы коротати.

Надоумилося птахе перышки оправить, —
Молодешеньке у мужа спеси приубавить.
Я рядилася в уборы — в дорогую кику,
Еще в алу косоплетку — по любезну память,

Улещала муженечка в рощу погуляти,
На заманку посулила князем величати.
Улучала молоденька времени маленько, —
Привязала лиходея ко дремучей ели.

Я гуляла-пировала круглую неделю
С кудреватым, вороватым, с головой разбойной.
По разлуке, по гостибью разума хватилась,
Заставала душу в теле — муженька у ели:

«Еще станешь ли, негодный, любу веселити?»
— Ой, сударыня-жена, буду забавляти!
«Еще станешь ли, негодный, на гульбу возити?»
— Ой, боярыня-жена, буду на пеганке!

«Ах, пегана у цыгана, сани на базаре,
Крутобокое седельце у дружка в промене,
Погонялочка с уздицей — в кабаке на спице».

(1913)

159.

Я ко любушке-голубушке ходил,
Голубую однорядку износил,
Шубу беличью повыволочил,
Коробейку мелких денег издержал,
Разлюбезной воркованьем докучал:
Я куплю тебе гостинец — скатну нить,
Буду баско оболоченой водить,
Разлюби ты дегтегона-лесника,
Лаптевяза, да Мирона-резчика,
Не подмигивай торговому в ряду,
Не обранивай платочка на ходу,
Протопопу белой ручкой не маши,
Не заглядывай в рыбачьи шалаши,
У калачника не мешкай в курению,
Не давай овса гонецкому коню,
На гонца крутую бровь не наводи,
Чтобы сердце не кровавилось в груди!
У гонца не застоялая душа, —
В торбе ложка и походная лапша.
Он тебя за белояровый овес
Доведет до неуемных горьких слез,
Что ль до зыбки — непотребного лубка,
До отцовского глухого кулака,
Будет зыбочка поскрипывать,
Красна девушка повздыхивать!

(1914)

160. ДОСЮЛЬНАЯ

Не по зелену бархату,
Не по рытому, черевчату,
Золото кольцо катается,
Красным жаром распыляется, —
По брусяной новой горнице,
По накатаной половичине,
Разудалый ходит походом,
Голосит слова ретивые:

Ах, брусяные хоромы,
В вас кому ли жировати,
Красоватися кому?
Угодити мне из горниц,
С белоструганных половиц,
В поруб — лютую тюрьму!

Ах вы, сукна-заволоки,
Вами сосны ли крутити,
Обряжать пути-мосты?
Побраталися с детиной
Лыки с белою рядниной, —
Поминальные холсты!

Ах ты, сад зеленотемный,
Не заманивай соловкой,
Духом-брагой не пои:
У тебя есть гость захожий,
Под лозой лежит пригожий,
С метким ножиком в груди!

Ой, не в колокол ударили,
Не валун с нагорья ринули,
Подломив ковыль с душицею,
На отшибе ранив осокорь, —
Повели удала волостью,
За острожный тын, как ворога,
До него зенитной птахою
Долетает причит девичий:

Ой, не полымя в бору
Полыхает ало —
Голошу — утробой мру
По тебе, удалый.

У перильчата крыльца
Яровая мята
Залучила жеребца
Друга-супостата.

Скакуну в сыром лугу
Мята с зверобоем,
Супротивнику-врагу
Ножик в ретивое.

Свянет мятная трава,
Цвет на бересклете...
Не молодка, не вдова —
Я одна на свете.

Заторится стежка-вьюн
До девичьей хаты,
И не вытопчет скакун
У крылечка мяты.

161. ПЕСНЯ ПРО СУДЬБУ

Из-за леса — лесу темного,
Из-за садика зеленого,

Не ясен сокол вылетывал, —
Добрый молодец выезживал.

По одежи он купецкий сын,
По обличью — парень-пахотник.

Он подъехал во чистом поле
Ко ракитовому кустику,

С корня сламывал три прутика,
Повыстругивал три жеребья.

Он слезал с коня пеганого,
Становился на прогалине,
Черной земи низко кланяясь:

«Ты ответствуй, мать-сыра земля,
С волчняком-травой, с дубровою,

Мне какой, заочно суженый,
Изо трех повыбрать жеребий?

Первый жребий — быть лапотником,
Тихомудрым, черным пахарем,

Средний — духом ожелезиться,
Стать фабричным горемыкою,

Третий — рай высокий, мысленный,
Добру молодцу дарующий,

Там река течет животная,
Веют воздухи безбольные,

Младость резвая не старится,
Не седеют кудри-вихори».

(1912)

162.

Меня матушка будит спозаранья,
Я поздёшенько, девушка, встаю.
Покуль белое личко умываю —
Мне изюмный калачик испечен,
Покуль в цветное платье обряжаюсь,
Мне-ка чарочка меду подана,
Пока медом калачик запиваю, —
На работу подруженьки уйдут...
От крестьянской работки-рукоделья
У подруженек рученьки болят,
Болят спинушка с буйной головою,
Ретивому сердечку тяжело...
Мне ж едина работушка далася —
Шить наводы по алому сукну.
Ах, с сиденья, с девичьего безделья
Сполюблю я удала паренька, —
С распригожим не будет девке тошно

До замужества время коротать, —
До того ли замужества-разлуки,
До проклятого бабьего житья!
Распроклятое бабье жированье,
Расхорошее девичье житье:
Уж я высплюся девушкой досыта,
Нагуляюся красной до люби.

163. КРАСНАЯ ГОРКА

Как у нашего двора
Есть укатана гора,

Ах, укатана, увалена,
Водою полита.

Принаскучило младой
Шить серебряной иглой, —

Я со лавочки встала́,
Серой уткой поплыла,

По за-сенцам — лебедком,
Под крылечико — бегом.

Ах, не ведала млада,
Что гора — моя беда,

Что козловый башмачок
По раскату — не ходок!

Я и этак, я и так —
Упирается башмак.

На ту пору паренек
Подал девушке платок.

Я бахромчат плат брала
Парню славу воздала:

«Ты откуль изволишь быть,
Чем тебя благодарить:

Золотою ли казной,
Али пьяною гостьбой?»

Раскудрявич мне в ответ,
«Я по волости сосед;

Приурочил для тебя
Плат и вихоря-коня,

Сани лаковые,
Губы маковые».

(1912)

164. ПЕСНЯ ПОД ВОЛЫНКУ

Как родители-разлучники
Да женитьба подневольная
Довели удала молодца
До большой тоски-раздумьица!

Допрежь сердце соколиное
Черной немочи не ведало, —
Я на гульбищах погуливал,
Шапки старосте не ламывал.

А теперча я, молодец,
Словно птаха-коноплянница,
Что по зорьке лёт направивши,
Птицелову в сеть сгодилася.

Как лихие путы пташицу,
Так станливого молодчика
Завязала и запутала
Молода жена-приданница.

165. СВАДЕБНАЯ

Ты, судинушка — чужая сторона,
Что свекровьими попреками красна,

Стань-ка городом, дорогой столбовой,
Краснорядною торговой слободой!

Было б дружепьке где волю волевать,
В сарафане-разгуляне щеголять,

Краснорядцев с ума-разума сводить,
Развеселой слобожанкою прослыть,

Перемочь невыносимую тоску —
Подариться нелюбиму муженьку!

Муж повышпилит булавочки с косы,
Не помилует девической красы.

Сгонит с облика белила и сурьму,
Не обрядит в расписную бахрому.

Станет дружепька преклонливей травы,
Не услышит человеческой молвы,

Только благовест учует по утру,
Перехожую волынку в вечеру.

(1912)

166.

Не под елью белый мох
Изоржавел и засох,

Заростала сохлым мхом
Пахотинка-чернозем.

Привелося на грехи
Раскосулить белы мхи,

Призасеять репку
Не часту, не редку.

Выростала репа-мед
Вплоть до тещиных ворот...

Глядь, в осенний репорез
Вор на репище залез.

Как на воре тещин плат
Красной вышивкой назад,

Подзатыльник с галуном...
Неподатлив чернозем.

Зять воровку устерег,
Побивало приберег,

Что ль гужину во всю спину,
На затылицу батог.

Завопила теща-мать:
«Государь — любимый зять,

Погоди меня казнить
Вели говор говорить!

Уж как я, честна вдова,
Как притынная трава,

Ни ездок, ни пешеход
Муравы не колыхнет,

Потоптал тимьян-траву
Ты на студную молву,

Я за студную беду
Дочку-паву уведу!

Ах, без павушки павлин —
Без казны гостиный сын,

Он в зеленый сад пойдет —
Мелко листье опадет,

Выйдет в красный хоровод —
Отшатится весь народ.

Ему тамова житье,
Где кабацкое питье,

Где кружальный ковш гремит,
Ретивое пепелит,

Ронит кудри на глаза
Перегарная слеза!»

(1914)

167. ИВУШКА ЗЕЛЕНЕНЬКА...

Ивушка зелене́нька —
Девушка молоде́нька.
Стали иву ломати —
Девку замуж отдавати.
Красна девушка догадалась,
В нову горницу, свет, кидалась:
«Ах ты, горенка — светлая сидельня,
Мне-ка нонева не до рукоделья,
А еще не до смирныя беседы!
Ах вы, пялы мои золочены,
Ворота ли вами подпирати?
Вы, шелки мои — бобчаты поясья,
По сугорам ли вас расстилати?
Уж вы плящие, ярые свечи,
Темны корбы ли вами палити?
Ты согрева — муравчата лежанка,
Не смолой ли тебя растопити?»
Отвечала лежанка-телогрейка
Она речью крещеной человечьей:
«Лучше б тебе, девушке, родиться
Во сыром болоте черной кочкой,

Чем немилу сапог разувати,
За онучею гривну искати,
За нее лиходея целовати!»

168. СИЗЫЙ ГОЛУБЬ

Сизый голубь ворковал,
Под оконце прилетал;
Он разведал, распознал,
Что в светлице говорят.
Ухитряют во светлице
Сиза в клетку залучить,
Чтобы с голубем девице
Красоту-любовь делить,
Обряжатися-крутиться
В алый кемрик, в скатну нить
Буйноперый под окном
Обернулся пареньком, —
Очи — ночка — день — лицо...
Хлипко девичье крыльцо.
Тесовая дверь бела,
Клетка-горенка мала,
На лежанке пуховик —
Запрокинуть девий лик,
С перелету на груди
Птичьим пылом изойти.

169.

Летел орел за тучею,
В догонку за гремучею,
Он воздухи разреживал,
А туч не опереживал.

Упал орел на застреху
Кружала затрапезного,
Повыглядел в оконницу
Становище кабацкое.

Он в пляс пошел — завихрился,
Обжег метельным холодом,
Нахвальщиков — кудрявичей
Притулил на залавицы...

Ой, яра кровь орлиная,
Повадка-поступь гульная,
Да чарка злая, винная,
Что песенка досюльная,
Не мимо канет-молвится,
Глянь, пьяница-пропойщина,
Мирская краснобайщина,
Тебе ль попарщик сиз орел,
Что с громом силой мерялся,
С крыла дожди отряхивал,
С зениц стожары-сполохи,

Ан он за красоулею
Погнавшись, стал вороною,
Каркуньей загуменною.

А и всё-то она, ворона, грает,
На весь свет растопорха пеняет:
«Извели меня вороги-люди,
Опризорили зависть да лихо,
Разлучили с невестой-звездою,
Подружили с вороньею жирой,
С загуменною, пьяною долей!»

170.

На селе четыре жителя,
Нет у девки уважителя, —
Как у Власа-то савраса борода,
У Никиты нос подбитый завсегда,
У Савелья от безделья чернота, —
Не выводится цыгарка изо рта,
У Ипата кудревата голова,
Да пронесена недобрая молва:
Будто ночкою Ипатушка

Загубил свою разлапушку, —
Вышибал ей печень черную
За повадку непокорную,
За орехи, за изюмные стручки,
За ручные мелкотравчаты платки,
На платочках красны литеры —
Подарил купец из Питера...

Кабы я Ипату любушкой была,
Не такое бы бесчестье навела,
Накурила бы вина позеленей,
Напекла бы колобов погорячей,
Угостила б супостата-миляша,
Чтобы вышла из постылого душа!..

Ах, тальянка udнoсборчатая,
Голосистая, узорчатая,
Выдай погрецы детинушке —
Ласкослову сиротинушке,
Чтобы девку не сушила сухота,
Без жадобного не сгибла б красота,
Не палила б мои кречетьи глаза
Неуемная капучая слеза!

(1914)

171.

Недозрелую калинушку
Не ломают и не рвут, —
Недорощена детинушку
Во солдаты не берут.

Придорожну скатну ягоду
Топчут конник, пешеход, —
По двадцатой красной осени
Парня гонят во поход.

Раскудрявьтесь, кудри-вихори,
Брови — черные стрижи,
Ты, размыкушка-гармоника,
Про судину расскажи:

Во незнаемой сторонушке
Красовита ли гульба?
По страде свежит ли прохододь,
В стужу греет ли изба?

Есть ли улица расхожая,
Девка-зорька, маков цвет,
Али ночка непогожая
Ко сударке застит след?

Ах, размыкушке-гармонике
Поиграть не долог срок!..
Придорожную калинушку
Топчут пеший и ездок.

(1912)

172. СТИХ О ПРАВЕДНОЙ ДУШЕ.

Жила душа свято, праведно;
Во пустыне душа спасалася,
В листвие нага одевалася,
Во бересто боса обувалася,
Притулья-жилья душа не имала,
За застольным брашном не сиживала,
Куса в соль не обмакивала.
Утрудила душа тело белое
Что ль до туги-издыхания смертного,
Чаяла душа, что в рай пойдет,
А пошла она в тартарары.
Закрючили душеньку два огненных пса,
Учали душеньку во уста лакать...
Калыгеря-бес да бес-едун

К Сатане пришли с судной хартией...
Надевал Сатана очки геенские,
Садился на стуло костеножное,
Стал житие души вычитывать:
Трудилась душа по-апостольски,
Служила душа по-архангельски,
Воздыхала душа по-Адамову —
Мукой мучиться душе не за что.
А и в чем же душа провинилася,
В грабеже ль, во разбое поножевничала,
Мостовую ли гривну утаивала,
Аль чужие силки оголаживала,
Аль на уду свят артос насаживала?
Неповинна душенька и в сих грехах...
А как была душа в плоти-живности,
Что ль семи годков без единого,
Так в Страстной Пяток она стреснула,
Не покаявшись, глупыш масленый...
Не суди нас, Боже, во многом,
И спаси нас, Спасе, во малом.
Аминь.

173. ПРОСЛАВЛЕНИЕ МИЛОСТЫНИ

Песня убогого Пафнутьюшки

Не отказна милостыня праведная,
На помин души родительской
По субботним дням подавана
Нищей братьи со мостинами...
А убогому Пафнутьюшке
Дан поминный кус в особицу.

Как у куса нутра ячневы,
С золотой наводной корочкой,
Уж как творен кус на патоке,
Испечен на росном ладане,

А отмяк кусок под образом,
Белым воздухом прикутанный...
Спасет Бог, возблагодарствует
Кормящих, поящих,
Одевающих, обувающих,
Теплом согревающих!
Милостыня сота —
Будет душеньке вольгота;
Хозяину в дому,
Как Адаму во раю,
Детушкам в дому,
Как орешкам во меду!
Спасет Бог радетелей,
Щедрых благодетелей!
Аверкий — банный согреватель,
Душ и телес очищатель,
Сесентий-калужник,
Олексий — пролужник,
Все святые с нами
В ипостасном храме.

Аминь.

Сердце Единорога

174-176. ИЗБЯНЫЕ ПЕСНИ.

Памяти матери

I.

Четыре вдовицы к усопшей пришли...
(Крича бороздили лазурь журавли,
Сентябрь-скопидом в котловин сундуки
С сынком-листодером ссыпал медяки).

Четыре вдовы в поминальных платках,
Та с гребнем, та с пеплом, с рядниной в руках,
Пришли, положили поклон до земли,
Опосле с ковригою печь обошли,
Чтоб печка-лебедка, бела и тепла,
Как допреж, сытовые хлебы пекла.

Посыпали пеплом на куричий хвост,
Чтоб немочь ушла, как мертвец, на погост.
Хрущатой рядниной покрыли скамью, —
На одр положили родитель мою.

Как ель под пилою, вздохнула изба,
В углу зашепталася теней гурьба,
В хлевушке замукал сохатый телок,
И вздулся, как парус, на грядке платок, —
Дохнуло молчанье... Одни журавли,
Как витязь победу, трубили вдали:

«Мы матери душу несем за моря,
Где солнцеву зыбку качает заря,
Где в красном покое дубовы столы
От мис с киселем словно кипень белы.
Там Митрий Солунский, с Миколою Влас
Святых обряжают в камлот и атлас,
Креститель-Иван с ендовы расписной
Их поит живой Иорданской водой!..»

Зарделось оконце... Закат золотарь
Шасть в избу незваный: — «Принес-де стихарь —
Умершей обнову, за песни в бору,
За думы в рассветки, за сказ ввечеру,
А вынос блюсти я с собой приведу
Сутемки, зарянку и внучку-звезду,
Скупцу ж листодеру чрез мокреть и гать
Велю золотые ширинки постлать».

(1916)

II.

Лежанка ждет кота, пузан-горшок хозяйку, —
Объявятся они, как в солнечную старь,
Мурлыке будет блин, а печку-многознайку
Насытят щаный пар и гречневая гарь.

В окне забрежжит луч — волхвующая сказка,
И вербой расцветет ласкающий уют;
Запечных бесенят хихиканье и пляска,
Как в заморозки ключ, испуганно замрут.

Увы, напрасен сон. Кудахчет тщетно рябка,
Что крошек нет в зобу, что сумрак так уныл —
Хозяйка в небесах, с мурлыки сшита шапка,
Чтоб дедовских седин буран не леденил.

Лишь в предрассветный час лесной, снотворной влагой
На избяную тварь нисходит угомон,
Как будто нет Судьбы, и про блины с котягой,
Блюдя печной дозор, шушукает заслон.

(1915)

III.

Осиротела печь, заплаканный горшок
С таганом шепчутся, что умерла хозяйка,
А за окном чета доверчивых сорок
Стрекочет: «близок май, про то, дружок, узнай-ка!

Узнай, что снигири в лесу справляют свадьбу,
У дятла-кузнеца облез от стука зоб,
Что, вверивши жуку подземную усадьбу,
На солнце вылез крот — угрюмый рудокоп,

Что тянут журавли, что проболталась галка
Воришке-воробью про первое яйцо»...
Изжаждалась бадья... Вихрастая мочалка
Тоскует, что давно не моется крыльцо.

Теперь бы плеск воды с веселою уборкой,
В окне кудель лучей и сказка без конца...
За печкой домовой твердит скороговоркой
О том, как тих погост для нового жильца,

Как шепчутся кресты о вечном, безымянном,
Чем сумерк паперти баюкает мечту.
Насупилась изба, и оком оловянным
Уставилось окно в капель и темноту.

(1914)

177.

«Умерла мама» — два шелестных слова.
Умер подойник с чумазым горшком.
Плачется кот и понура корова,
Смерть постигая звериным умом:

Кто она? Колокол в сумерках пегих,
Дух живодерни, ведун-коновал,
Иль на грохочущих пенных телегах
К берегу жизни примчавшийся шквал?

— Знает лишь маковка ветхой церквушки, —
В ней поселилась хозяйки душа,
Данью поминною — рябка в клетушке
Прочит яичко, соломой шурша.

В пестрой укладке повойник и бусы
Свадьбою грезят: «Годов пятьдесят
Бог насчитал, как жених черноусый
Выменял нас — молодухе в наряд».

Время, как шашель, в углу и за печкой
Дерево жизни буравит, сосет...
В звезды конек и в потемки крылечко
Смотрят и шепчут: «вернется... придет...»

Плачет капелями вечер соловый,
Крот в подземельи и дятел в дупле...
С рябкиной дремою, ангел пуховый
Сядет за прялку в кауровой мгле.

«Мама в раю», — запоет веретенце,
«Нянюшкой светлой младенцу-Христу...»
Как бы в стихи, золотые как солнце,
Впрясть волхвованье и песенку ту?

Строки и буквы — лесные коряги,
Ими не вышить желанный узор...
Есть, как в могилах, душа у бумаги —
Алчущим перьям глубинный укор.

(1915-1916)

178.

Шесток для кота, что амбар для попа,
К нему не заглохнет кошачья тропа;
Зола, как перина, — лежи, почивай, —
Приснятся снетки, просяной каравай.

У матери-печи одно на уме:
Теплынь уберечь да всхрапнуть в полутьме;
Недаром в глухой, свечеревшей избе
Как парусу в ведро, дремотно тебе.

Ой, вороны-сны, у невесты моей
Не выклевать вам беспотемных очей!
Летите к мурлыке на теплый шесток,
Куда не заглянет прожорливый рок,

Где странники-годы почили золой,
И бесперечь хнычет горбун-домовой;
Ужели плакида — запечный жилец
Почуял разлуку и сказки конец?

Кота ж лежебока будите скорей,
Чтоб был на стороже у чутких дверей,
Мяукал бы злобно и хвост распушил,
На смерть трясогузую когти острил!

(1916)

179.

Весь день поучатися правде Твоей,
Как вешнюю озимь, ждать светлых гостей,
В раю избяном, и в затишьи гумна
Поплакать медово, что будет «она».

Задремлется деду, лучина замрет —
Бесплотная гостья в светелку войдет,
Поклонится Спасу, погладит внучат,
Как травка лучу, улыбнется на плат:

Висит, дескать, сирый, хозяйке взамен.
Повыкован венчик из облачных пен:
Очелье — алмаз, по бокам — изумруд,
Трех отроков пещных и ангелов труд.

Петух кукарекнет, забрезжит светец,
В дверях засияет Медостов венец;
Пречудный святитель войдет с посошком,
В пастушьих лапотцах, повитый лучом.

За ним, умеряючи крыл паруса,
Предстанет Иван — грозовая краса:
Он с чашей крестильной, и голубь над ним...
Всю ночь поучаюсь я тайнам Твоим.

Заутро у бурой полнее удой,
У рябки яичко, и весел гнедой.
А там, где святые росою прошли,
С курлыканьем звонким снуют журавли:

Чтоб сизые крылья и клюв укрепить,
Им надо росы благодатной испить.

(1915-1916)

180.

Хорошо в вечеру, при лампадке,
Погрустить и поплакать втишок,
Из резной, низколобой укладки
Недовязанный вынуть чулок.

Ненаедою-гостем за кружкой
Усадить на лежанку кота,
И следить, как лучи над опушкой
Догорают виденьем креста,

Как бредет позад дремлющих гумен,
Оступаясь, лохмотница-мгла...
Все по старому: дед, как игумен,
Спит лохань и притихла метла.

Лишь чулок, как на отмели верши,
И с котом раздружился клубок.
Есть примета: где милый умерший,
Там пустует кольцо иль чулок,

Там божничные сумерки строже,
Дед безмолвен, провидя судьбу,
Глубже взор и морщины... О Боже —
Завтра год, как родная в гробу!

(1914)

181.

Заблудилось солнышко в корбах темнохвойных,
Износило лапчатый золотой стихарь:
Не бежит ли красное от людей разбойных,
Не от злых ли кроется в сутемень да в марь.

Али корба хвойная с бубенцами шишек,
С рушниками-зорями просини милей,
Красики с волвянками слаще звездных пышек
И громов размычливей гомон журавлей?

Эво, на валежине, словно угли в жарнике,
Половеет лапчатый золотой стихарь...
Потянули за́ море витлюки-комарники,
Нижет перелесица бляшки да янтарь.

Сядь, моя жадобная, в сарафане сборчатом,
В камчатом накоснике за послушный лен, —
Постучится солнышко под оконцем створчатым —
Шлет-де вестку матушка с Тутошних сторон:

Мы в ответ: радехоньки говору то-светному,
Ходоку от маминой праведной души,
Здынься по крылечику к жарнику приветному,
От росы да мокрети лапти обсуши!

Полыхнувши золотом, прянет гость в предызбицу,
Краснобайной сказкою пряху улестит.
Как игумен в куколе, вечер, взяв кадильницу,
Складню рощ финифтяных ладаном кадит.

В домовище матушка... Пасмурной округою
Водит мглу незрячую поводырка-жуть,
И в рогожном кузове, словно поп за ругою,
В Сторону то-светную солнце правит путь.

(1915)

182.

От сутемок до звезд, и от звезд до зари
Бель бересты, зыбь хвой и смолы янтари,

Перекличка гагар, вод дремучая дремь,
И в избе, как в дупле, рудо-пегая темь,

От ловушек и шкур лисий таежный дух,
За оконцем туман, словно гагачий пух,

Журавлиный пролет, ропот ливня вдали,
Над поморьем лесов облаков корабли,

Над избою кресты благосенных вершин...
Спят в земле дед и мать, я в потемках один.

Чую, — сеть на стене, самопрялка в углу,
Как совята с гнезда, загляделись во мглу,

Сиротеют в укладе шушун и платок,
И на отмели правит поминки челнок,

Ель гнусавит псалом: «яко воск от огня...»
Далеко до лесного железного дня,

Когда бор, как кольчужник, доспехом гремит —
Королевну-Зарю полонить норовит.

(1918)

183.

Бродит темень по избе,
Спотыкается спросонок.
Балалайкою в трубе
Заливается бесенок:

Трынь, да брынь, да тере-ренъ...
Чу! Заутренние звоны!
Богородицына тень,
Просияв, сошла с иконы.

В дымовище сгинул бес,
Печь, как старица, вздохнула.
За окном бугор и лес
Зорька в сыту окунула.

Там, минуючи зарю,
Ширь безвестных плоскогорий,
Одолеть судьбу-змею
Скачет пламенный Егорий.

На задворки вышел Влас
С вербой, в венчике сусальном...
Золотой, воскресный час,
Просиявший в безначальном.

(1915)

184.

Зима изгрызла бок у стога,
Вспорола скирды, но вдомек
Буренке пегая дорога
И грай нахохленных сорок.

Сороки хохлятся — к капели,
Дорога пега — быть теплу.
Как лещ наживку, ловят ели
Луча янтарную иглу.

И луч бежит в переполохе,
Ныряет в хвои, в зыбь ветвей...
По вечерам коровьи вздохи
Снотворней бабкиных речей:

«К весне пошло, на речке глыбко,
Буренка чует водополь»...
Изба дремлива, словно зыбка,
Где смолкли горести и боль.

Лишь в поставце, как скряга злато,
Теленье числя и удой,
Подойник с крынкою щербатой
Тревожат сумрак избяной.

(1916)

185.

В селе Красный Волок пригожий народ,
Лебедушки девки, а парни как мед,
В моленных рубахах, в беленых портах,
С малиновой речью на крепких губах;

Старухи в долгушках, а деды — стога,
Их россказни внукам милей пирога:
Вспушатся усищи, и киноварь слов
Выводит узоры пестрей теремов.

Моленна в селе — семискатный навес:
До горнего неба семь нижних небес,
Ступенчаты крыльца, что час, то ступень,
Всех двадцать четыре — заутренний день.

Рундук запорожный — пречудный Фавор,
Где плоть убелится, как пена озер,
Бревенчатый короб — утроба кита,
Где спасся Иона двуперстьем креста.

Озерная схима и куколь лесов
Хоронят село от людских голосов.
По Пятничным зорям, на хартии вод
Всевышние притчи читает народ:

«Сладчайшего Гостя готовьтесь принять!
Грядет Он в нощи, яко скимен и тать;
Будь парнем женатый, а парень, как дед...»
Полощется в озере маковый свет,
В пеганые глуби уходит столбом
До сердца земного, где праотцев дом.

Там, в саванах бледных, соборы отцов
Ждут радужных чаек с родных берегов;
Летят они с вестью, судьбы бирючи,
Что попрана Бездна и Ада ключи.

(1918)

186. КОВРИГА

Коврига свежа и духмяна,
Как росная пожня в лесу,
Пушист у кормилицы мякиш,
И бел, как береста, испод.

Она — избяное светило,
Лучистее детских кудрей:
В чулан загляни ненароком —
В лицо тебе солнцем пахнет.

И в час, когда сумерки вяжут,
Как бабка, косматый чулок,
И хочется маленькой Маше
Сытового хлебца поесть —

В ржаном золотистом сияньи
Коврига лежит на столе,
Ножу лепеча: «я готова
Себя на закланье принесть».

Кусок у малютки в подоле —
В затоне рыбачий карбас:
Поломана мачта, пучиной
Изгрызены днище и руль, —

Но светлая радость спасенья,
Прибрежная тишь после бурь
Зареют в ребяческих глазках,
Как ведреный, синий Июль.

(1916)

187

Вешние капели, солнопек и хмара,
На соловом плесе первая гагара,

Дух хвои, бересты, проглянувший щебень,
Темью — сон-липуша, россказни да гребень.

Тихий, мерный ужин, для ночлега лавка,
За оконцем месяц — Божья камилавка,

Сон сладимей сбитня, петухи спросонок,
В зыбке снигиренком пискнувший ребенок,

Над избой сутемки — дедовская шапка,
И в углу божничном с лестовкою бабка,

От печного дыма ладан пущ сладимый,
Молвь отшельниц-елей: «иже херувимы»...

Вновь капелей бусы, солнопека складень...
Дум — гагар пролетных не исчислить за день.

Пни — лесные деды, в дуплах гуд осиный,
И от лыж пролужья на тропе лосиной.

(1914)

188.

Ворон грает к теплу, а сорока к гостям,
Ель на полдень шумит — к звероловным вестям.

Если полоз скрипит, конь ушами прядет —
Будет в торге урон и в кисе недочет.

Если прыскает кот и зачешется нос —
У зазнобы рукав полиняет от слез.

А над рябью озер прокричит дребезда —
Полонит рыбака душегубка-вода.

Дятел угол долбит — загорится изба,
Доведет до разбоя детину гульба.

Если девичий лапоть ветшает с пяты, —
Не доесть и блина, как наедут сваты.

При запалке ружья в уши кинется шум —
Не выглаживай лыж, будешь лешему кум.

Семь примет к мертвецу, но про них не теперь, —
У лесного жилья зааминена дверь,

Под порогом зарыт «Богородицын Сон», —
От беды-худобы нас помилует он.

189. БЕЛАЯ ПОВЕСТЬ

Памяти матери

То было лет двадцать назад,
И столько же зим, листопадов,
Четыре морщины на лбу
И сизая стежка на шее —
Невесты-петли поцелуй.
Закроешь глаза, и Оно
Родимою рябкой кудахчет,
Морщинистым древним сучком
С обиженной матицы смотрит,
Метлою в прозябшем углу
На пальцы ветловые дует.
Оно не микроб, не Толстой,

Не Врубеля мозг ледовитый,
Но в победья час мировой,
Когда мои хлебы пекутся,
И печка мурлычет, пьяна
Хозяйской, бобыльною лаской,
В печурке созвездья встают,
Поет Вифлеемское небо,
И Мать пеленает меня —
Предвечность в убогий свивальник.

Оно нарастает, как в темь
Измученный, дальний бубенчик,
Ныряет в укладку, в платок,
Что сердцу святее иконы,
И там серебрит купола,
Сплетает захватистый невод,
Чтоб выловить камбалу-душу,
И к груди сынишком прижать,
В лесную часовню повесть,
Где Боженька книгу читает,
И небо в окно подает
Лучистых зайчат и свистульку.
Потом черноусьем идти,
Как пальчику в бороду тятьке,
В пригоршне зайченка неся —
Часовенный, жгучий гостинец.

Есть остров — Великий Четверг
С изюмною, лакомой елью,
Где Ангел в кутейном дупле
Поет золотые амини, —
Туда меня кличет Оно
Воркующим, бархатным громом,
От Ангела перышко дать.
Сулит — щекотать за кудряшкой,
Чтоб Дедушка-Сон бородой
Согрел дорогие колешки.

Есть град с восковою стеной,
С палатой из титл и заставок,

Где вдовы Ресницы живут
С привратницей-Родинкой доброй,
Где коврик моленный расшит
Субботней страстною иглою,
Туда меня кличет Оно
Куличневым, сдобным трезвоном
Христом разговеться и всласть
Наслушаться вешних касаток,
Что в сердце слепили гнездо
Из ангельских звонких пушинок.

То было лет десять назад,
И столько же весен простудных,
Когда, словно пух на губе,
Подснежная лоснилась озимь,
И Месяц — плясун водяной
Под ольхами правил мальчишник,
В избе, под распятьем окна
За прялкой Предвечность сидела,
Вселенскую душу и мозг
В певучую нить выпрядая.
И Тот, кто во мне по ночам
О печень рогатину точит,
Стучится в лобок, как в притон,
Где Блуд и Чума потаскуха, —
К Предвечности Солнце подвел
Для жизни в лучах белокурых,
Для зыбки в углу избяном,
Где мозг мирозданья прядется.
Туда меня кличет Оно
Пророческим шелестом пряжи,
Лучом за распятьем окна,
Старушьей блаженной слезинкой,
Сулится кольцом подарить
С бездонною брачной подушкой,
Где остров — ржаное гумно
Снопами, как золотом, полон.
И в каждом снопе аромат
Младенческой яблочной пятки,

В соломе же вкус водяной
И шелест крестильного плата...

То было сегодня... Вчера...
Назад миллионы столетий, —
Не скажут ни святцы, ни стук
Височной кровавой толкуши,
Где мерно глухие песты
О темя Земли ударяют, —
В избу Бледный Конь прискакал,
И свежестью горной вершины
Пахнуло от гривы на печь, —
И печка в чертог обратилась:
Печурки — пролеты столпов,
А устье — врата огневые.
Конь лавку копытом задел,
И дерево стало дорогой,
Путем меж алмазных полей,
Трубящих и теплящих очи,
И каждое око есть мир,
Сплав жизней и душ отошедших.
«Изыди» — воззвали Миры,
И вышло Оно на дорогу...

В миры меня кличет Оно
Нагорным пустынным сияньем,
Свежительной гривой дожди
С сыновних ресниц отряхает.
И слезные ливни, как сеть,
Я в памяти глубь погружаю,
Но вновь неудачлив улов,
Как хлеб, что пеку я без Мамы, —
Мучнист стихотворный испод
И соль на губах от созвучий,
Знать, в замысла ярый раствор
Скатилась слеза дождевая.

Долина Единорога

190. БЕЛАЯ ИНДИЯ

На дне всех миров, океанов и гор
Хоронится сказка — алмазный узор, —
Земли талисман, что Всевышний носил
И в Глуби Глубин, наклонясь, обронил.
За ладанкой павий летал Гавриил
И тьмы громкокрылых взыскующих сил, —
Обшарили адский кромешный сундук,
И в Смерть открывали убийственный люк,
У Времени-скряги искали в часах,
У Месяца в ухе, у Солнца в зубах;
Увы! Схоронился «в нигде» талисман,
Как Господа сердце — немолчный таран!..

Земля — Саваофовых брашен кроха,
Где люди ютятся средь терний и мха,
Нашла потеряжку и в косу вплела,
И стало Безвестное — Жизнью Села.

Земная морщина — пригорков мозоли,
За потною пашней — дубленое поле,
За полем лесок, словно зубья гребней, —
Запуталась тучка меж рябых ветвей;
И небо — Микулов бороздчатый глаз
Смежает ресницы — потемочный сказ;
Реснитчатый пух на деревню ползет —
Загадок и тайн золотой приворот.
Повыйди в потемки из хмарой избы —
И вступишь в поморье Господней губы,
Увидишь Предвечность — коровой она
Уснула в пучине, не ведая дна.

Там ветер молочный поет петухом,
И Жалость мирская маячит конем,
У Жалости в гриве овечий ночлег,
Куриная пристань и отдых телег:
Сократ и Будда, Зороастр и Толстой,
Как жилы, стучатся в тележный покой.
Впусти их раздумьем — и въявь обретешь
Ковригу Вселенной и Месячный Нож —

Нарушай ломтей, и Мирская душа
Из мякиша выйдет, крылами шурша.
Таинственный ужин разделите вы,
Лишь Смерти не кличьте — печальной вдовы..

*

В потемки деревня — Христова брада,
Я в ней заблудиться готов навсегда,
В живом чернолесьи костер разложить
И дикое сердце, как угря, варить,
Плясать на углях, и себя по кускам
Зарыть под золою в поминок векам,
Чтоб Ястребу-духу досталась мета —
Как перепел алый, Христовы уста!
В них тридцать три зуба — жемчужных горы,
Язык — вертоград, железа же — юры,
Где слюнные лоси, с крестом меж рогов,
Пасутся по взгорьям иссопных лугов...

Ночная деревня — преддверие Уст...
Горбатый овин и ощеренный куст
Насельников чудных, как струны, полны...
Свершатся ль, Господь, огнепальные сны!
И морем сермяжным, к печным берегам
Грома-корабли приведет ли Адам,
Чтоб лапоть мозольный, чумазый горшок
Востеплили очи — живой огонек,
И бабка Маланья, всем ранам сестра,
Повышла бы в поле ясней серебра
Навстречу Престолам, Началам, Властям,
Взывающим солнцам и трубным мирам!..

О, ладанка Божья — вселенский рычаг,
Тебя повернет не железный Варяг,
Не сводня-перо, не сова-звездочет —
Пяту золотую повыглядел кот,
Колдунья-печурка, на матице сук!..
К ушам прикормить бы зиждительный Звук,
Что вяжет, как нитью, слезинку с луной
И скрип колыбели — с пучиной морской,

Возжечь бы ладони — две павьих звезды,
И Звук зачерпнуть, как пригоршню воды,
В трепещущий гром, как в стерляжий садок,
Уста окунуть, и причастьем молок
Насытиться всласть, миллионы веков
Губы не срывая от звездных ковшов!..

На дне всех миров, океанов и гор
Цветет, как душа, адамантовый бор, —
Дорога к нему с Соловков на Тибет,
Чрез сердце избы, где кончается свет,
Гда бабкина пряжа — пришельцу веха:
Нырни в веретенце, и нитка-леха
Тебя поведет в Золотую Орду,
Где ангелы варят из радуг еду, —
То вещих раздумий и слов пастухи,
Они за таганом слагают стихи,
И путнику в уши, как в овчий загон,
Сгоняют отары — волхвующий звон.
Но мимо тропа, до кудельной спицы,
Где в край «Невозвратное» скачут гонцы,
Чтоб юность догнать, душегубную бровь...
Нам к бору незримому посох — любовь,
Да смертная свечка, что пахарь в перстах
Держал пред кончиной, — в ней сладостный страх
Низринуться в смоль, в адамантовый гул...
Я первенец Киса, свирельный Саул,
Искал пегоухих отцовских ослиц
И царство нашел многоценней златниц:
Оно за печуркой, под рябым горшком,
Столетия мерит хрустальным сверчком.

191.

Судьба-старуха нижет дни,
Как зерна бус — на нить:
Мелькнет игла — и вот они,
Кому глаза смежить.

Блеснет игла — опять черед
Любить, цветы срывать...
Не долог день, и краток год
Нетленное создать.

Всё прах и дым. Но есть в веках
Богорожденный час.
Он в сердобольных деревнях
Зовется Светлый Спас.

Не потому ль родимых сел
Смиренномудрен вид,
Что жизнедательный глагол
Им явственно звучит,

Что небо теплит им огни,
И Дева-благодать
Как тихий лен спрядает дни,
Чтоб вечное соткать?

(1915)

192.

Рыжее жнивье — как книга,
Борозды — древняя вязь,
Мыслит начетчица-рига,
Светлым реченьям дивясь.

Пот трудолюбца Июля,
Сказку кряжистой избы, —
Всё начертала косуля
В книге народной судьбы.

Полно скорбеть, человече,
Счастье дается в черед!
Тучку — клуб шерсти овечьей —
Лешева бабка прядет.

Ветром гудит веретнище,
Маревом тянется нить:
Время в глубоком мочище
Лен с конопелью мочить.

Изморозь стелет рогожи,
Зябнет калины кора:
Выдубить белые кожи
Деду приспела пора.

Зыбку, с чепцом одеяльце
Прочит болезная мать —
Знай, что кудрявому мальцу
Тятькой по осени стать.

Что начертала косуля,
Всё оборотится в быль...
Эх-ма! Лебедка Акуля,
Спой:«не шуми чернобыль!»

(1915)

193.

Так немного нужно человеку:
Корова, да грядка луку,
Да слезинка в светлую поруку,
Что пробьет кончина злому веку,

Что буренка станет львом крылатым,
Лук же древом, чьи плоды — кометы...
Есть живые, вещие приметы,
Что пройдет Господь по нашим хатам:

От оконца тень крестообразна,
Задремала тайна половицей,
И душа лугов парит орлицей
От росы свежительно-алмазна.

Приходи, Жених дориносимый, —
Чиста скатерть, прибрана светелка!..
Есть в хлевушке, в сумерках проселка,
Золотые Китежи и Римы.

Уврачуйте черные увечья,
О святые грады, в слезном храме!..
У коровы дума человечья,
Что прозябнет луковка громами.

194.

Вылез тулуп из чулана
С летних просонок горбат:
Я у татарского хана
Был из наряда в наряд.

Полы мои из Бухары
Род растягайный ведут,
Пазухи — пламя Сахары
В русскую стужу несут.

Помнит моя подоплека
Желтый Кашмир и Тибет,
В шкуре овечьей востока
Теплится жертвенный свет.

Мир вам, Ипат и Ненила,
Печь с черномазым горшком!
Плеск звездотечного Нила
В шорохе слышен моем.

Я — лежебок из чулана
В избу зазимки принес...
Нилу, седым океанам,
Устье — запечный Христос.

Кто несказанное чает,
Веря в тулупную мглу,
Тот наяву обретает
Индию в красном углу.

195.

Печные прибои пьянящи и гулки,
В рассветки, в косматый потемочный час,
Как будто из тонкой серебряной тулки
В ковши звонкогорлые цедится квас.

В полях маята, многорукая жатва,
Соленая жажда и оводный пот.
Квасных переплесков свежительна дратва,
В них раковин влага, кувшинковый мед.

И мнится за печью седое поморье,
Гусиные дали и просырь мереж.
А дед запевает о Храбром Егорье,
Склонив над иглой солодовую плешь.

Неспора починка, и стёг неуклюжий,
Да море незримое нудит иглу:
То Индия наша, таинственный ужин,
Звенящий потирами в красном углу.

Печные прибои баюкают сушу,
Смывая обиды и горестей след...
«В раю упокой Поликарпову душу»,
С лучом незабудковым шепчется дед.

196.

Под древними избами, в красном углу,
Находят распятье, алтын и иглу —
Мужицкие Веды: мы распяты все,
На жернове мельник, косарь на косе.
И куплены медью из оси земной,
Расшиты же звездно Господней иглой.
Мы — кречетов стая, жар-птицы, орлы,
Нам явственны бури и вздохи метлы, —
В метле есть душа — деревянный божок,

А в буре Илья — громогласный пророк...
У Божьей иглы не измерить ушка,
Мелькает лишь нить — огневая река...
Есть пламенный лев — он в мужицких кресцах,
И рык его чуется в ярых родах,
Когда роженичный, заклятый пузырь
Мечом рассекает дитя-богатырь...
Есть черные дни — перелет воронят,
То Бог за шитьем оглянулся назад —
И в душу народа вонзилась игла...
Нас манят в зенит городов купола,
В коврижных поморьях звенящий баркас
Сулится отплыть в горностаевый сказ,
И нож семьянина, ковригу деля,
Как вал ударяет о грудь корабля.
Ломоть черносошный, — то парус, то руль,
Но зубы, как чайки, у Степ и Акуль, —
Слетятся к обломкам и правят пиры...
Мы сеем и жнем до урочной поры,
Пока не привел к пестрядным берегам
Крылатых баркасов нетленный Адам.

197.

Потные, предпахотные думы
На задворках бродят, гомонят...
Ввечеру застольный щаный сад
Множит сны — берестяные шумы.

Завтра вёдро... Солнышко впряглось
В золотую, жертвенную соху.
За оконцем гряд парному вздоху
Вторит темень — пегоухий лось.

Господи, хоть раз бы довелось
Видеть лик Твой, а не звездный коготь!
Мировое сердце — черный деготь
С каплей пота устьями слилось.

И глядеться в океан алмазный —
Наша радость, крепость и покой.
Божью помощь в поле, за сохой
Нам вещает муж благообразный.

Он приходит с белых полуден,
Весь в очах, как луг в медовой кашке...
Привкус моря в пахотной рубашке,
И в лаптях мозольный пенный звон,

Щаный сад весь в гнездах дум грачиных,
Древо зла лишь призрачно голо.
И как ясно-задремавшее стекло —
Жизнь и смерть на папертях овинных.

198.

Пушистые горностаевые зимы,
И осени глубокие, как схима.
На палатях трезво уловимы
Звезд гармошки и полет серафима.

Он повадился телке недужной
Приносить на копыто пластырь —
Всей хлевушки поводырь и пастырь
В ризе непорочно-жемчужной.

Телка ж бурая, с добрым носом,
И с молочным, младенческим взором...
Кружит врачеватель альбатросом
Над избой, над лысым косогором.

В теле буйство вешних перелесков:
Под ногтями птахи гнезда вьют,
В алой пене от сердечных плесков
Осетры янтарные снуют.

И на пупе, как на гребне хаты,
Белый аист, словно в свитке пан,
На рубахе же оазисы-заплаты,
Где опалый финик и шафран.

Где араб в шатре чернотканном,
Русских звезд познав глубину,
Славит думой, говором гортанным
Пестрядную, светлую страну.

199.

О ели, родимые ели,
Раздумий и ран колыбели,
Пир брачный и памятник мой,
На вашей коре отпечатки,
От губ моих жизней зачатки,
Стихов недомысленный рой.

Вы грели меня и питали,
И клятвой великой связали —
Любить Тишину-Богомать.
Я верен лесному обету,
Баюкаю сердце: не сетуй,
Что жизнь, как болотная гать.

Что умерли юность и мама,
И ветер расхлябанной рамой,
Как гроб забивают, стучит,
Что скуден заплаканный ужин,
И стих мой под бурей простужен,
Как осенью листья ракит —

В нем сизо-багряные жилки
Запекшейся крови; подпилки
И критик ее не сотрут.
Пусть давят томов Гималаи, —
Ракиты рыдают о рае,
Где вечен листвы изумруд.

Пусть стол мой и лавка-кривуша —
Умершего дерева души
Не видят ни гостя, ни чаш, —
Об Индии в русской светелке,
Где все разноверья и толки,
Поет, как струна, карандаш.

Там юных вселенных зачатки —
Лобзаний моих отпечатки,
Предстанут, как сонмы богов.
И ели, пресвитеры-ели,
В волхвующей хвойной купели
Омоют громовых сынов.

200.

Утонувшие в океанах
Не восходят до облаков,
Они в подземных, пламенных странах
Средь гремучих красных песков.

До второго пришествия Спаса
Огневейно крылаты они,
Лишь в поминок Всадник Саврасый
На мгновенье гасит огни.

И тогда прозревают души
Тихий Углич и праведный Псков,
Чуют звон колокольный с суши,
Воск погоста и сыту блинов.

Блин поминный круглый не даром:
Солнце с месяцем — Божьи блины,
За вселенским судным пожаром
Круглый год ипостась весны.

Не напрасны пшеница с медом —
В них услада надежды земной:
Мы умрем, но воскреснем с народом,
Как зерно, под Господней сохой.

Не кляните ж, ученые люди,
Вербу, воск и голубку-кутью —
В них мятеж и раздумье о чуде
Уподобить жизнь кораблю,

Чтоб не сгибнуть в глухих океанах,
А цвести, пламенеть и питать,
И в подземных, огненных странах
К небесам врата отыскать.

201.

Осенние сумерки — шуба,
А зимние — бабий шугай,
Пролетние — отрочьи губы,
Весна же — вся солнце и рай.

У шубы дремуча опушка,
Медвежья, лесная душа,
В шугае ж вещунья-кукушка
Тоскует, изнанкой шурша.

Пролетье с весною — услада,
Их выпить бы бражным ковшом...
Есть в отроках хмель винограда,
Брак солнца с надгубным пушком.

Живые, нагие, благие,
О, сумерки Божьих зрачков,
В вас желтый Китай и Россия
Сошлися для вязки снопов!

Тучна, златоплодна пшеница,
В зерне есть коленце, пупок...
Сгинь Запад — Змея и Блудница, —
Наш суженый — отрок Восток!

Есть кровное в пагоде, в срубе —
Прозреть, окунуться в зенит...
У русского мальца на губе
Китайское солнце горит.

202.

Олений гусак сладкозвучнее Глинки,
Стерляжьи молоки Верлена нежней,
А бабкина пряжа, печные тропинки
Лучистее славы и неба святей.

Что небо — несытое, утлое брюхо,
Где звезды роятся глазастее сов.
Покорствуя пряхе, два Огненных Духа
Сплетают мережи на песенный лов.

Один орлеокий, с крылом лиловатым
Пред лаптем столетним слагает свой щит,
Другой тихосветный и схожий с закатом,
Кудельную память жезлом ворошит:

«Припомни, родная, карельского князя,
Бобровые реки и куньи леса»...
В державном граните, в палящем алмазе
Поют Алконосты и дум голоса.

Под сон-веретенце печные тропинки
Уводят в алмаз, в шамаханский узор...
Как стерлядь в прибое, как в музыке Глинки
Ныряет душа с незапамятных пор.

О, русская доля — кувшинковый волос,
И вербная кожа девичьих локтей,
Есть слухи, что сердце твое раскололось,
Что умерла прялка и скрипки лаптей,

Что в куньем раю громыхает Чикаго,
И Сиринам в гнезда Париж заглянул.
Не лжет ли перо, не лукава ль бумага,
Что струнного Спаса пожрал Вельзевул?

Что бабкина пряжа скуднее Верлена,
Руслан и Людмила в клубке не живут...
Как морж в солнопек, раздышалися стены, —
В них глубь океана, забвенье и суд.

203. - 206.

Поэту Сергею Есенину

I.

Оттого в глазах моих просинь,
Что я сын Великих Озер.
Точит сизую киноварь осень
На родной, беломорский простор.

На закате плещут тюлени,
Загляделся в озеро чум...
Златороги мои олени —
Табуны напевов и дум.

Потянуло душу, как гуся,
В голубой полуденный край;
Там Микола и Светлый Исусе
Уготовят пшеничный рай!

Прихожу. Вижу избы — горы,
На водах — стальные киты...
Я запел про синие боры,
Про Сосновый Звон и скиты.

Мне ученые люди сказали:
«К чему святые слова?
Укоротьте поддевку до талии
И обузьте у ней рукава!»

Я заплакал Братскими Песнями,
Порешили: «в рифме не смел!»
Зажурчал я ручьями полесными
И Лесные Были пропел.

В поучение дали мне Игоря
Северянина пудреный том.
Сердце поняло: заживо выгорят
Те, кто смерти задет крылом.

Лихолетья часы железные
Возвестили войны пожар,
И Мирские Думы болезные
Я принес отчизне, как дар.

Рассказал, как еловые куколи
Осеняют солдатскую мать,
И бумажные дятлы загукали:
«Не поэт он, а буквенный тать!

«Русь Христа променяла на Платовых,
Рай мужицкий — ребяческий бред»...
Но с Рязанских полей коловратовых
Вдруг забрезжил конопляный свет.

Ждали хама, глупца непотребного,
В спинжаке, с кулаками в арбуз, —
Даль повыслала отрока вербного
С голоском слаще девичьих бус.

Он поведал про сумерки карие,
Про стога, про отжиночный сноп;
Зашипели газеты: «татария!
И Есенин — поэт-юдофоб!»

О, бездушное книжное мелево,
Ворон ты, я же тундровый гусь!
Осеняет Словесное дерево
Избяную, дремучую Русь!

Певчим цветом алмазно заиндевел
Надо мной древословный навес,
И страна моя, Белая Индия,
Преисполнена тайн и чудес!

Жизнь-Праматерь заутрени росные
Служит птицам и правды сынам;
Книги-трупы, сердца папиросные —
Ненавистный Творцу фимиам!

(1917)

II.

Изба — святилище земли,
С запечной тайною и раем;
По духу росной конопли
Мы сокровенное узнаем.

На грядке веников ряды —
Душа берез зеленоустых...
От звезд до луковой гряды —
Всё в вещем шёпоте и хрустах.

Земля, как старище-рыбак,
Сплетает облачные сети,
Чтоб уловить загробный мрак
Глухонемых тысячелетий.

Провижу я: как в верше сом,
Заплещет мгла в мужицкой длани;
Золотобревный отчий дом
Засолнцевеет на поляне.

Пшеничный колос-исполин
Двор осенит целящей тенью...
Не ты ль, мой брат, жених и сын,
Укажешь путь к преображенью?

В твоих глазах дымок от хат,
Глубинный сон речного ила,
Рязанский, маковый закат —
Твои певучие чернила.

Изба — питательница слов
Тебя взрастила не напрасно:
Для русских сел и городов
Ты станешь Радуницей красной.

Так не забудь запечный рай,
Где хорошо любить и плакать!
Тебе на путь, на вечный май,
Сплетаю стих — матерый лапоть.

III.

У тебя, государь, новое ожерельице...
Слова убийц Св. Димитрия-царевича.

Елушка-сестрица,
Верба-голубица,
Я пришел до вас:
Белый цвет-Сережа,
С Китоврасом схожий
Разлюбил мой сказ!

Он пришелец дальний,
Серафим опальный,
Руки -- свитки крыл.
Как к причастью звоны,
Мамины иконы
Я его любил.

И в дали предвечной,
Светлый, трехвенечный,
Мной провиден он.
Пусть я некрасивый,
Хворый и плешивый,
Но душа, как сон.

Сон живой, павлиний,
Где перловый иней
Запушил окно,
Где в углу, за печью,
Чародейной речью
Шепчется Оно.

Дух ли это Славы,
Город златоглавый,
Савана ли плеск?
Только шире, шире,
Белизна псалтири —
Нестерпимый блеск.

Тяжко, светик, тяжко!
Вся в крови рубашка...
Где ты, Углич мой?..
Жертва Годунова,
Я в глуши еловой
Восприму покой.

Буду в хвойной митре,
Убиенный Митрий,
Почивать, забыт...
Грянет час вселенский,
И Собор Успенский
Сказку приютит.

IV.

Бумажный ад поглотит вас
С чернильным черным сатаною,
И бесы: Буки, Веди, Аз,
Согнут построчников фитою.

До воскрешающей трубы
На вас падут, как кляксы, беды,
И промокательной судьбы
Не избежат бумагоеды.

Заместо славы будет смерть
Их костяною рифмой тешить,
На клякс-папировую жердь
Насадят лавровые плеши.

Построчный пламень во сто-крат
Горючей жюпела и серы.
Но книжный червь, чернильный ад —
Не для певцов любви и веры.

Не для тебя, мой василек,
Смола терцин, устава клещи,
Ржаной колдующий восток
Тебе открыл земные вещи:

«Заря-котенок моет рот,
На сердце теплится лампадка».
Что мы с тобою не народ —
Одна бумажная нападка.

Мы, как Саул, искать ослиц
Пошли в родные буераки,
И набрели на блеск столиц,
На ад, пылающий во мраке.

И вот, окольною тропой,
Идем с уздой и кличем: сивка!
Поют хрустальною трубой
Во мне хвоя, в тебе наливка, —

Тот душегубный варенец,
Что даль рязанская сварила.
Ты — коловратов кладенец,
Я — бора пасмурная сила.

Таран бумажный нипочем
Для адамантовой кольчуги...
О, только б странствовать вдвоем,
От Соловков и до Калуги.

Через моздокский синь-туман,
На ржанье сивки, скрип косули!..
Но есть полынный, злой дурман
В степном жалеечном Июле.

Он за курганами звенит
И по-русалочьи мурлычет:
«Будь одиноким, как зенит,
Пускай тебя ничто не кличет».

Ты отдалился от меня
За ковыли, глухие лужи...
По ржанью певчего коня
Душа курганная недужит.

И знаю я, мой горбунок
В сосновой лысине у взморья,
Уж преисподняя из строк
Трепещет хвойного Егорья.

Он возгремит, как Божья рать,
Готовя ворогу расплату,
Чтоб в книжном пламени не дать
Сгореть родному Коловрату.

207.

На овинной паперти Пасха,
Звон соломенок, сдобный дух:
Здесь младенцев город, не старух,
Не в косматый вечер злая сказка.

Хорошо с суслоном «Свете» петь,
С колоском в потемках повенчаться,
И рукою брачной постучаться
В недомысленного мира клеть.

С древа жизни сиринов вспугнуть,
И под вихрем крыл сложить былину.
За стихи свеча Садко-овину...
Скушно сердцу строки-дуги гнуть.

Сгинь, перо и вурдалак-бумага!
Убежать от вас в суслонный храм,
Где ячменной наготой Адам
Дух свежит, как ключ в глуши оврага.

Близок к нищим сдобный, мглистый рай,
Кус сиротский гения блаженней...
Вседержитель! Можно ль стать нетленней,
Чем мирской, мозольный каравай?

208.

Я потомок лапландского князя,
Калевалов волхвующий внук,
Утолю без настоек и мази
Зуд томлений и пролежни скук.

Клуб земной — с солодягой корчагу
Сторожит Саваофов ухват,
Но, покорствуя хвойному магу,
Недвижим златорогий закат.

И скуластое солнце лопарье,
Как олений, послушный телок,
Тянет желтой морошковой гарью
От колдующих тундровых строк.

Стих — дымок над берестовым чумом,
Где уплыла окунья уха,
Кто прочтет, станет гагачьим кумом
И провидцем полночного мха.

Льдяный Врубель, горючий Григорьев
Разгадали сонник ягелей;
Их тоска — кашалоты в поморьи —
Стала грузом моих кораблей.

Не с того ль тянет ворванью книга,
И смолой запятых табуны?
Вашингтон, черепичная Рига
Не вместят кашалотной волны.

Уплывем же, собратья, к Поволжью,
В папирусно-тигриный Памир!
Калевала сродни желтокожью,
В чьем венце ледовитый Сапфир.

В русском коробе, в эллинской вазе,
Брезжат сполохи, полюсный щит,
И сапфир самоедского князя
На халдейском тюрбане горит.

209.

Чтобы медведь пришел к порогу
И щука выплыла на зов,
Словите ворона-тревогу
В тенета солнечных стихов.

Не бойтесь хвойного бесследья,
Целуйтесь с ветром и зарей,
Сундук железного возмездья
Взломав упорною рукой.

Повыньте жалости повязку,
Сорочку белой тишины,
Переступя в льняную сказку
Запечной, отрочьей весны.

Дремля, присядьте у печурки —
У материнского сосца,
И под баюканье снегурки
Дождитесь вещего конца.

Потянет медом от оконца,
Паучьим лыком и дуплом,
И весь в паучьих волоконцах
Топтыгин рявкнет под окном.

А в киновареном озерке,
Где золотой окуний сказ,
На бессловесный окрик зорко
Блеснет каурый щучий глаз.

210.

Гробичек не больше рукавицы,
В нем листочек осиновый, белый.
Говорят, что младенческое тело
Легкокрылей пчелки и синицы.

Роженичные ж боли — спицы,
Колесо мученицы Екатерины,
Все на свете кошмы и перины
От кровей Христовы багряницы.

Царский сын, на вымени у львицы
Я уснул, проснулся же поэтом:
Вижу гробик, листиком отпетым
В нем почили горькие страницы.

Дайте же младенчику водицы,
Омочите палец в синем море!..
Уши мира со стихами в споре:
Подавай им строки, как звоницы.

Гробичек не больше рукавицы,
Уплывает в сумерки и в свечи...
Не язык ли бедный человечий
Погребут на вечные седьмицы?

211.

Есть каменные небеса
И сталактитовые люди,
Их плоскогорья и леса
Не переехать на верблюде.

Гранитоглавый их король
На плитняке законы пишет;
Там день — песчаник, полночь — смоль,
И утро киноварью дышит.

Сова в бычачьем пузыре
Туда поэта переносит,
Но кто о каменной заре
Косноязыкого расспросит?

И кто уверится, что Ной
Досель на дымном Арарате,
И что когда-то посох мой
Сразил египетские рати?

Хитрец и двоедушный плут —
Вот Боговидящему кличка...
Для сталактитовых Иуд
Не нужно красного яичка.

Им тридцать сребренников дай,
На плешь упроченные лавры;
Не Моисею отчий край
Забьет в хвалебные литавры.

Увы, и шашель платяной
Живет в порфирном горностае!
Пророк, венчанный купиной,
Опочивает на Синае.

Каменнокрылый херувим
Его окутал руд наносом,
Чтоб мудрецам он был незрим,
Простым же чудился утесом.

212. ТРУД

Свить сенный воз мудрее, чем создать
«Войну и Мир», иль Шиллера балладу.
Бредете вы по золотому саду,
Не смея плод оброненный поднять.

В нем ключ от врат в Украшенный Чертог,
Где слово — жрец, а стих — раджа алмазный,
Туда въезжают возы без дорог
С билетом: Пот и Труд многообразный.

Батрак, погонщик, плотник и кузнец
Давно бессмертны и богам причастны:
Вы оттого печальны и несчастны,
Что под ярмо не нудили крестец.

Что ваши груди, ягодицы, пятки
Не случены с киркой, с лопатой, с хомутом.
В воронку адскую стремяся без оглядки,
Вы Детство и Любовь пугаете Трудом.

Он с молотом в руках, в медвежьей дикой шкуре,
Где заблудился вихрь, тысячелетий страх,
Обвалы горные в его словах о буре,
И кедровая глубь в дремучих волосах.

213.

Громовые, владычные шаги,
Пята — гора, суставы — скал отроги,
И вопль Земли: Всевышний, помоги!
Грядет на ны Сын Бездны семирогий!

Могильный бык, по озеру крыло,
Ощерил пасть кромешнее пещеры:
«Мне пойло — кровь, моя отрыжка — зло,
Утроба — ночь, костяк же — камень серый».

Лев четырех ветров залаял жалким псом:
Увы! Увы! Разбиты семь печатей...
И лишь в избе, в затишье вековом,
Поет сверчок, и древен сон палатей.

Заутра дед расскажет мудрый сон
Про Светлый град, про Огненное древо,
И будет строг высокий небосклон,
Безмолвен труд, и зелены посевы.

А ввечеру, когда тела без сил,
Певуча кровь и сладкоустны братья, —
Влетит в светелку ярый Гавриил
Благословить безмужние зачатья.

214.

Два юноши ко мне пришли
В Сентябрьский вечер листопадный,
Их сердца стук, покой отрадный
К порогу милому влекли.

Я им писание открыл,
Купели слез глагол высокий,
«Мы приобщились к Богу сил» —
Рекли пророческие строки.

«Дела, которые творю,
И вы, птенцы мои, — творите...»
Один вскричал: «я возгорю»,
Другой аукнулся в зените.

И долго я гостей искал:
«Любовь, явись! Бессмертье, где ты?..»
«В сердечных далях теплим светы» —
Орган сладчайший заиграл.

И понял я: зачну во чреве,
И близнецов на свет рожу:
Любовь отдам скопца ножу,
Бессмертье ж излучу в напеве.

215.

Братья, это корни жизни —
Воскресные умытые руки,
Чистая рубаха на отчизне,
Петушиные, всемирные звуки!

Дагестан кукарекнул Онеге,
Литва аукнулась Якутке:
На душистой, сеновозной телеге
Отдохнет Россия за сутки.

Стоголовые Дарьи, Демьяны
Узрят Жизни алое древо:
На листьях роса — океаны,
И дупло — преисподнее чрево.

В дупле столетья — гнилушки,
Помет судьбы — слезной птицы.
К валдайской нищей хлевушке
Потянутся зебры, веприцы.

На Таити брякнет подойник,
Ольховый, с олонецкой резьбою,
Петроград — благоразумный разбойник
Вострубит архангельской трубою:

«Помяни мя, Господи,
Егда приидеши во Царствие Твоё!»
В пестрядине и в серой посконі
Ходят будни — народное житье.

Будни угрюмы, вихрасты,
С мозольным горбом, с матюгами...
В понедельник звезды не часты,
В субботу же расшиты шелками...

Воскресенье — умытые руки,
Земляничная, алая рубаха...
Братья, корни жизни — не стуки,
А за тихой куделью песня-пряха.

216.

Миллионам ярых ртов,
Огневых, взалкавших глоток,
Антидор моих стихов,
Строки ярче косоплеток.

Красный гром в моих крылах,
Буруны в немолчном горле,
И в родимых деревнях
Знают лёт и клекот орлий.

В черносошной глубине
Есть блаженная дубрава,
Там кручинятся по мне
Две сестры: Любовь и Слава.

И вселенский день придет, —
Брак Любви с орлиным словом;
Вещий, гусельный народ
Опочиет по дубровам.

Золотые дерева
Свесят гроздьями созвучья,
Алконостами слова
Порассядутся на сучья.

Будет птичница-душа
Корм блюсти, стожары пуха,
И виссонами шурша,
Стих войдет в чертоги духа.

Обезглавит карандаш
Сводню старую — бумагу,
И слетятся в мой шалаш
Серафимы слушать сагу.

Миллионы звездных ртов
Взалчут песни-антидора...
Я — полесник хвойных слов
Из Олонецкого бора.

217.

По Керженской игуменьи Манефе,
По рассказам Мельникова-Печерского
Всплакнулось душеньке, как дрохве
В зоологическом, близ моржа Пустозерского.

Потянуло в мир лестовок, часословов заплаканных,
В град из титл, где врата киноварные...
Много дум, недомолвок каляканных
Знают звезды и травы цитварные!

Повесть дней моих ведают заводи,
Бугорок на погосте родительский;
Я родился не в башне, не в пагоде,
А в лугу, где овчарник обительский.

Помню Боженьку, небо первачное,
Облака из ковриг, солнце щаное,
В пеклеванных селениях брачное
Пенье ангелов: «чадо желанное».

На загнетке соборы святителей,
В кашных ризах, в подрясниках маковых,
И в творожных венцах небожителей
По укладкам келарника Якова.

Помню столб с проволóкой гнусавою,
Бритолицых табашников-нехристей;
С «Днесь весна» и с «Всемирною славою»
Распростился я, сгинувши без вести.

Столб-кудесник, тропа проволóчная, —
Низвели меня в ад электрический...
Я поэт — одалиска восточная
На пирушке бесстыдно языческой.

Надо мною толпа улюлюкает,
Ад зияет в гусаре и в патере ,
Пусть же Керженский ветер баюкает
Голубец над могилою матери.

218.

Я — древо, а сердце — дупло,
Где сирина-птицы зимовье,
Поет он — и сени светло,
Умолкнет — заплачется кровью.

Пустынею глянет земля,
Золой власяничное солнце,
И умной листвой шевеля,
Я слушаю тяжкое донце.

То смерть за кромешным станком
Вдевает в усновище пряжу,
Чтоб выткать карающий гром —
На грешные спины поклажу.

Бередят глухие листы;
В них оцет, анчарные соки,
Но небо затеплит кресты —
Сыновности отблеск далекий.

И птица в сердечном дупле
Заквохчет, как дрозд на отлете,
О жертвенной, красной земле,
Где камни — взалкавшие плоти.

Где Музыка в струнном шатре
Томится печалью блаженной
О древе — глубинной заре,
С листвою яровчато-пенной.

Невеста, я древо твое,
В тени моей песни-олени;
Лишь браком святится жилье,
Где сиринный пух по колени.

Явися, и в дебрях возляг,
Окутайся тайной громовой,
Чтоб плод мой созрел и отмяг —
Микулово, бездное слово!

219.

Есть горькая супесь, глухой чернозем,
Смиренная глина и щебень с песком,
Окунья земля, травяная медынь,
И пегая охра, жилица пустынь.

Меж тучных, глухих и скудельных земель
Есть Матерь-земля, бытия колыбель,
Ей пестун Судьба, вертоградарь же Бог,
И в сумерках жизни к ней нету дорог.

Лишь дочь ее, Нива, в часы бороньбы,
Как свиток являет глаголы Судьбы, —
Читает их пахарь, с ним некто Другой,
Кто правит огнем и мужицкой душой.

Мы внуки земли и огню родичи,
Нам радостны зори и пламя свечи,
Язвит нас железо, одежд чернота, —
И в памяти нашей лишь радуг цвета.

В кручине по крыльям, пригожих лицом
Мы «соколом ясным» и «павой» зовем.
Узнайте же ныне: на кровле конек
Есть знак молчаливый, что путь наш далек

Изба — колесница, колеса — углы,
Слетят серафимы из облачной мглы,
И Русь избяная — несметный обоз! —
Вспарит на распутья взывающих гроз...

Сметутся народы, иссякнут моря,
Но будет шелками расшита заря, —
То девушки наши, в поминок векам,
Расстелют ширинки по райским лугам.

(1917)

220.

Как гроб епископа, где ладан и парча
Полуистлевшие смешались с гнилью трупной,
Земные осени. Бурее кирпича
Осиновая глушь. Как склеп, ворам доступный,
Зияют небеса. Там муть, могильный сор,
И ветра-ключаря гнусавый разговор:
«Украден омофор, червонное кадило,
Навек осквернена святейшая могила:
Вот митра — грязи кус, лохмотья орлеца...»
Земные осени унылы без конца.
Они живой зарок, что мира пышный склеп
Раскраден будет весь, и без замков и скреп
Лишь смерти-ключарю достанется в удел.
Дух взломщика, Господь, и туки наших тел
Смиряешь Ты огнем и ранами войны,
Но струпья вновь мягчишь бальзамами весны,
Пугая осенью, как грозною вехой,
На росстани миров, где сумрак гробовой!

221.

Счастье бывает и у кошки —
Котеночек — пух медовый,
Солнопек в зализанной плошке,
Где звенит пчелой душа коровы.

Радостью полнится и рябка,
Яйцом в пеклеванной соломе,
И веселым лаем Арапка
В своей конуре — песьем доме.

Горем седеет и муха —
Одиночкой за зимней рамой...
Песнописцу в буквенное брюхо
Низвергают воды Ганг и Кама.

И внимая трубам вод всемирных,
Рад поэт словесной бурной пене, —
То прибой, поход на ювелирных
Мастерочков рифм — собак на сене.

Гам, гам, гам, — скулят газеты, книги,
Магазины Вольфа и Попова...
Нужны ль вам мои стихи-ковриги,
Фолиант сермяжный и сосновый?

Расцветает скука беленою
На страницах песьих, на мольбертах;
Зарождать жар-птицу, роха, сою
Я учусь у рябки, а не в Дерптах.

Нежит солнце киску и Арапка,
Прививает оспу умной твари;
Под лучами пучится, как шапка,
Мякоть мысли. Зреет гуд комарий.

Треснет тишь — булыжная скорлупка,
И стихи, как выводок фрегатов,
Вспенят глубь, где звукоцвета губка
Тянет стебель к радугам закатов...

Счастье быть коровой, мудрой кошкой,
В молоке ловить улыбки солнца...
Погрусти, мой друг, еще немножко
У земного, тусклого оконца.

222.

Шепчутся тени-слепцы:
«Я от рожденья незрячий».
«Я же ослепла в венцы,
В солнечный пир новобрачий».

«Дед мой бродяга-фонарь,
Матерь же искра-гулеха»...
«Помню я сосен янтарь,
Росные утрени моха».

«Взломщик походку мне дал,
Висельник — шею цыплячью»...
Призраки, вас я не звал
Бить в колотушку ребячью!

Висельник, сядь на скамью,
Девушке место, где пряжа.
Молвите: в Божьем раю
Есть ли надпечная сажа?

Есть ли куриный Царьград,
В теплой соломе яичко,
Сказок и шорохов клад,
Кот с диковинною кличкой?

Бабкины спицы там есть,
Песье ворчанье засова?..
В Тесных вратах не пролезть
С милой вязанкой былого.

Ястреб, что смертью зовут,
Город похитил куриный,
Тени-слепцы поведут
Душу дорогою длинной.

Только ужиться ль в аду
Сердцу теплее наседки;
В келью поэта приду
Я в золотые последки.

К кудрям пытливым склонюсь,
Тайной дохну на ресницы,
Та же бездонная Русь
Глянет с упорной страницы.

Светлому внуку незрим,
Дух мой в чернильницу канет,
И через тысячу зим
Буквенным сирином станет.

223.

Виктору Шимановскому

Будет брачная ночь, совершение таин,
Все пророчества сбудутся, камни в пляску пойдут,
И восплачет над Авелем окровавленный Каин,
Видя полночь ресниц, виноград палых уд.

Прослезится волчица над костью овечьей,
Зарыдает огонь, что кусался и жег,
Станет бурей душа, и зрачок человечий
Вознесется, как солнце, в небесный чертог.

И Единое око насытится зреньем
Брачных ласк и зачатий от ядер миров,
Лавой семя вскипит, изначальным хотеньем
Дастся солнцу — купель, долу — племя богов.

Роженица-земля, охладив ложесна,
Улыбнется Супругу крестильной зарей...
О пиры моих уд, мрак мужицкого сна, —
Над могилой судеб бурных ангелов рой!

224.

Октябрьское солнце, косое, дырявое,
Как старая лодка, рыбачья мерда,
Баюкает сердце незрячее, ржавое,
Как якорь на дне, как глухая руда.

И очап скрипит. Пахнет кашей, свивальником,
И чуется тяжесть осенней земли:
Не я ли — отец, и не женским ли сальником
Стал лес-роженица и тучи вдали?

Бреду к деревушке мясистый и розовый,
Как к пойлу корова — всещедрый удой;
Хозяйка-земля и подойник березовый —
Опалая роща лежит предо мной.

Расширилось тело коровье, молочное,
И нега удоя, как притча Христа:
«Слепцы, различаете небо восточное,
Мои же от зорь отличите ль уста!»

Христос! Я — буренка мирская, страдальная, —
Пусть доит Земля мою жизнь-молоко...
Как якорь на дне, так душа огнепальная
Тоскует о брачном, лебяжьем Садко.

Родить бы предвечного, вещего, струнного,
И сыну отдать ложесна и сосцы...
Увы! От октябрьского солнца чугунного
Лишь кит зачинает, да злые песцы.

225.

Аннушке Кирилловой

Эта девушка умрет в родах...
Невдогад болезной повитухе,
Что он был давяще-яр в плечах
И с пушком на отроческом брюхе,

Что тяжел и сочен был приплод —
Бурелом средь яблонь белоцветных...
Эта девушка в пространствах межпланетных
Родит лирный солнечный народ.

Но в гробу, червивом как валежник,
Замерцает фосфором лобок.
Огонек в сторожке и подснежник —
Ненасытный девичий зрачок.

Есть в могилах роды и крестины
В плесень — кровь и сердце — в минерал.
Нянин сказ и заводи перины
Вспенит львиный рыкающий шквал.

И в белках заплещут кашалоты,
Смерть — в моржовой лодке эскимос...
Эту девушку, душистую как соты,
Приголубит радужный Христос.

226.

Улыбок и смехов есть тысяча тысяч,
Их в воск не отлить и из камня не высечь,
Они как лучи, как овечья парха,
Сплетают то рай, то мережи греха.

Подснежная озимь — улыбка ребенка,
В бесхлебицу рига — оскал старика,
Издевка монаха — в геенну воронка,
Где дьявола хохот — из трупов река.

Стучит к потаскухе скелет сухопарый,
(А вербы над речкой как ангел белы),
То Похоть смеется, и души-гагары
Ныряют как в омут, в провалы скулы.

Усмешка убийцы — коза на постели,
Где плавают гуси — пушинки в крови,
Хи-хи роженицы, как скрип колыбели,
В нем ласточек щебет, сиянье любви.

У ангелов губы — две алые птицы,
Их смех огнепальный с пером не случить:
Издохнут созвучья, и строки-веприцы
Пытаются в сердце быдлом угодить.

Мое ха-ха-ха — преподобный в ночлежке,
Где сладостней рая зловонье и пот,
Удавленник в церкви, шпионы на слежке...
Провижу читателя смех наперед.

О борозды ртов и зубов миллионы,
Пожар языков, половодье слюны,
Вы ярая нива, где зреют законы
Стиха миродержца и струнной весны!

227.

О скопчество — венец, золотоглавый град,
Где ангелы пятой мнут плоти виноград,
Где площадь — небеса, созвездия — базар,
И Вечность сторожит диковинный товар:
Могущество, Любовь и Зеркало веков,
В чьи глуби смотрит Бог, как рыбарь на улов!

О скопчество — страна, где бурый колчедан
Буравит ливней клюв, сквозь хмару и туман,
Где дятел-Маята долбит народов ствол
И Оспа с Колтуном навастривают кол,
Чтобы вонзить его в богоневестный зад
Вселенной матери и чаше всех услад!

О скопчество — арап на пламенном коне,
Гадательный узор о незакатном дне,
Когда безудный муж, как отблеск маргарит,
Стокрылых сыновей и ангелов родит!
Когда колдунью-Страсть с владыкою-Блудом
Мы в воз потерь и бед одрами запряжем,
Чтоб время-ломовик об них сломало кнут.

Пусть критики меня невеждой назовут.

228.

Всё лики в воздухе, да очи,
В пустынном оке снова лик....
Многопудовы, неохочи,
Мы — за убойным пойлом бык.

Объемист чан, мучниста жижа,
Зобатый ворон на хребте
Буравит клювом войлок рыжий —
Пособье скотской красоте.

Поганый клюв быку приятен,
Он песня, арфы ворожба.
И от пометных, смрадных пятен
Дымится луг, ручья губа.

И к юду, в фартуке кровавом,
Не раз подходит смерть-мясник,
Но спит душа под сальным сплавом —
Геенских лакомок балык.

Убойный молот тяжко-сладок —
Обвал в ущельях мозговых...
О, сколько в воздухе загадок,
Очей и обликов живых!

229.

В зрачках или в воздухе пятна,
Лес башен, подобье горы?
Жизнь облак людям непонятна, —
Они для незрячих — пары.

Не в силах бельмо телескопа
Небесной души подглядеть.
Драконовой лапой Европа
Сплетает железную сеть:

Словлю я в магнитные верши
Громовых китов и белуг!
Земля же чешуйкой померкшей
Виляет за стаей подруг.

Кит солнце, тресковые луны
И выводку звезд-осетров
Плывут в океанах, где шхуны
Иных, всемогущих ловцов.

Услышат Чикаго с Калугой
Предвечный полет гарпуна,
И в судоргах, воя белугой,
Померкнет на тверди луна.

Мережи с лесой осетровой
Протянут над бездной ловцы:
На потрохи звездного лова
Сбежатся кометы-песцы.

Пожрут огневую вязигу,
Пуп солнечный, млечный гусак.
Творец в Голубиную книгу
Запишет: бысть воды и мрак.

И станет предвечность понятна,
Как озими мать-борозда.
В зрачках у провидца не пятна,
А солнечных камбал стада.

230.

Полуденный бес, как тюлень,
На отмели греет оплечья.
По тяге в сивушную лень
Узнаешь врага человечья.

Он в тундре оленем бежит,
Суглинком краснеет в овраге,
И след от кромешных копыт —
Болотные тряские ляги.

В пролетье, в селедочный лов,
В крикливые гагачьи токи,
Шаман заклинает бесов,
Шепча на окуньи молоки:

«Эй, эй! Юксавель, ай-наши!»
(Сельдей, как бобровой запруды),
Пречистей лебяжьей души
Шамановы ярые уды.

Лобок — желтоглазая рысь,
А в ядрах — по огненной утке, —
Лишь с Солнцевой бабой любись,
Считая лобзанье за сутки.

Чмок — сутки, чмок — пять, пятьдесят —
Конец самоедскому маю.
На Солнцевой бабе заплат,
Как мхов по Печенгскому краю.

Шаману покорствует бес
В раю из оленьих закуток,
И видит лишь чума навес
Колдующих, огненных уток.

231.

Городские, предбольничные березы
Захворали корью и гангреной.
По ночам золотарей обозы
Чередой плетутся неизменной.

В пухлых бочках хлюпает Водянка,
На Волдырь пеняет Золотуха,
А в мертвецкой крючнику цыганка
Ворожит кули нежнее пуха:

«Приплывет заморская расшива
С диковинным, солнечным товаром...»
Я в халате. За стеною Хива
Золотым раскинулась базаром.

К водопою тянутся верблюды,
Пьют мой мозг аральских глаз лагуны
И делить стада, сокровищ груды
К мозжечку съезжаются Гаруны.

Бередит зурна: любовь Фатимы
Как чурек с кашмирским виноградом...
Совершилось. Иже Херувимы
Повенчали Вологду с Багдадом.

Тишина сшивает тюбетейки,
Ковыляет Писк к соседу-Скрипу.
И березы песенку Зюлейки
Напевают сторожу Архипу.

232.

Я уж больше не подрасту, —
Останусь лысым и робко сутулым,
И таким прибреду ко кресту,
К гробовым, деревянным скулам.

В них завязну, как зуб гнилой;
Лязгнет пасть — поджарая яма...
А давно ли атласной водой
Меня мыла в корытце мама?

Не вчера ли я стал ходить,
Пугаясь бороды деда?
Или впрямь допрялась, как нить,
Жизнь моя и дьячка-соседа?

Под окном березка росла,
Ствол из воска, светлы побеги,
Глядь, в седую губу дупла
Ковыляют паучьи телеги.

Буквы Аз и Буки везут
Весь алфавит и год рожденья...
Кто же мозгу воздаст за труд,
Что тесал он стихи-каменья?

Где подрядчик — пузатый журнал?
В счете значатся: слава, гений...
Я недавно шутя хворал
От мальчишеской, пьяной лени.

Тосковал, что венчальный наряд
Не приглянется крошке-Марусе...
Караул! Ведь мне шестьдесят,
Я — закладка из Книжной Руси!

Бередит нафталинную плешь,
Как былое, колпак больничный...
Кто-то черный бормочет: съешь
Гору строк, свой обед обычный.

Видно я, как часы, захворал,
В мироздании став запятою,
И дочитанный Жизни журнал
Желтокожей прикрыл рукою.

233. ПУТЕШЕСТВИЕ

«Я здесь», — ответило мне тело, —
Ладони, бедра, голова, —
Моей страны осиротелой
Материки и острова.

И, парус солнечный завидя,
Возликовало Сердце-мыс:
«В моем лазоревом Мадриде
Цветут миндаль и кипарис».

Аорты устьем красноводным
Плывет Владычная Ладья;
Во мгле, по выступам бесплодным
Мерцают мхи да ягеля.

Вот остров Печень. Небесами
Нам ним раскинулся Крестец.
В долинах с желчными лугами
Отары пожранных овец.

На деревах тетерки, куры,
И души проса, пухлых реп.
Там солнце — пуп, и воздух бурый
К лучам бесчувственен и слеп.

Но дальше путь, за круг полярный,
В края Желудка и Кишек,
Где полыхает ад угарный
Из огнедышащих молок.

Где салотопни и толкуши,
Дубильни, свалки нечистот,
И населяет гребни суши
Крылатый, яростный народ.

О, плотяные Печенеги,
Не ваш я гость! Плыви ладья
К материку любви и неги,
Чей берег ладан и кутья!

Лобок — сжигающий Марокко,
Где под смоковницей фонтан
Мурлычет песенку востока
Про Магометов караван.

Как звездотечностью пустыни
Везли семь солнц — пророка жен —
От младшей Евы, в Месяц Скиний,
Род человеческий рожден.

Здесь Зороастр, Христос и Брама
Вспахали ниву ярых уд,
И ядра — два подземных храма
Их плуг алмазный стерегут.

Но и для солнечного мага
Сокрыта тайна алтарем...
Вздыхает судоржно бумага
Под ясновидящим пером.

И возвратясь из далей тела,
Душа, как ласточка в прилет,
В созвучий домик опустелый
Пушинку первую несет.

234.

Звук ангелу собрат, бесплотному лучу,
И недруг топору, потемкам и сычу.
В предсмертном «ы-ы-ы!..» таится полузвук —
Он каплей и цветком уловится, как стук, —
Сорвется капля вниз и вострепещет цвет,
Но трепет не глагол, и в срыве звука нет.

Потемки с топором и правнук ночи, сыч,
В обители лесов подымут хищный клич,
Древесной крови дух дойдет до Божьих звезд,
И сирины в раю слетят с алмазных гнезд;
Но крик железа глух и тяжек, как валун,
Ему не свить гнезда в блаженной роще струн.

Над зыбкой, при свече, старуха запоет:
Дитя, как злак росу, впивает певчий мед,
Но древний рыбарь-сон, чтоб лову не скудеть,
В затоне тишины созвучьям ставит сеть.

В бору, где каждый сук — моленная свеча,
Где хвойный херувим льет чашу из луча,
Чтоб приобщить того, кто голос уловил
Кормилицы мирской и пестуньи могил, —
Там отроку-цветку лобзание даря,
Я слышал, как заре откликнулась заря,
Как вспел петух громов и в вихре крыл возник
Подобно рою звезд, многоочитый лик...

Миг выткал пелену, видение темня,
Но некая свирель томит с тех пор меня;
Я видел звука лик и музыку постиг,
Даря уста цветку, без ваших ржавых книг!

(1917)

235.

Мужицкий лапоть свят, свят, свят!
Взывает облако, кукушка,
И чародейнее чем клад,
Мирская потная полушка.

Горыныч, Сирин, Царь Кащей, —
Всё явь родимая, простая,
И в онемелости вещей
Гнездится птица золотая.

В телеге туч неровный бег,
В метелке — лик метлы небесной.
Пусть черен хлеб, и сумрак пег, —
Есть вехи в родине безвестной.

Есть мед и хмель в насущной ржи,
За лаптевязьем дум ловитва.
«Вселися в ны и обожи» —
Медвежья умная молитва.

236.

Где пахнет кумачом — там бабьи посиделки,
Медынью и сурьмой — девичий городок...
Как пряжа мерен день, и солнечные белки,
Покинув райский бор, уселись на шесток.

Беседная изба — подобие вселенной:
В ней шолом — небеса, палати — млечный путь,
Где кормчему уму, душе многоплачевной,
Под веретенный клир усладно отдохнуть.

Неизреченен Дух и несказанна тайна
Двух чаш, двух свеч, шести очей и крыл!
Беседная изба на свете не случайна,
Она Судьбы лицо, преддверие могил.

Мужицкая душа, как кедр зеленотемный,
Причастье Божьих рос неутолимо пьет;
О радость быть простым, носить кафтан посконный
И тельник на груди, сладимей диких сот!

Индийская земля, Египет, Палестина —
Как олово в сосуд, отлились в наши сны.
Мы братья облакам, и савана холстина —
Наш верный поводырь в обитель тишины.

(1917)

237.

У розвальней — норов, в телеге же — ум,
У карего много невыржанных дум.

Их ведает стойло, да дед дворовик,
Что кажет лишь твари мерцающий лик.

За скотьей вечерней в потемках хлева,
Плачевнее ветра овечья молва.

Вздыхает каурый, как грешный мытарь:
«В лугах Твоих буду ли, Отче и Царь?

Свершатся ль мои подъяремные сны,
И, взвихрен, напьюсь ли небесной волны?..»

За конскою думой кому уследить?
Она тишиною спрядается в нить.

Из нити же время прядет невода,
Чтоб выловить жребий, что светел всегда.

Прообраз всевышних, крылатых коней
Смиренный коняга, страж жизни моей.

С ним радостней труд, благодатней посев,
И смотрит ковчегом распахнутый хлев.

Взыграет прибой и помчится ковчег
Под парусом ясным, как тундровый снег.

Орлом огнезобым взметнется мой конь,
И сбудется дедов дремучая сонь!

(1917)

238.

Плач дитяти через поле и реку,
Петушиный крик, как боль, за версты,
И паучью поступь, как тоску,
Слышу я сквозь наросты коросты.

Острупела мать-сыра-земля,
Загноились ландыши и арфы,
Нет Марии и вифанской Марфы
Отряхнуть пушинки с ковыля, —

Чтоб постлать Возлюбленному ложе
Пыльный луч лозою затенить.
Распростерлось небо рваной кожей, —
Где ж игла и штопальная нить?

Род людской и шила недомыслил,
Чтоб заплатать бездну или ночь;
Он песчинки по Сахарам числил,
До цветистых выдумок охоч.

Но цветы, как время, облетели.
Пляшет сталь и рыкает чугун.
И на дымно закоптелой ели
Оглушенный плачет Гамаюн.

239.

Где рай финифтяный и Сирин
Поет на ветке расписной,
Где Пушкин говором просвирен
Питает дух высокий свой,

Где Мей яровчатый, Никитин,
Велесов первенец Кольцов,
Туда бреду я, ликом скрытен,
Под ношей варварских стихов.

Когда сложу свою вязанку
Сосновых слов, медвежьих дум?
«К костру готовьтесь спозаранку» —
Гремел мой прадед — Аввакум.

Сгореть в мятельном Пустозерске
Или в чернилах утонуть?
Словопоклонник богомерзкий,
Не знаю я, где орлий путь.

Поет мне Сирин издалеча:
«Люби, и звезды над тобой
Заполыхают красным вечем,
Где сердце — колокол живой».

Набат сердечный чует Пушкин —
Предвечных сладостей поэт...
Как яблоновые макушки,
Благоухает звукоцвет.

Он в белой букве, в алой строчке,
В фазаньи-пестрой запятой.
Моя душа, как мох на кочке,
Пригрета пушкинской весной.

И под лучом кудряво-смуглым
Дремуча глубь торфяников.
В мозгу же, росчерком округлым,
Станицы тянутся стихов.

240.

Оскал Февральского окна
Глотает залпы, космы дыма...
В углу убитая жена
Лежит строга и недвижима.

Толпятся тени у стены,
Зловеще отблески маячат...
В полях неведомой страны
Наездник с пленницею скачет.

Хватают косы ковыли,
Как стебли свесилися руки,
А конь летит в огне, в пыли,
И за погоню нет поруки.

Прости, прости! В ковыль и мглу
Тебя умчал ездок крылатый...
Как воры, шепчутся в углу
Кирка с могильною лопатой.

(1913)

241-248. СПАС

I.

Вышел лен из мочища
На заезженный ток —
Нет вернее жилища,
Чем косой солнопек.

Обсушусь и провею,
После в мяло пойду,
На порты Еремею
С миткалем на ряду.

Будет малец Ерема
Как олень, белоног —
По опушку — истома,
После — сладкий горох.

Волосок подколенный,
Кресцовой, паховой,
До одежды нетленной
Обручатся со мной.

У мужицкого Спаса
Крылья в ярых кресцах,
В пупе перьев запасы,
Чтоб парить в небесах.

Он есть Альфа, Омега,
Шамаим и Серис,
Где с Ефратом Онега
Поцелуйно слились.

В ком Коран и Минея,
Вавилон и Саров
Пляшут пляскою змея
Под цевницу веков.

Плоти громной, Господней,
На порты я взращен,
Чтоб Земля с Преисподней
Убелились как лен.

Чтоб из Спасова чрева
Воспарил об-он-пол
Сын праматери Евы —
Шестикрылый Орел.

II.

Я родил Эммануила —
Загуменного Христа,
Он стоокий, громокрылый,
Кудри — буря, меч — уста.

Искуплением заклятый,
Он мужицкий принял зрак;
На одежине заплаты,
Речь — авось, да кое-как.

Спас за сошенькой-горбушей
По́том праведным потел,
Бабьи, дедовские души
Возносил от бренных тел.

С белопахой коровенкой
Разговор потайный вел,
Что над русскою сторонкой
Судный ставится престол.

Что за мать, пред звездной книгой,
На слезинках творена,
Черносошная коврига
В оправданье подана.

Питер злой, железногрудый
Иисусе посетил,
Песен китежских причуды
Погибающим открыл.

Петропавловских курантов
Слушал сумеречный звон,
И Привал Комедиантов
За бесплодье проклял Он.

Не нашел светлей, пригоже
Загуменного бытья...
О мой сын, — Всепетый Боже,
Что прекрасно без Тебя?

Прокаженны Стих, Газета,
Лики Струн и Кисть с Резцом...
Из Ржаного Назарета
Мы в предвечность перейдем.

И над Тятькиной могилой
Ты начертишь: пел и жил.
Кто родил Эммануила,
Тот не умер, но почил.

III.

Я родился в вертепе,
В овчем, теплом хлеву,
Помню синие степи
И ягнячью молву.

По отцу-древоделу
Я грущу посейчас...
Часто в горенке белой
Посещал кто-то нас.

Гость крылатый, безвестный,
Непостижный уму, —
Здравствуй, тятенька крестный,
Лепетал я ему.

Гасли годы, всё реже
Чаровала волшба,
Под лесной гул и скрежет
Сиротела изба.

Стали цепче тревоги,
Нестерпимее страх,
Дьявол злой, тонконогий
Объявился в лесах.

Он списал на холстину
Ель, кремли облаков;
И познал я кончину
Громных отрочьих снов.

Лес, как призрак, заплавал,
Умер агнчий закат,
И увел меня дьявол
В смрадный, каменный ад.

Там газеты-блудницы,
Души книг, души струн...
Где ты, гость светлолицый,
Крестный мой — Гамаюн?

Взвыли грешные тени:
Он бумажный, он наш...
Но прозрел я ступени
В Божий певчий шалаш.

Вновь молюсь я, как ране,
Тишине избяной,
И к шестку и к лохани
Припадаю щекой:

О, простите, примите
В рай запечный меня!
Вяжут алые нити
Зори — дщери огня.

Древодельные стружки
Точат ладанный сок,
И мурлычит в хлевушке
Гамаюнов рожок.

IV

В дни по Вознесении Христа
Пусто в горнице, прохладно, звонко,
И как гробная прощальная иконка,
Так мои зацелованы уста.

По восхищении Христа
Некому смять складок ризы.
За окном, от утренника сизы,
Обнялися два нагих куста.

Виноградный Спас прости, прости.
Сон веков, как смерть, не выпить горсткой.
Кто косматой пятернею жесткой
Остановит душу на пути?

Мы Тебе лишь алчем вознести
Жар очей, сосцов и губ купинных.
В ландышевых горницах пустынных
Хоть кровинку-б-цветик обрести.

Обойти все горницы России
С Соловков на дремлющий Памир,
И познать, что оспенный трактир
Для Христов усладнее Софии.

Что как куща, веред-стол уютен,
Гнойный чайник, человечий лай,
И в церквах обугленный Распутин
Продает сусальный, тусклый рай.

V.

Неугасимое пламя,
Неусыпающий червь...
В адском, погибельном храме
Вьется из грешников вервь.

В совокупленьи геенском
Корчится с отроком бес...
Гласом рыдающе женским
Кличет обугленный лес:

Милый, приди! О, приди же...
И, словно пасечный мед,
Пес огнедышащий лижет
Семени жгучий налет.

Страсть многохоботным удом
Множит пылающих чад,
Мужа зовет Изумрудом,
Женщину — Черный Агат.

Сплав Изумруда с Агатом —
Я не в аду, не в раю, —
Жду солнцеликого брата
Вызволить душу мою:

Милый, явись, я — супруга,
Ты же — сладчайший жених,
С Севера, с ясного ль Юга
Ждать поцелуев Твоих?

Чрево мне выжгла геенна,
Бесы гнездятся в костях.
Птицей — волной белопенной
Рею я в диких стихах.

Гибнут под бурей крылатой
Ад и страстей корабли...
Выведи, Боже распятый,
Из преисподней земли.

VI.

Мои уста — горючая пустыня,
Гортань — русло, где камни и песок,
Сгораю я о Златоризном Сыне,
Чьи кудри — запад, очи же — восток...

О сыне мой, возлюбленное чадо,
Не я ль тебя в вертепе породил...
Твои стопы пьянее винограда,
Веянье риз свежительней кропил.

Испечены пять хлебов благодатных,
Пять тысяч уст в пылающей алчбе,
Кошница дев и сонм героев ратных
В моих зрачках томятся по Тебе.

Убелены мое жилье и ложе,
Раздроблен агнец, целостно вино,
Не на щеколде дверь... О стукни, Сыне Божий,
Зиждительным перстом в Разумное окно!

Я солнечно брадат, розовоух и нежен,
Моя ладонь — тимпан, сосцы сладимей сот,
Будь в ласках, как жена, в лобзании безбрежен,
Раздвигни ложесна, войди в меня, как плод!

Я вновь Тебя зачну, и муки роженицы,
Грызь жил, последа жар стеня перетерплю...
Как сердцевину червь, и как телков веприцы,
Тебя, мое дитя, супруг и Бог — люблю.

VII.

Господи, опять звонят,
Вколачивают гвозди голгофские
И Тобою попранный починяют ад
Сытые кутейные московские!

О душа, невидимкой прикинься,
Притаись в ожирелых свечах,
И увидишь, как Распутин на антиминсе
Пляшет в жгучих, похотливых сапогах.

Как в потире купаются бесенята,
Надовратный голубь вороном стал,
Чтобы выклевать у Тебя, Распятый,
Сон ресниц и сердце-опал.

Как же бежать из преисподней,
Где стены из костей и своды из черепов?
Ведь в белых яблонях без попов
Совершается обряд Господний.

Ведь пичужка с глазком васильковым
Выше библий, тиар и порфир...
Ждут пришельца в венце терновом
Ад заводский и гиблый трактир.

Он же, батюшка, в покойчике сосновом,
У горбатой Домны в гостях,
Всю деревню радует словом
О грядущих золотых мирах.

И деревня — Красная ляга
Захмелела под звон берез...
Знать, и смертная роспита баклага
За Тебя, буревестный Христос.

VIII.

Войти в Твои раны — в живую купель,
И там убелиться, как вербный Апрель,
В сердечном саду винограда вкусить,
Поющею кровью уста опалить.
Распяться на древе — с Тобою, в Тебе,
И жил тростники уподобить трубе,
Взыграть на суставах: Или — Элои,
И семенем брызнуть в утробу Земли:
Зачни, благодатная, пламенный плод, —
Стокрылое племя, громовый народ,
Сладчайшее Чадо в моря спеленай,
На очапе радуги зыбку качай!
Я в пупе Христовом, в пробитом ребре,
Сгораю о Сыне — крылатом царе,
В пяте Иисусовой ложе стелю,
Гвоздиною кровью Орленка кормлю.
Пожри меня, Чадо, до ада проклюй,
Геенское пламя крылами задуй,
И выведи Разум и Деву Любовь
Из чревных глубин на зеленую новь!
О Сын мой, краснейшая гроздь и супруг,
Конь — тело мое не ослабит подпруг.
Воссядь на него, натяни удила,
И шпорами нудь, как когтями орла,
Об адские камни копыта сломай,
До верного шляха в сияющий рай!

Уплыть в Твои раны, как в омут речной,
Насытиться тайною, глубью живой,
Достать жемчугов, золотого песка,
Стать торжником светлым, чья щедра рука.
Купите, о други, поддонный товар —
Жемчужину-солнце, песчинку-пожар!

Мой стих — зазыватель в Христовы ряды —
Охрип под туманами зла и беды,
Но пуст мой прилавок, лишь Дева-Любовь
Купила повязку — терновую кровь,
Придачей покупке, на вес не дробя,
Улыбчивой гостье я отдал себя.

249. ПОДДОННЫЙ ПСАЛОМ

Что напишу и что реку,о Господи!
Как лист осиновый все писания,
Все книги и начертания:
Нет слова неприточного,
По звуку неложного, непорочного;
Тяжелы душе писанья видимые,
И железо живет в буквах библий!
О душа моя — чудище поддонное,
Стоглавое, многохвостое, тысячепудовое,
Прозри и виждь: свет брезжит!
Раскрылась лилия, что шире неба,
И колесница Зари Прощения
Гремит по камням небесным!
О ясли рождества моего,
Теплая зыбка младенчества,
Ясная келья отрочества,
Дуб, юность мою осеняющий,
Дом крепкий, пространный и убранный,
Училище красоты простой
И слова воздушного, —
Как табун белых коней в тумане,
О родина моя земная, Русь буреприимная!
Ты прими поклон мой вечный, родимая,
Свечу мою, бисер слов любви неподкупной,
Как гора необхватной,
Свежительной и мягкой,
Как хвойные омуты кедрового моря!
Вижу тебя не женой, одетой в солнце,

Не схимницей, возлюбившей гроб и шорохи
часов безмолвия,
Но бабой-хозяйкой, домовитой и яснозубой,
С бедрами, как суслон овсяный,
С льняным ароматом от одежды...
Тебе только тридцать три года —
Возраст Христов лебединый,
Возраст чайки озерной,
Век березы, полной ярого, сладкого сока!..
Твоя изба рудожелта,
Крепко срублена, смольностенна,
С духом семги и меда от печи,
С балагуром-котом на лежанке
И с парчевою сказкой за пряжей.
Двор твой светл и скотинушкой тучен,
Как холстами укладка невесты;
У коров сытно-мерная жвачка,
Липки, сахарно-белы удои,
Шерсть в черед с роговицей линяет,
А в глазах человеческий разум;
Тишиною вспоенные овцы
Шелковистее ветра лесного;
Сыты кони овсяной молитвой
И подкованы веры железом;
Ель Покоя жилье осеняет,
А в ветвях ее Сирин гнездится:
Учит тайнам глубинным хозяйку, —
Как взмесить нежных красок опару;
Дрожжи звуков всевышних не сквасить,
Чтобы выпечь животные хлебы,
Пищу жизни, вселенское брашно...

Побывал я под чудною елью
И отведал животного хлеба,
Видел горницу с полкой божничной,
Где лежат два ключа золотые:
Первый ключ от Могущества Двери,
А другой — от Ворот Воскресенья...
Боже, сколько алчущих скрипа петель,
Взмаха створов дверных и воротных,

Миллионы веков у порога,
Как туманов полки над поморьем,
Как за полночью лед ледовитый!..

Есть вода черноводнее вара,
Липче смол и трескового клея,
И недвижней стопы Саваофа:
От земли, словно искра из горна,
Как с болот цвет тресты пуховейной,
Возлетает душевное тело,
Чтоб низринуться в черные воды —
В те моря без теченья и ряби;
Бьется тело воздушное в черни,
Словно в ивовой верше лососка;
По борьбе же и смертном биеньи
От души лоскутами спадает.
Дух же — светлую рыбью чешуйку,
Паутинку луча золотого —
Держит вар безмаячного моря:
Под пятой невесомой не гнется
И блуждает он, сушей болея...
Но едва материк долгожданный
Как слеза за ресницей забрезжит —
Дух становится сохлым скелетом,
Хрупче мела, трухлявее трута,
С серым коршуном-страхом в глазницах,
Смерть вторую нежданно вкушая.

Боже, сколько умерших миров,
Безымянных вселенских гробов!
Аз Бог Ведаю Глагол Добра —
Пять знаков чище серебра;
За ними вслед: Есть Жизнь Земли —
Три буквы — с златом корабли,
И напоследки знак Өита —
Змея без жала и хвоста...
О Боже сладостный, ужель я в малый миг
Родимой речи таинство постиг,
Прозрел, что в языке поруганном моем
Живет Синайский глас и вышний трубный гром

Что песню мужика: «Во зеленых лузях»
Создать понудил звук, и тайнозренья страх?!

По Морю морей плывут корабли с золотом:
Они причалят к пристани того, кто братом
зовет Сущего,
Кто, претерпев телом своим страдание,
Все телесное спасет от гибели
И явится Спасителем мира.

Приложитесь ко мне, братья,
К язвам рук моих и ног:
Боль духовного зачатья
Рождеством я перемог!

Он родился — цветик алый,
Долгочаемый младень!
Серый камень, сук опалый
Залазурились как день.

Снова голубь Иорданский
Над землею воспарил:
В зыбке липовой крестьянской
Сын спасенья опочил.

Бельте, девушки, холстины,
Печь топите для ковриг;
Легче отблеска лучины
К нам слетит Архистратиг.

Пир мужицкий свят и мирен
В хлебном Спасовом раю,
Запоет на ели Сирин:
Баю-баюшки-баю.

От звезды до малой рыбки
Все возжаждет ярых крыл,
И на скрип вселенской зыбки
Выйдут деды из могил.

Станет радуга лампадой,
Море — складнем золотым,
Горн потухнувшего ада —
Полем ораным мирским.

По тому ли хлебоборью
Мы, как изморозь весной,
Канем в Спасово поморье
Пестрядинною волной.

Красный рык

250. ПЕСНЬ СОЛНЦЕНОСЦА

Три огненных дуба на пупе земном,
От них мы три жолудя-солнца возьмем;

Лазоревым — облачный хворост спалим,
Павлиньим — грядущего даль озарим,

А красное солнце — мильонами рук
Подымем над Миром печали и мук.

Пылающий кит взбороздит океан,
Звонарь преисподний ударит в Монблан;

То колокол наш — непомерный язык,
Из рек бичеву свил Архангелов лик.

На каменный зык отзовутся Миры
И демоны выйдут из адской норы,

В потир отольются металлов пласты,
Чтоб солнца вкусили народы-Христы.

О Демоны-братья, отпейте и вы
Громовых сердец, поцелуйной молвы!

Мы, рать солнценосцев, на пупе земном
Воздвигнем стобашенный, пламенный дом;

Китай и Европа, и Север, и Юг
Сойдутся в чертог хороводом подруг,

Чтобы Бездну с Зенитом в одно сочетать:
Им Бог — восприемник, Россия же — мать.

Из пупа вселенной три дуба растут:
Премудрость, Любовь и волхвующий Труд...

О, молот-ведун, чудотворец-верстак,
Вам ладан стиха, в сердце сорванный мак;

В ваш яростный ум, в многострунный язык,
Я пчелкою-рифмой, как в улей, проник,

Дышу восковиной, медынью цветов,
Сжигающих Индий и Волжских лугов!..

Верстак — Назарет, наковальня — Немврод,
Их слил в песнозвучье родимый народ:

«Вставай, подымайся» и «Зелен мой сад» —
В кровавом окопе и в поле звучат...

«Вставай, подымайся» — старуха поет,
В потемках телега и петли ворот;

За ставней береза и ветер в трубе
Гадают о вещей народной судьбе...

Три жулудя-солнца досталися нам —
Засевный подарок взалкавшим полям:

Свобода и Равенство, Братства венец —
Живительный выгон для ярых сердец;

Тучнейте, отары голодных умов,
Прозрений телицы и кони стихов!

В лесах диких грив, звездных рун и вымян
Крылатые боги раскинут свой стан,

По струнным лугам потечет молоко
И певчей калиткою стукнет Садко:

«Пустите Баяна — Рублевскую Русь,
Я Тайной умоюсь, а Песней утрусь,

Почестному пиру отвешу поклон,
Румянее яблонь и краше икон»:

«Здравствуешь, Волюшка-мать,
Божьей Земли благодать,
Белая Меря, Сибирь,
Ладоги хлябкая ширь.

Здравствуйте, Волхов-гусляр,
Степи Великих Бухар,
Синий Моздокский туман,
Волга и Стенькин курган!

Чай стосковались по мне,
Красной поддонной весне,
Думали — злой водяник
Выщербил песенный лик?

Я же — в избе и в хлеву
Ткал золотую молву,
Сирин мне вести носил
С плах и бескрестных могил.

Рушайте ж лебедь-судьбу,
В звон осластите губу,
Киева сполох-уста
Пусть воссияют, где Мста.

Чмок городов и племен
В лике моем воплощен,
Я — песноводный жених,
Русский, яровчатый стих!»

(1918)

251. КРАСНАЯ ПЕСНЯ

Распахнитесь, орлиные крылья,
Бей набат и гремите, грома, —
Оборвалися цепи насилья
И разрушена жизни тюрьма!
Широки Черноморские степи,
Буйна Волга, Урал златоруд, —
Сгинь, кровавая плаха и цепи,
Каземат и неправедный суд!

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами, —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

Пролетела над Русью жар-птица,
Ярый гнев зажигая в груди...
Богородица наша Землица, —
Вольный хлеб мужику уроди!
Сбылись думы и давние слухи, —
Пробудился народ-Святогор;
Будет мед на домашней краюхе,
И на скатерти ярок узор.

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами, —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

Хлеб да соль, Костромич и Волынец,
Олончанин, Москвич, Сибиряк!
Наша Волюшка — Божий гостинец, —
Человечеству светлый маяк!
От Байкала до теплого Крыма
Расплеснется ржаной океан...
Ослепительней риз серафима
Заревой Святогоров кафтан.

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами, —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

Ставьте ж свечи мужицкому Спасу!
Знанье — брат и Наука — сестра, —
Лик пшеничный, с брадой солнцевласой, —
Воплощенье любви и добра!
Оку Спасову сумрак несносен,
Ненавистен телец золотой;
Китеж-град, ладан Саровских сосен —
Вот наш рай вожделенный, родной.

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами, —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

Верьте ж, братья, за черным ненастьем
Блещет солнце — Господне окно;
Чашу с кровью — всемирным причастьем
Нам испить до конца суждено.

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами, —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

1917

252. ФЕВРАЛЬ

Двенадцать месяцев в году,
Посланец бурь — Февраль;
Он полуночную звезду
Перековал на сталь.

И сталь поет ясна, остра,
Как половодный лед.
Не самоцветов ли гора
Из сумрака встает?

То огнепальное чело,
Очей грозовый пыл
Того, кто адское жерло
Слезою угасил.

Чей крестный пот и серый кус
Лучистей купины.
Он воскрешенный Иисус,
Народ родной страны.

Трепещет ад гвоздиных ран,
Тернового чела...
В глухой степи, где синь-туман,
Пылают купола.

То кровью выкупленный край,
Земли и Воли град,
Многоплеменный каравай
Поделят с братом брат:

Литва — с кряжистым Пермяком,
С Карелою — Туркмен;
Не сломят штык, чугунный гром
Ржаного Града стен,

Не осквернят палящий лик
Свободы буревой...
Красноголосый вечевик,
Ликуй, народ родной!

Алмазный плуг подымет ярь
Волхвующих борозд.
Овин — пшеничный государь
В венце из хлебных звезд.

Его сермяжный манифест —
Предвечности строка...
Кто пал, неся кровавый крест,
Земля тому легка.

Тому овинная свеча,
Как Спасу, зажжена...
Моря мирского калача
Без берега и дна.

В них погибают корабли:
Неволя, лихо, сглаз, —
То Царь Морской — Душа Земли —
Свершает брачный пляс.

1917

253.

Солнце Осьмнадцатого года,
Не забудь наши песни, дерзновенные кудри!
Славяно-персидская природа
Взрастила злаки и розы в тундре.

Солнце Пламенеющего лета,
Не забудь наши раны и угли-кровинки,
Как старого мира скрипучая карета
Увязла по дышло в могильном суглинке!

Солнце Ослепительного века,
Не забудь Праздника великой коммуны!..
В чертоге и в хижине дровосека
Поют огнеперые Гамаюны.

О шапке Мономаха, о царьградских бармах
Их песня? О, солнце, — скажи!..
В багряном заводе и в красных казармах
Роятся созвучья-стрижи.

Словить бы звенящих в построчные сети,
Бураны из крыльев запречь в корабли...
Мы — кормчие мира, мы — боги и дети,
В пурпурный октябрь повернули рули.

Плывем в огнецвет, где багрец и рябина,
Чтоб ран глубину с океанами слить;
Суровая пряха — бессмертных судьбина —
Вручает лишь Солнцу горящую нить.

1918

254. ПУЛЕМЕТ

Пулемет... Окончание — мед.
Видно сладостен он для охочих
Пробуравить свинцом народ —
Непомерные, звездные очи.

Ранить Глубь, на божнице вербу,
Белый сон купальских березок.
Погляди за суслонов гурьбу:
Сколько в поле крылатых повозок.

То летучий Христов Лазарет
Совершает Земли врачеванье,
И как няня, небесный кларнет
Напевает седое сказанье:

«Утолятся твои вереда,
Раны, пролежни, злые отеки;
Неневестная, будь же тверда
До гремящей звезды на востоке!

Под Лучом заскулит пулемет,
Сбросит когти и кожу стальную...»
Неспроста бурелoмный народ
Уповает на песню родную.

255. ТОВАРИЩ

Революцию и Матерь света
В песнях возвеличим,
И семирогие кометы
На пир бессмертия закличем.

Ура, Осанна — два ветра-брата
В плащах багряных трубят, поют...
Завод железный, степная хата
Из ураганов знамена ткут.

Убийца красный — святей потира,
Убить — воскреснуть, и пасть — ожить...
Браду морскую, волосья мира
Коммуна-пряха спрядает в нить.

Из нитей невод сплетет Отвага,
В нем затрепещут стада веков.
На горной выси, в глуши оврага
Цветет шиповник пурпурных слов.

Товарищ ярый, мой брат орлиный,
Вперяйся в пламя и пламя пей!..
Потемки шахты, дымок овинный
Отлились в перстень яснее дней!

А ночи — вставки, в их гранях глуби
Стихов бурунных, лавинных строк...
Мы ало гибнем, прибойно любим,
Как злая клятва — любви зарок.

Как воск алтарный — мозоль на пятке,
На ярой шее — веревки след,
Пусть в Пошехоньи чадят лампадки,
Пред ликом Мести — лучи комет.

И лик стожарный нам кровно-ясен,
В нем сны заводов, раздумье нив...
Товарищ верный, орел прекрасен,
Но ты — как буря, как жизнь красив!

(1918)

256.

Из подвалов, из темных углов,
От машин и печей огнеглазых
Мы восстали могучей громов,
Чтоб увидеть всё небо в алмазах,
Уловить серафимов хвалы,
Причаститься из Спасовой чаши!
Наши юноши — в тучах орлы,
Звезд задумчивей девушки наши.

Город-дьявол копытами бил,
Устрашая нас каменным зевом,
У страдальческих теплых могил
Обручились мы с пламенным гневом.
Гнев повел нас на тюрьмы, дворцы,
Где на правду оковы ковались...
Не забыть, как с детями отцы
И с невестою милый прощались...

Мостовые расскажут о нас,
Камни знают кровавые были...
В золотой победительный час
Мы сраженных орлов схоронили.

Поле Марсово — красный курган,
Храм победы и крови невинной...
На державу лазоревых стран
Мы помазаны кровью орлиной.

1917

257. КОММУНА

Боже, Свободу храни —
Красного Государя Коммуны,
Дай ему долгие дни
И в венец лучезарные луны!

Дай ему скипетр-зарю,
Молнию — меч правосудный!..
Мы Огневому Царю
Выстроим терем пречудный:

Разум положим в углы,
Окна — чистейшая совесть...
Братские груди-котлы
Выварят звездную повесть.

Повесть потомки прочтут, —
Строк преисподние глуби...
Ярый, строительный труд
Только отважный полюбит.

Боже, Коммуну храни —
Красного мира подругу!
Наши набатные дни —
Гуси, летящие к югу.

Там голубой океан,
Дали и теплые мели...
Ала Россия от ран,
От огневодной купели.

Сладко креститься в огне,
Искры в знамена свивая,
Пасть и очнуться на дне
Невозмутимого рая.

258 - 259. ИЗ «КРАСНОЙ ГАЗЕТЫ»

I.

Пусть черен дым кровавых мятежей
И рыщет Оторопь во мраке, —
Уж отточены миллионы ножей
На вас, гробовые вурдалаки!

Вы изгрызли душу народа,
Загадили светлый Божий сад,
Не будет ни ладьи, ни парохода
Для отплытья вашего в гнойный ад.

Керенками вымощенный проселок —
Ваш лукавый искариотский путь;
Христос отдохнет от терновых иголок,
И легко вздохнет народная грудь.

Сгинут кровосмесители, проститутки,
Церковные кружки и барский шик,
Будут ангелы срывать незабудки
С луговин, где был лагерь пик.

Бедуинам и желтым корейцам
Не будет запретным наш храм...
Слава мученикам и красноармейцам,
И сермяжным советским властям!

Русские юноши, девушки, отзовитесь:
Вспомните Разина и Перовскую Софию!
В львиную красную веру креститесь,
В гибели славьте невесту-Россию!

1918

II.

Жильцы гробов, проснитесь! Близок
Страшный Суд!
И Ангел-истребитель стоит у порога!
Ваши черные белогвардейцы умрут
За оплевание Красного Бога.

За то, что гвоздиные раны России
Они посыпают толченым стеклом.
Шипят по соборам кутейные змии,
Молясь шепотком за романовский дом.

За то, чтобы снова чумазый Распутин
Плясал на иконах и в чашу плевал...
С кофейником стол, как перина, уютен
Для граждан, продавших свободу за кал.

О племя мокриц и болотных улиток!
О падаль червивая в Божьем саду!
Грозой полыхает стоярусный свиток,
Пророча вам язвы и злую беду.

Хлыщи в котелках и мамаши в батистах,
С битюжьей осанкой купеческий род,
Не вам моя лира, — в напевах тернистых
Пусть славится гибель и друг-пулемет!

Хвала пулемету, несытому кровью
Битюжьей породы, батистовых туш!..
Трубят серафимы над буйною новью,
Где зреет посев струннопламенных душ.

И души цветут по родным косогорам
Малиновой кашкой, пурпурным глазком..
Боец узнается по солнечным взорам,
По алому слову с прибойным стихом.

1918

260. МАТРОС

Грохочет Балтийское море,
И пенясь в расщелинах скал,
Как лев, разъярившийся в ссоре,
Рычит набегающий вал.

Со стоном другой, подоспевший,
О каменный бьется уступ,
И лижет в камнях посиневший,
Холодный, безжизненный труп.

Недвижно лицо молодое,
Недвижен гранитный утес...
Замучен за дело святое
Безжалостно юный матрос.

Не в грозном бою с супостатом,
Не в чуждой, далекой земле, —
Убит он своим же собратом —
Казнен на родном корабле.

Погиб он в борьбе за свободу,
За правду святую и честь...
Снесите же, волны, народу,
Отчизне последнюю весть.

Снесите родной деревушке
Посмертный рыдающий стон,
И матери, бедной старушке,
От павшего сына поклон!

Рыдает холодное море,
Молчит неприветная даль,
Темна, как народное горе,
Как русская злая печаль.

Плывет полумесяц багровый,
И кровью в пучине дрожит...
О где же тот мститель суровый,
Который за кровь отомстит!

261.

На божнице табаку осьмина
И раскосый вылущенный Спас,
Не поет кудесница-лучина
Про мужицкий сладостный Шираз.

Древо песни бурею разбито,
Не Триодь, а Каутский в углу.
За окном расхлябанное сито
Сеет копоть, изморозь и мглу.

Пучит печь свои печурки-бельма:
«Я ослепла, как скорбящий дед...»
Грезит парень стачкой и Палермо,
Президентом, гарком кастяньет...

Сказка — чушь, а тайна — коршун серый,
Что когтит, как перепела, ум.
Облетел цветок купальской веры
В слезный рай, в озимый древний шум!

Кто-то черный, с пастью яро-львиной
Встал на страже полдней и ночей.
Дед как волхв, душою пестрядинной
Загляделся в хляби дум-морей.

Смертны волны львиного поморья,
Но в когтисто-жадной глубине
Серебрится чайкой тень Егорья
На бурунном гибельном коне.

«Страстотерпец, вызволь цветик маков!
Китеж-град ужалил лютый гад...»
За пургой же Глинка и Корсаков
Запевают: «Расцветай мой сад!»...

(1918)

262.

В избе гармоника: «накинув плащ с гитарой...»
А ставень дедовский провидяще грустит:
Где Сирин — грасный гость, Вольга с Мамелфой
старой,
Божниц Рублевский сон, и бархат ал и рыт?
«Откуля, доброхот?» «— С Владимира-Залесска...
«Сгорим, о братия, телес не посрамим!..»
Махорочная гарь, из ситца занавеска
И оспа полуслов: — «валета скозырим».

Под матицей резной (искусством позабытым)
Валеты с дамами танцуют «валц-плезир»,
А Сирин на шестке сидит с крылом подбитым,
Щипля сусальный пух, и сетуя на мир.

Кропилом дождевым смывается со ставней
Узорчатая быль про ярого Вольгу,
Лишь изредка в зрачках у вольницы недавней
Пропляшет царь морской и сгинет на бегу.

263.

Уму — республика, а сердцу — Матерь-Русь.
Пред пастью львиною от ней не отрекусь.
Пусть камнем стану я, корягою иль мхом, —
Моя слеза, мой вздох о Китеже родном,
О небе пестрядном, где звезды — комары,
Где с аспидом дитя играют у норы,
Где солнечная печь ковригами полна,
И киноварный рай дремливее челна...

Упокой Господи, душу раба Твоего!..

Железный небоскреб, фабричная труба,
Твоя ль, о родина, потайная судьба!
Твои сыны-волхвы — багрянородный труд
Вертепу Господа иль Ироду несут?
Пригрезятся ли им за яростным горном
Сад белый восковой и златобревный дом, —
Берестяный придел, где отрок Пантелей
На пролежни земли льет миро и елей...

Изведи из темницы душу мою!..

Под красным знаменем рудеет белый дух,
И с крыльев Михаил стряхает млечный пух,
Чтоб в битве с Сатаной железноперым стать, —
Адама возродить и Еву — жизни мать,
Чтоб Дьявол стал овцой послушной и простой,
А Лихо черное — граченком за сохой,

Клевало б червяков и сладких гусениц
Под радостный раскат небесных колесниц...

Свят, свят Господь Бог Саваоф!

Уму — республика, а сердцу — Китеж-град,
Где щука пестует янтарных окунят,
Где нянюшка-Судьба всхрапнула за чулком,
И покумился серп с пытливым васильком.
Где тайна, как полей синеющая таль...
О тысча девятьсоть семнадцатый Февраль!
Под вербную капель и под грачиный грай
Ты выпек дружкин хлеб и брачный каравай,
Чтоб Русь благословить к желанному венцу..
Я запоздалый сват, мне песня не к лицу,
Но сердце — бубенец под свадебной дугой —
Глотает птичий грай и воздух золотой...

Сей день, его же сотвори Господь,
Возрадуемся и возвеселимся в онь!

1917

264. РЕВОЛЮЦИЯ

Низкая деревенская заря, —
Лен с берестой и с воском солома.
Здесь всё стоит за Царя
Из Давидова красного дома.

Стог горбатый и лог стоят,
Повязалася рига платом:
Дескать, лют окромешный ад,
Но и он доводится братом.

Щиплет корпию нищий лесок,
В речке мокнут от ран повязки.
Где же слез полынный поток
Или горести книжные, сказки?

И Некрасов, бумажный лгун, —
Бог не чуял мужицкого стона?
Лик Царя и двенадцать лун
Избяная таит икона.

Но луна, по прозванью Февраль,
Вознеслась с державной божницы —
И за далью взыграла сталь,
Заширяли красные птицы.

На престоле завыл выжлец:
«Горе, в отпрысках корень Давида!»
С вечевых Новгородских крылец
В Русь сошла золотая Обида.

В ручке грамота: Воля, Земля,
На груди образок Рублевский.
И, Карельскую рожь меля,
Дед учуял ладон московский.

А в хлевушке, где дух вымян,
За удоем кривая Лукерья
Въявь прозрела Индийских стран
Самоцветы, парчу и перья.

О колдуй, избяная луна!
Уж Рублев, в пестрядном балахонце,
Расписал, глубже смертного сна,
У лесной церквушки оконце.

От зари восковой ветерок
Льнет как воск к бородам дубленым:
То гадает Сермяжный Восток
О судьбе по малиновым звонам.

1917

265.

Я — посвященный от народа,
На мне великая Печать,
И на чело свое природа
Мою приляла благодать.

Вот почему на речке ряби
В ракитах ветер-Алконост
Поет о Мекке и арабе,
Прозревших лик Карельских звезд.

Все племена в едином слиты:
Алжир, оранжевый Бомбей
В кисете дедовском зашиты
До золотых, воскресных дней.

Есть в сивке доброе, слоновье,
И в елях финиковый шум, —
Как гость в зырянское зимовье,
Приходит пестрый Эрзерум.

Китай за чайником мурлычет,
Чикаго смотрит чугуном...
Не Ярославна рано кычет
На зоборале городском, —

То богоносный дух поэта
Над бурной родиной парит,
Она в громовый плащ одета,
Перековав луну на щит.

Левиафан, Молох с Ваалом —
Ее враги. Смертелен бой.
Но кроток луч над Валаамом,
Целуясь с Ладожской волной.

А там, где снежную Печору
Полою застит небосклон,
В окно к тресковому помору
Стучится дед — пурговый сон.

Пусть кладенечные изломы
Врагов, как молния, разят, —
Есть на Руси живые дремы —
Невозмутимый, светлый сад.



Н. А. Клюев в Вытегре (1921-1922)

(Потрет этот воспроизведен в бюллетене Петроградского отделения Гос. Издательства «Новая Книга», № 3-4, стр. 10)

Он в вербной слезке, в думе бабьей,
В Богоявленьи наяву,
И в дудке ветра об арабе,
Прозревшем Звездную Москву.

266.

Нила Сорского глас: «Земнородные братья,
Не рубите кринов златоствольных,
Что цветут, как слезы в древних платьях,
В нищей песни, в свечечках юдольных.

Низвергайте царства и престолы,
Вес неправый, меру и чеканку,
Не голите лишь у Иверской подолы,
Просфору не чтите за баранку.

Причта есть: просфорку-потеряжку
Пес глотал, и пламенем сжигался.
Зреть красно березку и монашку —
Бель и чернь, в них Руси дух сказался.

Не к лицу железо Ярославлю, —
В нем кровинка Спасова — церквушка:
Заслужила ль песью злую травлю
На сучке круживчатом пичужка?

С Соловков до жгучего Каира
Протянулась тропка — Божьи четки,
Проторил ее Спаситель мира,
Старцев, дев и отроков подметки.

Русь течет к Великой Пирамиде,
В Вавилон, в сады Семирамиды;
Есть в избе, в сверчковой панихиде
Стены Плача, Жертвенник Обиды.

О познайте, братия и други,
Божьих ризниц куколи и митры —
Окунутся солнце, радуг дуги
В ваши книги, в струны и палитры.

Покумится Каргополь с Бомбеем,
Пустозерск зардеет виноградно,
И над злым похитчиком-Кащеем
Ворон-смерть прокаркает злорадно».

267.

Меня Распутиным назвали,
В стихе расстригой, без вины,
За то, что я из хвойной дали
Моей бревенчатой страны,

Что души печи и телеги
В моих колдующих зрачках,
И ледовитый плеск Онеги
В самосожженческих стихах.

Что, васильковая поддевка
Меж коленкоровых мимоз,
Я пугачевскою веревкой
Перевязал искусства воз.

Картавит дружба: «святотатец».
Приятство: «хам и конокрад».
Но мастера небесных матиц
Воздвигли вещему Царьград.

В тысячестолпную Софию
Стекутся зверь и человек.
Я Алконостную Россию
Запрятал в дедовский сусек.

У Алконоста перья — строчки,
Пушинки — звездные слова;
Умрут Кольцовы-одиночки,
Но не лесов и рек молва.

Потомок бога Китовраса,
Сермяжных Пудов и Вавил,
Угнал с Олимпа я Пегаса,
И в конокрады угодил.

Утихомирился Пегаске,
Узнав полеты в хомуте...
По Заонежью бродят сказки,
Что я женат на Красоте.

Что у меня в суставе — утка,
А в утке — песня-яицо...
Сплелась с кометой незабудка
В бракоискусное кольцо.

За Евхаристией шаманов
Я отпил крови и огня,
И не оберточный Романов,
А вечность жалует меня.

Увы, для паюсных умишек
Невнятен Огненный Талмуд,
Что миллионы чарых Гришек
За мной в поэзию идут.

1918

268 - 269.

Владимиру Кириллову

I.

Мы — ржаные, толоконные,
Пестрядинные, запечные,
Вы — чугунные, бетонные,
Электрические, млечные.

Мы — огонь, вода и пажити,
Озимь, солнца пеклеванные,
Вы же таин не расскажете
Про сады благоуханные.

Ваши песни — стоны молота,
В них созвучья — шлак и олово;
Жизни дерево надколото,
Не плоды на нем, а головы.

У подножья кости бранные,
Черепа с кромешным хохотом;
Где же крылья ураганные,
Поединок с мечным грохотом?

На святыни пролетарские
Гнезда вить слетелись филины;
Орды книжные, татарские,
Шестернею не осилены.

Кнут и кивер аракчеевский,
Как в былом, на троне буквенном.
Сон Кольцовский, терем Меевский
Утонули в море клюквенном.

Ваша кровь водой разбавлена
Из источника бумажного,
И змея не обезглавлена
Песней витязя отважного.

Мы — ржаные, толоконные,
Знаем Слово алатырное,
Чтобы крылья громобойные
Вас умчали во всемирное.

Там изба свирельным шоломом
Множит отзвуки павлинные...
Не глухим, бездушным оловом
Мир связать в снопы овинные.

Воск с медынью яблоновою —
Адамант в словостроении,
И цвести над Русью новою
Будут гречневые гении.

(1918)

II.

Твое прозвище — русский город,
Азбучно-славянский святой,
Почему же мозольный молот
Откликается в песне простой?

Или муза — котельный мастер
С махорочной гарью губ...
Заплутает железный Гастев,
Охотясь на лунный клуб...

Приведет его тропка к избушке
На куриной, заклятой пяте;
Претят бунчуки и пушки
Великому сфинксу — красоте.

Поэзия, друг, не окурок,
Не Марат, разыгранный по наслышке.
Караван осетинских бурок
Не согреет муз в твоей книжке.

Там огонь подменен фальцовкой,
И созвучья — фабричным гудком,
По проселкам строчек с веревкой
Кружится смерть за певцом.

Убегай же, Кириллов, в Кириллов,
К Кириллу — азбучному святому,
Подслушать малиновок переливы,
Припасть к неоплаканному, родному.

И когда апрельской геранью
Расцветут твои глаза и блуза,
Под оконцем стукнет к заранью
Песнокудрая девушка-муза.

270.

Проснуться с перерезанной веной,
Подавиться черным смерчем...
Наши дни багровы изменой,
Кровяным, веселым ключем.

На оконце чахнут герани:
У хозяйки — пуля в виске...
В маргариновом океане
Плывут корабли налегке.

Неудачна на Бога охота,
Библия дождалась пинка.
Из тверского ковша-болота
Вытекает песня-река.

Это символ всерусской доли,
Черносошных, пламенных рек,
Где цветут кувшинки-мозоли,
И могуч осетр-человек.

Не забыть бы, что песня — Волга,
Бурлацкий, каганный сказ!
Товарищи, ждать недолго
Солнцеповоротный час.

От Пудожа до Бомбея
Расплеснется злат-караван,
Приведет Алисафия Змея,
Как овцу, на озимь полян.

То-то, братцы, будет потеха —
Древний Змий и Смерть за сохой!
Океан — земная прореха
Потечет стерляжьей ухой.

Разузорьте же струги-ложки,
Сладкострунный, гусельный кус!
Заалеет герань на окошке,
И пули цветистей бус.

Только яростней солнца чайте,
Кумачневым буйством горя...
Товарищи, не убивайте,
Я — поэт!.. Серафим!.. Заря!..

271. РУСЬ-КИТЕЖ

Обернулась купальским светляком,
Укрылась крестиком из хвоинок,
Больше не будет сказки за веретеном,
По-запечных, брынских тропинок.

На лежанку не сядет дед,
В валенках-кораблях заморских,
С бородищей — пристанью лет,
С Индией узорною в горстках.

В горенке Сирин и Китоврас
Оставили помет, да перья.
Не обрядится в шамаханский атлас
В карусельный праздник Лукерья.

И «Орина, солдатская мать»,
С помадным ртом, в парике рыжем...
Тихий Углич, брынская гать
Заболели железной грыжей.

В Светлояр изрыгает завод
Доменную отрыжку — шлаки...
Светляком, за годиною год,
Будет теплиться Русь во мраке.

В гробе утихомирится Крупп,
И стеня, издохнет машина;
Из космических косных скорлуп
Забрезжит лицо Исполина:

На челе прозрачный топаз —
Всемирного ума панорама,
И «в нигде» зазвенит Китоврас,
Как муха за зимней рамой.

Заслюдеет память-стекло,
Празелень хвой купальских...
Я олонецкий Лонгфелло́
С сердцевиной кедров уральских.

272. РЕСПУБЛИКА

Керженец в городском обноске,
На панельных стоптанных каблуках...
О родина, ужели в папироске
Больше ласточек, чем в твоих полях?

Иль в бумажной, кислой манишке
Озаренье индийской парчи?
В звонкодонных ущельях книжки
Журчат смоляные ключи.

Это олонецкие сосны,
Пудожский яхонт-листопад.
Молотьба и луг сенокосный,
Не одетый в Малявинский плат.

Смертельны каменные обноски
На Беле-озере, где Синеус...
Облетают ладожские березки,
Как в былом, когда пела Русь.

Когда Дон испивался шеломом,
На базаре сурьмился медведь.
Дятлом — стальным ремингтоном
Проклевана скифская медь.

И моя пестрядная рубаха,
Тюлень на Нильских песках...
В эскимосском чуме, без страха,
Запевает лагунный Бах.

На морозном стекле Менделеев
Выводит удельный вес, —
Видно, нет святых и злодеев
Для индустриальных небес.

(1918)

273.

Се знамение: багряная корова,
Скотница с подойником пламенным.
Будет кринка тяжко-свинцова,
Устойка с творогом каменным.

Прильнул к огненному вымени
Рабочий-младенец тысячеглавый.
За кровинку Ниагару выменять —
Не венец испепеляющей славы.

Не подвиг — рассекать ущелья,
Звезды-гниды раздавить ногтем,
И править смертельное новоселье
Над пропастью с кромешным дегтем.

Слава — размерить и взбить удои
В сметану на всеплеменный кус.
В персидско-тундровом зное
Дозревает сердце-арбуз.

Это ужин янтарно-алый
Для демонов и для колибри;
От Нила до кандального Байкала
Воскреснут все, кто погибли.

Обернется солнце караваем,
Полумесяц — ножик застольный,
С избяным киноварным раем
Покумится молот мозольный.

Подарится счастье молотобойцу
Отдохнуть на узорной лавке,
Припасть к пеклеванному солнцу,
Позабытому в уличной давке.

Слетит на застреху Сирин,
Вспенит сказка баяновы кружки,
И говором московских просфирен
Разузорится пролетарский Пушкин.

Мой же говор — пламенный подойник,
Где удои — тайна и чудо;
Возжаждав, благоразумный разбойник
Не найдет вернее сосуда.

274.

Незабудки в лязгающей слесарной,
Где восемь мозолей, рабочих часов,
И графиня в прачешной угарной,
Чтоб выстирать совесть белей облаков.

Алмазный король на свалке зловонной,
В апостольском чертоге бабий базар,
На площади церковь подбитой иконой
Уставилась в сумрак, где пляшет пожар.

Нам пляска огня колыбельно-знакома,
Как в лязге слесарной незабудковый сон;
Мы с радужных Индий дождемся парома,
Где в звездных тюках поцелуи и звон.

То братьев громовых бесценный подарок...
Мы ранами Славы корабль нагрузим.
У наших мордовок, узорных татарок
В напевах Багдад и пурговый Нарым.

Не диво в батрацкой атласная дама,
Алмазный король за навозной арбой,
И в кузнице розы... Печатью Хирама
Отмечена Русь звездоглазой судьбой.

Нам Красная Гибель соткала покровы...
Слезинка России застынет луной,
Чтоб невод ресниц на улов осетровый
Закинуть к скамье с поцелуйной четой.

От залежей костных на Марсовом Поле
Подымется столб медоносных шмелей
Повысосать розы до сладостной боли,
О пляшущем солнце пирующих дней.

(1918)

275.

Говорят, что умрет дуга,
Лубяные лебеди-санки,
Уж в стальные бьют берега
Буруны избяной лоханки.

Переплеск, как столб комаров,
Запевает в ушах деревни;
Знать, пора крылатых китов
Родить нашей Саре древней.

Песнолиственный дуб облетел,
Рифма стала клокочуще бурна...
Кровохарканьем Бог заболел, —
Оттого и Россия пурпурна.

Ощенилась фугасом земля,
Динамитом беременны доли...
Наши пристани ждут корабля
С красным грузом корицы и соли.

Океан — избяная лохань
Плещет в берег машинно-железный,
И заслушалась Мать-глухомань
Бунчука торжествующей бездны.

276.

Не хочу Коммуны без лежанки,
Без хрустальной песенки углей!
В стихотворной тягостной вязанке
Думный хворост, буреломник дней.

Не свалить и в Красную Газету
Слов щепу, опилки запятых,
Ненавистен мудрому поэту
Подворотный, тявкающий стих.

Лучше пунш, чиновничья гитара,
Под луной уездная тоска.
Самоцвет и пестрядь Светлояра
Взбороздила шрифтная река.

Не поет малиновкой лучина,
И Садко не гуслит в ендове.
Не в тюрбанах гости из Берлина
Приплывут по пляске и молве.

Их дары — магнит и град колбасный,
В бутербродной банке Парсифаль,
Им навстречу, в ферязи атласной,
Выйдет Лебедь — русская печаль.

И атлас с варяжскою кольчугой
Обручится вновь, сольет уста...
За безмерною зырянской вьюгой
Купина горящего куста.

То моя заветная лежанка,
Караванный аравийский шлях, —
Неспроста нубийка и славянка
Ворожат в олонецких стихах.

277.

Господи! Да будет воля Твоя
Лесная, фабричная, пулеметная.
Руки устали, ловя
Призраки, тени болотные.

Революция не открыла Врат,
Но мы дошли до Порога Несказанного,
Видели Пламенной зрелости сад,
Отрока — агнца багряного.

На отроке угли ран,
Ключи кровяные, свирельные, —
Уста народов и стран
Припадали к ним в годы смертельные.

Вот и заветный Порог,
Простой, как у часовни над речкою,
А за ним предвечный чертог
Серебрится заутренней свечкою.

Господи! Мы босы и наги,
На руках с неповинною кровью...
Шелестят леса из бумаги,
«Красная Газета» мычит по-коровьи:

«Мм-у-у!» Чернильны мои удои,
Жирна пенка — построчная короста...
По-казенному, в чинном покое,
Дервенеют кресты погоста.

Как и при Осипе патриархе,
В набойчатом плату просвирня,
И скулит в щенячьей лютой пархе
Меднозвоном древняя кумирня.

278.

На ущербе красные дни,
Наступают геенские серные, —
Блюдите на башнях огни,
Стражи — товарищи верные!

Слышите лающий гуд,
Это стучится в ад Григорий Новых...
У Лючифера в венце изумруд,
Как празелень рощ сосновых.

Не мой ли Сосен перезвон
И радельных песен свирели
Затаили Распутинских икон
Сладкий морок, резьбу и синели?

В наговорной поддевке моей
Хлябь пурги и просинь Байкала.
За пляской геенских дней
Мерещится бор опалый.

В воздухе просфора и кагор,
(Приобщался Серафим Саровский)
И за лаптем дед-Святогор
Мурлычет псалом хлыстовский.

Ковыляет к деду медведь,
Матер от сытной брусники...
Где ж индустриальная клеть,
Городов железные лики?

На ущербе красные дни,
К первопутку лапти — обнова,
Не тревожит гуд шестерни
Рай медвежий и сумрак еловый.

Только где-то пчелой звенят
Новобрачных миров свирели,
И душа — запричастный плат —
Вся в резьбе, жемчугах и синели.

279-288. ЛЕНИН

I.

Есть в Ленине Керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в Поморских Ответах.

Мужицкая ныне земля,
И церковь — не наймит казенный.
Народный испод шевеля,
Несется глагол краснозвонный.

Нам красная молвь по уму, —
В ней пламя, цветенье сафьяна;
То Черной Неволи Басму
Попрала стопа Иоанна.

Борис — златоордный мурза,
Трезвонит Иваном Великим,
А Лениным — вихрь и гроза
Причислены к Ангельским ликам.

Есть в Смольном потемки трущоб
И привкус хвои с костяникой,
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси великой.

«Куда схоронить мертвеца» —
Толкует удалых ватага...
Поземкой пылит с Коневца,
И плещется взморье-баклага.

Спросить бы у тучки, у звезд,
У зорь, что румянят ракиты...
Зловещ и пустынен погост,
Где царские бармы зарыты.

Их ворон-судьба стережет
В глухих преисподних могилах...
О чем же тоскует народ
В напевах татарско-унылых?

1918

II.

Братья, сегодня наша малиновая свадьба —
Брак с Землей и с орлиной Волей!
Костоедой обглоданы церковь и усадьба,
Но ядрено и здраво мужицкое поле.

Не жалейте же семени для плода мирскова,
Разнежьте ядра и случкой китовьей
Порадуйте Бога — старого рыболова,
Чтоб закинул он уду в кипяток нашей крови!

Сладко Божью наживку чуять в заводях тела,
У крестца, под сосцами, в палящей мошонке:
Чаял Ветхий, что выловит Кострому да иконки,
Ан леса, как наяда, бурунами запела.

Принапружь, ветробрадый, судьбу-удилище!
Клев удачен, на уде молот-рыба и кит.
На китовьей губе гаги-песни гнездище,
И пята мирозданья — поддонный гранит.

Братья, слышите гулы, океанские храпы!
(Подавился Монбланом земледержец титан)
Это выловлен мир — искрометные лапы,
Буйно-радостный львенок народов и стран.

Оглянитесь, не небо над нами, а грива,
Ядра львиные — солнце с луной!..
Восшумит баобабом карельская нива,
И взрастет тамарис над капустной грядой.

С Пустозерска пригонят стада бедуины,
Караванный привал узрят Кемь и Валдай,
И с железным Верхарном сказитель Рябинин
Воспоет пламенеющий ленинский рай.

Ленин, лев, лунный лен, лучезарье:
Буква «Люди» — как сад, как очаг в декабре...
Есть чугунное в Пуде, вифанское в Марье,
Но Христово лишь в язве, в пробитом ребре.

Есть в истории рана всех слав величавей, —
Миллионами губ зацелованный плат...
Это было в Москве, в человечьей дубраве,
Где идей буреломы и слов листопад.

Это было в Москве... Недосказ и молчанье —
В океанах киты, погруженные в сон.
Ленин — Красный олень, в новобрачном сказаньи,
Он пасется меж строк, пьет малиновый звон.

Обожимся же, братья, на яростной свадьбе
Всенародного сердца с Октябрьской грозой,
Пусть на полке Тургенев грустит об усадьбе,
Исходя потихоньку бумажной слезой.

III.

Смольный, — в кожаной куртке, с загаром на лбу,
Юный шкипер глядится в туманы-судьбу...
Чу! Кричит буревестник... К Гороховой 2
Душегубных пучин докатилась молва.

Вот всплеснула акула, и пролежни губ
Поглотили, как чайку, Урицкого труп.
Браунинговый чёх всколыхнул океан, —
Это ранен в крыло альбатрос-капитан.

Кровь коралловой пеной бурлит за рулем —
Знак, что близится берег — лазоревый дом,
Где столетия-угли поют в очаге
О космической буре и черном враге.

Где привратники — Радий, плечистый Магнит
Провожают пришельцев за полюсный щит;
Там долина Титанов, и яственный стол
Водрузил меж рогов Электричество-вол.

Он мычит Ниагарой, в ноздрях Ливерпуль,
А в зрачках петроградский хрустальный Июль,
Рог — подпора, чтоб ветхую твердь поддержать,
Где живет на покое Вселенская мать.

На ущербе у мамушки лунный клубок —
Довязать краснозубому внуку чулок,
Он в истории Лениным звался, никак,
Над пучиной столетий воздвигши маяк.

IV.

Багряного Льва предтечи
Слух-упырь и ворон-молва.
Есть Слово — змея по плечи
И схимника голова.

В поддевке синей, пурговой,
В испепеляющих сапогах,
Пред троном плясало Слово,
На гибель и черный страх.

По совиному желтоглазо
Щурилось солнце с высоты,
И, штопая саван, Проказа
Сидела у Врат Красоты.

Царскосельские помнят липы
Окаянный хохот пурги;
Стоголовые Дарьи, Архипы
Молились Авось и Низги.

Авось и Низги — наши боги
С отмычкой, с кривым ножом;
И въехали гробные дроги
В мертвый Романовский дом.

По козьи рогат возница,
На запятках Предсмертный час.
Это геенская страница,
Мужицкого Слова пляс.

В Багряного Льва Ворота
Стучится пляшущий рок...
Книга «Ленин» — жйла болота,
Стихотворной Волги исток.

V.

Октябрьские рассветки и сумерки
С ледовитым гайтаном зари,
Бог предзимний, пушистый Ай-кюмерки,
Запевает над чумом: фью-ри.

Хорошо в теплых пимах и малице
Слышать мысль — горностая в силке;
Не ужиться с веснянкой-комарницей
Эскимосской, пустынной тоске.

Мир — не чум, не лосиное пастбище,
Есть Москва — золотая башка;
Ледяное полярное кладбище
Зацветет голубей василька.

Лев грядет. От мамо́нтовых залежей
Тянет жвачкой, молочным теплом,
Кашалоты резвятся, и плеск моржей,
Как тальянка помора «в ночном».

На поморские мхи олениха-молва
Ронит шерсть и чешуйки с рогов...
Глядь, к тресковому чуму, примчалась Москва
Табунами газетных листов!

Скрежет биржи, Словаки и пушечный рык,
Перед сполохом красным трепещут враги,
Но в душе осетром плещет Ленина лик,
Множа строки — морские круги.

VI.

Стада носорогов в глухом Заонежьи,
Бизоний телок в ярославском хлеву...
Я вижу деревни седые, медвежьи,
Где Скрябин расставил силки на молву.

Бесценна добыча: лебяжьи отлеты,
Мереж осетровых звенящая рябь.
Зурна с тамбурином вселились в ворота,
Чтоб множились плеск и воздушная хлябь.

Удойны коровы, в кокосовых кринках
Живет Парсифаля молочная бель.
К Пришествию Льва василек и коринка
Осыпали цвет — луговую постель.

У пудожской печи хлопочет феллашка,
И в красном углу медноликий Будда.
Люба австралийцу московка-фуражка:
То близится Лев — голубая звезда.

В желтухе Царь-град, в огневице Калуга,
Покинули Кремль Гермоген и Филипп,
Чтоб тигровым солнцам лопарского юга
Сердца врачевать и молебственный хрип.

К Кронштадтскому молу причалили струги, —
То Разин бурунный с персидской красой...
Отмерили год циферблатные круги,
Как Лев обручился с родимой землей.

Сегодня крестины. — Приплод солнцеглавый
У мамки-Истории спит на руках.
Спеваются горы для ленинской славы,
И грохот обвала роится в стихах.

VII.

Пора лебединого отлета,
Киноварно-брусничные дни,
В краснолесьи рысья охота,
И у лыж обнова — ремни.

В чуме гарь, сладимость морошки,
Смоляной канатной пеньки,
На гусином сале лепешки
Из оленьей костной муки.

Сны о шхуне, песне матросов
Про «последний решительный бой»,
У пингвинных, лысых утесов
Собирались певцы гурьбой.

Океану махали флагом,
(По-лопарски флаг — «юйнаши»)
Косолапым пингвинам и гагам
Примерещился Нил, камыши.

От Великого Сфинкса к тундре
Докатилась волна лучей,
И на полюсе сосны Умбрий
Приютили красных грачей.

От Печоры слоновье стадо
Потянулось на водопой...
В очаге допели цикады,
Обернулася сказка мглой.

Дымен чум и пустынны дюны,
Только, знак брусничной поры —
На скале задремали руны:
Люди с Естью, Наш, Иже, Еры.

VIII.

Октябрь — месяц просини, листопада,
Тресковой солки и рябиновых бус.
Беломорское, Камское сердце-громада —
Всенародная руга — малиновый кус.

Кус принесен тебе, ягелей володыка,
Ледовитой зари краснозубый телок;
Над тобой кашалот чертит ластами Ни-Ка,
За ресницей моржи вскипятили белок.

Ты последыш медвежий, росток китобойца,
(Есть в сутулости плеч недолет гарпуна,
За жилетной морщинкой просветы оконца,
Где стада оленят сторожит Глубина).

Ленин — тундровой Руси горячая печень,
Золотые молоки, жестокий крестец,
Будь трикраты здоров и трикраты же вечен,
Как сомовья уха, как песцовый выжлец!

Эскимосскую кличку запомнит гагара;
На заре океан плещет «Ленин» скалам,
Лебединая матка, драчлива и яра,
Очарована плеском, гогочет: «он-сам».

Жизни ухо подслушало «Люди» и «Енин».
В этот миг я сохатую матку доил, —
Вижу кровь в молоке, и подойник мой пенен, —
Так рождается Слово — биение жил.

Так рождается Слово. И пуля в лопатке —
Двоеточье в строке, вестовые Конца...
Осыпайся, Октябрь, и в тресковые кадки
Брызни кровью стиха — голубого песца.

IX. ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ

Я построил воздушный корабль,
Где на парусе Огненный лик.
Слышу гомон отлетных цапль,*)
Лебединый хрустальный крик.

По кошачьи белый медведь,
Слюня лапу, моет скулу...
Стихотворная, трубная медь
Оглашает журнальную мглу.

---

*) Моя вольность (примечание автора).

Я под Смольным стихами трубил,
Но рубиново-красный солдат
Белой нежности чайку убил
Пулеметно-суровым «назад».

Половецкий привратный костер,
Как в степи, озарял часовых.
Здесь презрен ягелевый узор,
Глубь строки и капель запятых.

С книжной выручки Бедный Демьян
Подавился кумачным хи-хи...
Уплывает в родимый туман
Мой корабль — буревые стихи.

Только с паруса Ленина лик
С укоризной на Смольный глядит,
Где брошюрное море на миг
Потревожил поэзии кит.

X. ПОСОЛ ОТ МЕДВЕДЯ

Я — посол от медведя
К пурпурно-горящему Льву;
Малиновой китежской медью
Скупаю родную молву.

Китеж, Тайна, Финифтяный рай,
И меж них ураганное слово:
Ленин — кедрово-таежный май,
Где и солнце, как воин, сурово.

Это слово кровями купить,
Чтоб оно обернулось павлином...
Я — посол от медведя, он хочет любить,
Стать со Львом песнозвучьем единым.

1918-1919.

289. МЕДНЫЙ КИТ

Объявится Арахлин-град,
Украшенный асписом и сардисом,
Станет подорожник кипарисом,
И кукуший лен обернется в сад.

Братья, это наша крестьянская красная культура,
Где звукоангелы сопостники людских пабедок
и просонок!
Карнаухий кот мудрей, чем Лемура,
И мозг Эдиссона унавозил в веках поросенок.

Бодожёк Каргопольского Бегуна — коромысло
весов вселенной,
И бабкино веретено сучит бороду самого Бога.
Кто беременен соломой, — родит сено,
Чтоб не пустовали ясли Мира — Великого Единорога.

Чтобы мерна была жвачка Гималайнозубых
полушарий,
(Она живет в очапе и в ткацком донце.)
Много на Руси уездных татарий
От тоски, что нельзя опохмелиться солнцем.

Что луну не запечь, как палтосу, в тесто,
И Тихий океан не влить в самовар.
Не величайте революцию невестой,
Она только сваха, принесшая дар —

В кумачном платочке яичко и свечка,
(Газеты пищат, что грядет Пролеткульт.)
Изба — Карфаген, арсеналы же — печка,
По зорким печуркам не счесть катапульт.

Спешите, враги — легионы чернильниц,
Горбатых вопросов, поджарых тире,
Развеяться прахом у пахотных крылец,
Где Радужный Всадник и конь в серебре!

Где тропка лапотная — план мирозданья,
Зарубки ступеней — укрепы земли,
Там в бухтах сосновых от бурь и скитанья
Укрылись родной красоты корабли.

Вон песни баркас — пламенеющий парус,
Ладья поговорок, расшива былин...
Увы! Оборвался Дивеевский гарус,
Увял Серафима Саровского крин.

На дух мироварниц не выйдет Топтыгин,
Не выловит чайка леща на уху...
Я верю вам, братья Есенин, Чапыгин, —
Трущобным рассказам и ветру-стиху:

Инония-град, Белый скит — не Почаев,
Они — наши уды, Почаев же — трость.
Вписать в житие Аввакумов, Мамаев,
Чтоб Бог не забыл черносошную кость.

И вспомнил Вселюбящий, снял семь печатей
С громовых страниц, с ураганных миней,
И Спас Ярославский на солнечном плате
Развеял браду смертоноснее змей: —

Скуратовы очи, татарские скулы,
Путина к Царьграду — лукавый пробор...
О горе! В потире ныряют акулы,
Тела пожирая и жертвенный сор.

Всепетая Матерь сбежала с иконы,
Чтоб вьюгой на Марсовом поле рыдать
И с Псковскою Ольгой, за желтые боны,
Усатым мадьярам себя продавать.

О горе! Микола и светлый Егорий
С поличным попались: отмычка и нож...
Смердят облака, прокаженные зори —
На Божьей косице стоногая вошь.

И вошь — наша гибель. Завшивело солнце,
И яростно чешет затылок луна.
Рубите ж Судьбину на баню с оконцем,
За ним присносущных небес глубина!

Глядите в глубинность, там рощи-смарагды,
Из ясписа даль, избяные коньки, —
То новая Русь — совладелица ада,
Где скованы дьявол и Ангел Тоски.

Вперяйтесь в глубинность, там нищие в бармах
И с девушкой пляшет Кумачневый Спас.
Не в книгах дозреет, а в Красных Казармах
Адамотворящий, космический час.

Погибла Россия — с опарой макитра,
Черница-Калуга, перинный Устюг!
И новый Рублев, океаны — палитра,
Над Ликом возводит стоярусный круг —

То символы тверди плененной и сотой
(Девятое небо пошло на плакат),
По горним проселкам, крылатою ротой
Спешат серафимы в Святой Петроград.

На Марсовом Поле сегодня обедня
На тысяче красных, живых просфорах,
Матросская песня канонов победней,
И брезжат лампадки в рабочих штыках.

Матросы, матросы, матросы, матросы —
Соленое слово, в нем глубь и коралл;
Мы родим моря, золотые утесы,
Где гаги — слова для ловцов - Калевал.

Прости, Кострома в душегрейке шептухи!
За бурей «прости» словно саван шуршит.
Нас вывезет к солнцу во Славе и Духе
Наядообразный, пылающий кит.

ВАРИАНТЫ, РАЗНОЧТЕНИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ

В 1954 году, в издательстве имени Чехова, в Нью Йорке, вышло под ред. Бориса Филиппова «Полное собрание сочинений» Николая Клюева в двух томах. Названо «полным» оно было издательством, хотя сам редактор указывал на неполноту этого собрания — в предисловии к первому тому. Но, конечно, это было наиболее полное собрание произведений Клюева из всех, к тому времени вышедших: оно включало в себя впервые в нем опубликованную поэму «Погорельщина», и много стихотворений, не входивших ни в один из сборников Клюева. Был и еще один изъян в чеховском собрании произведений Клюева: редакторы издательства исключили несколько строк Клюева — по соображениям моральным.

Никак нельзя утверждать, что это наше издание представляет полное собрание произведений поэта: нами не разыскано несколько его стихотворений, опубликованных в редких и недоступных нам сборниках и газетах, едва ли можно считать, что исчерпаны все возможности для нахождения и еще никогда неопубликованных стихов и прозаических вещей Клюева. Найдено, главным образом г. Гордоном Мак-Вэем, много, может быть, все, что находится в литературных архивах Москвы и Ленинграда. Но многое может еще быть найдено в частных литературных собраниях, многое еще может быть обнаружено в провинциальных архивах.

Во всяком случае, наше собрание произведений поэта возросло, по сравнению с «полным собранием сочинений», почти в полтора раза. За пятнадцать лет, прошедших со времени выхода чеховского издания, возросло и количество книг, статей, заметок о Клюеве. Библиография публикаций Клюева и литературы о нем также чрезвычайно выросла по сравнению с чеховским изданием. Изменилось многое и в части биографических данных о поэте: опубликован ряд воспоминаний, документов, писем. Все это заставило основательно переработать и дополнить наши «Материалы к биографии» Клюева, в частности, и внести в них большинство тех выдержек из рецензий о его книгах, которые в издании 1954 года были включены в примечания к отдельным книгам (разделам нашего собрания сочинений). В настоящем собрании произведений поэта в примечаниях даются только цитаты из рецензий, не помещенных в «Материалах», или другие цитаты из тех же рецензий и статей, не те, что включены в «Материалы».

Издание дополненного, пересмотренного и исправленного собрания сочинений Николая Клюева осуществлено благодаря помощи ряда библиотек и отдельных лиц. Редакторы благодарят за помощь Л. А. Алексееву-Иванникову. Хелен Диксон, Гордона Мак-Вэя, В. Ф. Маркова, А. К. Раннита, Т. О. Федорову и художника Николая Сафонова.

*

Как уже указывалось во вступительной статье, Клюев до сих пор — полузапретный, а в ряде своих произведений — запретный автор в СССР. Если его упоминают — в связи с Блоком, с Есениным, с клеймящимся в Советском Союзе «модернизмом», — то только для того, чтобы подчеркнуть, что «'глубины духа', которые открывались в поэзии Клюева, оказывались всего лишь настроениями зажиточного мужичка, принимавшего революцию лишь постольку, поскольку она освободила его от царя и помещика и дала ему землю, но упорно сопротивлявшегося социалистическим преобразованиям деревни». Так пишет о Клюеве в статье «Кровное, завоеванное» один из наиболее тупых ортодоксов-критиков, А. Метченко («Октябрь», 1966, № 5, стр. 199). Но и один из наиболее «академических» критиков и литературоведов СССР, Вл. Орлов, в менее трафаретных выражениях, все же говорит почти что то же самое: «...о чем бы ни писал Клюев, он всегда оставался самим собой — 'певцом мистической сущности крестьянства', по характеристике Горького. Приветствуя революцию, прославляя даже революционный террор, Клюев и не думал отказываться от того, что кровно было близко и дорого его сердцу: ни от религии, ни от народной мистики 'чарых Гришек', предтечей которых он себя считал, ни от любезного ему благостного лампадно-запечного быта. Он хотел, чтобы революция не только пощадила, но и упрочила стародавние заветы и уставы — даже церковь, которая теперь, после свержения самодержавия, уже не 'наймит казенный', а духовный оплот 'сермяжного Востока', живущего якобы божественной 'извечной тайной'». («Николай Клюев». — «Литературная Россия», № 48, 25 ноября 1966, стр. 17). Все здесь — и правда, и неправда: правда, ибо Клюев, конечно, был против уничтожения, подавления религии, народной мистики, бытового уклада и издавна идущих культурно-исторических традиций. Неправда, потому что Клюев смотрел отнюдь не назад, а вперед, но понимал, что быть передовым — отнюдь не значит — отказываться от традиций. Неправда, ибо рассматривать Клюева *только* как «крестьянского» поэта — по меньшей мере смешно. Хорошо говорит об этом Роман Гуль: «Искусство, увы, социальным происхождением не интересуется, и нарочитое подчеркивание 'мужиковства' Клюева вряд ли имеет отношение к искусству» («Николай Клюев. Полное собрание сочинений» — рец. — «Новый Журнал», Нью Йорк, № 38, 1954, стр. 291). «'Крестьянский поэт', — пишет Юрий Иваск, — но, ведь, вместе с тем и декадент, даже *почище* многих других декадентов... ...Все-таки был он поэт настоящий, и конечно лирический...» («Ник. Клюев. Полн. собр. соч.» — рец. — «Опыты», Нью Йорк, № 4, 1955, стр. 104). «Среди своих современников

Н. Клюев обладал тем, чего многим и многим не хватало (и не хватает, и будет не хватать), а именно: силой, — как человек — силой внутренней убежденности в своей правде, как поэт — силой образа (пусть часто непривычного)». (Борис Нарциссов. Николай Клюев. «Новое Русское Слово», Нью Йорк, 12 сентября 1954). «Клюев — величайший в русской поэзии мастер орнамента, который в более поздних вещах уже начинает перегружать стиховую ткань» (Вл. Марков. Приглушённые голоса. Поэзия за железным занавесом. Изд. им. Чехова, Нью Йорк, 1952, стр. 16). «В его поэзии — прохладная нежность, ласковость. Он многим любуется, но мало что любит или даже ничего не любит страстно. Он кажется бесполым. Есть в нем что-то рыбье. Но иногда он вспыхивает — как сырые дрова, как костер под моросящим дождиком. Это случается, когда он говорит об утаенных своих реальностях — о материнстве, о братствесестричестве, и об одиночестве. ...А тайная тайных Клюева не хлыстовская полу-духовность, а скопческая — пусть ложная, но тотальная духовность и духовный рай — 'то-светная сторона'... Клюевский рай этот — очень экзотичен. Это фантастическая, улучшенная воображением Русь Светлояра, Китежа. Но клюевский рай все-таки завораживает...» (Юрий Иваск. Клюев. «Опыты», Нью Йорк, № 1, 1953, стр. 83, 85). «Раскольничья стихия, как это ни парадоксально, сожгла революционные мотивы поэзии Клюева. Путь к воскрешению идет через смерть. В сердце поэта кипит кровь старообрядцев, которые сжигали себя в срубах. Не революционные чувства, а мистический восторг самосожжения — вот чем сильны стихи Клюева о революции» (В. Завалишин. Николай Клюев. «Новое Русское Слово», Нью Йорк, 15 августа 1954).

Но, говоря словами «младшего брата» Клюева — Сергея Есенина, «истинный художник не отобразитель и не проповедник каких-либо определенных в нас чувств, он есть тот ловец, о котором так хорошо сказал Клюев:

В затонах тишины созвучьям ставит сеть».

(«Отчее слово». — Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, Москва, 1962, стр. 63-64).

*

(АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА): *«Мне тридцать пять лет...»* Записана со слов поэта в 1922 г. П. Н. Медведевым и опубликована в книгах: *Современные рабоче-крестьянские поэты в образцах и автобиографиях, с портретами,* составил П. Я. Заволокин. Изд. «Основа», Иваново-Вознесенск, 1925, и *Русская поэзия XX века. Антология русской лирики от символизма до наших дней.* Составили И. С. Ежов и Е. И. Шамурин. Изд. «Новая Москва», Москва, 1925.

«Пещное действо» — или «Семь отроков в пещи огненной» — русская мистерия XVI-XVII века, исполнявшаяся молодыми диаконами и «певчими дьяками» в московских храмах времен царя Алексея Михайловича. В музыкальной редакции Каратыгина исполнялась в дореволюционные годы и в 1920-х годах в Академической (бывшей Придворной) Капелле в Петербурге. Палеостров, Выговская обитель — духовные исторические центры староверов.

(АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА): *«Говаривал мне...»* Опубликована в отделе «Литераторы о себе» еженедельного журнала «Красная Панорама», Ленинград, № 30 (124), 23 июня 1926, стр. 13.

Сопель, шин, гривна, графья, ассис — см. словарь.

Автобиографическая заметка эта заставляет предположить, что жизненные пути поэта шли от Коневецкого монастыря (на острове Коневец, на Ладожском озере) до... Индии («до порфирного быка Сивы» = Шивы).

СОСЕН ПЕРЕЗВОН

В этот раздел, в основном, вошли стихи из одноименной книги стихов поэта, вышедшей в самом конце 1911 года (на титульном листе — 1912 г.). В «Песнослове» поэт перенес в этот раздел еще и стихи из «Братских песен», «Лесных былей», зато из стихов «Сосен перезвона», в свою очередь, перенес часть стихов в «Братские песни», «Мирские думы», а одно стихотворение вообще в «Песнослов» не включил. Так как «Песнослов» является собранием *избранных* стихотворений поэта, все исключенные поэтом из его предшествующих «Песнослову» книг стихи нами публикуются в составе соответствующих разделов. Но стихи, перенесенные поэтом в другие разделы, публикуются по тому, как и где они помешены в «Песнослове».

Авторское посвящение первой книги стихов: «Александру Блоку — Нечаянной Радости». В книге «Сосен перезвон» блоковские влияния весьма ощутимы. Много и общих мест символистской поэзии тех лет. Но уже очень много и своеобычного, чисто клюевского. Перед первым разделом книжки, названным — так же, как и вся книжка, — «Сосен перезвон» — эпиграф из Тютчева: «Не то, что мните вы, природа...» Второй раздел книги был назван «Лесными былями».

Первая книга Клюева была очень хорошо встречена и читателями, и критикой. Приведем полностью рецензию Н. Гумилева, небольшой отрывок из которой включен во вступительную статью: «Эта зима принесла любителям поэзии неожиданный и драгоценный подарок. Я говорю о книге

почти не печатавшегося до сих пор Н. Клюева. В ней мы встречаемся с уже совершенно окрепшим поэтом, продолжателем традиций Пушкинского периода. Его стих полнозвучен, ясен и насыщен содержанием. Такой сомнительный прием, как постановка дополнения перед подлежащим, у него вполне уместен и придает его стихам величавую полновесность и многозначительность. Нечеткость рифм тоже не может никого смутить, потому что, как всегда в большой поэзии, центр тяжести лежит не в них, а в словах, стоящих внутри строки. Но зато такие словообразования, как 'властноокая' или 'многоочит' — с гордостью заставляют вспомнить о подобных же попытках Языкова. Пафос поэзии Клюева редкий, исключительный — это пафос нашедшего.

Недостижимо смерти дно
И реки жизни быстротечны,
Но есть волшебное вино
Продлить чарующее вечно...

говорит он в одном из первых стихотворений, и всей книгой своей доказывает, что он и испил этого вина. Испил, и ему открылись райские крины, берега иной земли и источающий кровь и пламень шестикрылый Архистратиг. Просветленный, он по новому полюбил мир, и лохмотья морской пены, и сосен перезвон в лесной блуждающий пустыне, и даже золоченые сарафаны девушек-согревушек или опояски соловецкие дородных добрых молодцев, лихачей и залихватчиков. Но...

Лишь одного недостает
Душе в изгнания юдоли:
Чтоб нив просторы, лоно вод
Не оглашались стоном боли...
...И чтоб похитить человек
Венец Создателя не тщился,
За что, посрамленный навек,
Я рая светлого лишился.

Неправда ли, это звучит как: Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человецех благоволение? Славянское ощущение светлого равенства всех людей и византийское сознание золотой иерархичности при мысли о Боге. Тут, при виде нарушения этой чисто русской гармонии, поэт впервые испытывает горе и гнев. Теперь он видит странные сны:

Лишь станут сумерки синее,
Туман окутает реку —
Отец с веревкою на шее
Придет и сядет к камельку.

Теперь он знает, что культурное общество — только 'оттул глухой, гремучей, обессилевшей волны'. Но крепок русский дух, он всегда найдет дорогу к свету. В стихотворении 'Голос из народа' звучит лейт-мотив всей книги. На смену изжитой культуры, приведшей нас к тоскливому безбожью и бесцельной злобе, идут люди, которые могут сказать про себя: 'Мы — предутренние тучи, зори росные весны... в каждом облике и миге наш взыскующий Отец... Чародейны наши воды и огонь многоочит'! Что же сделают эти светлые воины с нами, темными, слепо-надменными и слепо-жестокими? Какой казни подвергнут они нас? Вот их ответ:

Мы — как рек подземных струи
К вам незримо притечем
И в безбрежном поцелуе
Души братские сольем.

В творчестве Клюева намечается возможность большого эпоса». («Аполлон», 1912, № 1, стр. 70-71; перепеч.: Н. Гумилев. Собр. соч. в 4 тт., под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 4, изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1968, стр. 281-283).

В. Львов-Рогачевский писал о первой книге Клюева: «Н. Клюев приносит в строгую размеренную поэзию ту свежую струю, тот аромат полей и сосен, которых не знают поэты-эрудиты и которым так богата поэзия Ив. Бунина». («Современный Мир», 1912, № 1, стр. 343). В левонароднических «Заветах» О. Колбасина писала два месяца спустя: «Неожиданная радость — этот маленький сборничек... ...В нем много 'своего', неповторяемого, много яркого и значительного и неожиданно прекрасны многие стихотворения». («Заветы», 1912, № 3, стр. 190).

№ 1. В ЗЛАТОТКАНЫЕ ДНИ СЕНТЯБРЯ. В кн. «Сосен перезвон» разночтения:

Стих 7. Из-за полога выглянь сосны,
» 10. Грудь и профиль задумчиво-кроткий.
» 13. Про бубенчик в изгнанья пути,
» 14. Про бегущие родины дали.

№ 3. НАША РАДОСТЬ, СЧАСТЬЕ НАШЕ. В кн. «Сосен перезвон» помещено в виде стихотворного пролога, напечатано курсивом под названием «Жнецы» и предварено эпиграфом из А. В. Кольцова:

Сладок будет отдых
На снопах тяжелых.

№ 5. Я ГОВОРИЛ ТЕБЕ О БОГЕ. Впервые: «Золотое Руно», 1908, № 10. Разночтение (оно же — в «Сосен перезвоне»):

Стих 2. Картины неба рисовал.

№ 6. ПАХАРЬ. В «Медном Ките», 1919, цензурная «поправка»:

Стих 17. Работник родины свободный

№ 7. Я БЫЛ ПРЕКРАСЕН И КРЫЛАТ. В «Сосен перезвоне» под названием «Изгнанник». Разночтения:

Стих 2. В надмирном ангелов жилище,
» 8. В лесной блуждающий пустыне.
» 10. Душе в изгнания юдоли,
» 19. За что, посрамленный навек,
» 20. Я рая светлого лишился.

№ 8. ГОЛОС ИЗ НАРОДА. В «Сосен перезвоне» разночтение:

Стих 13. Ласка девичья природы

№ 10. ОСЕНЮСЬ МОГИЛЬНОЮ ИКОНКОЙ. Перенесено из «Братских песен».

№ 11. В МОРОЗНОЙ МГЛЕ, КАК ОКО СЫЧЬЕ. В «Сосен перезвоне» под названием «К родине» и с эпиграфами из А. В. Кольцова:

Поднимись, что силы
Размахни крылами.
Может, наша радость
Живет за горами.

В мечтах не разуверюсь я.

Разночтение:

Стих 11. Для поэтического слуха

Одно из наиболее «блоковских» стихотворений Клюева.

№ 12. СЕРДЦУ СЕРДЦА ГОВОРЮ. Перенесено автором из книги «Братские песни», в ней — разночтение:

Стих 7. Крест, голгофа и палач —

№ 15. О, РИЗЫ ВЕЧЕРА, БАГРЯНО-ЗОЛОТЫЕ. Перенесено из «Братских песен».

№ 16. ПРОГУЛКА. Впервые: «Трудовой Путь», 1908, № 1, стр. 35, за подписью: «Крестьянин Николай Олонецкий». В журнальной публикации стихотворение это длиннее на 12 строк, чем в «Сосен перезвоне» (в «Песнослов» оно не включено). После строки 20-й («Белый призрак наяву») в журнале следует:

И суровый плен нежданный
Вспомню я наедине;
Зал торжественно-парадный,
Где так страшно было мне.
Где, как воры, люди робко
Совещание вели,
По-военному, коротко
Смертный приговор прочли.
Может быть на казни место
Поведут меня сейчас;
Посмотри, моя невеста,
На меня в последний раз.
Я все тот же — мощи жаркой — и т. д.

В журнале стихотворение «посвящается дорогой сестре».

№ 17. Я НАДЕНУ ЧЕРНУЮ РУБАХУ. В «Сосен перезвоне» под названием «Под вечер». Разночтения:

Стих 2. Опояшусь кожаным ремнем,
» 6. Синий вечер, дрему светлых стен.
» 8. На окне любимый бальзамен,
» 33. Сердца сон неистово-нелепый!
» 34. По оврагам бродит ночи тень,
» 35. И слезятся жалобно и слепо

Первая публикация редакции «Песнослова» (и нашей) — в «Медном Ките». Дата (1911) — в публикации Вл. Орлова: «Литературная Россия», 1966, № 48, стр. 17.

№ 18. ТЕМНЫМ ЗОВАМ НЕ ВЕРИТ ДУША. Перенесено из «Братских песен».

№ 19. БЕЗОТВЕТНЫМ РАБОМ. Перенесено из кн. «Братские песни». Впервые: «Волны», Москва, 1905, стр. 2. Разночтение:

Стих 7. И в наследство отдал

«Ранние стихи Клюева совсем еще незрелы, наивны и подражательны, но порой в них звучит, слабая, впрочем, нота социального протеста, разбуженная революционными событиями тех лет:

...не стоном отцов
Моя песнь прозвучит,
А раскатом громов
Над землей пролетит. —»

(Вл. Орлов. Ник. Клюев. «Литер. Россия», 1966, № 48, стр. 16).

№ 20. ЕСТЬ НА СВЕТЕ КРАЙ ОБШИРНЫЙ. У нас — по тексту «Избы и поля». В «Песнослове» разночтение:
Стих 19. Эхо дикого простора

№ 21. ПО ТРОПЕ-ДОРОЖЕНЬКЕ. Перенесено из «Братских песен».

№ 22. Я ПРИШЕЛ К ТЕБЕ УБОГИЙ. В «Сосен перезвоне» под названием «Пилигрим». Разночтение:
Стих 31. И лазурную свободу

№ 23. СТАРЫЙ ДОМ ЗЛОВЕЩЕ ГУЛОК. Перенесено из «Братских песен».

№ 24. ЛЮБВИ НАЧАЛО БЫЛО ЛЕТОМ. Впервые — «Золотое Руно», 1908, № 10. Разночтения (они же в «Сосен перезвоне»):
Стих 4. В наряде девичьем простом.
» 11. Сквозь паутину занавески
» 17. О не лети в тумане пташкой!

№ 25. НЕ ОПЛАКАНО БЫЛОЕ. Перенесено из «Братских песен». Впервые — «Новая Земля», 1912, № 9-10, стр. 8. Разночтения только в пунктуации и в том, что первые две строки стихотворения и слово «он» в стихе 18-м набраны в журнале курсивом.

№ 27. ТЫ НЕ ПЛАЧЬ, НЕ КРУШИСЬ. В «Сосен перезвоне» под названием «На отлете».

№ 28. СЕГОДНЯ НЕБО, КАК НЕВЕСТА. В «Сосен перезвоне» под названием «На пороге жизни» и с разночтением:
Стих 23. И наших рук пробитых гвозди

№ 29. Я — МРАМОРНЫЙ АНГЕЛ НА СТАРОМ ПОГОСТЕ. Перенесено из книги «Лесные были». Впервые — «Гиперборей», №   , 1912, стр. 16. Разночтение — в журнале и «Лесн. былях»:
Стих 11. Но бдите и бойтесь! В изваянном лоне,

№ 30. НАМ ЗАКЛЯТЫ И ЗАКАЗАНЫ. В «Сосен перезвоне» с разночтением (с этим же разночтением перепечат. в «Северной Звезде», 1916, № 4, стр. 32):
Стих 6. Скорбь и траура венки,

№ 31. НЕ ГОВОРИ — БЕЗ СЛОВ ПОНЯТНА. В «Сосен перезвоне» под названием «У очага» и с разночтениями:
Стих 10. На елей меркнет бахроме...
» 16. А мне умолкший карабин.
» 24. Зимы затмятся серебром.

Чем-то, каким-то внутренним звучанием позднее стихотворение Федора Сологуба (1923) перекликается с этими ранними стихами Клюева:

Не слышу слов, но мне понятна
Твоя пророческая речь.
Свершившееся — невозвратно,
И ничего не уберечь...

№ 32. Я ЗА ГРАНЬЮ, Я В ПРОСТОРЕ. Перенесено из «Братских песен».

№ 35. НА ПЕСНЮ, НА СКАЗКУ РАССУДОК МОЛЧИТ. У нас — по «Избе и полю». В «Сосен перезвоне» разночтения:
Стих 9. Вглядись в эту дымно-лиловую даль,
» 13. Потянет к загадке, к туманной мечте,
Разночтение в «Песнослове»:
Стих 2. Но сердцу так странно-правдиво,

№ 36. Я МОЛИЛСЯ БЫ ЛИКУ ЗАКАТА. Перенесено из «Лесных былей». Впервые — «Новая Жизнь», 1912, № 10, стр. 44.

№ 37. ВЕРИТЬ ЛИ ПЕСНЯМ ТВОИМ. В «Сосен перезвоне» разночтения:
Стих 2. Птицам звенящим рассвета,
» 4. Моря лазурь не одета?
» 7. Злые метели зимы
» 10. Шхер испытует граниты, —

№ 38. Я БОЛЕН СЛАДОСТНЫМ НЕДУГОМ. В «Сосен перезвоне» разночтения:
Стих 2. Багряной осени тоской.
» 11. И свод тюрьмы, окна решетка —

№ 39. ПРОСТЯТСЯ ВАМ СТОЛЕТИЙ ИГО. Перенесено из «Лесных былей».

№ 40. ЗАВЕЩАНИЕ. Многократно перепечатывалось, в частности, в «Северной Звезде», 1916, № 4, стр. 39. В. Львов-Рогачевский видел в этом стихотворении «кольцовскую силу, кипучую и огненную» и утверждал, что оно «задумано в эпоху казней, расправ и расстрелов 1906-1907 гг.» («Поэзия новой России. Поэты полей и городских окраин». Книгоизд. Писателей в Москве, 1919, стр. 49).

БРАТСКИЕ ПЕСНИ

В 1912 г. вышли «Братские песни», сначала в виде 16-страничной брошюры, изд. журн. «К Новой Земле», затем, в виде книги под тем же названием, с большим предисловием В. Свенцицкого (XIV стр.; тексты Клюева — 62 стр.), в изд. журнала «Новая Земля». В авторском предисловии Клюев пишет о том, что эти стихи написаны ранее, чем стихи

«Сосен перезвона», но не вошли в первую книгу потому, что автором не записывались, а передавались устно или письменно помимо автора. Это предисловие возмутило В. Львова-Рогачевского: «г. Клюев, *только что* вступивший в литературу, заявляет...» («Современный Мир», 1912, № 7, стр. 325). Гумилев, напротив, процитировав часть авторского предисловия, пишет: «Именно так и складываются образцы народного творчества, где-нибудь в лесу, на дороге, где нет возможности, да и охоты записывать, отделывать, где можно к удачной строфе приделать неуклюжее окончание, поступиться не только грамматикой, но и размером»... «До сих пор, начинает свою статью Гумилев, — ни критика, ни публика не знает, как относиться к Николаю Клюеву. Что он — экзотическая птица, странный гротеск, только крестьянин — по удивительной случайности пишущий безукоризненные стихи, или провозвестник новой силы, народной культуры? По выходе его первой книги 'Сосен перезвон', я говорил второе; 'Братские песни' укрепляют меня в моем мнении... ...Пафос Клюева — все тот же, глубоко религиозный:

Оттул колоколов, то полновесно-четкий,
То дробно-золотой, колдует и пьянит.
Кто этот, в стороне, величественно-кроткий,
В одежде пришлеца, отверженным стоит?

Христос для Клюева — лейтмотив не только поэзии, но и жизни. Это не сектантство отнюдь, это естественное устремление высокой души к небесному Жениху... Монашество, аскетизм ей противны; она не позволит Марии обидеть кроткую Марфу:

Не оплакано былое,
За любовь не прощено,
Береги, дитя, земное,
Если неба не дано.

Но у нас есть гордое сознание, ставящее ее над повседневностью:

Мы — глашатаи Христа,
Первенцы Адама.

Вступительная статья В. Свенцицкого грешит именно сектантской узостью и бездоказательностью. Вскрывая каждый намек, философски обосновывая каждую метафору, она обесценивает творчество Николая Клюева, сводя его к простому пересказу Голгофской церкви». («Аполлон»,

1912, № 6, стр. 53; перепеч.: Н. Гумилев. Собр. соч. в 4 тт., под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 4, изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1968, стр. 298-300).

В. Свенцицкий, в своей вступит. статье, писал: «'Песни' Клюева по содержанию своему имеют еще два основных начала: *Вселенское*, в том смысле, что в них выражается не односторонняя правда того или иного 'вероисповедания', а общечеловеческая правда полноты вселенского религиозного сознания. *Национальное*, в том смысле, что раскрывается это вселенское начало в чертах глубоко русских, если можно так выразиться, плотяных, черноземных, подлинных, национальных. ...Мировой процесс, — это постепенное воплощение 'Царствия Божия на земле', — постепенное освобождение земли от рабства внешнего: господства страдания, зла и смерти. 'Освобождение земли' на языке религиозном должно быть названо *искуплением*. Путь к этому освобождению должен быть назван *голгофским*. Не дано 'искупление', как подвиг единого Агнца — оно *дастся*, как усилие *всей земли*. Голгофа же Христова — первое слово освобождения, первый Божественный призыв, обращенный к земле: — взять крест и идти на распятие, — не в муку вечную, а в жизнь вечную»... (стр. VI-VII). Подзаголовок книги в первом ее, брошюрочном, сокращенном виде, — недаром — «Песни голгофских христиан».

Еще более восторженно приветствовал «Братские песни» их издатель, редактор и издатель «Новой Земли» и «Нового Вина», Иона Брихничев: «Пока жизнь продолжает стремиться мутным потоком и человек в борьбе за лучшее будущее, — неведомое и непонятное, — нагромождает одну неправду на другую, — Бог, незаметно для него, готовит себе вестника, — там, где он не ожидает... Великое, мировое — всегда зачинается в маленьком Назарете... Пусть вокруг нас объюродели мудрые и великие — олонецкий мужик скажет, что повелел ему Вышний...» (Поэт голгофского христианства. «Новая Земля», 1912, № 1-2, стр. 3). А в том же номере «Новой Земли» Сергей Городецкий приветствовал Клюева стихами (стр. 5):

Как воду чистую ключа кипучего
Твою любовь, родимый, пью,
Еще в теснинах дня дремучего
Провидев молонью твою.

Ой, сосны старые, ой, звоны зарные,
Служите вечерю братам!
Подайте, Сирины, ключи янтарные
К заветным рая воротам!

В «Новом Вине», пришедшем на смену закрытой цензурой «Новой Земле», столь же восторженный панегирик «Братским песням» пропела Любовь Столица (О певце-брате. «Новое Вино», 1912, № 1, стр. 13-14).

«В том-то и состояло различие между Клюевым и большинством крестьянских авторов, что последние во всю 'крестились' и 'причащались' не в силу глубокой внутренней потребности, а, так сказать, по традиции, 'для виду', с целью передать свою 'лапотность', 'сермяжность', 'народность', которая нередко понималась ими до крайности упрощенно, в соответствии с привычными штампами, механически усвоенными у тех же символистов. Тут действует не крестьянское мировоззрение, а поэтический 'канон', насаждаемый 'учителями'», — говорят А. Меньшутин и А. Синявский (Поэзия первых лет революции. 1917-1920. Изд. «Наука», 1964, стр. 77), резко выделяя Клюева с его неколебимым религиозным мировоззрением. «Не буду приводить цитат из этих 'христианских' стихов Клюева, настолько они кощунственны и бесстыдны», — пишет поэт Вл. Смоленский (Мысли о Клюеве. «Русская Мысль», Париж, 15 октября 1954). Вообще, к религиозным мотивам в творчестве Клюева многие подходили по-разному... В. Львов-Рогачевский, в цитированной уже выше рецензии, жалуется: «Новый сборник нас разочаровал. Несмотря на истерически приподнятое, крикливое предисловие г. В. Свенцицкого, в котором Николай Клюев производится в пророки, а его песни превращаются в 'пророческий гимн Голгофе', тощую, претенциозную 'вторую книгу' Николая Клюева трудно дочитать до конца. Слишком он 'велегласно возопил'... ...Не пристало носить терновый венок набекрень и кричать о своих крестных муках» («Современный Мир», 1912, № 7, стр. 325-326).

Последнее замечание вызвано стихотворением Клюева «На кресте» и «Радельными песнями» с их «скачущим» мотивом. Плохо знающий русскую литературу, Львов-Рогачевский не принял во внимание мелодики «христовских» (хлыстовских) песнопений и того обстоятельства, что эти песни Клюева — хлыстовские песни. «То-то пивушко-то, — говорят хлысты, особенно после радения, и поясняют посторонним: — человек плотскими устами не пьет, а пьян бывает» (о. Ив. Сергеев. Изъяснение раскола, именуемого христовщина или хлыстовщина. Цитирую по В. В. Розанову: Апокалипсическая секта. СПб, 1914, стр. 10-11). Песни радельные распеваются во время верчения, в вакхическом экстазе, и мотив их всегда несколько плясовой, например:

Ай, кто пиво варил,
Ай, кто затирал?
Варил пивушко Сам Бог,
Затирал Святой Дух.

Сама Матушка сливала,
Вкупе с Богом пребывала;
Святы Ангелы носили,
Херувимы разносили;
Серафимы подносили.
Скажи ж, Батюшка Родной,
Скажи, Гость дорогой!
Отчего пиво не пьяно?
Али я гостям не рада?
Рада, Батюшка родной,
Рада, Гость дорогой,
На святом кругу гулять,
В золоту трубу трубить,
В живогласну возносить!
Богу слава и держава
Во-веки, аминь.

(Исследование о скопческой ереси (Надеждина). СПб, 1845. Приложение).

«Старинные хлысты складывали и певали свои гимны на манер простонародных русских песен, — пишет Ф. В. Ливанов, — а у новейших сектаторов песнопение их сложено уже по версификации Ломоносова и Державина, книжным литературным языком, иногда же состоит из переводов со псалм французских, немецких и английских поэтов» («Раскольники и острожники», т. 1, изд. 4-е, СПб, 1872, стр. 63). Ну, а в 20-м веке у Клюева старораскольничьи и народные песни чередуются (а иногда и скрещиваются) с поэтикой символизма и даже футуризма.

Раздел второй «Песнослова» — «Братские песни» — состоит, в основном, из стихов одноименной второй книги Клюева (стихотворение «Что вы, други, приуныли», заключающее брошюру «Братские песни», как не включенное автором во «вторую книгу стихов», нами перенесено во второй том, в раздел стихов, не включенных Клюевым в его книги). Однако, как мы видели, некоторые стихи из этой книги в «Песнослове» перенесены в раздел «Сосен перезвон»; с другой стороны, ряд стихотворений из «Сосен перезвона» перенесены автором в раздел «Братские песни». Из этой книги, при включении ее в «Песнослов», автор изъял наибольшее количество стихотворений (частично также и для того, чтобы несколько ослабить религиозную окраску собрания своих стихов, выходившего уже в 1919 году).

№ 41. В БЫЛ В ДУХЕ В ДЕНЬ ВОСКРЕСНЫЙ. Перенесено из «Сосен перезвона». Разночтение:

Стих 22. Облечу вселенной храм,

№ 42. БЕГСТВО. Перенесено из «Сосен перезвона».

№ 44. ПОЛУНОЩНИЦА. Впервые — «Новая Земля», 1912, № 19-20, стр. 3.

№ 45. ЕСТЬ ТО, ЧЕГО НЕ ВИДЕЛ ГЛАЗ. Перенесено из «Сосен перезвона». Разночтение:

Стих 15. Зажгу с Земли материка

№ 46. ОЖИДАНИЕ. Перенесено из «Сосен перезвона». Разночтения:

Стих 10. Смерти ль костлявая тень?
» 12. В ризах огнистых как день?

№ 47. СПЯТ КОСОГОР И РЕКА. Перенесено из «Сосен перезвона», где было под названием «У окна». Разночтения:

Стих 2. Платом закрыты туманным.
» 5. Сердцу полей ветерок
» 6. Смерти дыханием мнится...

№ 48. ЗА ЛЕБЕДИНОЙ БЕЛОЙ ДОЛЕЙ. Перенесено из «Сосен перезвона», где было под названием «Грешница». Разночтения:

Стих 1. Бледна, со взором полным боли,
» 2. С овалом вдумчивым чела —
» 3. От мирных хижины и поля
» 4. Ты в город каменный пришла.
» 23. И взором милующим брата

№ 49. ПОЗАБЫЛ, ЧТО В РУКАХ. Впервые — «Новая Земля», 1912, № 5-6. Расхождения только в пунктуации.

№ 50. ВАЛЕНТИНЕ БРИХНИЧЕВОЙ. Впервые — «Новая Земля», 1912, № 9-10, стр. 8.

№ 52. КАК ВОРА ДЕРЗКОГО, МЕНЯ. Перенесено из «Сосен перезвона», где было под названием «Мученик» (так же и в «Медном Ките»).

№ 56. НЕ ЖДИ ЗАРИ, ОНА ПОГАСЛА. В «Братских песнях» разночтение:

Стих 10. Трубит победу в смерти рог.

№ 58. ПОМНЮ Я ОБЕДНЮ РАННЮЮ. Перенесено из «Сосен перезвона». Разночтения:

Стих 17. Дни свершилися падения,
» 23. И на диске солнца млечного

№ 60. ЛЕСТНИЦА ЗЛАТАЯ. В «Братских песнях» разночтения:

Стих 5. В кущах братья-духи,
» 7. Ладан черемухи
» 8. С ветром донесло.

№ 61. ГВОЗДЯНЫЕ НОЮТ РАНЫ. В «Братских песнях» разночтения:

Стих 3. Чу! провеяло в тумане
» 12. Мой Фавор и Назарет?

№ 62. О ПОСПЕШИТЕ, БРАТЬЯ, К НАМ. Впервые — «Новая Земля», 1912, № 17-18, стр. 4, в составе цикла «Братские песни» (наши №№ 62, 67, 69, на стр. 4, 6, 8), под названием «Утренняя». Разночтения только в пунктуации.

№ 63. БРАТСКАЯ ПЕСНЯ. Впервые — «Новая Земля», 1912, № 1-2, стр. 3. В журнале — ряд эпиграфов:

Смерть, где твое жало?
Ад, где твоя победа?
Из писаний Павла Тарсянина

И подобно камням в венце
Они воссияют на земле Его.
Из пророка Захарии

Ты светись, светись, Иисусе,
Ровно звезды в небесах,
Ты восстани и воскресни
Во нетленных телесах.
Из народных песен

(В «Братских песнях» эпиграфы сняты). Разночтения:

Стих 4. Заревой, палящий меч.
» 10. На кольчугах крест горит.
» 33. Наши битвенные гимны
» 34. Как прибой морей звучат...

Стихов 17-20, 25-32 — в «Песнослове» нет. Нами они восстановлены по журнальной публикации и «Братским песням», поскольку их исключение произведено, главным образом, по цензурным соображениям.

№ 65. ОН ПРИДЕТ! ОН ПРИДЕТ! И СОДРОГНУТСЯ ГОРЫ. Впервые — «Новая Земля», 1912, № 13-14, стр. 6, под названием «Сестре» (в «Братских песнях» название снято). Разночтения:

Стих 2. Под могучей стопою Пришельца-Царя!
» 19. Кто-то шепчет тебе: «к серафимов Собору
» 22. Что за гробом припал я к живому ключу.
» 23. Воспаришь ты к лазури, светла, шестикрыла,

№ 66. КАК ЗВЕЗДЕ, ПРОЛЕТНОЙ ТУЧКЕ. Впервые — «Новая Земля», 1912, № 3-4, стр. 11. Разночтения:

Стих 1. Как звезде, крылатой тучке,

» 8. За окном осенний куст...

№ 67. АХ ВЫ ДРУГИ — ПОЛЮБОВНЫЕ СОБРАТЬЯ. Впервые — «Новая Земля», 1912, № 17-18, стр. 6, в составе цикла «Братские песни» (стр. 4, 6, 8, наши №№ 62, 67, 69), под названием «Полуденная». Разночтения только в пунктуации.

№ 69. ТЫ ВЗОЙДИ, ВЗОЙДИ, НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ. Впервые — «Новая Земля», 1912, № 17-18, стр. 8, в составе цикла «Братские песни» (стр. 4, 6, 8, наши №№ 62, 67, 69), под названием «Вечерняя». Разночтения только в пунктуации.

№ 70. ПУТЬ НАДМИРНЫЙ СОВЕРШАЯ. Впервые — «Новая Земля», 1912, № 14-15, под названием «Змей». Разночтения:

Стих 7. С жизнью тяжкую разлуку

» 15. Я бессмертья вожделею

» 19. Средь немеркнущих полей.

Кроме того, после второй строфы, в журнале следует еще одна — пропущенная в «Братских песнях» (в «Песнослов» вообще эта песня не входит) — строфа:

До зари во мгле суровой
Буду грезить жизнью новой
В царстве благостных теней.
Просветленный, не услышу,
Как крылом неволи нишу
Осенит Убийца-Змей.

Не отринь меня, Царица... —

В журнальной публикации подзаголовок: «Из серии 'Тюрьма'».

№ 71. УСЛАДНЫЙ СТИХ. Впервые — «Новая Земля», 1912, № 11-12, стр. 2, под названием «Вечерняя песня». В «Песнослове» стихи 34-35:

Ныне, братики, нас гонят и бесчестят,
Тем Уму Христову приневестят. —

исключены — по цензурным соображениям.

№ 72. ТЫ НЕ ПЛАЧЬ, МОЯ КАСАТКА. В «Братских песнях» — как третья часть триптиха «На отлете» (I. «Старый дом зловеще-гулок»; II. «Темным зовам не верит душа»; III. «Ты не плачь...»)

№ 73. ПЕСНЬ ПОХОДА. Впервые — «Новая Земля», 1912, № 7-8, стр. 3, под названием «Песнь — братьям». В «Песнослове» исключены совсем четверостишия первое (стихотворение сразу начинается со слов «Братья-воины, дерзайте»), и девятое («Мир вам, странники-собратья») и последние две строки стихотворения.

ЛЕСНЫЕ БЫЛИ

В том же 1912 году, что и «Братские песни», вышла — в издании журнала «К Новой Земле» — брошюра (16 стр.) «Лесные были». А в следующем, 1913 году, — третья книга стихов Клюева — «Лесные были», в издательстве К. Ф. Некрасова (78 стр.). В третью книгу поэта вошло 38 стихотворений, из которых 2 стихотворения было перепечатано из «Сосен перезвона». При распределении стихов из этой книги по разделам «Песнослова», автор оставил в одноименном разделе всего 15 стихотворений из этой книги, а 3 перенес в раздел «Сосен перезвон», 4 — в раздел «Мирские думы» и 15 стихотворений — в раздел «Песни из Заонежья». Таким образом, в этом разделе собрания стихотворений из 55 стихотворений 40 включены из журнальных и газетных публикаций.

Третья книга поэта — несомненно, лучшая из всех предреволюционных книг его. Но встречена она была более, чем сдержанно. От поэта ждали больше не чистой поэзии, а пророчеств, политических намеков, мистики с налетом сельской буколики. «Лесные были», поэтому, не произвели такого впечатления — в особенности на критику. Еще сравнительно сдержанно (если припомнить его последующие хвалебные оды Клюеву!) встречает новую книгу поэта Иванов-Разумник. Всем трем его первым книгам посвящает он в своем журнале — цитадели будущих «Скифов» — статью «Природы радостный причастник»: «Николай Клюев — поэт 'из народа', пришедший в нашу сложную 'культуру' из далеких архангельских и олонецких лесов. 'Культура' часто обезличивает; и вот почему так, сравнительно, много у Н. Клюева стихотворений, принадлежащих не ему, а какому-то общему безликому поэту наших дней. ...К счастью для Клюева ...подлинная поэзия составляет его сущность, его душу; увидев, почувствовав ее — навсегда забываешь все 'чужие' его стихи, все резиновые штампы и общие места; начинаешь ценить только подлинно его стихотворения, — а их, к счастью, тоже не мало в небольшом собрании его стихов. Целая книжка стихов его посвящена перепевам на религиозные, полу-'сектантские' темы ('Братские песни'). Но не в этом сила его. Храм его — лес, и здесь, воистину, ему

В златотканные дни Сентября
Мнится папертью бора опушка;
Сосны молятся, ладан куря...

И в храме этом не звон колоколов, а 'сосен перезвон' слышит и любит он — Адам, изгнанный из рая и обретший свой храм на земном лоне... Здесь он становится зорок, смел, силен; слова его становятся яркими, образы — четкими, насыщенными; он заставляет видеть и нас, как 'у сосен сторожки вершины, пахуч и бур стволов янтарь', как 'по оврагам бродит ночи тень, и слезятся жалостно и слепо огоньки прибрежных деревень', — он заставляет слышать и нас 'лесных ключей и сосен перезвон'. Здесь — подлинный его 'религиозный экстаз'... ...Вот одно из лучших его стихотворений:

Набух, оттаял лед на речке,
Стал пегим, ржаво-золотым...
...Природы радостный причастник,
На облака молюся я...

'Природы радостный причастник' — вот где подлинный поэт Николай Клюев, вот место его среди других современных поэтов... ...Вечную победу жизни, сквозь смерть и поражения, легче других может чувствовать поэт, который в природе видит нерукотворный храм и радостно приобщается к жизни в этом храме. Так приобщается к жизни подлинный 'народный поэт', 'природы радостный причастник' Николай Клюев». («Заветы», 1914, № 1, отд. III, стр. 45-49).

Даже принявший книгу более чем осторожно, Чешихин-Ветринский все-таки не мог не сказать: «В литературе г. Клюев счастливо занял место, аналогичное месту в русской живописи поэта религиозного Севера — Нестерова; картины его невольно вспоминаются под тихий 'Сосен перезвон'». («Вестник Европы», 1913, № 4, стр. 386). «У Клюева в каждой песне слышится 'псалмов высокий лад'», — пишет В. Львов-Рогачевский («Поэзия новой России...», Москва, 1919, стр. 80). Позднее, в статье «Клюев» («Литература и революция», 2-е изд., ГИЗ, 1924, стр. 47-48) Лев Троцкий заметит: «Всякий мужик есть мужик, но не всякий выразит себя. Мужик, сумевший на языке новой художественной техники выразить себя самого и самодовлеющий свой мир, или, иначе, мужик, пронесший свою мужичью душу через буржуазную выучку, есть индивидуальность крупная — и это Клюев. ...Клюев не мужиковствующий, не народник, он мужик (почти). Его духовный облик подлинно-крестьянский, притом северно-крестьянский. Клюев по-крестьянски индивидуалистичен: он себе

хозяин, он себе и поэт. Земля под ногами и солнце над головою. У крепкого крестьянина запас хлеба в закроме, удойные коровы в хлеву, резные коньки на гребне кровли, хозяйское самосознание плотно и уверенно. Он любит похвалиться хозяйством, избытком и хозяйственной своей сметкой, — так и Клюев талантом своим и поэтической ухваткой: похвалить себя так же естественно, как отрыгнуть после обильной трапезы или перекрестить рот после позевоты». «Его лесная олонецкая Русь враждебна не только коммунизму, но всякой городской цивилизации — и советской Москве и императорскому Петербургу». «...Но это все вопросы исторические, политические и к искусству они имеют только косвенное отношение. А Клюев прежде всего поэт...», — пишет Юрий Иваск («Клюев». «Опыты», Нью Йорк, № 2, 1953, стр. 81).

«Известная парадоксальность литературной судьбы Клюева заключалась в том, что при всей своей ненависти к дворянско-буржуазной интеллигенции и книжной культуре как поэт он учился именно у самых рафинированных интеллигентов — у символистов», пишет Вл. Орлов («Николай Клюев». — «Литературная Россия», № 48, 25 ноября 1966, стр. 16).

№ 74. ПАШНИ БУРЫ, МЕЖИ ЗЕЛЕНЫ. Впервые — «Северные Записки», 1914, № 5, в составе цикла «Из северных лесов» (наши №№ 74, 188, 187). У нас — по тексту «Избы и поля». В «Песнослове» разночтение:

Стих 16. Теплят листья-огоньки.

№ 75. СТАРУХА. Впервые — «Русская Мысль», 1912, № 10.

№ 76. ОСИНУШКА. Впервые — «Заветы», 1913, № 8.

№ 77. Я ЛЮБЛЮ ЦЫГАНСКИЕ КОЧЕВЬЯ. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1914, № 2, стр. 6, с мелкими разночтениями в пунктуации.

№ 78. ПОВОЛЖСКИЙ СКАЗ. Впервые — «Заветы», 1913, № 2. Разночтение:

Стих 17. В есаулову кольчугу

№ 79. В ПРОСИНЬ ВОД ЗАГЛЯДЕЛИСЯ ИВЫ. Впервые — «Заветы», 1912, № 4. У нас по тексту «Избы и поля». В «Песнослове» разночтение:
Стих 6. Бродит сон, волокнится дымок;

№ 80. ЛЕС. Перенесено из «Братских песен».

№ 81. ПРОХОЖУ НОЧНОЙ ДЕРЕВНЕЙ. Впервые — «Заветы», 1912, № 2. В «Лесных былях» под названием «А. Городецкой» и еще с одной строфой, исключенной в «Песнослове»: после строки 28-й («Бирюза и канифас») следует:

Обвила руками шею,
Косы-тучи, темный бор...
Изумрудно розовея,
Прояснился кругозор:

Поруделые избенки,
Речка в утреннем дыму... —

№ 82. ПЕВУЧЕЙ ДУМОЙ ОБУЯН. Впервые — «Нива», 1912, № 45, стр. 891, под названием по первой строке. Разночтение:
Стих 4. В пути за Ладою-подругой.

№ 85. НОЧЕНЬКА ТЕМНАЯ, ЖИЗНЬ ПОДНЕВОЛЬНАЯ. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1914, № 4, стр. 5.

№ 86. ИЗБА-БОГАТЫРИЦА. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1914, № 7, стр. 5.

№ 88. Я ПРИШЕЛ К ТЕБЕ, СЫР-ДРЕМУЧИЙ БОР. Впервые — «Гиперборей», № , 1912, стр. 15-16, и, одновременно, «Заветы», 1912, № 1; и в журнальн. публикациях, и в «Лесных былях» под названием «Лесная».

№ 91. РОЖЕСТВО ИЗБЫ. Название дано в «Избе и поле».

№ 92. ПОСМОТРИ, КАКИЕ ТЕНИ. Впервые — «Биржевые Ведомости», утренний выпуск, 27 сентября 1915, под названием «Речная сказка».

№ 95. НЕВЕСЕЛА НЫНЧЕ ВЕСНА. Впервые — «Современный Мир», 1913, № 4.

№ 97. ВЕТХАЯ СТАВНЕЙ РЕЗЬБА. Впервые — «Современник», 1912, № 12. Несколько иная первая строфа:

Ветхая ставен резьба,
Кровли узорной конек.
Тебе, голубка, судьба
Войти в теремок.

В журнале под названием «Сказка», в «Лесных былях» под названием «Сказке».

№ 98. МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО ТЫ УМЕРЛА. Впервые — «Ежемесячные Литературные и Популярно-Научные Приложения к 'Ниве'», 1913, № 2, столб. 357. Разночтение (оно же и в «Лесных былях»):
Стих 11. Разве ветер — не ласка твоя,

№ 99. КОСОГОРЫ, НИЗИНЫ, БОЛОТА. Впервые — «Северная Звезда», 1915, № 14, декабрь, стр. 26, без разделения на строфы.

№ 101. БОЛЕСТЬ ДА ЗАСУХА. Впервые — «Огонек», 1915, № 47.

№ 104. НАБУХ, ОТТАЯЛ ЛЕД НА РЕЧКЕ. Впервые — «Русская Мысль», 1912, № 10.

№ 106. ВРАЖЬЯ СИЛА. Название дано в «Избе и поле».

№ 108. ОТ ДРЕМЫ, ОТ ТЕМИ-ВИНА. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1914, № 1, стр. 2.

№ 109. РАДОСТЬ ВИДЕТЬ ПЕРВЫЙ СТОГ. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1914, № 1, стр. 2, с посвящением Надежде Яковлевне Брюсовой.

№ 112. В ОВРАГЕ СНЕЖНЫЕ ШИРИНКИ. Впервые — «Голос Жизни», № 20, 13 мая 1915; перепечатано, под названием «В овраге», — «Биржевые Ведомости», 25 декабря 1916 (утренний выпуск).

№ 113. ЧЕРНЫ ПРОТАЛИНЫ. НАВОЗОМ. Впервые — «Заветы», 1914, № 1. Последняя строфа в журнале:

Изба руда (чепец старуший —
Облез сурмленый шеломок).
И на припеке лен кукуший
Янтарный треплет огонек.

№ 114. ОБЛИНЯЛА БУРЕНКА. Впервые — «Северные Записки», 1915, № 4, в составе диптиха (наши №№ 114 и 121) под названием «Перед ликом лесов», с подзаголовком «Памяти матери». Разночтение:

Стих 11. И узывнее пташек

№ 115. ОСИННИК ГУЛЧЕ, ЕЛЬНИК ГЛУШЕ. Впервые — «Заветы», 1914, № 1. У нас — по тексту «Избы и поля». Разночтения:

Стих 12. Соловый хохлится дымок.
» 13. В избе потемки, смачный ужин,
» 14. Медвежья пряжа, сказка, мать...
» 16. Глядится пень и кочек рать. («Песнослов»).

№ 116. Я ДОМА. ХМАРОЙ ТИШИНОЙ. Впервые — «Заветы», 1914, № 1. Разночтение:

Стих 10. На жердке хохлится куделей,

№ 117. НЕ В СМЕРТЬ, А В ЖИЗНЬ ВВЕДИ МЕНЯ. Впервые — «Голос Жизни», № 20, 13 мая 1915, под названием «Памяти матери»; перепечатана — «Биржевые Ведомости», утренний выпуск, 13 ноября 1916, с разночтением:

Стих 15. О пуща-матерь, тучка-прядь,

№ 118. РАСТРЕПАЛО СОЛНЦЕ ВОЛОСЫ. Впервые (без разделения на строфы) — «Ежемесячный Журнал», 1915, № 11, стр. 7.

№ 119. НА ТЕМНОМ ЕЛЬНИКЕ СТВОЛЫ БЕРЕЗ. Впервые — «Голос Жизни», № 20, 13 мая 1915.

№ 120. ПОД НИЗКОЙ ТУЧЕЙ ВОРОНИЙ ГРАЙ. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1916, № 9-10, стр. 10, под названием «Смерть деда», без разделения на строфы. Разночтение:

Стих 11. Земля погоста притин от бурь, —

№ 121. ЛЕСНЫЕ СУМЕРКИ — МОНАХ. Впервые — «Северные Записки», 1915, № 4, в составе диптиха: «Перед ликом лесов. Памяти матери» (наши №№ 114 и 121).

№ 123. ЛЬНЯНОКУДРЫХ ТУЧЕК БЕГ. Впервые — «Биржевые Ведомости», утренний выпуск, 3 апреля 1916, Разночтения:

Стих 11. Кто родился, аль погиб
» 13. И кому, клонясь, козу
» 14. Кажет зорька-повитуха?

№ 124. ТЕПЛЯТСЯ ЗВЕЗДЫ-ЛУЧИНКИ. Впервые — «Заветы», 1914, № 1.

№ 125. СЕГОДНЯ В ЛЕСУ ИМЕНИНЫ. Впервые — «Биржевые Ведомости», утренний выпуск, 25 декабря 1915, под названием «Сегодня в лесу», с разделением не на четырехстрочия, а восьмистрочиями, с четырьмя строками (после стиха «Спит лето в затишьи болот»), исключенными в «Песнослове»:

Ему нипочем именины
Без зорь, без русалок-подруг;
Пусть мгла, словно пух из перины
Ложится на речку и луг.
Пусть осень густой варенухой... —

№ 126. УЖЕ ХОРОНИТСЯ ОТ СЛЕЖКИ. Впервые — «Голос Жизни», № 20, 13 мая 1915.

№ 127. СМЕРТНЫЙ СОН. Впервые, под названием «Смерть ручья», сохраненном и в «Песнослове», — «Ежемесячный Журнал», 1915, № 8, стр. 4. В журнале — разночтение в последней строке:

Отрок-ручей опочил!

МИРСКИЕ ДУМЫ

Четвертая книга стихов Клюева вышла через три года после выхода третьей — в 1916 г. Разделена была на два раздела: в первом — «Мирские думы» — с авторским посвящением: «Памяти храбрых», — 12 стихотво-

рений (наши №№ 129-130, 132-134, 136-139, 141-142, 145); во втором — «Песни из Заонежья» — 13 стихотворений (наши №№ 146, 149, 166, 154, 156, 159, 162, 164, 172, 167, 173, 170, 140). Всего в книге 25 стихотворений. Цикл «Песни из Заонежья» выделен в «Песнослове» (и у нас) в особый раздел (за исключением № 140, оставленного в «Мирских думах»), а в четвертый раздел «Песнослова» (и наш) введены из других книг поэта 4 стихотворения: 2 из «Сосен перезвона» (№№ 135, 143) и 2 из «Лесных былей» (№№ 131, 144). Таким образом, в разделе «Мирские думы» у нас всего 17 стихотворений, но большинство из них — небольшие поэмы.

После выхода «Мирских дум» П. Сакулин в «Вестнике Европы» (1916, №5) поместил статью «Народный златоцвет», посвященную Клюеву и Есенину и доказывающую что «это — голос из народа»... «родник народного творчества не иссяк». Подчеркивая самобытность «Мирских дум» и огромный рост клюевского дарования, Натан Венгров цитирует отрывок из стихотворения «Что ты, нивушка, чернешенька» и говорит: «'Мирские думы' посвящены 'памяти храбрых'. И из большой любви, которой любит Клюев Русь и ее деревню — поэт создает долго незабывающиеся образы, воистину трогающие, как настоящее доподлинное чувство. ...У Клюева намечается тяготение к эпосу. И такая вещь, как 'Наигрыш', кстати сказать, несколько растянутый — имеет, кроме художественного, еще и этнографический интерес. Такое устремление уже намечалось и в 'Лесных былях', но в последней книге Клюева — куда тверже, как в лирике, так и в опытах эпического творчества» («Современный Мир», 1916, № 2). На эпос, как основную дорогу для клюевского творчества, указывали и указывают многие. «Несмотря на прелесть многих ранних лирических стихотворений Клюева, Гумилев сразу почувствовал, что не лирика подлинный путь этого поэта. Гумилев указал Клюеву другую дорогу: эпос. Но развернуться этой силе Клюева помешали 'всероссийские обстоятельства'» (Р. Гуль. Ник. Клюев. Полн. собр. соч. — рецензия — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 38, 1954, стр. 293). Другие, с неменьшей убедительностью, пишут, что «был он поэт настоящий, и, конечно, лирический. Ведь вся его пестрая 'эпика' неубедительна. А песенная лирика — очень даже хороша...» (Ю. Иваск. Ник. Клюев. Пол. собр. соч. — рецензия — «Опыты», Нью-Йорк, № 4, 1955, стр. 104). Думается, что подходить к Клюеву с мерилом чистого эпоса или чистой лирики не совсем основательно: ведь и большие его поэмы пронизаны лиризмом, являются, по большей части, развернутым лирическим стихотворением.

Во вступительной статье приведено немало свидетельств того, что именно эту книгу поэта большевистская критика использовала для «до-

казательства» «империалистических» настроений поэта. «Накануне и во время империалистической войны Клюев, впавший в воинствующий квасной патриотизм и писавший лубочные 'беседные наигрыши' о 'Вильгельмище, царище поганом', прямиком и быстро шел к сближению с наиболее темными и реакционными силами. От его бунтарских настроений к тому времени не осталось и следа». (В. Орлов. Ник. Клюев. «Литературная Россия», № 48, 25 ноября 1966, стр. 16). Но не только критики и литературоведы советского лагеря писали и пишут об этом: «младший брат» Клюева, его «жавороночек» — Сергей Есенин, — сам в те годы писавший и патриотические стихи, и читавший свои стихи царице, желая обособиться от «реакционера» Клюева, писал в своих «Ключах Марии»: «Уходя из мышления старого капиталистического обихода, мы не должны строить наши творческие образы так, как построены они хотя бы, например, у того же Николая Клюева:

Тысячу лет и Лембэй пущей правит,
Осеньщину дань собирая с тварей:
С зайца шерсть, буланый пух с лешуги,
А с осины пригоршню алтынов.

Этот образ построен на заставках стертого революцией быта; в том, что он прекрасен, мы не можем ему отказать, но он есть тело покойника в нашей горнице обновленной души и потому должен быть предан земле». (Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 51-52).

И. Н. Розанов в статье «Есенин и его спутники» (сборн. «Есенин...», под ред. Е. Ф. Никитиной, изд. «Работник Просвящения», Москва, 1926, стр. 175) рассказывает о том огромном впечатлении, какое производило публичное чтение Клюевым его стихов. В особенности «Беседного наигрыша», большой сказовой поэмы.

№ 129. В ЭТОТ ГОД ЗА СВЯТЫМИ ОБЕДНЯМИ. Впервые — «Биржевые Ведомости», утренний выпуск, 1915, номер и точная дата не установлены (номер этот не найден). В «Мирских думах» разночтение:

Стих 22. Сполох-конь аксамитный чапрак,

№ 130. ЧТО ТЫ, НИВУШКА, ЧЕРНЕШЕНЬКА. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1915, № 12 (и в том же журн. — 1916, № 12, стр. 7, под назв. «Мирская дума»); одновременно — «Речь», 6 декабря 1915. В журнале с эпиграфом:

Мирских умильных думушек
В долгий летний день не высказать,
В ночь осеннюю не выслухать.
(Из северных причитов)

Разночтения (у нас — по тексту «Избы и поля»):
Стих 25. Вековать придется без селезня! *(Песнослов)*
» 31. Не отерта тумана ширинкою, *(Ежем. Журн.)*

№ 131. БЕЗ ПОСОХОВ, БЕЗ ЗЛАТА. Перенесено из «Лесных былей». Впервые — «Заветы», 1912, № 7, с посвящением «Сергею Городецкому». Разночтение (в журн. и «Лесн. былях»):
Стих 12. Лазурные псалмы.

№ 132. НЕБЕСНЫЙ ВРАТАРЬ. Впервые — «Биржевые Ведомости», утренний выпуск, 15 февраля 1915, без деления на строфы и с разночтением (в 3-й строфе):
Стих 17 III строфы: Стежки торные поразметаны,

№ 134. СОЛДАТКА. Впервые — «Биржевые Ведомости», утренний выпуск, 14 декабря 1914. Разночтение:
Стих 8. Ах, в торгу на улице — не красная гульба,

№ 135. ОБИДИН ПЛАЧ. Впервые — в «Сосен перезвоне»; перепечатано в «Лесных былях». Перенесено в «Мирские думы» — раздел «Песнослова». Перепечатана и в «Избе и поле». Разночтения:
Стих 22. За куветы встанут талые. *(Изба и поле)*
» 67. Царство белое, кручинное *(Сосен перезвон)*
» 68. Все столбами огорожено... (—— » ——)
» 69-72. (строчки точек) (—— » ——)
» 73-74. — в «Сосен перезвоне» отсутствуют.
В «Сосен перезвоне» и «Лесных былях» это стихотворение под названием «Лесная быль».

№ 139. ГЕЙ, ОТЗОВИТЕСЬ, КУРГАНЫ. Впервые — «Биржевые Ведомости», утренний выпуск, 21 марта 1915.

№ 140. СКРЫТНЫЙ СТИХ. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1914, № 6, стр. 4, без разделения на строфы. Разночтение (оно же и в «Мирских думах»):
Стих 1. Не осенний лист падьмя-падет,

№ 141. СЛЕЗНЫЙ ПЛАТ. Впервые — «Биржевые Ведомости», утренний выпуск, 10 апреля 1916.

№ 142. РУСЬ. Впервые — «Биржевые Ведомости», утренний выпуск, 25 декабря 1914. В «Песнослов» не вошло.

№ 143. ПЕСНЯ О СОКОЛЕ И О ТРЕХ ПТИЦАХ БОЖИИХ. Перенесено из «Сосен перезвона». Разночтения: в «Песнослове» пропущено 7 стихов после стиха 25-го («Голос грома поднебесного»):

Мы летели мимо острова,
Миновали море около,
А не видли змея пестрого,
Что ль того лихого Сокола,
Только волны говорливые
Принесли нам слухи верные,
Вои гулкие пещерные:

И разночтение в самом конце (4-я строка с конца):

Стих 97. Подотрет слезу рубахою,

Перепечатана была и в «Лесных былях», уже в редакции «Песнослова», но последние стихи — по «Сосен перезвону».

№ 144. СВЯТАЯ БЫЛЬ. Перенесена из «Лесных былей». Впервые — без названия — «Гиперборей», № , 1912, стр. 17-19. Разночтение в «Гиперборее» и «Лесных былях»:

Стих 8. Отчего ты утробой кручинишься,

№ 145. БЕСЕДНЫЙ НАИГРЫШ. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1915, № 12. Разночтения в части, начинающейся со стиха «Тысчу лет живет Макоша-Морок» (счет стихов ведется тут, начиная с этой строки):

Стих 20. Зык другой — как трус снегов полярных,
» 51. Он гнездом с громами поменялся,

ПЕСНИ ИЗ ЗАОНЕЖЬЯ

В основу этого раздела положен одноименный цикл, завершающий книгу «Мирские думы» (в нашем собрании это стихи №№ 146, 149, 154, 156, 159, 162, 164, 166-167, 170, 172-173), всего 12 песен; одно стихотворение (наш № 161) перенесено из «Братских песен»; остальные 15 песен — из «Лесных былей» (наши №№ 147-148, 150-153, 155, 157-158, 160, 163, 165, 168-169, 171).

Первоначально Клюев думал выпустить эти песни отдельной книгой в издательстве Цеха Поэтов «Гиперборей». Так, в объявлениях о книгах, подготовленных к изданию, в № 5 журнала акмеистов «Гиперборей» (1913) значится книга Клюева «Плясея». Но книга в свет не вышла.

Еще в 1912 г., в рецензии на альманах «Аполлон», В. Львов-Рогачевский выделил помещенные там две песни Клюева: «Из стихов выделяются многокрасочные песни Николая Клюева, в которых нет подделки под народное творчество и чувствуется сила и свежесть, но этим стихам

не место в книжном 'Аполлоне'». («Современный Мир», 1912, № 1, стр. 342). Р. Иванов-Разумник, в статье о творчестве Клюева «Природы радостный причастник», писал: «Есть еще одна область, в которой Н. Клюев является несомненным 'мастером', это — 'народные песни', которыми заполнена его последняя книжка стихов 'Лесные были' ... целый ряд этих народных песен обрисовывает новую сторону таланта этого поэта, сторону, тесно связанную с основной 'стихией' его творчества. Природы радостный причастник не может не быть радостным выразителем души народной, ибо душа народная — та же 'природа' в ином ее проявлении. Радостная вера в народ, вера в жизнь и вера в будущее — глубочайшее ощущение этого подлинно народного поэта». («Заветы», 1914, № 1, стр. 48). В рецензии на «Мирские думы» Натан Венгров укорял Клюева: «Только совершенно напрасно поэт не указывает в своей книге, что, например, 'Песни из Заонежья' — обработка народной песни, что чересчур чувствуется под стихами. Вещи от этого только выиграли бы, но к творчеству Клюева отношение было бы значительно доверчивее. Так — неудобно...» («Современный Мир», 1916, № 2). Замечание несправедливое: песни Клюева замечательны именно тем, что они не стилизация, не обработка, а подлинно народные песни. Недаром многие из них расходились в народе и распевались еще *до* их записи (см. авторское предисловие к «Братским песням»). Вместе с тем, формальное сходство в песнях ограничивается, главным образом, совпадением первых строк — при полной самостоятельности дальнейшего развития песни. «Клюев не подражал русской народной песне, — замечает Борис Нарциссов, — он просто был одним из тех, кто эту песню создавал» («Николай Клюев». — «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 12 сентября 1954).

№ 146. АХ ВЫ, ЦВЕТИКИ, ЦВЕТЫ ЛАЗОРЕВЫ. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1914, № 2, стр. 6, с посвящением Надежде Васильевне Плевицкой (посвящение это сохранено и в «Мирских думах»). Разночтение (или опечатка?) в журнале:

Стих 15. На кажинной брелянтиновый наряд,

№ 147. ВЫ БЕЛИЛА-РУМЯНА МОИ. Впервые в альманахе «Аполлон», 1912, под названием «Девичья». Под тем же названием в «Лесных былях». Перепечатано в журн. «Северная Звезда», 1916, № 1, январь, стр. 31, без разделения на двустишия.

№ 148. ЗАПАДИТЕ-КА, ДЕВИЧЬИ ТРОПИНЫ. Впервые — «Заветы», 1912, № 5, под названием «Девичья» (то же название в «Лесных былях»).

№ 149. Я СГОРЕЛА, МОЛОДЕНЬКА, БЕЗ ОГНЯ. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1914, № 11, стр. 3 (без деления на строфы), в

составе цикла «Песни из Заонежья» (наши №№ 149, 170, 159, 166, 154). Разночтения:

Стих 17. Буду ночку коротать с муженьком!
» 30. Еще пугавица волжоная...»

№ 150. НА МАЛИНОВОМ КУСТУ. В «Лесных былях» под названием «Полюбовная», с разночтением (а, вернее, опечаткой, так как дальше куст — малиновый):

Стих 1. На калиновом кусту

№ 151. КАК ПО РЕЧЕНЬКЕ-РЕКЕ. В «Лесных былях» под названием «Рыбачья».

№ 152. ПЛЯСЕЯ. Впервые — альманах «Велес», 1912-1913, с разночтением (или опечаткой?): первая строка слов «Парня-припевалы»:

Ой, пляска проворотная,

Вслед за первым куплетом «Парня-припевалы» («Ой, пляска...) в «Велесе» еще куплет (второй):

Ой, люба — птица вьюжная,
Присуха — боль недужная,
Блесни, взгляни на молодых,
Развей, как тучи, розмысли,
Размыкай душу черную!

Не уголь жжет мне пазуху... —

Предпоследняя строка припева «Парня-припевалы» в «Велесе»:

На грудь твою орлиную

Приводим один из распространенных вариантов параллельной «посадской» (городской окраинной) песни:

Я вечор, млада, во пиру была,
Во пиру была — во беседушке;
Во пиру была, пиво-мед пила,
Пиво-мед пила, сладку водочку.
Во пиру была — похвалялася,
Уж как полем шла — не качалася;
Уж как полем шла — не качалася,
А домой пришла — зашаталася;

До двора дошла — пошатилася,
За вереюшку ухватилася:
— Ты вереюшка, верея моя,
Поддержи меня, бабу пьяную,
Бабу пьяную, разудалую...

(Записана в г. Ставрополе Кавказском Б. А. Филипповым).

№ 153. НА ПРИПЕКЕ ЦВЕТИК АЛЫЙ. Впервые — «Заветы», 1913, № 8, под названием «Острожная», сохраненном в «Лесных былях». В «Заветах», очевидно, опечатка:
Стих 23. Волос — *гад*, малина — губы,

№ 154. АХ, ПОДРУЖЕНЬКИ-ГОЛУБУШКИ. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1914, № 11, стр. 4 (без разделения на строфы), в составе цикла «Песни из Заонежья» (наши №№ 149, 170, 159, 166, 154).

№ 155. ПОСАДСКАЯ. Впервые — «Заветы», 1912, № 6, сентябрь.

№ 157. СЛОБОДСКАЯ. Впервые — альманах «Аполлон», 1912, стр. 37-38, под названием «Теремная» (в «Лесных былях» — «Слободская»). Для того, чтобы показать, насколько песни Клюева не являются «стилизацией» народных, приведем *наиболее близкий* на первый взгляд «слободской» романс — «трагическую мещанскую балладу» (по характеристике В. И. Чернышева), из сборника Истомина и и Дютша «Песни русского народа», стр. 182, № 21:

Как во нашей во деревне,
Во веселой слободе
Жил мальчишка лет в семнадцать
Неженатой, холостой.
Как любил-то свою девку,
Обещался замуж взять.
Его люди научили:
«Ты спросись-ко у отца». —
«Позволь, батюшка, жениться,
Позволь взять, кого люблю».
Отец сыну не поверил,
Что любовь на свете есть:
«Есть на свете люди равны,
Надо всех равно любить».
Отвернулся сын, заплакая —
Прямо к Саше в теремок.
Под окошком постучался:
«Выйди, Саша, на часок.

Дай мне руку, дай мне праву,
С руки перстень золотой.
Не отдашь с руки перстенька,
Не увидимся с тобой».
Пошел, вышел на крылечко,
Востру саблю обнажил;
Обнаживши востру саблю,
Себе голову срубил.
«Покатись, моя головка,
По шелковой по траве!»
Тогда отец сыну поверил,
Что любовь на свете есть.

Что же общего между примитивным мещанским «страдательным» романсом и клюевской «Слободской»? Г. Адамович полностью приводит «Слободскую» Клюева в «Литературных беседах» («Звено», Париж, 1926, № 203) и говорит: «Оно необычайно прекрасно по существу, по той глубокой внутренней музыке, которая, конечно, важнее всего в стихотворении... В то же время это стихотворение фальшивит во всю»... (стр. 2).

№ 158. БАБЬЯ ПЕСНЯ. Впервые — «Заветы», 1913, № 8. Разночтение («Лесные были» тоже):

Стих 2. Замурудные волосья по ветру трепати,

Ср. «Хороводную», из сборника Смирнова «Песни крестьян Владимирской и Костромской губернии», Москва, 1847, стр. 142:

...А пришлося негодяю мимо идти рощи,
Привязала негодяя к белой березе,
А сама-то ли пошла загуляла,
Ровно девять денечков к нему не бывала,
На десятый-ет денечек жена стосковалась,
Стосковалась, стосковалась, стала тужить плакать:
«Сходить было, подти к негодяю!»
Не дошедши негодяя, жена остановилась,
Низехонько ему поклонилась.
«Хорошо ли ти, негодный, в пиру пировати?»
«Государыня-жена, мне-ка не до пира...»
...«Уж и станешь ли, негодный, меня кормить хлебом?»
«Государыня-жена, стану калачами!»
«Уж и станешь ли, негодный, меня поить квасом?»
«Государыня-жена, все стану сытою,

Я сытой, сытою, сладкой, медовою!»
«Уж и станешь ли, негодный, меня пущать в гости?»
«Государыня-жена, ступай хоть и вовсе!»

№ 159. Я КО ЛЮБУШКЕ-ГОЛУБУШКЕ ХОДИЛ. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1914, № 11, стр. 3, в составе цикла «Песни из Заонежья» (наши №№ 149, 170, 159, 166, 154).

№ 160. ДОСЮЛЬНАЯ. Впервые, очевидно, в «Лесных былях».

№ 161. ПЕСНЯ ПРО СУДЬБУ. Перенесена из «Братских песен». Впервые — «Заветы», 1912, № 2, май, с разночтениями (есть разночтение и в «Братских песнях»):

Стих 8. Ко ракитовому кустышку,
» 9. С корня сламывал три прутышка,
» 14. «Прореки-ка, мать сыра-земля, (и в «Брат. песнях»).

№ 163. КРАСНАЯ · ГОРКА. Впервые — «Заветы», 1912, № 8, ноябрь.

№ 165. СВАДЕБНАЯ. Впервые — «Современник», 1912, № 8, совершенно отличный от окончательной редакции вариант. Приводим его полностью:

Ты, судинушка — чужая сторона,
Необорная, острожная стена,
Стань-ка стежкою — дорогой столбовой,
Краснорядною торговой слободой!
Было б девушке где волю волевать,
В сарафане-разгуляне щеголять,
Краснорядцев с ума-разума сводить,
Развеселой слобожанкою прослыть.
Не послухала боярыня-судьба,
За гулёного повыслала раба.
Раб повышпилит булавочки с косы,
Не помилует девической красы,
Сгонит с облика белила и сурьму,
Захоронит в грановитом терему.
Станет девушка приземнее травы,
Не услышит человеческой молвы,
Только благовест учует по утру,
Перехожую волынку в вечеру.

В «Лесных былях» — редакция «Песнослова».

№ 166. НЕ ПОД ЕЛЬЮ БЕЛЫЙ МОХ. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1914, № 11, стр. 4 (без разделения на двустишия), в сос-

таве цикла «Песни из Заонежья» (наши №№ 149, 170, 159, 166, 154).

№ 168. СИЗЫЙ ГОЛУБЬ. Из «Лесных былей». Частое начало скопческих песен — с подслушивающим голубем — использовано Клюевым для любовной темы. Приводим духовный стих скопцов (Надеждин. Исследование о скопческой ереси. СПб, 1845, Приложение, № 5):

Уж ты, белый голубок,
Мой сизенький воркунок,
По саду ты летишь, воркуешь,
Припал к терему, послушал.
Что в тереме говорят?
Волю Божию творят.
Да поди, братец, порадей,
Живым Богом завладей!
Да пошел братец, порадел,
Живым Богом завладел:
Он пословичку сказал,
Свою братью величал,
Сестриц-братьев обличал.
Красны девушки сошлися,
Они Батюшку созвали.
Сударь Батюшка пошел,
К братцу с песенкой подшел:
«Уж ты братец молодец,
Ты неправдой, брат, живешь,
Непорядки, брат, ведешь;
Божью книгу ты читал,
Свою братью величал,
Сестриц, братцев обличал.
Почему их обличал?
Ведь над ними есть начал,
Кто им ризушки тачал,
И добру их научал!»
Богу слава и держава,
Во веки веков.
Аминь!

Ср. также песню № 164 — «Девка голубя купила» — в сборн. «Русская баллада», под ред. В. И. Чернышева. Больш. серия «Библиотеки Поэта», изд. «Советский Писатель», Ленинград, 1936, стр. 176-177.

№ 169. ЛЕТЕЛ ОРЕЛ ЗА ТУЧЕЮ. В «Лесных былях» под названием «Кабацкая».

№ 170. НА СЕЛЕ ЧЕТЫРЕ ЖИТЕЛЯ. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1914, № 11, стр. 3, в составе цикла «Песни из Заонежья» (наши №№ 149, 170, 159, 166, 154). Разночтения:

Стих 17. Кабы я Никите любушкой была,
» 23. Ах, тальянка мелкосборчатая,

№ 171. НЕДОЗРЕЛУЮ КАЛИНУШКУ. Впервые — «Заветы», 1912, № 6, под названием «Рекрутская» (под тем же названием в «Лесных былях»).

№ 172. СТИХ О ПРАВЕДНОЙ ДУШЕ. Навеян стихами духовными. Ср. след. строки из «Стиха о грешной душе» («Русь страждущая», стихи народные о любви и скорби. Венец многоцветный. Собр. Е. А. Ляцкий. Изд. 2-е, «Северные Огни», Стокгольм, 1920, стр. 39):

Еще душа Богу согрешила:
— Середы и пятницы не пащивалась,
— Великого говления не гавливалась,
— Заутрени, вечерни просыпывала я,
— В воскресный день обедни прогуливала.

Пост строго соблюдается раскольниками и хлыстами. В послании основателя скопчества Кондратия Селиванова, как всегда написанном полустихами, наказывается строго-настрого: «А притом и должен кушать хлеб с водой, чтоб не жить с бедой, да третью — соль на подкрепление членов; а от других прохлад бывает душам наклад» (Послания Кондратия Селиванова, в прилож. к вып. 3-му В. Кельсиева, Лондон, 1862). Ср. также строки о царище Вильгельмище и немцах в «Беседном наигрыше» Клюева: немцы «великого говения не правят»...

№ 173. ПРОСЛАВЛЕНИЕ МИЛОСТЫНИ. Навеяно стихами нищих, «калик перехожих». Ср. также с составленными по Бессонову В. И. Бельским хорами нищих в «Сказании о Невидимом Граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова:

А и тем пристанище бывает, —
На земли Ерусалим небесный, —
Кто душою восскорбя в сем мире,
Сердце взыщет тишины духовной...
...Кормильцы вы милостивые,
Батюшки родные!
Сошлите нам милостыньку
Господа для ради.
Бог даст за ту милостыньку
Дом вам благодатный.
Покойным родителям
Царствие небесное...

СЕРДЦЕ ЕДИНОРОГА

Раздел «Сердце Единорога» составлен Клюевым из стихов, впервые опубликованных в альманахах, сборниках, журналах. После «Песнослова» часть стихов этого раздела опубликована отдельной брошюрой в Берлине в 1920 г. издательством «Скифы» — под названием «Избяные песни».

«Избяные песни», наряду с «Песнями на крови» и поэмами Клюева, — лучшее, что написал поэт. Тем более странным явился для поэта отрицательный (в печати? или устный? — нами не установлено) отзыв об этих стихах Валерия Брюсова, укорявшего поэта за «техническую слабость» его стихов, банальность образов, слабую и плохую «слаженность» рифм. Брюсов писал, что обманулся в ожиданиях, что Клюев в «Сосен перезвоне» обещал много больше... Оценка Брюсова больно задела Клюева. В «Львином Хлебе» (1922) он ругается с Брюсовым:

...Погребают меня так рано,
Тридцатилетним бородачом,
Засыпают книжным гуано
И Брюсовским сюртуком.
Сгинь, поджарый!..

«Если Клюеву покажется, что в городе его не ценят, то он, Клюев, тут же обнаружит нрав и накинет цену своему пшеничному раю по сравнению с индустриальным адом, — писал про поэта Л. Д. Троцкий. — И если его в чем укорят, то он за словом в карман не полезет, противника обложит, себя похвалит крепко и убежденно» («Литература и революция», изд. 2-е, ГИЗ, 1924, стр. 50). В той же книге Троцкого, в статье «Сергей Есенин», автор писал: «Есенин и вся группа имажинистов — Мариенгоф, Шершеневич, Кусиков — стоят где-то на пересечении линий Клюева и Маяковского. ...Неправильно говорят, будто избыточная образность имажинистов вытекает из индивидуальных склонностей Есенина. На самом деле мы ту же черту находим и у Клюева. Его стих отягощен образностью еще более замкнутой и неподвижной. В основе своей это не индивидуальная, а крестьянская эстетика. Поэзия повторяющихся форм жизни мало подвижна в своих основах и ищет путей в сгущенной образности» (стр. 51-52). Поэт Владимир Смоленский («Мысли о Клюеве»), напротив, утверждает: «Клюев совсем не представлял собою русское крестьянство, в большинстве своем православное ('Никоньянское', как его презрительно называет Клюев) или старообрядческое, разделившееся на несколько толков, но все же цельное и чистое в своих глубинах. Представляет он собой очень немногочисленную, изуверскую и

истерическую часть русского крестьянства, предавшихся радениям, воображавших себя в гордыне и глупости Христами и Богородицами» («Русская Мысль», Париж, 15 октября 1954). В. Друзин («Стиль современной литературы», Ленинград, 1929, стр. 90) пишет: «Можно доказать, что весь инвентарь развернутых метафор Есенина заимствован в порядке почтительного усвоения у Клюева». Б. В. Михайловский писал об «Избяных песнях» Клюева: «Удовлетворенность действительностью, нежелание никаких изменений, утверждение, что 'все благостно и свято'... ...Клюев изображал и прославлял деревню сытую, сонную, застойную — 'избяной рай'» («Русская литература XX века. С 90-х гг. до 1917 года», Учпедгиз, Москва, 1939, стр. 345). «Но до этих стихов Клюева-поэта, трепетных, беззащитных и волшебных, кажется, никому никакого дела нет. Говорят, спорят о его 'мировоззрении', т. е. о клюевщине: и если бы ее не было, о Клюеве едва ли вспомнили», — справедливо жалуется Юрий Иваск (рецензия: Ник. Клюев. Полн. собр. соч. «Опыты», Нью Йорк, № 4, 1955, стр. 104).

«Этот вот образ его рая-Руси может 'соперничать' с цыганским раем Блока (Кармен):

Есть град с восковою стеной,
С палатой из титл и заставок,
Где вдовы Ресницы живут,
С привратницей-Родинкой доброй,
Где коврик моленный расшит
Субботней страстною иглой,
Туда меня кличет Оно... —

Сейчас сердце наше — на романтику не отзывается, но все-таки колется эта *субботняя страстная игла* и хочется внимать этому чуть дребезжащему напеву. И какая счастливая 'находка' вдовы-Ресницы и привратница-Родинка добрая. Это не экзотика, а прежде всего — поэзия. В некоторых лучших вещах самая экзотичность не мешает и иногда даже обостряет чувство соприкосновения с мирами иными (напр. в стихотворении — Заблудилось солнышко в корбах темнохвойных). При всей декоративности есть в них воздух иного бытия. Мы все теперь очень протрезвели и недоверчивы к любым вещаниям. Но признаем, что Клюев о последних вещах знал не меньше Сологуба, В. Иванова, даже Блока» (Юрий Иваск. Клюев. «Опыты», Нью Йорк, № 2, 1953, стр. 85-86).

№ 174. ЧЕТЫРЕ ВДОВИЦЫ К УСОПШЕЙ ПРИШЛИ. Впервые — «Страда», (кн. 1), Петроград, 1916, в составе диптиха «Памяти матери» (наши №№ 174 и 178), без разделения на строфы. Затем — «Ски-

фы», сборн. 2-й, СПб, 1918, в составе цикла «Избяные песни» (наши №№ 174, 175, 182, 180, 178, 176, 179, 184-187, 183, 191, 192). Перепечатано в кн. «Избяные песни». Разночтение (или опечатка) в «Скифах» и отд. издании «Изб. песен»:

Стих 8. А после с ковригою печь обошли,

Кроме того, в «Изб. песнях» почти все слова-имена, как «Листодер», «Молчанье», «Заря» — с заглавной буквы...

Клюевский пантеон мужицких святых имеет много народно-поэтических параллелей — как в народном быту, народном календаре, так и в стихах духовных, особенно раскольничьих и сектантских. Приведем, для примера, песню, взятую из дела о скопце, унтер-офицере Морской типографии Мироне Данильчикове (Кельсиев, вып. 3, Лондон, 1862, прилож., стр. 73, № 37):

Ой, спасибо тому, кто в Божием дому!
А в начале спасибо Небесному Царю;
И спасибо хозяину с хозяюшкою,
На хлебушке, на соли и на жалованье!
Что поил, кормил, сударь, нас много жаловал;
Что поели, попили, побеседовали,
Мы про Исуса про Христа Бога советывали!
А Илья, сударь, Енох — всю вселенную прошел,
Всю вселенную прошел, на Седьмо Небо взошел;
А Василий-то Велик — на Собор идти велит;
А Григорий Богослов — читал книгу Родослов;
А Иван-то Златоуст — учит верных изо уст;
А Борис, сударь, и Глеб — сосылал нам сущий хлеб.
Савватий и Зосим — свет у Господа просил,
Свет у Господа просил, это дар нам разносил;
А Архангел Михаил — всех недругов победил,
Всех недругов победил, со Седьмого Неба сбил;
А великий Николай — своей помощи подал;
Илья, сударь, Пророк — по Седьмому Небу катал,
Грозны тучи наводил, сильны дожжики спустил,
На сырой-то на земле, сущий хлебушка родил,
Сущий хлебушка родил, верных праведных кормил,
Он поил, кормил, сударь, нас много жаловал!
Что поели, попили, побеседовали,
Про Исуса про Христа советовали:
А и братцам и сестрицам по поклону всем! Аминь!

№ 175. ЛЕЖАНКА ЖДЕТ КОТА. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1915, № 3, стр. 3, в составе цикла «Избяные песни» (наши №№ 175, 180, 183), и с посвящением: «Памяти матери». Затем — «Скифы», сборник 2, 1918.

№ 176. ОСИРОТЕЛА ПЕЧЬ, ЗАПЛАКАННЫЙ ГОРШОК. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1914, № 4, стр. 5. Затем — «Скифы», сборн. 2, 1918. У нас — по тексту «Избы и поля». Разночтения:

Стих 5. Узнай, что снигири в саду справляют свадьбу,
(Ежем. Журн.)

» 11. Изождалась бадья... Вихрастая мочалка *(Песнослов)*
» 18. Чем сумрак паперти баюкает мечту. *(Ежем. Журн.)*

№ 178. ШЕСТОК ДЛЯ КОТА, ЧТО АМБАР ДЛЯ ПОПА. Впервые — «Страда» (кн. 1), Петроград, 1916, в составе диптиха «Памяти матери» (наши №№ 174, 178); затем — «Скифы», сборн. 2, 1918.

№ 179. ВЕСЬ ДЕНЬ ПОУЧАТИСЯ ПРАВДЕ ТВОЕЙ. Впервые — «Скифы», сборн. 2, 1918.

№ 180. ХОРОШО В ВЕЧЕРУ, ПРИ ЛАМПАДКЕ. Впервые — «Ежемесячном Журнале», 1915, № 3, стр. 3, в составе цикла «Избяные песни» (наши №№ 175, 180, 183); затем — «Скифы», сборн. 2, 1918.

№ 181. ЗАБЛУДИЛОСЬ СОЛНЫШКО В КОРБАХ ТЕМНОХВОЙНЫХ. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1915, № 5, стр. 4. Сопровождено примечаниями Н. Клюева: «*Корба* — чаща (Олон. губ.). *Красик* — гриб подосиновик. *Жарник* — костер, сильный огонь. *Жадобный* — желанный, сердце мое, любимый. *Здынуться* — подняться, вздыматься. *Домовище* — гроб».

№ 182. ОТ СУТЕМОК ДО ЗВЕЗД. Впервые — «Скифы», сборн. 2, 1918.

№ 183. БРОДИТ ТЕМЕНЬ ПО ИЗБЕ. Впервые — «Ежемесячный Журнал», 1915, № 3, стр. 3, в составе цикла «Избяные песни» (наши №№ 175, 180, 183); затем — «Скифы», сборн. 2, 1918.

№ 184. ЗИМА ИЗГРЫЗЛА БОК У СТОГА. Впервые — «Новый Журнал для Всех», 1916, № 1; затем — «Скифы», сборн. 2, 1918. Разночтение в журнале:

Стих 18. Теленья числя и удой,

№ 185. В СЕЛЕ КРАСНЫЙ ВОЛОК. Впервые — «Скифы», сборн. 2, 1918. Строки: «Сладчайшего Гостя готовьтесь принять!.. Будь парнем женатый, а парень, как дед», — ср. с «посланиями» и «страдами» «батюшки» Кондратия Селиванова, основателя русского скопчества: «Ибо единые девственники предстоят у Престола Господня,

и чистые сердцем зрят на Бога Отца моего лицем к лицу; в чистых же и непорочных сердцах любезно присутствует благодать Божия»... («Послания», в приложениях к «Исследованию о скопческой ереси» (Надеждина), СПб, 1845).

№ 186. КОВРИГА. Впервые — «Новый Журнал для Всех», 1916, № 1, без названия (название дано в «Избе и поле»), с разночтениями. Затем — «Скифы», сборн. 2, 1918. Разночтения в журнале:
Стих 12. Сыта́вого хлебца поесть —
» 17. Кусок у мамашки в подоле —

№ 187. ВЕШНИЕ КАПЕЛИ, СОЛНОПЕК И ХМАРА. Впервые — «Северные Записки», 1914, № 5, в составе цикла «Из северных лесов» (наши №№ 74, 188, 187); затем — «Скифы», сборн. 2, 1918.

№ 188. ВОРОН ГРАЕТ К ТЕПЛУ. Впервые — «Северные Записки», 1914, № 5, в составе цикла «Из северных лесов» (наши №№ 74, 188, 187).

№ 189. БЕЛАЯ ПОВЕСТЬ. Об апокалипсическом значении Избы — творческого труда на земле — и о «путях возрастания» души в дух: творческом, духовном понимании христианства. Не *вчера* свершилось Искупление. Оно для каждого и каждый раз совершается в духе его и благодатию Духа Святого: «То было сегодня... Вчера... Назад миллионы столетий... В избу Бледный Конь прискакал,.. И печка в чертог обратилась»... Тут все и вся сливаются в Плирому, божественную Полноту и Единство бытия, полноту и единство в Боге: и Земля-Богородица, и сам поэт, и изба с ее сердцем — хлебопечною печью, пекущей причастие земли... Духоборческие течения в русском расколе склонны вообще к трактовке Евангелия только как символического образа, притчи для всякого человека; искупление — не совершившийся раз и навсегда *исторический*, неповторимый акт, а «притча» — для духовного окормления и восхождения каждой души к Богу-Отцу в качестве Сына, Христа тож. «Смерть Лазарева — грехи. Сестры Лазаревы — плоть и душа; плоть — Марфа, душа — Мариа. Гроб — житейские попечения. Камень на гробе — окаменение сердечное». — Так рассказывает о русских духоборах XVII столетия св. Димитрий Ростовский в «Розыске о Брынской Вере». У Клюева — и так — и принципиально иначе. Символ, идея — реальны, вещны, более того, они — домашняя реальность. Конь Бледный врывается в мир не только в конце исторического процесса: «времени больше не будет» для всякой души и ныне и присно, и во веки веков. Эти мотивы от-

ныне многократно будут звучать у Клюева. Последняя книга его — «Изба и поле», 1928, составленная, главным образом, из старых, прежде опубликованных стихов, прямо подобрана для доказательства этого положения. А. Холодович, в статье «Язык и литература» («Звезда», 1933, № 1) писал, разбирая последнюю книгу поэта: «Возьмем Клюева. Это поэт кулацкий. Его мировоззрение враждебно нашей советской поэзии. Между тем его художественная система, его язык, созданная им поэтическая образность сохраняют огромную впечатляемость. В его поэзии художественный язык является действительно необходимым элементом художественного целого, а не простым привеском, созданным по принципу 'пять хороших слов и девяносто пять плохих'. В языке идеология Клюева развертывается столь же закономерно, как и в сюжете, теме, так что между всеми этими элементами нет противоречия. В основе клюевского мировоззрения лежит некоторая религиозно-мифологическая концепция, согласно которой мир, вселенная представляется как макроскопическая изба и, наоборот, изба представляется как микроскопический мир, космос. Так происходит невероятная гиперболизация, мифологическое разрастание своей околицы до мировых пределов и одновременно мифологическое сужение мира до пределов своей хаты. ...Как бы окончательно утверждая великолепие своего космического мировоззрения, своей курной философии, поэт дает нам понять, что дело не в том, что одна часть мира — скит, а другая часть мира — изба, а в том, что за скитом в мире прозревается изба, а за избою мерещится скит и что эти 'два' — в 'одном' или 'одно' — в 'двух лицах'». (Стр. 234-235, 236). Язык Клюева, его зрелое мастерство привлекает внимание исследователей. О языке Клюева пишет (очень слабо и неубедительно, хотя и восторженно) М. А. Рыбникова: Книга о языке. Изд. 3-е, «Работник Просвещения», Москва, 1926, стр. 40-47. Якубинский пишет: «Поэтический язык по Аристотелю должен иметь характер чужеземного, удивительного... Сейчас ...русский литературный язык, по происхождению своему для России чужеродный, настолько проник в толщу народа, что уровнял с собой многое в народных говорах, зато литература стала проявлять любовь к диалектам (Ремизов, Клюев, Есенин...) и варваризмам... Таким образом просторечие и литературный язык обменялись своими местами». («Поэтика», стр. 112-113).

Раздел «Долина Единорога» составлен из стихов, опубликованных ранее в книге Клюева «Медный Кит», 1919 (наши №№ 192, 212, 216, 240, 247, 249); в «Скифах», сборн. 1, 1917 (наши №№ 203, 219, 234, 236, 237); в «Скифах», сборн. 2, 1918 (наши №№ 191, 192). Эти же стихи, частично, были опубликованы ранее в журналах «Голос Жизни» (наши №№ 191, 192) и «Заветы» (наш № 240). Из 60 стихотворений этого раздела, таким образом, нами не установлены в отношении 48 стихотворений их более ранняя, нежели в «Песнослове», 1919, — публикация. Вполне возможно, что, по крайней мере, большая часть этих стихотворений и опубликована в первый раз в «Песнослове»: то время часто называют «кафейный периодом русской поэзии», так как в те годы книг и журналов издавалось чрезвычайно мало, и поэты читали свои произведения в различных кафе: правда, и «кафе» эти были кофе и почти без еды...

Поэтому и отзывов на книги было немного: их попросту было негде печатать: так мало было органов печати. Хвалебную рецензию на «Песнослов» дал в петроградском библиографическом журнале «Книга и Революция» (1920, № 6) Иннокентий Оксенов (см. вступит. статью Б. Филиппова). По поводу «иноземщины» в словесной орнаментике Клюева Есенин говорит в «Ключах Марии»: «'Туга по небесной стране посылает мя в страны чужие', — отвечал спрашивающим себя Козьма Индикоплов на спрос, зачем он покидает Россию. И вот слишком много надо этой 'туги', чтоб приобшиться. ...Но как к образу, а именно, как к неводу того, что 'природа тебя обстающая — ты', и среди ее ущелий тебе виден Младенец. Потому и сказал Клюев:

Приложитесь ко мне, братья,
К язвам рук моих и ног, —
Боль духовного зачатья
Рождеством я перемог...

'Слова поэта уже суть дела его', — писал когда-то Пушкин...» (С. Есенин. Собр. соч. в 5 тт., т. 5, ГИХЛ, 1962, стр. 65-66).

«Читая произведения Н. Клюева, нетрудно убедиться в исключительной приверженности поэта к неподвижно-патриархальному укладу русской деревни. Поэтизация 'естественности', 'нетронутости' быта и психики крестьян, сельской природы, противопоставление нравственной 'чистоты' деревни 'развращенному' городу, боязнь осквернения этого мира цивилизацией — вот наиболее характерные мотивы стихотворений (особенно ранних) Клюева. Вся Россия видится ему прежде всего, как правильно

отмечала и критика тех лет, деревенской Бабой-Хозяйкой, живущей в добротной избе, окруженной тучными коровами, осененной Елью Покоя, с которой птица Сирин учит хозяйку глубинным тайнам. А народ — это Садко, воспевающий 'цветник, жар-птицу и синь-туманы'. Сами представления Клюева о жизни, его характер мышления ('хлеб — дар Божий' и т. п.) связаны с представлениями отсталых слоев крестьянства. Чем дальше, тем все более усиливается в его творчестве влияние книжно-религиозных, мистических премудростей. 'Правда пахотная' облекается в различного рода теософические одежды». Так пишет в своей обширной книге «Русская советская поэзия и народное творчество» П. С. Выходцев, утверждая далее, что у него «народно-поэтическая стихия захлестывалась, подавлялась религиозной образностью, в общем не свойственной произведениям народного творчества трудовых масс». И всю эту длиннейшую галиматью (546 стр.) издала в 1963 г. Академия Наук СССР! (Цитировались стр. 59-60).

«Может быть даже он сам никогда не радел — только романтически мечтал, — пишет Ю. Иваск. — Но мог быть и настоящим хлыстом. Хлысты никого в частности, в особенности, не любят — любят весь свой хоровой пляшущий *Корабль* (это угадал Розанов). Полу-духовен, полу-эротичен их *совместный пожар* — то разгорающееся, то затихающее горение. У Клюева не только хлыстовские, но и скопческие мотивы. ...По Розанову... — скопчество есть логическое завершение хлыстовства. Хлыстовское братство осуществляется преимущественно во время радений, в экстазе (при этом т. н. свальный грех вовсе для них не типичен, обязателен, как многие думают). Хлысты стремятся к духовному, не к плотскому восторгу. И в лучшие минуты они доплясываются до 'преображения эроса', сублимируют эротику, а в худшие минуты — впадают в свальный грех. Скопцы же всегда чисто духовны. В лучезарных очах великого скопца Кондратия Селиванова — то солнце духа, то духовное небо, о котором хлысты тщетно мечтают, как о чем-то недостижимом! Как ни судить о скопцах — они 'народные таланты', народная элита. По Розанову — они то же, что для образованного общества — художники, музыканты, поэты! Пусть — заблудшие овцы, но самые лучшие, тонкорунные! И у Клюева, конечно, есть какая-то связь с этой народной аристократией духа — если не биографическая, то творческая...

Любовь отдам скопца ножу,
Бессмертье ж излучу в напеве.

Или

О, скопчество — венец, золотоглавый град,
Где ангелы пятой мнут плоти виноград.

Скопец физически бесплоден, но у него ученики-сыновья: ...безудный муж, как отблеск маргарит, стокрылых сыновей и ангелов родит... Или родит Сына-Спасителя — Эммануила, 'загуменного Христа'... ...Яркая звукопись (эвфония) — от декадентов. ...Смелая его метафоричность — очень своеобразна... Своеобразна также живописная нелогичность изложения. Вот последние стихи Белой Индии:

Нам к бору незримому посох-любовь,
Да смертная свечка, что пахарь в перстах
Держал пред кончиной, — в ней сладостный страх
Низринуться в смоль, в адамантовый гул...
Я первенец Киса, свирельный Саул,
Искал пегоухих отцовских ослиц
И царство нашел многоцветней златниц:
Оно за печуркой, под рябым горшком,
Столетия мерит хрустальным сверчком.

Девять строк, одна за другой, без типографских 'пролетов', и в них уместились три *картины* — деревенское предсмертье (5 строк), Клюев-Саул (3 строки), печурка, горшок, сверчок (2 строки). У всех старых символистов было больше логики, их романтическая задняя мысль, их декадентский умысел — очевиднее... ...Отрывочность удачно нарушает монотонию клюевских ритмов, особенно длинных трехсложников». (Клюев. «Опыты», № 2, 1953, стр. 83-84, 87). Иваск правильно отмечает также наличие очень большого количества *отроков* в клюевских стихах.

№ 190. БЕЛАЯ ИНДИЯ. Эта небольшая поэма является как бы продолжением «Белой повести», заканчивающей предыдущий раздел. Та же система образов, та же словесная ткань. *«И бабка Маланья, всем ранам сестра»* — образ, навеянный сказкой Н. С. Лескова «Маланья — голова баранья»: «Так прозвали ее потому, что считали ее глупою, а глупою ее почитали за то, что она о других больше, чем о себе, думала» (Собр. соч., изд. А. Ф. Маркс, 1903, т. XXXIII, стр. 196). *«Я первенец Киса, свирельный Саул»* — взято из глав 9 и 10-й Первой Книги Царств, повествующих о том, как Саул, сын Киса, в поисках ослиц своего отца, пришел к городу пророка Самуила, помазавшего его — после беседы с ним — на царство. В «Белой Индии», как и во многих других произведениях Клюева, — предельная «физиологизация» мира, как целого, вызванная сознанием полной слиянности человеческого «я» с Я божественным — и с «большим» «я» — «я» всей твари. По словам покойного С. А. Алексеева-Аскольдова, Клюев хорошо знал «Ав-

рору» и «Христософию» Якова Беме и творения мистиков Запада и Востока.

№ 191. СУДЬБА-СТАРУХА НИЖЕТ ДНИ. Впервые — «Голос Жизни», № 20, 13 мая 1915; затем — «Скифы», сборн. 2, 1918, в составе цикла «Избяные песни. Памяти матери» (наши №№ 174-175, 182, 180, 178, 176, 179, 184-187, 183, 191, 192).

№ 192. РЫЖЕЕ ЖНИВЬЕ — КАК КНИГА. Впервые — «Голос Жизни», № 20, 13 мая 1915; затем — «Скифы», сборн. 2, 1918, и «Медный Кит», 1919.

№ 203. ОТТОГО В ГЛАЗАХ МОИХ ПРОСИНЬ. Впервые — «Скифы», сборн. 1, 1917, в составе цикла «Земля и Железо» (наши №№ 219, 237, 234, 236, 203), под названием «Прекраснейшему из сынов крещеного царства, крестьянину Рязанской губернии, поэту Сергею Есенину».

№ 205. ЕЛУШКА-СЕСТРИЦА. Эпиграф взят «Клюевым из сказания об убиении царевича Дмитрия, в котором, в частности, рассказывается о том, что Борис Годунов через подставных лиц подкупил Битяговского, предложив ему убить царевича Дмитрия. В день убийства сообщница Битяговского, мамка Волохова, вывела Дмитрия гулять на крыльцо. К царевичу подошел убийца Волохов и спросил его: 'Это у тебя, государь, новое ожерельице?' — 'Нет, старое', — ответил Дмитрий и, чтобы показать ожерелье, поднял голову. В это время Волохов ударил царевича по горлу. ...В самом стихотворении Клюев, сравнивая Есенина с Годуновым, себя уподобляет его жертве — Дмитрию-царевичу...» (В. Вдовин. Документы следует анализировать. «Вопросы Литературы», 1967, № 7, стр. 194).

№ 206. БУМАЖНЫЙ АД ПОГЛОТИТ ВАС. *«Мы, как Саул, искать ослиц»* — см. примеч. к стих. 190.

№ 208. Я ПОТОМОК ЛАПЛАНДСКОГО КНЯЗЯ. *Горючий Григорьев* — худ. Борис Дмитриевич Григорьев (1886-1939), рисовал, в частности, портрет Клюева. С 1920 гг. — эмигрант. Автор замечательной книги рисунков «Расея» (изд. С. Ефрон, Берлин, 1922), открывающейся стилизованным портретом Клюева — в виде пастуха. «У Григорьева, — пишет в той же книге А. Н. Толстой, — много почитателей и не меньше врагов. Иные считают его 'большевиком' в живописи, иные оскорблены его 'Расеей', иные силятся постичь через него какую-то знакомую сущность молчаливого, как камень, загадочного славянского лица, иные с гневом отворачиваются: — это ложь, такой России нет и не было. ...В этой

России есть правда, темная и древняя. Это — вековечная, еще до-петровская Русь...» (стр. 5 и 6 ненумер.).

№ 212. ТРУД. Опубликовано в «Медном Ките», 1919 (первая публикация?).

№№ 213-214. ГРОМОВЫЕ, ВЛАДЫЧНЫЕ ШАГИ. — ДВА ЮНОШИ КО МНЕ ПРИШЛИ. Тут и хлыстовские и скопческие реминисценции, и влечение Клюева к отрокам, при этом окрашенное в мистико-эротические тона. По хлыстовским и скопческим представлениям всякая душа (в том числе и мужская) — дева, ждущая Жениха Небесного и соединения с Ним. Чувство это и вера в это так сильны и ярки, что воплощаются в подчеркнуто эротической форме. Сравни, напр., скопческую песню, приведенную под № 16 в приложениях к «Исследованию о скопческой ереси» (Надеждина), СПб, 1845:

Утенушка по речушке плывет,
Выше бережку головушку несет;
Про меня младу худу славу кладет,
Будто я млада в любви с Богом жила
Со Христом в одном согласьице.
Я спать лягу, мне не хочется,
Живот скорбью осыпается,
Уста кровью запекаются:
Мне к Батюшке в гости хочется,
У родимова побывать, побеседовать,
На беседушку апостольскую,
И где ангелы пиршествуют,
И где Дух Святой ликуется.

№ 216. МИЛЛИОНАМ ЯРЫХ РТОВ. Опубликовано в «Медном Ките», 1919 (первая публикация?).

№ 219. ЕСТЬ ГОРЬКАЯ СУПЕСЬ, ГЛУХОЙ ЧЕРНОЗЕМ. Впервые — «Скифы», сборн. 1, 1917, в составе цикла «Земля и Железо» (наши №№ 219, 237, 234, 236, 203).

№ 227. О СКОПЧЕСТВО — ВЕНЕЦ, ЗОЛОТОГЛАВЫЙ ГРАД. *«И Вечность сторожит диковинный товар»* — ср. в «Страдах» у Кондратия Селиванова: «Еще я пишу вам. Когда я шел в Иркутской, было у меня товару за одной печатью: из Иркутска пришел в Россию, — вынес товару за тремя печатями... Я товар добывал все трудами своими; свечи мне становили — по плечам и по бокам все дубинами, а светильни были — воловые жилы» (В. Кель-

сиев, вып. 3, 1862, приложение). «Товар», дающий свободу, могущество, смирение и чистоту — «оскопления: 'малая печать' — отрезание ядер; 'большая печать' — ...всей детородной системы»... (В. Розанов. Апокалипсическая секта. СПб, 1914, стр. 142). Перед оскоплением — «прощальная» молитва: «Прости меня, Господи, прости меня Пресвятая Богородица, простите меня Ангелы, Херувимы, Серафимы и вся Небесная Сила, прости небо, прости земля, прости солнце, прости луна, простите звезды, простите озера, реки и горы, простите все стихии небесные и земные!» (Кельсиев, вып. 3, 1862, стр. 138-139).

№ 233. ПУТЕШЕСТВИЕ. Название дано стихотворению впервые в «Избе и поле». В этой последней книге поэта в стихотворении опущены четверостишия 9, 10 и 11 — вопросы пола в СССР уже в 1928 г. стали табу. Одно из характернейших стихотворений Клюева этой поры.

№ 234. ЗВУК АНГЕЛУ СОБРАТ. Впервые — «Скифы», сборн. 1, 1917, в составе цикла «Земля и Железо» (наши №№ 219, 237, 234, 236, 203). В «Избе и поле» разночтения, не введенные нами в основной корпус, так как они вызваны не художественными соображениями, а стремлением автора (вернее, цензора) *смягчить* церковную окраску словообразов:

Стих 8. В обители лесов поднимут хищный клич,
» 19. Чтоб напоить того, кто голос уловил

№ 236. ГДЕ ПАХНЕТ КУМАЧОМ. Впервые — «Скифы», сборн. 1, 1917, в составе цикла (см. прим. к № 234).

№ 237. У РОЗВАЛЬНЕЙ — НОРОВ. Там же (см. прим. к № 234).

№ 240. ОСКАЛ ФЕВРАЛЬСКОГО ОКНА. Впервые — «Заветы», 1914, № 1 (другая редакция стихотворения); в новой редакции — «Пламя», 1918, № 27, октябрь; наш текст по «Медному Киту», 1919. Редакция «Заветов»:

В белесоватости окна
Макушки труб и космы дыма,
На лавке мертвая жена
Лежит строга и недвижима.
Толпятся тени у стены.
Как взоры, отблески маячат...

Дальше — как в нашем тексте. Разночтение в «Пламени»:

Стих 1. Оскал октябрьского окна

№ 242. Я РОДИЛ ЭММАНУИЛА. *«Привал Комедиантов»* — кабарэ и кафе-клуб писателей, музыкантов, художников, артистов, организованный артистом Борисом Прониным в Петербурге.

№ 247. ГОСПОДИ, ОПЯТЬ ЗВОНЯТ. Опубликовано в «Медном Ките», 1919 (может быть, первая публикация).

№ 249. ПОДДОННЫЙ ПСАЛОМ. Опубликован в «Медном Ките», 1919 (первая публикация?). Разночтение:

III строфа:

Стих 1. Есть моря черноводнее вара,

Сочетание мистики русского древлего благочестия и «Философии Общего Дела» Н. Ф. Федорова, с его учением о всеобщем воскрешении нами самими всех наших покойников, как основном общем деле человечества. И об окончательной победе над смертью.

КРАСНЫЙ РЫК

В последний раздел «Песнослова» автор включил свои стихи 1917-1919 гг., часть из которых уже была собрана в книге 1919 г. — «Медный Кит» (наши №№ 250-252, 254, 256-261, 263-265, 267, 279, 289, — всего 16 стихотв.). 5 стихотворений (наши №№ 253, 255, 268, 272, 274) включены из публикаций в журнале «Пламя». Остальные 19 стихотворений этого раздела или впервые опубликованы в «Песнослове» (1919), или их первые публикации остались нам неизвестными. Сборник Клюева «Медный Кит», 1919, предварялся авторским «присловием», помещенным нами в начале нашего собрания, и был разделен на три раздела: «Судьба-гарпун», «Поддонный псалом» и «Медный Кит». Кроме того, в 1917 г. вышла отдельно, в виде листовки, «Красная песня» Клюева.

Критика народнического и марксистского толка очень высоко расценивала революционную музу Клюева. Никого не смутила даже ее — необычная для поэта — формальная слабость, доходящая до прямых провалов, до уровня творений П. Лаврова, Е. Нечаева или Ф. Шкулева... Такие вещи Клюева, как «Матрос» или «Коммуна», поражают своей беспомощностью. Но В. Львов-Рогачевский писал: «Сила революционной поэзии Клюева в ее сплетении с революционными настроениями восставшего народа» («Поэзия новой России. Поэты полей и городских окраин». Москва, 1919, стр. 61). В статье «Творчество Клюева» в «Книге для чтения по истории новейшей русской литературы», ч. 1, изд. «Прибой», Ленинград, 1926, тот же Львов-Рогачевский писал: «Порой поэт портит

свои *стихи* хлестко полемическими газетными выпадами против газетных врагов и занят не столько революцией, сколько Клюевым. Это к 'смиренному Миколаю' совсем не идет» (стр. 138). Таким образом, Львов-Рогачевский осудил как раз лучшие из вещей Клюева, помещенные им в его пореволюционных сборниках: вещи тоскующие, сомневающиеся — и просто отчаявшиеся, — вещи полемические. А именно среди этого разряда вещей поэта — самые лучшие его стихи того времени в «Красном Рыке». Иванов-Разумник, идеолог «Скифов», поднимает Клюева на щит. В трижды опубликованной в 1918 г. статье «Поэты и революция» (в газ. «Знамя Труда», во 2-м сборнике «Скифов» и в «Красном Звоне») Иванов-Разумник писал: «Клюев — первый народный поэт наш, первый, открывающий нам подлинные глубины духа народного. До него, за три четверти века, Кольцов вскрыл лишь одну черту этой глубинности, открыл перед нами народную поэзию земледельческого быта. Никитин, более бледный, Суриков, Дрожжин, совсем уже поэтически беспомощные — вот и все наши народные поэты. Клюев среди них и после них — подлинно *первый* народный поэт; в более слабых первых его сборниках и во все более и более сильных последних — он вскрывает перед нами не только глубинную поэзию крестьянского обихода (напр., в 'Избяных песнях'), но и тайную мистику внутренних народных переживаний ('Братские песни', 'Мирские думы', 'Новый псалом'). И если не он, то кто же мог откликнуться из глубины народа на грохот громов и войны и революции?» («Скифы», сборн. 2, 1918, стр. 1). Эта статья Иванова-Разумника встретила заслуженную отповедь М. Цетлина, писавшего в статье «Истинно народные поэты и их комментатор» («Современные Записки», № 3, Париж, 2 февр. 1921): «Как мог г. Иванов-Разумник не увидеть 'стилизации', принять картон за металл, не расслышать звука подделки, смешать слово-подвиг со словом-игрой?» (стр. 251). Все это пишется как-раз о слабейших вещах Клюева... Всеволод Рождественский тоже отрицательно расценивает революционные стихи Клюева: «Сложности и схематичности метафор обречены последующие сборники, в особенности там, где Клюев, чувствуя себя обязанным быть современным, возводит идеологические терема и крылатую легкость слова отягчает смысловой нагроможденностью. 'Медный Кит' и 'Львиный Хлеб', при всех своих ярких достоинствах характерны именно для этой, 'трудной' поры творчества. ...Поэзия его прежде всего не проста, хотя и хочет быть простоватой. При большой скудости изобразительных средств (без устали повторяющаяся метафора-сравнение) и словно нарочитой бедности ритмической Клюев последних лет неистощим в словаре. Революцию он воспринял с точки зрения вещной, широкогеографической пестрословности. 'Интернационал' поразил его воображение возможностью сблизить лопарскую вежу и соломенный

домик японца, Багдад и Чердынь. Вся вдохновенная реторика 'Медного Кита' именно в таких неожиданных 'современных' сопоставлениях. Хорош бы был сам Клюев в его неизменной поддевке где-нибудь на съезде народов Востока! Пестроте головокружительных дней созвучны его яркие, как одеяло из лоскутов, стихи. Он наш, он глубоко современен, но только в те минуты, когда сам меньше всего об этом думает». («Мать-Суббота», «Книга и Революция», 1923, № 2 (26), стр. 62). На всех «космически-революционных», «евразийских» стихах Клюева отразилась левоэсеровская идеология «скифства». В 1917 г. Иванов-Разумник писал в статье «Третий Рим»: «'Москва' нашла свой конец в Петербурге 27 февраля 1917 года. Так погиб 'третий Рим' идеи самодержавия, 'а четвертому не быть'... Мир вступает ныне в новую полосу истории, новый Рим зарождается на новой основе, и с новым правом повторяем мы теперь старую формулу XVI века, только относим ее к идее не автократии, а демократии, не самодержавия, а народодержавия. 'Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быть'. В папе, в патриархе, в царе выражалась идея 'старого Рима', старого мира; в идее *Интернационала* выражается социальная идея демократии, идея мира нового»... («Новый Путь», журнал левых социалистов-революционеров, 1917, № 2, октябрь, стр. 3). Иванов-Разумник рассматривает Третий Рим, как Третий Интернационал, как дружную семью братских народов, клюевский хоровод племен и наций...

Большевики весьма настороженно отнеслись к революционному «баловству» Клюева. Л. Д. Троцкий, расценивая талант Клюева очень высоко, посмеивался: «У него много пестроты, иногда яркой и выразительной, иногда причудливой, иногда дешевой, мишурной — все это на устойчивой крестьянской закладке. Стихи Клюева, как мысль его, как быт его, не динамичны. Для движения в клюевском стихе слишком много украшений, тяжеловесной парчи, камней самоцветных и всего прочего. Двигаться надо с осторожностью во избежание поломки и ущерба». Рассказывая далее, что Клюев принял все-таки революцию на ее первых порах, принял по-крестьянски, Троцкий отмечает специфический характер «коммуны» Клюева: «Клюев поднимается даже до песен в честь Коммуны. Но это именно песни 'в честь', величальные. 'Не хочу коммуны без лежанки'. А коммуна с лежанкой — не перестройка по разуму, с циркулем и угломером в руках, всех основ жизни, а все тот же мужицкий рай... ...Не без сомнения допускает Клюев в мужицкий рай радио и плечистый магнит и электричество: и тут же оказывается, что электричество — это исполинский вол из мужицкой Калевалы, и что меж рогов у него — яственный стол... ...Клюев ревнив. Кто-то советовал ему отказаться от божественных словес. Клюев ударился в обиду: 'Видно

нет святых и злодеев для индустриальных небес'. Неясно, верит он сам или не верит: Бог у него вдруг харкает кровью, Богородица за желтые боны отдает себя какому-то венгру. Все это выходит вроде богохульства, но выключить Бога из своего обихода, разрушить красный угол, где на серебряных и золоченых окладах играет свет лампад — на такое разорение Клюев не согласен. Без лампады не будет полноты... ...Вот поэтика Клюева целиком. Какая тут революция, борьба, динамика, устремление к будущему? Тут покой, заколдованная неподвижность, сусальная сказочность, билибинщина: 'алконостами слова порассядутся на сучья'. Взглянуть на это любопытно, но жить в этой обстановке современному человеку нельзя. Каков будет дальнейший путь Клюева: к революции или от нее? Скорее от революции: слишком он уж насыщен прошлым. Духовная замкнутость и эстетическая самобытность деревни, несмотря даже на временное ослабление города, явно на ущербе. На ущербе как будто и Клюев» («Литература и революция», изд. 2-е, ГИЗ, 1924, стр. 49-51).

В рецензии на «Медный Кит», в пролеткультовском журнальчике «Грядущее» (1919, № 1, стр. 23), Бессалько, процитировав из «Поддонного псалма»:

Что напишу и что реку, о Господи!
Как лист осиновый все писания...
...Нет слова непроточного,
По звуку не ложного, непорочного..., —

иронизировал: «Но что поделаешь — взялся за гуж! Нужно писать, пусть знает земля, что вмещает в себе чрево 'медного кита'. 'Есть в Ленине Керженский дух, /Игуменский окрик в декретах!!!' Ну, уж зарапортовались, пророк, от этого греха вас и пребывание 'во чреве' не отучило. Но катайте дальше! 'Боже, Свободу храни —/ Красного Государя Коммуны...' — Какая архаическая лесть! Пророк не догадывается, что слово 'царь', хоть и с прилагательным 'красный', теперь совсем не в моде. Но послушаем, как относится Николай Клюев, то бишь Иона, к республике. 'Свят, Свят, Господь Бог-Саваоф!/ Уму республика, а сердцу — Китеж-град...' — Хоть пророку и не мило это слово 'республика', но 'Сей день, его же сотвори Господь,/ Возрадуемся и возвеселимся в онь!'... ...'Медный Кит' — книга нездоровая. Да это и понятно: как можно было автору написать здоровую, ясную, солнечную книгу, когда он пробыл такое продолжительное время в свалочном месте прожорливого кита?» Борис Гусман писал о Клюеве еще сравнительно положительно («Сто поэтов. Литературные портреты». Изд. «Октябрь», Тверь, 1923, стр. 135-136). Зато В. Тарсис в подобной же книжке — «Современные русские писатели», под ред. и с дополнениями Инн. Оксенова, Изд. Писателей в

Ленинграде, 1930, — пишет прямо, что Клюев — классовый враг, кулак: «мировоззрение Клюева — идеология певца патриархальной кулацкой деревни, выразителя ее устремлений» (ст. 109). Доходило до курьезов: пресловутая Е. Усиевич, критик-доноситель, придиралась даже к пейзажной лирике вообще, как к чему-то, что не подходило под требования «индустриальных небес»: «На весь предыдущий период развития послеоктябрьской поэзии можно распространить то положение, что о природе писали главным образом поэты нам враждебные или чуждые (Клюев, Есенин, Орешин, Клычков)...» («Писатели и действительность», ГИХЛ, Москва, 1936, стр. 106). Зато Виссарион Саянов в «Очерках по истории русской поэзии XX века» (Рабочая литстудия «Резец»), изд. «Красная Газета», Ленинград, 1929, — писал: «Значение литературной деятельности Клюева исключительно велико. Он является одним из самобытнейших русских поэтов. Все то поколение крестьянских писателей, которое выступило одновременно с ним, во многом от него зависело». Ольга Форш, в документальной повести «Сумасшедший Корабль» (изд. МЛС, Вашингтон, 1964, стр. 187), писала: «Гаэтан (Блок, БФ), Еруслан (Горький, БФ), Микула (Клюев, БФ) и Инопланетный Гастролер (А. Белый, БФ) — собирательные исторические фигуры, — опустили в землю старую мать-Русь мужицкую, Русь интеллигентски-рабочую,..., чей петербургский период закончился Октябрем». А Клюев — по Форш — «матерой мужик Микула, почти гениальный поэт, в темноте своей кондовой метафизики, берущий от тех же народных корней, что и некий фатальный мужик, тяжким задом расплющивший трон» (там же, стр. 165).

Все эти — столь противоречивые — оценки весьма характерны: «...важно подчеркнуть, — пишут А. Меньшутин и А. Синявский, — широкий общественный резонанс полемики вокруг Клюева, выходившей за рамки групповой борьбы и в то же время столкнувшей между собою ряд очень отличных, противоположных друг другу эстетических платформ. В этом, казалось бы, частном эпизоде литературной жизни тех лет отразились чрезвычайно важные противоречия, касающиеся коренных проблем современной поэзии и, шире, современной действительности. За идейно-художественной доктриной Клюева, так же, как за выступлениями его антагонистов, вырисовываются, по сути дела, противоположные классовые интересы, разные представления об исторических судьбах современной России. Так литературные дискуссии непосредственно перерастали в явление большого социального масштаба, и здесь уже решающую роль имели не столько индивидуальные склонности и вкусы Клюева.., сколько принципиальные вопросы идеологии и культуры, выступившие в этих спорах на передний план и поэтому привлекшие внимание многих деятелей литературы, искусства. Это была борьба не только против Клюева, но

против всего старого, ветхозаветного уклада, который он защищал и навязывал революционной совести. В стихотворном послании 'Владимиру Кириллову' Клюев писал:

Твое прозвище — русский город.
Азбучно-славянский святой,
Почему же мозольный молот
Откликается в песне простой?
Или муза — котельный мастер
С махорочной гарью губ... ...

Там огонь подменен фальцовкой,
И созвучья — фабричным гудком,
По проселкам строчек с веревкой
Кружится смерть за певцом.
Убегай же, Кириллов, в Кириллов,
К Кириллу, азбучному святому...

Так, обыгрывая совпадение фамилии пролетарского поэта с названием древнерусского города, пытается Клюев переубедить своих литературных противников, отстоять художественную систему, которой вполне отвечали 'азбучная святость' и 'переливы малиновок', но решительно не соответствовали 'фальцовка', 'фабричный гудок'. И не случайно в этой полемике возникало также имя Маяковского...» («Поэзия первых лет революции. 1917-1920». Изд. «Наука», Москва, 1964, стр. 118-119). Любопытен и ответ Вл. Кириллова на обращенные к нему стихи Клюева. Стихотворение так и называется — «Николай Клюев»:

Певец глухого Заонежья,
Как листья обрывая дни,
Глядишь, кедровый и медвежий,
На доменные огни.

И видишь, как на склон брусничный,
На бархат заповедных мхов
Ступает тяжко мир кирпичный
С гудящей армией станков.

И песнями твоими плачут,
Твоею древнею тоской,
О том, что близко всадник скачет
С огнепылающей косой,

Что Русь, разбуженная кровью,
Срывает дедовский наряд,
Что никогда за росной новью
Не засияет Китеж-Град.

(Владимир Кириллов. Голубая страна. ГИЗ, Москва-Ленинград, 1927, стр. 23-24).

Все эти разглагольствования о том, глядит ли Клюев «вперед» или «назад», основаны, понятно, на чистом наукобесии, примитивной вере в «прогресс» и в то, что все, что наступает *позже*, является более *передовым* и *положительным*. При этом приходится иной раз морщиться, если вслед за веймарской, как-никак, демократией — в Германии к власти приходит Гитлер. Но и тут есть оправдание: «в конечном, мол, счете — история не идет вспять». Но Клюев вообще никак не глядел вспять. Пишущий эти строки хорошо запомнил один разговор с Клюевым: «— Отлетает Русь, отлетает... — Широкий крест над скорбным позевком рта с длинными моржовыми усами: — Было всякое. Всяко и будет. Не в прошлое гляжу, голубь, но в будущее. Думаешь, Клюев задницу мужицкой истории целует? Нет, мы, мужики, вперед глядим. Вот, у Федорова — читал ты его, ась? — 'город есть совокупность *небратских* состояний'. А что ужасней страшной силы небратства, нелюбви? К братству — и из городов!» (Б. Филиппов. Кочевья. Вашингтон, 1964, стр. 38-39; разговор записан почти дословно). Прав Клюев или не прав, но уже сейчас лучшие умы думают о том, как бы бороться со злом гипертрофированной урбанизации и механизации, грозящей вконец обезличить человека...

№ 250. ПЕСНЬ СОЛНЦЕНОСЦА. Впервые — «Скифы», сборн. 2, 1918, с предваряющей восторженной статьей А. Белого: «Слышит Клюев, народный поэт, что — Заря, что огромное солнце всходит над 'белой Индией' ... И его не пугает гроза, если ясли младенца — за громом: Дитя-Солнце родится» и т. д. Затем — «Медный Кит», 1919. На «Песни Солнценосца» отразились не только неонароднические («Скифы»), но и славянофильские увлечения Клюева, в частности, стихи Хомякова и Тютчева. Отразились и хлыстовские представления о «народах-Христах» и аналогичные воззрения Достоевского. Ср. также «соборную» духовную песню хлыстов (Кельсиев, вып. 3, 1862, прилож., стр. 72-73, № 36):

Как не золота трубушка жалобнешенько
Вострубливала, ай! жалобнешенько:
Восставали, восставали духи бурные;
Заходили, заходили тучи грозные.
Соберемтесь, братцы, во един Собор,
Посудимте, братцы, такую радость.
Уж вы, верные, избранные!
Вы не знаете и не ведаете,

Что у нас ныне, на сырой земле,
Катает у нас в раю птица,
Летит, в тую сторону глядит,
Где трубит труба златая, там наш Батюшка...

На слова этой весьма аляповатой оды Клюева написана оратория, исполнявшаяся в Ленинградской Гос. Академической Капелле, под управлением М. Г. Климова, 18 ноября 1928: А. Ф. Пащенко. *Песнь Солнценосца*. Героическая поэма для солистов, хора и оркестра, 1924.

№ 251. КРАСНАЯ ПЕСНЯ. Впервые — «Дело Народа», 4 июня 1917; затем — отдельная листовка: Ник. Клюев. Красная Песня. Изд. Художественного комитета при Комиссии по организации духа при Комитете технической помощи. Напечатана была в Синодальной типографии, летом 1917 г. (2 ненумер. страницы). Перепечатана в «Знамени Труда» 30 декабря 1917 (12 января 1918 — нов. стиля), в «Вестнике Жизни», 1918, № 1 (декабрь), в сборнике «Красный Звон», 1918, и, наконец, в «Медном Ките», 1919. Написана на мотив «Русской Марсельезы» П. Л. Лаврова.

«Богородица наша землица» и «Китеж-град, ладан саровских сосен» — характерные мотивы в революционных стихах Клюева. Борис Гусман назвал эту песню «тальяночной деревенской марсельезой» («Сто поэтов. Литературные портреты», Тверь, 1923, стр. 136). В рецензии на «Красный Звон» Фома Верный писал о «Красной песне» и «Из подвалов...»: «Сборник открывается двумя 'красными песнями' Николая Клюева. Они прекрасны, как и все, созданное этим поистине 'первым' народным тайновидцем-поэтом... Но тем не менее, ничего нового к художественному облику нашего удивительного поморского гусляра они не прибавляют. Жаль, что определенное настроение сборника не позволило включить сюда еще далеко не всеми понятые и оцененные жемчужины поэзии Николая Клюева 'Беседный наигрыш' и 'Новый псалом', вещи, которым предстоит занять место не только в русской, но и в мировой сокровищнице искусства». («Знамя Труда», 3 марта/18 февраля 1918, стр. 4). «Новый псалом» — первоначальное название «Поддонного псалма». Не знаем, кто укрылся под псевдонимом «Фома Верный» (не Андрей Белый ли?). Но сам псевдоним характерен: он как бы противоставляет себя «Фоме Неверному»: под этим псевдонимом писали прогрессивные и народнические литераторы второй половины XIX и начала XX века (см. Словарь псевдонимов Масанова).

№ 252. ФЕВРАЛЬ. Впервые — «Знамя Труда», 28 декабря 1917 (10 янв. 1918); затем, без названия, «Скифы», сборн. 2, 1918; «Медный Кит», 1919. Разночтение в «Скифах»:

Стих 30. Свободы золотой...

№ 253. СОЛНЦЕ ОСЬМНАДЦАТОГО ГОДА. Впервые — «Пламя», 1918, № 31, 8 декабря, стр. 15. Разночтения в журнале и кн. Клюева «Ленин», 1924:

Стих 2. Не забудь наши песни, бесстрашные кудри! *(Ленин)*
» 3. Славяно-персидская порода *(Пламя)*

№ 254. ПУЛЕМЕТ. Опубликовано в «Медном Ките», 1919 (первая публикация?)

№ 255. ТОВАРИЩ. Впервые — «Пламя», 1918, № 27, октябрь (7 ноября), стр. 2. В «Ленине», 1924, без названия и с разночтением:

Стих 19. Потемки шахты, дымок овина

№ 256. ИЗ ПОДВАЛОВ, ИЗ ТЕМНЫХ УГЛОВ. Впервые — «Знамя Труда», 30 декабря 1917 (12 января 1918); затем — «Красный Звон», 1918; «Медный Кит», 1919. По «Медн. Киту» и «Кр. Звону» нами исправлена явная опечатка «Знамени Труда» и «Песнослова»:

Стих 16. И с невестою милой прощались...

Марсово Поле — площадь в Петербурге-Ленинграде, одно время переименованная в «Площадь Жертв Революции». В центре обширнейшей площади — братские могилы погибших в 1917 г. революционеров. Мих. Цетлин справедливо писал об этом стихотворении, что оно невольно напоминает «сборник революционных песен, где были, помнится, строки 'О, не плачь, невеста, о студенте'... ...Разумеется, такими стихами не исчерпывается творчество Клюева. Он — очень даровитый поэт». («Истинно-народные» поэты и их комментатор. «Современные Записки», № 3, Париж, 1921, стр. 241).

№ 257. КОММУНА. «Медный Кит», 1919, на мотив «Боже, Царя храни», с некоторым нарушением размера. Набрасываясь на подобные вирши Клюева и Есенина, Мих. Платонов, в альманахе правых эсеров «Мысль», 1, 1918, все-таки отмечает, что поэтов этих тянет к другому, своему, не большевистскому. При этом автор вспоминает и стихи Клюева «Февраль»: «Даже Клюев, занимающий место 'придворного пиита' Державина, неосторожно мечтает вслух о времени, когда 'Не сломит штык, чугунный град /Ржаного Града стен...'» (стр. 287).

№ 258. ПУСТЬ ЧЕРЕН ДЫМ КРОВАВЫХ МЯТЕЖЕЙ. Впервые — «Красная Газета», Петроград, 1918 (№ нами не найден — и дата не установлена). Затем — «Медный Кит», 1919.

№ 259. ЖИЛЬЦЫ ГРОБОВ, ПРОСНИТЕСЬ! Впервые — «Красная Газета», 1918 (№ нами не найден). Затем — «Медный Кит», 1919. «Строки эти направлены против духовенства, 'черных белогвардейцев', как их называет Клюев, оказавших отчаянное сопротивление советской власти. Им он и пророчит гибель...». (В. Вдовин. Документы следует анализировать. «Вопросы Литературы», 1967, № 7, стр. 195).

№ 260. МАТРОС. «Медный Кит», 1919.

№ 261. НА БОЖНИЦЕ ТАБАКУ ОСЬМИНА. Впервые — «Знамя Труда», 9 (22) мая 1918; затем — «Медный Кит», 1919. В газете под названием «Республика».

№ 262. В ИЗБЕ ГАРМОНИКА: НАКИНУВ ПЛАЩ С ГИТАРОЙ... *«Накинув плащ, с гитарой под полою»* — начало популярного романса на слова гр. В. А. Соллогуба (1814-1882). *«Вольга с Мамелфой старой»* — Вольга, он же Волх (в) — один из «старших» богатырей русского эпоса; Мамелфа, Мемелфа или Амелфа, часто Тимофеевна — мать богатыря новгородского Василия Буслаева (см., напр., «Древние Российские Стихотворения» Кирши Данилова, № 10).

№ 263. УМУ — РЕСПУБЛИКА, А СЕРДЦУ — МАТЕРЬ-РУСЬ. «Медный Кит», 1919 (первая публикация?). Написано, судя по строчке «О, тысча девятьсот семнадцатый февраль», не позже конца 1917 г. Нами так и датировано. В этом замечательном стихотворении особенно сильно звучат мотивы Китежа. Представление о земном рае пришло, отчасти, и из старых лубочных картин. «Лубочная карта, известная под заглавием 'Книга, глаголемая Козмография, переведена бысть с римского языка', представляет круглую равнину земли, омываемую со всех сторон рекою-океаном; на восточной стороне означен 'остров Макарийский, первый под самым востоком солнца, близь блаженного рая; потому его так нарицают, что залетают в сий остров птицы райские Гомоюн и Финикс и благоухание износят чудное... тамо зимы нет'». (А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2, Москва, 1868, стр. 135). Преображенная мужицкая, христовская (хлыстовская) Русь у Клюева — то Белая Индия, то — пиршественные столы под дубом Ма/м/врийским. Преображенная Русь — и стан Авраамов под дубом Мамврийским, и Невидимый Град Китеж, цветущий Вечностью и Божественной Полнотой жизни, — и «райский крин благоухающий» — сад лилейный, — и райски преображенное Человечество, София, Мать Сыра-Земля — все это одновременно. В «Сказании о Невидимом Граде Китеже» Римского-Корсакова-Бельского:

А и сбудется небывалое:
Красотою все изукрасится,
Словно райский крин процветет Земля
И распустятся крины райские...
...Время кончилось — вечный миг настал...

А в хлыстовской и скопческой песне, записанной — по показаниям скопцов — в Соловецком монастыре (Кельсиев, 3, прилож., стр. 35, № 6), поется:

Ай, нуте-тка, други, порадейте-тка,
Вы у Батюшки-сударя во зеленом саду!
Сия милость Его Божья, благодать Его Святая,
Уж и этой благодатью вы умейте повладать:
А золоты коренья вы не стаптывайте,
А серебряны веточки вы не обламывайте,
А бумажные листочки вы не осыпывайте.
А нуте-тка, други, порадейте-тка,
И вы Батюшку-сударя поутешьте-тка,
И нас многогрешных порадывайте.

№ 264. РЕВОЛЮЦИЯ. «Медный Кит», 1919: «В Русь сошла золотая Обида»: «Уже бо, братие, не веселая година въстала, уже пустыни силу прикрыла. Въстала обида в силах Дажьбога внука, вступила девою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на синем море у Дону плещучи, упуди жирня времена. Усобица князем на поганыя погыбе...» (Слово о полку Игореве. Изд. Академии Наук СССР, «Литературн. Памятники», 1950, стр. 17). «Автор 'Слова' говорит здесь об обиде всей Русской земли в целом... ...Образ девы-обиды, лебеди-девушки, плещущей лебедиными крыльями — типично фольклорный» (там же, комментарии Д. С. Лихачева, стр. 418). Датируется нами 1917 годом, так как строка «Но луна, по прозванью Февраль» и связанные с нею — не могла быть написана позже конца 1917 г.

№ 265. Я — ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТ НАРОДА. «Медный Кит», 1919. *Валаам* — монастырь на одноименном острове Ладожского озера.

№ 266. НИЛА СОРСКОГО ГЛАС. Преп. Нил Сорский (ум. 1508) — «постриженник Кириллова Монастыря... долго жил на Афоне, наблюдал тамошние и цареградские скиты и, вернувшись в отечество, на реке Соре в Белозерском краю основал первый скит в России. *Скитское* жительство — средняя форма подвижничества между

общежитием и уединенным отшельничеством. Скит похож и на особняк своим тесным составом из двух-трех келий, редко больше, и на общежитие тем, что у братии пища, одежда, работы — все общее. Но существенная особенность скитского жития — в его духе и направлении. ...'Кто молится только устами, а об уме небрежет, тот молится воздуху: Бог уму внимает'. Скитский подвиг — это *умное* или *мысленное делание*, сосредоточенная внутренняя работа духа над самим собой, состоящая в том, чтобы 'умом блюсти сердце' от помыслов и страстей, извне навеваемых или возникающих из неупорядоченной природы человеческой. Лучшее оружие в борьбе с ними — мысленная, духовная молитва и безмолвие, постоянное наблюдение над своим умом». (В. О. Ключевский. Курс русской истории, часть II, переиздание, Госсоцэкгиз, Москва, 1937, стр. 299-300). Преп. Нил Сорский — основоположник русского старчества.

№ 267. МЕНЯ РАСПУТИНЫМ НАЗВАЛИ. «Медный Кит», 1919. «И не оберточный Романов» — самооправдание Клюева, бывшего в царской семье — и одновременно — в социалистических, революционных организациях, близко, судя по всему, знакомого и с Распутиным (см. вступ. статью). «Не случайно Клюева даже возили в Царское Село, где он читал свои стихи императрице и был принят благосклонно. Об этом сказано, между прочим, у самого Клюева, в 'Четвертом Риме'...» (Вл. Орлов. Николай Клюев. «Литературная Россия», № 48, 25 ноября 1966, стр. 17). «Утихомирился Пегаске» — не опечатка и не описка Клюева, а упорное клюевское написание, да еще подтвержденное рифмой: «сказки».

№ 268. МЫ — РЖАНЫЕ, ТОЛОКОННЫЕ. Впервые — «Пламя», 1918, № 27, октябрь (7 ноября), под назв. «Владимиру Кириллову». См. об этом стихотворении во вступит. статье Б. Филиппова и во вступит. примечаниях к разделу «Красный рык». Владимир Дмитриевич *Кириллов* (1890-1943) — поэт, родившийся в крестьянской семье. Был матросом, участвовал в революционном движении. В печати выступил впервые в 1913. Член большевистской партии. Сначала — один из столпов «Пролеткульта», затем, с 1920 г. — один из руководящих членов «Кузницы». В 1937 г. арестован, как «кровавый пес империализма» и погиб где-то в лагерях НКВД. «Посмертно реабилитирован». А был он и председателем Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей (ВАПП), и руководящим работником Коммунистической партии, и воевал за советскую власть... Кириллову, между прочим, принадлежит и «программное» стихотворение пролетарских писателей — «Мы»:

...Мы во власти мятежного, страстного хмеля;
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты»,
Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы...

Стихи — конца 1917 года. (Вл. Кириллов. Стихотворения. ГИХЛ, Москва, 1958, стр. 41).

№ 269. ТВОЕ ПРОЗВИЩЕ — РУССКИЙ ГОРОД. См. примечания к разделу «Красный рык». *«Марат, разыгранный по наслышке»* — в 1919-1922 гг. на всех клубных и провинциальных сценах шла глупейшая пьеска «Марат — Друг Народа». Написал ее некий Антон Амнуэль, подписавший ее «Красный Петроград, май 1919» (опубликована в журнальчике Пролеткульта «Грядущее», как раз в том же № 5-6, 1919, где и напечатан «Красный Конь» Клюева). Но пьеса — в ее первоначальной редакции — была написана и разыгрывалась еще в 1918 г.

№ 270. ПРОСНУТЬСЯ С ПЕРЕРЕЗАННОЙ ВЕНОЙ. «Приведет Алисафия Змея» — мотив из духовного стиха «О спасении Елисафии Арахлинской царевны» Егорием Храбрым. Царевна Е/А/лисафия, обреченная на съедение Змеем, спасена св. Георгием Победоносцем (см., напр., «Русь Страждущая. Стихи народные о любви и скорби. Венец многоцветный», Е. А. Ляцкого, Стокгольм, 1920, стр. 103-110).

№ 272. РЕСПУБЛИКА. Впервые — «Пламя», 1918, № 29, 17 октября, стр. 5. *«Керженец в городском обноске»* — характерный образ Руси тех лет. Река Керженец в Заволжье, в Семеновском уезде — центр древлего благочестия, скитов староверья. Неподалеку и озеро Светлояр — местонахождение легендарного Китежа.

№ 274. НЕЗАБУДКИ В ЛЯЗГАЮЩЕЙ СЛЕСАРНОЙ. Впервые — «Пламя», 1919, № 37, 19 января, стр. 7. *Марсово Поле* — см. примеч. к стих. № 256.

№ 278. НА УЩЕРБЕ КРАСНЫЕ ДНИ. *Григорий Новых* — Григорий Распутин. См. во вступит. статье. Опять мотивы революции переплетаются с хлыстовством, распутинщиной и былевыми крестьянскими мотивами. И основной лейтмотив — переход революции в дни «серные геенские». Мотив — общий для «скифов» (см., напр., левоэсеровский журнал под ред. М. Спиридоновой — «Наш Путь», особенно №№ 1 и 2 за 1917 г. — статьи о «спасении революции»), для близкого к «скифам» А. Блока: «Большевизма и революции нет ни в Москве, ни в Петербурге. Большевизм — настоящий, русский, набожный — где-то в глуби России, может быть в де-

ревне»; новый — неосуществленный — сборник стихов Блок предполагал озаглавить «Черный день»... (См. статью «Александр Блок» Вл. Орлова, в кн. Ал. Блок. Стихотворения. — Поэмы. — Театр. Редакция Вл. Орлова, ГИХЛ, Ленинград, 1936, стр. 43-44).

№ 279. ЕСТЬ В ЛЕНИНЕ КЕРЖЕНСКИЙ ДУХ. Впервые — «Знамя Труда», журн., 1918, № 1, стр. 15; затем — «Медный Кит», 1919. О стихах Клюева, посвященных Ленину, много писал, когда они вышли отдельной книжкой, Г. Лелевич. Он прямо утверждал, что клюевский «Ленин» — кулацкий Ленин, и с революцией Клюеву не по пути (рецензия: Н. Клюев. Ленин. «Печать и Революция», 1924, № 2; статья: Окулаченный Ленин, в кн. «На литературном посту», изд. «Октябрь», Тверь, 1924; отдельные замечания в кн. «Литературный стиль военного коммунизма», 1928). Троцкий говорил, как уже сказано раньше, что у Клюева не поймешь — Ленин это — или Анти-Ленин?

№ 281. СМОЛЬНЫЙ, — В КОЖАНОЙ КУРТКЕ. В «Ленине», 1924, разночтение:

Стих 24. Над пучиной столетий грозовый маяк.

Гороховая 2 — дом ЧК-ГПУ-НКВД в Петрограде-Ленинграде. *«Урицкого труп»* — первый председатель ЧК Урицкий был убит в 1918 г. членом партии социалистов-революционеров — поэтом Леонидом Каннегиссером.

№ 286. ОКТЯБРЬ — МЕСЯЦ ПРОСИНИ, ЛИСТОПАДА. В «Ленине», 1924, разночтение:

Стих 16. Как сомовья икра, как песцовый выжлец!

№ 287. ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ. В «Ленине», 1924, без названия — и совсем в иной редакции:

Я построил воздушный корабль,
Где на парусе Огненный лик.
Слышу гомон отлетных цапль,
Лебединый, хрустальный крик.

По кошачьи белый медведь,
Слюня лапу, моет скулу...
Самоедская рдяная медь
Небывалую трубит хвалу.

Я под Смольным стихами трубил,
Где горящий, как сполох, солдат
Пулеметным пшеном прикормил
Ослепительных гаг и утят.

Там ночной звероловный костер,
Как в тайге, озарял часовых...
Отзвенел ягелёвый узор,
Глубь строки и капель запятых.

Только с паруса Ленина лик
Путеводно в межстрочья глядит,
Где взыграл, как зарница, на миг
Песнобрюхий лазоревый кит.

Строфа с Демьяном Бедным (предпоследняя) исключена вовсе, а остальные искажены до неузнаваемости цензурой (или автором — под давлением цензуры). *«С книжной выручки Бедный Демьян подавился кумачным хи-хи»* — уже в те годы началось чудовищное массовое производство стихов, плакатов, брошюр, фельетонов в стихах, басен и песен — и чудовищное обогащение Демьяна Бедного. 30 августа 1918 эсерка Дора Каплан стреляла в Ленина, а уже 7 сентября 1918 Демьян Бедный писал на разудалый мотив: «Мы раны нашего вождя слезами ярости омоем» (Демьян Бедный. Избр. произведения. Больш. серия «Библиотеки Поэта», изд. «Совет. Писатель», Ленинград, 1951, стр. 94).

№ 288. ПОСОЛ ОТ МЕДВЕДЯ. В «Ленине», 1924, название снято.

№ 289. МЕДНЫЙ КИТ. В одноименной книге Клюева, может быть, первая публикация этой небольшой поэмы. *Арахлин-град* — апокрифический град-царство, который Господь покарал за грехи, послав на него дракона-Змея, пожиравшего девиц. Очередную жертву — Алисафию-царевну — спас Егорий Храбрый (св. Георгий Победоносец). *Дивеево* — женский монастырь, основанный преп. Серафимом Саровским неподалеку от Саровской обители, в Темниковском уезде Костромской губернии, у северных ее границ с губернией Нижегородской. *Чапыгин*, Алексей Павлович (1870-1937), родившийся в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, превосходный прозаик («Белый скит», «Разин Степан», «Гулящие люди», и т. д.), — земляк Клюева, одно время близкий к «Скифам». *«Инония»* — «скифская» программная поэма Есенина (1918):

Языком вылижу на иконах я
Лики мучеников и святых.
Обещаю вам град Инонию,
Где живет божество живых!
Плачь и рыдай, Московия!..

Кострома — и название города, и русско-славянское божество смерти и зимы: Кострому жгут — в виде снопа — или топят в реке, озере, пруде — в Иванову ночь.

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ТОМА

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

Песнослов